Мы на земле,
где вы живете...

ЗЕМЛЯКИ

Нижегородский альманах
Выпуск двадцать девятый

«КНИГИ»
Нижний Новгород
2020

УДК 821.161.1(082)
ББК 84 (2 Рос-Рус)6 я43

З53

Главный редактор *О.А. Рябов*
Шеф-редактор *А.И. Иудин*

Составители *А.И. Иудин, О.А. Рябов*

Общественная редколлегия:

Н.А. Бенедиктов, И.С. Горюнова, Е.Н. Крюкова, З. Прилепин, В.И. Седов, А.М. Цирульников, Г.В. Щеглов, Е.Р. Эрастов

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ ООО «КНИГИ»
Адрес редакции и адрес издателя: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги» Тел. (831) 412-16-04
E-mail: zemlyaki-nn@yandex.ru
Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

З53 **Земляки**. Нижегородский альманах. Выпуск двадцать девятый. Составители: А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Нижний Новгород: издательство «Книги», 2020. – 480 с.

Очередной выпуск альманаха составлен из произведений писателей и поэтов – как наших земляков, так и проживающих в других городах России и за ее пределами.

В поэзии и прозе нашли отражение проблемы современного российского общества. Отдельными рубриками представлены литературные мемуары, работы авторов иронического жанра, а также произведения для семейного чтения.

Альманах зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Нижегородской области.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 52-0246

© Иудин А. И., Рябов О. А. Составление, 2020
© Издательство «Книги», 2020

ISBN 978-5-94706-240-3

СОДЕРЖАНИЕ

К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Елена КРЮКОВА
ПРОТОПОП И ОГОНЬ 6
БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА 10
КОНДАК КСЕНИИ ВО СЛАВУ СВ. ФЕОДОСИИ БОЯРЫНИ, ЕЮ ЖЕ КСЕНИИ ПРЕБЫТЬ ДОВЕЛОСЬ 13
ВИДЕНИЕ АВВАКУМА 23

Нижегородский почерк

Егор ЧЕРКАСОВ
ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ 25
Михаил ПЕСИН
СРЕДИ КАНАВИНСКИХ ЗАДВОРОК 36
Елена ЗАХАРОВА
А НИЧЕГО 52
Виктор ЕРШОВ
ИЗ ЦИКЛА «СВЕТ В ОКОШКЕ» 63
Владимир РОМАНОВ
ГОРБУН 70
Наталья ДОВЖЕНКО
КАРАСЬ 84
ГРАЖДАНСКИЙ ПАЦИЕНТ 89
Петр РОДИН
ЗАРАЗА 91
Маргарита КУЗЬМЕНКО
САШКА 104

Лирический портрет

Павел КЛИМЕШОВ
СПАСИБО, ГОСПОДИ, ЗА БОЛЬ... 114
Наталья ДЕНИСОВА
РАДИОСИГНАЛ 119
Галина ТАЛАНОВА
...И ХОЧЕТСЯ ПРОЙТИ 124
ПО СВЕТУ БОСИКОМ 124

Из свежей прозы

Дмитрий ЛАГУТИН
ЛИШНИЙ ВОЗДУХ 128

Анна БАБИНА
ВЗДОХ СОБАКИ 137
Елена НАУМОВА
СКРИПКА 152
МИШЕНЬ 159
ЦВЕТЫ С МИННОГО ПОЛЯ 162
Сергей АНТОНОВ
СПАСИТЕЛЬНЫЙ ВИРУС 164
Елена ЛАПАЕВА
ЧАСТИЧКИ ЖИЗНИ 172
Юрий ЕГОРОВ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ СВЯТОГО НИКОЛАЯ
В ДЕРЕВНЮ ВОЛОКОЛАМ 176

Лирический портрет

Татьяна БАТУРИНА
Я НАВСЕГДА НЕ ВЕРЮ, ЧТО УМРУ... 184
Владимир РЕШЕТНИКОВ
ВОПРЕКИ СТАНОВИМСЯ СИЛЬНЕЙ 191
Елена РУСАНОВА
Я ПЬЮ ВИНО РОДНОГО СЛОВА 196

Из будущих книг

Людмила ТОБОЛЬСКАЯ
НЕПОВТОРИМЫЙ ДРУГ 200
Елена АРСЕНЬЕВА
ДОЧЬ ВРАГА 233

Стихи по кругу

Михаил САДОВСКИЙ 272
Лариса ДЕГТЯРЕВА 274
Михаил ГЕРШТЕЙН 275
Марина ГЕРАСИМОВА 277
Константин ШАКАРЯН 279
Борис АНДРИАНОВ 281
Виктория КОРОЛЬКОВА 283

Вехи памяти

Владимир АЛЕЙНИКОВ
ВЕЧНЫЙ ВОИН 284
Ирина ДЕМЕНТЬЕВА
ЛИГИЯ 382

Лигия ЛОПУХОВА. Стихи разных лет 390
Александр ЦИРУЛЬНИКОВ
ИСПОВЕДЬ АКАДЕМИКА НЕГИНА 395

Семейное чтение

Ирина ДРУЖАЕВА
ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ 404
Павел ЛАПТЕВ
СОСУЛЬКА 420
МЯЧИК 422
ОГУРЦЫ 424
МОБИЛЬНИК 426
ВРЕМЯ 428
ЗЁРНЫШКО И КАМУШЕК 430
Вероника ВОРОНИНА
БАБА-ЯГА И ФРЕЙД 432
ДРУГИЕ ЖИЗНИ БАБЫ-ЯГИ 434
Любовь СИДОРОВА
ЧУДЕСНАЯ ЧАШКА 439
Анфиса ТРЕТЬЯКОВА
НА МАТЕРИКЕ ФАНТАЗИЯ,
В ГОСУДАРСТВЕ ВООБРАЖЕНИЕ... 447

Русский смех

Евгений ОБУХОВ
ДУРИЛКА КАРТОННАЯ 449
ЛУЧЕЗАРНОСТЬ 456
ПЕСНЯ О ВСТРЕЧНОМ 458
Петр РОДИН
ДЕД МИРОН И КРИЗИС 460
Валерий РУМЯНЦЕВ
БАСНИ 462
Александр ВОЛОВИК
МОЖНО ДУМАТЬ НИ О ЧЁМ 469
Эдуард КУЗНЕЦОВ
УРЕЗАТЬ ТАК УРЕЗАТЬ 472

К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Елена КРЮКОВА

ПРОТОПОП И ОГОНЬ

Аввакум и Никон. Никон и Аввакум.

Пламенный протопоп и революционный патриарх.

Огонь нашел на огонь. Схлестнулся. Так, что в веках видно и слышно.

Кто из них более болел за Россию?

Тот ли, что хотел, взобравшись на церковный патриарший трон, перевернуть вверх временны́м дном, перекроить, во благо народу, древние книги, по коим молились, над коими плакали?

Или тот, другой, что возносил над кричащей толпою руку с двуперстием, исповедуя Бога Единого, за Него же нам и в земляной хижине до скончания дней пребывать, за Него же и на костер взойти?

Аввакум... Никон...

Родились рядом. В городе бы сказали: через дорогу. На селе скажут: шабры.

Я стояла близ Аввакумовых холмов, в сельце Григорове, и воздух, воздух ведь был все такой же, все тот же, как во время оно; и человек был все тот же, та же и я была, – смиренная ученица, сестра во Христе, великая грешница, вечная раскольница, вечно не в ногу, когда все в ногу шагают; стояла, вспоминая и людскую ненависть, и людскую

любовь, а вдали таяли крыши перламутрово-серых григоровских избенок и банешек, и Володя, муж мой, художник, сидел рядом со мною за разложенным трехногим этюдником, и плывущим под пальцами и кистью, солнечно светящимся маслом эти, вот эти серые банешки писал, – точно такие, как при Иоанне Грозном, при Алексее Михайлыче Тишайшем.

Никон... Аввакум... Русские... Братья...

Русские! Братья! И что?

Да ведь в Смуту своя своих убиваша и своя своих не познаша.

Да ведь царь Петр безжалостно казнил на Красной площади стрельцов своих.

А декабристы? А все русские революции? А страшная, немыслимая Гражданская война?

Сколько людей было убито, сколь...

Сплошная, огнем идущая боль.

А скольким еще быть убиту!

Не собрано на Руси кровавое жито.

Аввакум для русского – не только легенда. Окунаясь, безоглядно падая в его писания (а для художника они доподлинно священны! ибо протопоп – один из первых наших, мощно-алмазно сверкающих через слои времен русских писателей!..), мы мучимся от ожогов его вольной, дерзкой, бурнопламенной души, и мы благословляем их. Душа эта, дух этот – Божии несомненно.

Это воистину Божий костер!

Если каждый из нас еще помнит, Кто такой Бог и как Ему молиться.

А Русский Бог – о, это еще одна таинственная, не объяснимая никакими иными мировыми культурами ипостась Христа на земле, после Его Распятья и Воскресения: Раскол, может, затем и произошел, чтобы люди въявь узрели, как можно жизни отдавать не только за други своя – за Бога своего.

Многие сейчас воззрятся изумленно: как это, сжигать себя в срубе?.. да сумасшедшие!.. да кто ж так расстается с жизнью!.. разве дороже жизни что-то есть в мире, замешанном именно на жизни, на ее безоглядном торжестве!..

Юродивые, безумцы, пророки... Это и есть художники. Это и есть глаголящие людскому, без берегов, ходящему тяжкими холодными волнами морю – веру.

Аввакум, его протопопица, Настасья Марковна, и детки его; верные ученики его, в особенности же ученицы, среди коих – боярыня Федосья Прокопьевна Морозова, менее всего помышляли о политике. Но жили и сгорали внутри современной, сомгновенной им политики, ибо плыть в людском море, на утлой лодчонке или на богатой расшиве, это и есть политика, а по-русски сказать – великое сражение, и всегда оно было, и всегда оно будет, ибо неистребима война, и вечна жертва во имя, и священна хоругвь, и слезами льются по щекам неба звезды, после страшной битвы, над нагой головой. Сгореть на костре – да, острая, режущая неслыханной болью грань безумия и подвига. Но смерть в ином медном, тысячу раз целованном древнем окладе – это и есть жизнь. Мученики были и будут всегда. И, парадоксально, тот, кто рожден мучеником, сильнее всего, умалишеннее всего, ярче, огненнее и безоглядней всего любит жизнь.

«Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь». Не забудем Писание.

Ведь Господь тоже пошел на Крест не насильственно: осознанно. Он – сделал – выбор.

...как я вижу этот байкальский лед. Этот первый, еще некрепкий, январский байкальский лед, чуть в томную, голубиную сизую синеву, отблескивающий тусклым солнцем, оно масленым шаром, сбитым из сметаны ненастного дня, медленно катается между рваных рогожных туч; а я сижу на берегу, впиваю влюбленными глазами Байкал – и шепотом разговариваю с ним. На берегу Байкала могу позволить себе быть – юродивой. Быть – поэтом: ах, это далеко, ведь лишь музыка со мной! Могу помыслить о том человеке, что тянет и тянет, притягивает меня через века. Я вижу его. Вот он идет по нежному, опаснейшему льду, тонкость льда ощущаема только дрожащей душою, а с виду лед, припорошенный жесткой, твердой снежной крупкой, обманчиво крепок. Как они шли? А вот так и шли. Лишь лед был потолще, и далеко внизу призрачно спали,

чуть шевелились зимние рыбы, ельцы и золотые голомянки. Хрусталь прозрачен, очи от слез незрячи. Идут. Сани, обоз, облачный пар вокруг лошадиных морд. Протопопица согбенно подходит к мужу, чуть трогает его за локоть, за овечий тулуп. Он оборачивает лицо. Не лицо, а лик. Лик изможденный, уже насквозь иконный, стозвонный, страданьем, как ветрами, опаленный. Вдоль заберега, пронзая бурятским мечом все живое, дует страшный култук. Не снести более мук. Доколе, протопоп, мука сия?! Он – хрипло, осипло, поникло?.. нет, твердо, тверже железа, тверже мощной кедровой ветви: до самыя смерти, Марковна.

Ино еще побредем, шепчу я себе в слезах, молодая, задорная музыкантша, еще ни войн, ни злобы, ни иного ужаса не вкусившая, смертельно влюбленная в Байкал, стоя одна, средь кедров – сосна, на песцово-снежном берегу, нет, я там, поодаль, позади обоза, я протопопица Настасья на запорошенном сонным снегом то мрачно-синем, то густо-серебряном льду, и я иду, я запахиваюсь в козью сибирскую шаль, мне лишь деток малых жаль, я гляжу на лик мужа, он глядит вдаль, за окоем, да, родной, да, ино еще побредем.

Отдать жизнь за веру. Это значит: отдать жизнь за любовь.

Аввакумово Житие – любовь в чистом виде.

Житие Аввакумово невозможно разъять на события, на смыслы, на повороты и обороты, на глаголы и метафоры, какие уж тут метафоры, когда – прямо со страниц – льется живая кровь! И гудит прямо с желтой бумаги, взвивается к небу огонь!

Огонь веры. Огонь судьбы.

За судьбу, слушайте, это святая правда, люди всегда платят гонением, яростной болью, неохватным страданьем.

Иные платят безумием, людским презрением, тюрьмой, пытками, приговором, смертью: собственной казнью.

Не постоишь у края собственной могилы. А лишь с небес – коли ты веруешь! – поглядишь на нее.

Ну да, на Страшном Суде поглядишь. На нее обернешься, когда из гроба восстанешь и грешные кости

оденутся плотью. И подумаешь с ужасом и восторгом: я ли тут был?!

Глянешь внутрь земли, земли своей. Родины своей.

Протопоп Аввакум – это та земля, по коей мы ходим. Кою мы топчем, забываем и даже (иные!) презираем. Нам важна наша драгоценная жизнь! А о земле не мыслим, о земле-Родине и подавно, лишь смерти боимся, предпочитаем не думать, как в землю ляжем. А она, земля, – наша жизнь и наша, простите за пафос, он здесь уместен, – вечность. Мы не осознаем этого. Мы – иные: еще немного, и гомункулусы, еще чуть, и киборги. Сами не зрим, не чуем, как бездна всего мирского, житейского и даже искусного (от слова искусство, конечно!..) вокруг нас становится не полиелеем, а полимером. И – полумерой. Полужизнь, полугибель, полувера, кою можно натянуть на плечи, как пуловер.

Где истина?!

Протопоп, помоги...

И взвивается костер.
И топор остер.
Башку снесет?.. сработает сруб?..
Байкал мой – возле лица, возле теплых губ.
Целую тебя святою иконой. Навек вдвоем.
...люди! ино еще побредем.

Святой памяти и великой вечной жизни протопопа Аввакума Петрова

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

…И розвальни! И снег, голуба, липнет сапфирами –
к перстам…
Гудит жерло толпы. А в горле – хрипнет: «Исуса –
не предам».

Как зимний щит, над нею снег вознесся –
и дышит, и валит.
Телега впереди – страшны колеса. В санях – лицо горит.

Орут проклятья! И встает, немая, над полозом саней –
Боярыня, двуперстье воздымая днесь:
до скончанья дней.

Все, кто вопит, кто брызгает слюною, –
сгниют в земле, умрут…
Так, звери, что ж тропою ледяною везете вы на суд

Ту, что в огонь переплавляла речи! и мысли! и слова!
И ругань вашу! что была Предтечей, звездою Покрова!

Одна, в снегах Исуса защищая, по-старому крестясь,
Среди скелетов пела ты, живая, горячий Осмоглас.

Везут на смерть. И синий снег струится на рясу,
на персты,
На пятки сбитенщиков, лбы стрельцов, на лица
монашек, чьи черты

Мерцают ландышем, качаются ольхою и тают,
как свеча, –
Гляди, толпа, мехами снег укроет иссохшие плеча!

Снег бьет из пушек! стелется дорогой с небес – отвес –
На руку, исхудавшую убого – с перстнями?!. без?!. –

Так льется синью, мглой, молочной сластью
в солому на санях…
Худая пигалица, что же Божьей властью
ты не в венце-огнях,

А на соломе, ржавой да вонючей,
в чугунных кандалах, –
И наползает золотою тучей собора жгучий страх?!.

И ты одна, боярыня Федосья Морозова – в миру
В палачьих розвальнях – пребудешь вечно гостья
у Бога на пиру!

Затем, что ты Завет Его читала всей кровью – до конца.
Что толкованьем-грязью не марала чистейшего Лица.

Затем, что, строго соблюдя обряды, молитвы и посты,
Просфоре черствой ты бывала рада, смеялась громко ты!

Затем, что мужа своего любила. И синий снег
Струился так над женскою могилой
из-под мужицких век.

И в той толпе, где рыбника два пьяных ломают воблу –
в полруки!.. –
Вы, розвальни, катитесь неустанно, жемчужный снег,
теки,

Стекай на веки, волосы, на щеки всем самоцветом слез –
Ведь будет яма; небосвод высокий; под рясою – Христос.

И, высохшая, косточки да кожа, от голода светясь,
Своей фамилией, холодною до дрожи,
уже в бреду гордясь,

Прося охранника лишь корочку, лишь кроху
ей в яму скинуть, в прах,
Внезапно встанет ослепительным сполохом –
в погибельных мирах.

И отшатнутся мужички в шубенках драных,
ладонью заслоня
Глаза, сочащиеся кровью, будто раны, от вольного огня,

От вставшего из трещины кострища – ввысь!
до Чагирь-Звезды!.. –
Из сердца бабы – эвон, Бог не взыщет,
Во рву лежащей, сгибнувшей без пищи, без хлеба и воды.

Горит, ревет, гудит седое пламя. Стоит, зажмурясь, тать.
Но огнь – он меж перстами, меж устами. Его не затоптать.

Из ямы вверх отвесно бьет!
А с неба, наперерез ему,
Светлей любви, теплей и слаще хлеба, снег –
в яму и тюрьму,

На розвальни… – на рыбу в мешковине… – на попика
в парче… –
Снег, как молитва об Отце и Сыне, как птица –
на плече…
Как поцелуй… как нежный, неутешный
степной волчицы вой… –
Струится снег, твой белый нимб безгрешный,
расшитый саван твой,
Твоя развышитая сканью плащаница, где: лед ручья,
Распятье над бугром…

И – катят розвальни. И – лица, лица, лица
Засыпаны
Сребром.

КОНДАК КСЕНИИ ВО СЛАВУ СВ. ФЕОДОСИИ БОЯРЫНИ, ЕЮ ЖЕ КСЕНИИ ПРЕБЫТЬ ДОВЕЛОСЬ

Ах, снег!.. Снег, голуба, липнет бирюзою – к перстам. Толпа валит; шапчонки куничьи, мерлушковые, овечьи, лица на морозе – кровь с молоком, а ты, Дарьица, молоко-то от стельной коровы взяла?.. да утомилась, снег вон льет белей молока, токмо ведра подставляй. Розвальни текут по снегу да текут, полоз скрипит, солома торчит из саней дьявольской растрепой. Санный путь голубой, да прямо к черной яме. Напытали – вволюшку! И на дыбе воздымали, и угли под пятками раздували, и крючья под ребра всаживали,

и еще всего удумывали – живому сердцу рассказа про то не снесть, даром что все на шкуре живой отпечатано. Везите меня, сани!.. Милые розвальни!.. А ты, толпа, стой по обе стороны дороги да гляди. Этого больше ты, толпа, не увидишь во веки веков, аминь.

Что вы, родные мои, такие хорошие?!. Не нагляжусь на вас. Это оттого, что меня на смертушку везут. А смертушка-то прозывается, оказывается, бабьим именем. Я и не знала про то. Она прозывается где как: Глафирой, Ксеньей, Федосьей... и платок у ней на голове, старушечий такой, с длинными белыми заячьими ушами. А меня нарядили в черное. Я живую черноту неба любила. Ночку темную. Над холмами, полями, над заснеженными баньками. Учитель, протопоп мой родимый, меня в баньку с собой водил. Он был чист предо мной. Он был нагой, аки Иоанн Предтеча; насбирает веток с пихты, для веника, и бьет меня тем веником, приговаривает: «Пихтушка, умница, веточек дала мне для Федосьюшки, для Ксеньюшки моей». – «Так я Федосья или там Ксенья, – спрашиваю я его, пытаю ласково, – уж не заговариваешься ль ты, отец?..» – «Какое заговориться!.. – он мне в ответ, – и тебя так же в санях повезут, как ее, и тебя в ямину кромешную бросят, как ее; они тебе куска хлеба не дадут, горбушки в яму не сбросят, будут ждать, псы и псицы, когда ты голодной мукой изойдешь». А сам хлещет меня колючим веником по плечам, по грудям, по спине, и велит на полок ложиться, руки-ноги раскидывать, и пару поддает, и нежит меня, и напевает от радости старую песню, а сам не тронет меня, щадит, в святости моему нагому и розовому телу поклоняется, приравнивая его к душе. Телесная услада свята; душевный покой – Божье хранение. «Лишь бы ты была жива, радостна и здорова», – нежно мне шепчет сквозь клубящийся пар на ушко, и я ему благодарна за заботу неземную. Так обращаются друг с другом ангелы на небесах, а люди на земле так не могут. Отец! Учитель!.. Я тоже желала б стать ангелом. Буду при тебе Ангелицей, когда покинешь мир грешный. Буду тебе там, в небесной баньке, спину сутулую парить, ноги мыть, воду эту пить. Помнишь, как Исус, Учитель наш Предвечный, апостолам своим ноги омывал?!..

– Пади!.. Пади вон с путя-дороги, не вишь, што ль, – боярыню везут!..

– Ишь, вся в черном, как монашка... Щеки ввалились...

– После дыбы ты бы как хотела, фря?!.. Чтоб лико было как яблочко наливное?!

– Я ж баял – комета на небе, комета хвостатая... разор и запустение она принесет, глад, мор, землетряс, звезды будут, дрожа, с зенита в снег сыпаться...

– Бросьте ей хлеба!.. На лютую смерть ведь везут!.. Как зверя!.. В яму!..

– Тише... тс-с-с-с!.. благослови-ко ее, Дунюшка...

– Матушка, Федосья, Господь с тобой...

– Да не Федосья она: Ксенья!..

– Имечко христьянское, да все мы во Христа крестились...

Будут ли они меня еще пытать?!.. Испытали уж... Кости им мои дались; кости, да кожа, да мясо. Плоть грешная. Я смотрела им в лица, когда они надо мной наклонялись, с клещами да со щипцами раскаленными. Лица как лица, обычные такие. Скушные. Один молвит, в разгар самых мучительств: «Ох, Федька, я штой-то есть хочу». И слюну в себя втягивает. Мне через муку смешно стало. Это ж до какой каменюки сердчишко себе обтесать людскими страданиями надо. Я ему говорю: возьми, милый человек, у меня в кармане шубы, что ты с меня стащил перед пыткою, в складках меха, кусок кулебяки завалялся, сейчас время не постное, вкуси, она с мясом. И улыбнулась. А тут гореленьким мясцом как запахло, стопы мне, висящей на дыбе, подпалили. Палачи аж побелели все. «Вот песья дочь! – кричат. – Еще издевается!» Этот, оголодавший, под ноги мне плюнул. «Вы все с Исуса образ свой берете, гордыней одержимые, все тщитесь на Него походить, да подобие ваше бестолково, этим святости не заработаешь, – зло огрызнулся и ремень дыбы, чтобы вывернулись наружу мои суставы, круче дернул. – Ну, воззови!.. Воззови, как Он воззвал!.. Повтори Его плач, упорница!.. Бесовство – гордыня твоя, и лицедейство – упрямство твое...» Я сознание утеряла.

Очнулась – мне лицо сестра моя тряпицей, смоченной в уксусе, отирает. «Оцет, – шепчу я с улыбкой, – оцет

поднесли. Значит, я уже на Голгофе. Здесь, здесь, где меня мучили, храм поставьте...» И опять в бред красный опрокинулась.

Почему нет Голгофской церкви?! Слухи ходят – есть на далеком Севере. На островах, где когда-то Иоанн Богослов жил. Скрывался от злоязычного мира. Рыбою питался. Я б те острова посетила. Гадальщица Марфа поведала, что мне назначено их посетить в жизни иной.

Знаю, позорно и смутно гадать; против Исуса это; но кому не охота прознать малую кроху судьбины своей?!. Вот так и делаем шаг к диаволу... так потакаем ему. А он, Денница, и рад. Он всегда рядом с нами. Здесь. То по правую руку. То по левую. Ждет. Улучает минуту. Бог дал всем жизнь и глядит на нее, на всякую неприметную жизнешку, не встревает: дает свободу, запоминает все содеянное. Мы под призором, под Оком Недреманым. Око Всевидящее... зри... Но наши, наши-то очи смежаются, слипаются... дремлют... и сатана тут как тут... Сгинь. Изыди. Не твоя. Не твоя.

Кони, кони! Золотые кони! Не везите быстро, везите чуть помедленней... Торопитесь, звери!.. Мех ваш то в яблоках, то гнедая шерстина, а я люблю боле всех – вороных. Ночных... то ночь меня везет, и, все пропадай, так хочу я руку поднять над тобою, толпа, хоть и в цепь железную закована рука, в цепь тяжелую! Рвану руку... вверх!.. с силой... Вот двуперстие мое! Это губы мои складываются в Божью улыбку и воздымаются над толпящимся градом, что гудит клублением снега, людских лиц, рук, отрепьев, мехов! И, Боже Ты мой, кто это сидит у самого санного следа, у перебора конских ног?!. – что за человечек, худой как жердь-слега... в насунутом на лоб островерхом колпаке, укутанный в рванину, и через зияние дыр просвечивает на груди черный чугунный крест, прицепленный к тяжелым звеньям цепи, врезающейся в ребра; что делает он, сидя на снегу близ полоза моих розвальней, глядит на меня огненными глазами, шевелит истресканными губами, крючит на холоду синие, лиловые, красные ноги, подбирает под себя обмороженные пятки?!. и лицо его багрово от мороза, и брови и ресницы заиндевели, и бормочет

он то ли молитву, то ли песню, – что это он делает, глядите, люди?!.. – он поднимает руку, он складывает в двуперстие сморщенные зимние пальцы, он... отвечает моему знамению крестным знамением! Он крестит меня в ответ! Он, один-единственный из всей бурлящей и неистовствующей толпы, посылает мне привет и любовь свою! Стойте, сани! Стой, мужик! Погоди! Как же я должна благодарить тебя!.

Глаза мои горят. Они безумны. Они широки запредельно, и я вижу, как пугаются люди, поглядев в них. Отшатываются от розвальней. Мальчонка, бежавший за санями, поглядел – сел с размаху в снег. И отворотился, и слезы по щекам бегут, а смеялся недавно, хотел мне в грудь снежком пульнуть. И мужики ломают в толпе сушеную рыбу, колотят ее о ладонь, о колено, сдирают чешую, серебряную шкурку; вот так же и с меня шкурку сдерут, и обнажится мясо, хребет, просветится насквозь сердце, и чьи страшные, огромные пальцы разломят меня повдоль хребта, прозрачной хорды?! Крепка моя хорда была. Гнулась, да не ломалась. Только сжечь можно. Только в яму бросить.

О, вы меня уже к забору подвозите! Вот он, частокол. Глубока чернота. Не прогляжу. Не кидайте больно... кости ведь переломаю последние! Солдатик... пощади... так ведь даже на Зимней Войне* не бывало... Мы все... на ней воюем?!.. Так, значит, я от нее никуда не ушла?!

Милые... милые... родные... добрые люди...

А-а-а-а-а-а-а-а-а...

.....тьма. Цветные круги перед глазами, на веках, если их прижмешь кулаками. Тогда слепота оживает. Мимо меня проносятся разноцветные кони, широкохвостые павлины разворачивают царские веера, лиловые сабли скрещиваются, швыряя ослепительные искры. Я в яме. Я уже казнена. Почему же я жива? Во чью честь? Слышу, как ходит охранник по краю моей преисподней. Как ветер раскачивает высокие сосны. Во тьме я чувствую – ко мне некто подходит. Подлетает сзади. Черные крылья опахивают мой затылок, завязанный в траурную тряпку. Невидимые

---

* *Зимняя Война* – архетипическая метафора, встречающаяся во многих текстах Е. Крюковой, символ тьмы, горя, боли, рока, войны и т. п.

руки кладутся мне на плечи, и я напрягаю слух, пытаясь распознать шепот. Шу-шу... чу-чу. Язык неразумный, неземной. Это ожил мой бред. Это я сама с собой говорю, чтоб не сойти с ума. Нет. Это прилетел ко мне тот босой, нищий Ангел, сидевший в снегу, скрючив по-гусиному красные ноги. Если это так, то я его люблю. Если кто другой, скажись мне. Я боюсь. А уж, казалось, чего мне бояться. Все у меня уже было. И война. И любовь. И дитя. И смерть. Сто смертей. Дыба, пытка, яма. Высокое безумие и высочайшая воля. Я вся – сжатый кулак. Когда я иду – под стопой падает снег. Когда я люблю – я перебегаю кипящую по весне реку по льдинам. Учитель! Где ты! Где твоя банька... не сжег ли ты себя в сером срубе, пахнущем пихтой, елью, мылом и снеговою водой?! Не мое ли имя шептал, крестясь в огне...

Вот он, черный. Все ближе. Я чувствую его.

Он во мраке ямы обнимает меня. Запах горелого. Запах жженой серы. Я слышу выстрелы. Я слышу – ругань, крики. Разноголосые вопли на ста языках. Слышу гул. Там и тогда... я садилась в железную воздушную бочку, путешествующую по небу, называемую самолетом, чтобы лететь туда, где меня ждала верная смерть. Это называлось Войной; там стреляли из орудий, мне неизвестных, отрезавших, как ножом, вершину горы и голову с плеч. Секирбашка. У наших оруженосцев отродясь не бывало таких. Кто ко мне идет?! Ты?! Владыка тьмы кромешной... Выломаешь мне руки?! Выжжешь глаза?! Делай что хочешь! Я не твоя! Я не твоя!

.....он подполз ко мне ближе. Посмотри на меня, говорит. Люди смотреть не могут. А ты взгляни. Хочу ощутить, как глаза твои остекленеют и остановятся. У меня много ног. Много животов. Много хитрых лиц, умильных; они все на человека похожи. Все путают меня одного со множеством. Это все один я. Я один. Ксения. Я же в тебе. Ты же меня из себя не выгнала. Не искоренила. Если бы ты была чиста вся и от меня свободна, я издали клацал бы зубами и на тебя облизывался. А так – я вот он, тут. Рядом. И сейчас ты на меня взглянешь. Я урод, да. Ты таких уродов еще не видала. Твое лицо оцепенеет и рот онемеет; уснет

кровь в жилах. Ты меня не знаешь. Но смотри, как много рук и ног. Это чтобы ими навек обхватить тебя.

Я знаю его имя. Но тихо. Нельзя. Нельзя его... вслух. Старые люди, они знающие, они велели его имя никогда не называть. А то, говорят, произнесешь его прозванье, а он сам тут как тут. Вот и я молчала, зря языком не молола. Есть еще внутренняя речь. Там мы распоясываемся. Там мы думаем: свободны. Нет препон. Это ложь. Это не свобода; это обманка. За пеленой обманки – облик урода и гада. Я знаю его имя. Плюну тебе в лик безглазый, в сочленения ног!

– Эй, боярыня... жаль тебя, горемычную, на-кось хлебца погрызи... инда мышка ты тут в норе!..

Бух! Горбушка грохнулась о землю. Увесистый кус. На много дней мне хватит. А там, если добрый стражник сменится жестоким... вот он тут меня и сожмет. Сок-то из меня и выдавит, так, что во все стороны брызнет.

– Спасибо, солдатик... ты там за меня на снежку в кости поиграй!.. В крепости снежной взятие... Сын мой жеребячьими копытами, полозьями кошевок снежные городки топтал... А я стояла да любовалась чудной забавой... Солдатик! а солдатик!.. Если диавол ко мне начнет подступаться – ты его... топором... топориком...

Съела хлеб. Тьма. Это ночь. Я угадала. Надо бы спать; как спать той, у коей все кончено? В конце у каждого человека яма. Сижу в собственной могиле и раздумываю. О том, о сем. О том, к примеру, сколько мне лет. Когда меня в заточенье и пытку брали, сын мой уже юноша был; он цеплялся за меня и кричал: «Мама, мамушка, не надо плакать!» Нас убьют, подумала я тогда, нас всех убьют и свалят за ограду, где широкая ветла. И взятки гладки. Он ползет все ближе. Ближе. Задыхаюсь. Я стиснута его многоножьем; крючья и клинья, цепляясь, срывают с меня рясу, и во тьме я из черной становлюсь снежно-белой, и теперь я все вижу, тело мое сияет и освещает земное чрево.

– Ты сыта?..

– На сегодня Богу кланяюсь, выжила.

– Значит, есть в тебе еще сила.

Господи. Господи. Надо быть сильной. Господи, какой же надо быть сильной в этом мире. Не умереть на войне.

Сражаться. Зачать, выносить и родить дитя – среди страха, мрака, смрада и голода, среди ужаса прощать и жить. Любить – в сердцевине ненависти. Когда тебя гонят взашей, толкают в спину; когда за тобой гонятся, тебя ловят как зверя, распинают, как Исуса или Кифу. Он, Черный, хохоча многозубо, выпрастывает из-под черных крыльев руки с когтями, коих не видно.

Хватай меня за руки! Схватила. Теперь борись со мной! Борюсь. Сколь хватит сил. Их может не хватить. Тогда дело плохо. Ты живешь лишь потому, что умеешь и можешь со мной бороться. Я положу тебя на лопатки! Попробуй. Я наступлю тебе ногой на горло! Попробуй. Много кто пробовал. Ты женщина. Я дьявол. Я знаю ход к женщине. Он короткий. Он пахнет апельсином и лавром. Он пахнет солью и розой укромного места на женском теле. Ева сорвала яблоко, чтобы накормить Адама. Ты все врешь! Ты врешь, что это ты соблазнил меня. Что заставил съесть яблоко. Что мы под твоим зловонным дыханием голые легли и соединились в конвульсиях наслаждения и голода на горе всем живущим. Врешь. Это я. Я сорвала яблоко САМА.

Я СОРВАЛА ЯБЛОКО, ЧТОБЫ НАКОРМИТЬ ГОЛОДНОГО МУЖА СВОЕГО, СЛЫШИШЬ?!

Мы сцепились не на жизнь, а на смерть. Повсюду стояли снега, снега. Ты, диавол, навертел на шею земли бусы из костей тобою убитых. Я тебя поборю. Я слажу с тобой. Это я-то не слажу! Ты обречен. Ты приговорен.

Это ты обречена.

Господи, помоги! Принадлежу Тебе!

Ты принадлежишь мне. Смотри.

.....я сжевала давным-давно твою горбушку, охранник. Века назад сгрызла. И это мое отощавшее, кожа да кости, тело, сходное с оглоблей, волокли на расстрел к оврагу. И это меня сбрасывали в черную шахту, в заброшенную штольню, и я орала, падая, а внизу, в дегтярной непроглядной черноте, с переломанными голенями и ребрами, пела песни детства, молитвы и псалмы, чтобы бесконечным пением, как царь Давид, поддержать и укрепить угасающий дух.

Черная яма. Черный зев земли. Человек человеку волк. Я волчица, я дочь царя Волка. Я не прижилась в человечьей стае. Она выгнала меня. Она выбросила меня и на этот раз.

Мотив Осмогласа, горячий, как масло на огне! Я его пою. Я – из ямы – подъяв голову вверх – обратив лицо свое из земного нутра, мрачного взрезанного брюха, к поверхности земли, туда, к свету, куда надлежит мне, прободав мрак и ужас, вылететь хлещущим воздух окровавленным телом в новых, неведомых родах – пою! Пою! Вою песню свою! И песня торжествует! И из ямы, от меня, от моего затылка, вверх, поднимается горячий свет! Золотой свет жизни! Земля, роди меня! Вот я свернулась клубком в твоем черном чреве. Вот я похоронена при жизни. Судороги голода сводят мое тело. А дух мой победно выходит в широкой песне. Меня убили за веру. За любовь. Я крестилась как хотела, как заповедано было, и я любила, кого хотела, кого мне назначено было. Не вонзай когти, диавол, мне в веки, в уши! Глотку не раздирай зубами своими! Ты еще не знаешь, диавол, я живуча, как кошка. Я все равно буду видеть, слышать и петь. Пророчествовать. Кричать, когда другие молчат. Убери свои лапы. Не рви меня!.. не наваливайся... не хочу... не...

– ...и забудут болярыню Федосью, ибо она призрена Господом была, а для людей утрачена: житие ея завершилось для мирских свидетелей, изничтоживших и поругавших ея, в вонючей яме, и нашли якобы останки болярыни, от невкушения пищи преставившейся; кости опознали стражники, к ямине приставленные, и митрополит, бывший на допросах болярыни; на деле не так случилось. Переселена была душа ее Господом, многажды возлюбленным ею, в нищенку Ксению, молившую подаяние на рынках столицы, на торжищах, ярмарках и пристанях, и стала болярыня зваться Ксенией, и продолжила ход свой по зимнему граду, храмному и первопрестольному, и по иным градам и поселеньям; а в яму Господь положил, чтоб не прознал о подмене народ догадливый, скелет лошаденки, вяленую рыбу воблу, перья ощипанной утки, отломанную от корня ботву. И так пошла Ксения дальше, дальше по земле, слагая песни, излечивая немощных, и недужный люд плакал и припадал

к дланям и стопам болярыни, прося излечения, воскрешения и любви. Посреди ненависти, по снегам злобы шла болярыня и плакала: доколе, Господи возлюбленный мой, пребудет на земле, среди людей, страдание?! Дотоле, отвечал ей возлюбленный Господь, доколе люди не искупят грех первородный. Съеден был плод, и выпита чаша; сладко елось и пилось, да ответ приходится держать. И все держат его. Нет пощады никому. Нет пощады. Нет.

Священник утер рыжую бороденку, погладил слушавших его детей по головам. Сунул руку под рясу, вытащил флягу, отпил из нее, отдышался, порозовел.

– Батюшка!.. батюшка!.. а знаете, батюшка, там, около мыловаренного завода, в ручье, на краю оврага, тетка одна лежит!.. Мы думали – утопла... а голова-то у нее на берегу, и дышит она!.. Так тихонько, слабо, но дышит... Мы ей веточкой ноздри щекотали. Она очень худа, ужас как!.. костлява... Она со вчерашнего дня там лежит... Может, вынуть ее из ручья да к Сережке кривому отнести?.. у него мать добрая, вы́ходит ее...

Дети загудели, засвистели.

– Может, она и есть... болярыня...

– Сам ты болярыня!.. На машине ехали, пьяную скинули, на обочину выбросили... ветер – по склону – в ручей откатил...

Розовость сбежала с лица священника, любителя возлияний. Вот так рассказал он детям сказку про болярыню. Вот так зажег звезду.

К вечеру, запасясь полотенцами и ремнями, они пришли к ручью. Бродяжка лежала в воде без движения, затылок на песке, лицо обращено к небу. Грудь тихо поднималась. Дети и священник вытащили ее из воды, отжали странную одежду, состоящую из мешка, накинутого на голое тело, обрывков цветного искристого люрекса и лоскутьев шкур волка и росомахи, обтерли полотенцем лицо, руки и ноги. Соорудили из полотенец и ремней носилки – и так понесли ее, через весь город, через заводы, плюющие дымами, через каменные печи угрюмых слепых домов, через торжища, где в киосках и над лотками скалились накрашенные густо, в золотых серьгах, бабы, через козьи рога

мостов, перекинутых через грязную нефтяную речонку, через рои людей, черно и бестолково клубящихся, им было все равно, кого несут, зачем и куда, ни разу никто не спросил детей и священника, чье это тело, не помочь ли, не надо ли врача, не к нам ли занесете, нет, лучше к нам, у нас уход добрый, у нас ей лучше будет; никто и не повернулся из толпы в сторону печальной процессии, никто не потревожил шествия.

ВИДЕНИЕ АВВАКУМА

Зачитали и мне золотой приговор.
Виноват, – худоребрый, расстрига,
Знаю: будет мне яма и мощный костер,
И желаньем последним – коврига.

Я старик. Лоб от мыслей бесценных распух,
От сияющих – в кровь – самоцветов.
Виноват, что любил и за трех и за двух.
Что с исподу провидел планету.

Я пророк и безумец. Что, страшно им быть
На земле, где не реки, а плети,
Где, в снегу умирая, выл Ра́спятый: «Пить!..» –
А Его били ка́мнями – дети?!

Где оружье – в подпольях; где хлеб – жабий яд;
Где соврать писчим дьякам – что дунуть;
Где на стервах в ночи ожерелья горят:
Низок-россыпей – некуда плюнуть!..

Гибнет мир во снегах!.. Гибнет в горе и лжи.
Воздымаю двуперстие круто.
Ты, палач, мне веревку с ухмылкой кажи,
Коей скрутишь меня чрез минуту.

Все равно – о, доколь меня слышит народ,
В кучу сгрудился близко кострища,

Разеваю для Правды свой яростный рот,
Непотребный,
сверкающий,
нищий!

Только Правду голодным я людям скажу.
Прохриплю, заглушая обманки.
А костер подожгут – бородой укажу
На разгул занебесной гулянки.

Эх, пляшите вы, звезды!.. Проткнем брюхо звезд!..
Эх, сыграем вселенскую пьянку!..
Мне обмажет все тело огня лисий хвост,
Душу вывернет крик
наизнанку.

Будут перстни сдирать – и в кострище бросать.
Головешки ступней станут: лалы,
Изумруды... Народ! Гей ты – петь и плясать!
Пить из горла бутыли – смоги устоять! –
Сласть базара, да смолы причала!

Пить из горла – до дна – век, что горькую ртуть,
Век, настоянный весь – на обмане...
Перекинется пламя с коленей – на грудь.
Шайка выплеснет в огненной бане.

Борода вспыхнет ярко, подобно ножу!
Задеру я лицо в Божье небо!
Только Правду голодным, лишь Правду скажу –
О цене их посмертного хлеба.

...и зависнет голубка во звездной пыли
Над скелетом горелым и диким –
Над последним пророком несчастной земли,
Душу выславшим в огненном крике.

Нижегородский почерк

Егор ЧЕРКАСОВ

ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ

Глаза этого ребенка видят совсем другие «фотографии». Он мечтает о своем «фотоальбоме», где будет размещен его мир. Забавный ребенок. Имеет свое самостоятельное мнение. Практически на все. У него вообще все свое. Непохожее на взрослых.

Запись из личного дневника

Глава 1. Детский альбом

Мой альбом любит только мама. Я не люблю. Да и за что его любить? Пару раз просил маму сфотографировать, как я надул пузырь из жвачки, – не стала. Как я на голове стою – не захотела. А у ворот детского сада сфотографировала. С тетей Зиной сфотографировала. А с тетей Зиной я вообще фотографироваться не люблю. Потому что она врет все время. Врет, что я быстро расту и уже чуть ли не на ее глазах вырос. Зачем такое ребенку говорить? Ведь я себя-то знаю и каждый день вижу!

Постоянно заставляют улыбаться. А я не люблю улыбаться. А зачем улыбаться, когда тебе невесело? Мама говорит, что для истории. Но я же буду помнить, что мне тогда было не весело, а грустно. Так какая же тогда у меня история?!

Не люблю фотографироваться со всей группой из детского сада – не люблю, и все. Мама на утреннике всю

пленку израсходовала на ерунду какую-то. Дала бы лучше фотоаппарат мне. Я-то знаю, что фотографировать. Вот, к примеру, соседскую собаку. Как она в прошлый раз за кошкой Шуры-то беззубой гонялась! Вот это интересно. Как я с дерева в снег прыгал – это интересно. Как горка растаяла – тоже ничего. Как дядя один дядю Мишу бил за то, что тот пьяный уснул за рулем машины и аварию сделал. Столько бы кадров можно было наснимать! А как у Сеньки зуб выпал! Ведь никто не подумал это сфотографировать! А что, у Сеньки так много зубов?

Вот так я бы забил альбом нужными фотографиями. И когда грустно бы мне было – обязательно его смотрел. А то мама смотрит альбом и смеется. А мне, вот честное слово, не смешно. Поэтому детский альбом – это для мамы. Не для детей это.

Глава 2. Я знаю, почему умерла Люська

Меня разбудила утром бабушка. Она посмотрела на меня очень серьезно и сказала, что Люська умерла. Потом спросила, расстроился ли я. Я сказал, что не расстроился, потому что знаю, отчего Люська умерла. Бабушка удивилась и спросила: «Отчего же, милый?». Я знал, отчего, и сказал, что смерть наступила оттого, что она съела попугая у бабы Алевтины. Бабушка рассмеялась и ушла на кухню. Я же стал быстро одеваться. Ведь не мог я пропустить похороны почтенной кошки.

Кошка и впрямь была почтенной. Ее кормил весь подъезд. А кошке этого достичь не так-то просто. Вот представьте: вы сейчас кошка. И что вы будете делать?

А она знала, что делать. Для того, чтобы поесть сытно, она никого не обижала, ходила в туалет на улицу, не разбрасывала еду по подъезду и, когда ее хотели погладить, – всегда давала себя гладить. Вот так надо вести себя кошке!

Сначала я пошел к тете Зине. Та, представляете, даже и не знала, что кошка умерла! Я, можно сказать, вовремя ее предупредил. Дальше я не стал тратить время зря и пошел к бабе Клаве. Та тоже ничего о смерти кошки не знала. Я был просто в панике. Побежал к Шуре беззубой. Но та

уже все знала, потому что кошку мертвой первая нашла она. От Шуры я узнал, что кошка умерла от старости. Ерунда! Я сам видел, как она попугая у Алевтины съела. А попугай был вредный. А таких есть нельзя. Такие сами умирают. А вредный он был потому, что когда я ему семечки давал покушать, он шелуху от них из клетки своей мне в лоб выплевывал. Бабушка говорит, что его Бог наказал. Я тоже теперь так думаю. Но и кошку Бог наказал. Не знаю, за что. Если бы я был Богом, то непременно воскресил бы кошку, а попугая нет. Хотя… может, из жалости и обоих воскресил бы.

У Шуры я спросил, когда будут похороны кошки. Та сказала, что меня непременно позовет и мы все с ней простимся. Я ждал несколько дней. Но Шура меня не позвала. Потом бабушка мне сказала, что детям такое смотреть нельзя было, что кошку отнесли на обрыв за домом и в пакетике схоронили. Я был в ужасе! Ей даже не сделали гроб. С бабушкой я не разговаривал до обеда. И все это время вспоминал Люську. Потом подошел к иконе Спаса и попросил от чистого сердца, чтобы Люське в раю было непременно хорошо. Потому что ее весь подъезд любил и ничего ей плохого не желал. Попугаю – желал, потому что тот орал из окна. А кошке – нет.

Бабушка говорила, что Бог все слышит. Что детей он слушает особенно внимательно и всегда исполняет их просьбы. Поэтому за Люську я больше не переживаю.

Глава 3. Как у Сеньки зуб выпал и как мы с дерева прыгали

История Сеньки была непростая. Раньше у него вообще зубов не было. Это он так говорит, потому что ему это сказала старшая сестра, а ей эту историю передала мама, а маме – бабушка, наверное. Поэтому я ему поверил. Но потом Сенька начал есть все, даже колбасу, и зубы у него из-за этого начали расти. И росли они у него быстро. Это ему папа сказал. А он у него военный. Он не может врать!

А потом Сенька согрешил. Он конфеты новогодние ел, а мама ему запретила. А чтобы она ничего не поняла, он

у конфет фантики выпрямлял и закручивал, как будто там конфета есть. Разворачиваешь фантик – а ее нет. А за грехи Бог всегда наказывает. Вот, как сказал Сенька, его Бог и наказал. И наказал двумя зубами. Они-то у него и выпали. Один у него выпал ночью, как Сенька сказал, он его проглотил во сне. Его даже к врачу водили, потому что у него живот болел после съеденного зуба. А потом ему еще прививку сделали и в зоопарк сводили. Но это потом уже было.

А второй зуб он при мне вытащил. Мерзкий такой, с кровью. Прям фу, а не зуб. Сенька еще долго мне его показывал и через дырочку от него кровью плевался. Зуб у него шатался, и он ждал, когда я к нему в гости приду, чтобы зуб этот вытащить наконец.

Крови было много. Мы даже с Сенькой сначала попытались вставить зуб на место, чтобы этот ужас прекратился. Но зуб выпадал, словно чужой. Как будто он вообще не у Сеньки рос, а у Шуры беззубой. Но мы-то знали, что это Сенькин зуб. У Шуры они не белые, а желтые и по бокам черноватые. С трещинами и длинные, как у дракона. А у Сени зубы белые, потому что молочные.

Зуб мне Сеня потом еще долго показывал. Много времени он у него был в специальной тряпочке для остальных зубов. А потом мама его убиралась и тряпку с зубами выкинула. И больше мы с ним его зубов не видели.

А с дерева мы здорово прыгали. Сенька тогда на ноги неудачно приземлился, и ноги его в коленях согнулись. А голова его об колени и ударилась. Тогда Сеня еще один зуб потерял. Но в снегу мы его не нашли.

Глава 4. Помню: мама ночью плакала

Мама тогда ночью не спала. Она дядю Лешу ждала. А он раньше к ней все время приходил, а потом ходить перестал. Дядя Леша хороший мужик был. Если меня в садик отводить – это дядя Леша с утра делал. С балкона плевать и птиц кормить меня тоже он научил. Я даже вместе с ним машину водил, а его потом оштрафовали за меня. Дядя Леша все на юг ездил и мне оттуда фотографии привозил. Тоже, кстати, неинтересные. Все море на них было изображено и палатки с пивом. А еще две пальмы. Больше

ничего. Да, кстати, пиво меня отучил пить тоже дядя Леша. Большое ему спасибо. Хотя тогда я его еще ни разу не пробовал, но он мне пить пиво строго запретил. А когда я спросил, почему, тот показал на свой живот и сказал: «Вот почему!»

Хороший он был, дядя Леша. А потом к нам ходить перестал. И мама платье мое любимое сразу надевать перестала. И краситься. Хотя все женщины красятся. А моя мама перестала.

Я тогда ночью тоже не спал. Мама молилась и плакала. Поэтому я не мог заснуть. Мама увидела, что я не сплю, поставила меня к иконам и попросила, чтобы я за дядю Лешу и за неё помолился. Я, конечно, не хотел молиться за дядю Лешу. Ведь ему можно было бы просто позвонить и узнать, где он. Позвонить и позвать к себе. Но мама до этого не додумалась. Пришлось за дядю Лешу прочитать «Отче наш». За маму я охотно молился. Чтобы у нее на работе все было хорошо, чтобы завтра она поела плотно, чтобы в пробке в автобусе не стояла. Чтобы бабушка завтра ко мне водиться пришла, чтобы соседка Шура жива была. В общем, неплохо помолился я и пошел спать. А мама все плакала и не спала.

Я привстал с кровати и заявил ей, что дядя Леша пущай к нам больше не ходит, что у нее есть я. И это больше, чем дядя Леша. А она тогда прижала меня к груди и еще больше заплакала. И все шептала мне на ухо: «Не надо так про папу говорить! Не надо!»

Глава 5. С бабушкой в церкви и почему по утрам я не люблю Бога

Бабушка сказала, что в воскресенье мы с утра пойдем в храм. И, конечно, в субботу вечером я согласился. Но когда наступило воскресенье, рано утром я подумал, что мог бы сходить в церковь, ну, к примеру, в понедельник. Или во вторник. Я удивился, когда узнал, что в церковь люди ходят и по вечерам. Я спросил у бабушки, почему мы пошли утром. Она ответила так:

– Что, ножек своих потоптать для Господа не хочешь? Встать рано для него не желаешь?

На что я ответил:

– Нет, не хочу. И вообще, для него по утрам ничего делать не хочу. Пускай до вечера ждет. Ведь он Бог, а я – ребенок! Ему не стыдно не давать мне спать?!

После такого ответа бабушка сразу начала креститься.

Утренний Бог злой. Он заставляет людей не высыпаться и ходить к нему рано-рано, чтобы просто помолиться, а потом весь день хотеть спать. Вечером у бабушки заболела голова. Она сказала, что заболела, потому что не выспалась. А не выспалась она из-за Бога, который ее поднял в шесть утра. И меня он поднял в шесть утра. И теперь я тоже не выспался. И у меня тоже болит голова. И вообще, все в храме спят на лавочках и не молятся. А кто-то зевает во весь рот. Почему мы все пришли сюда? Почему Бог хочет нас видеть в семь утра? Он что, не знает, что земляне спят в это время?

Глава 6. На исповеди

Взрослые много грешат. Потом идут каяться по утрам. Потом снова грешат. Потом опять идут каяться. Я бы перестал на их месте грешить, чтоб хотя бы не вставать в шесть утра. Боженька просыпается раньше грешников и уже утром готов их всех слушать. Ну и работа у него!

Бабушка говорит, что родился – это уже грех и как только родился – всегда грешишь. И всегда стыдно за это тебе быть должно. А если мне не стыдно? Если я даже не знаю, что я сделал, а мне уже стыдиться надо за то, за что еще не стыдно? Странные какие-то взрослые и их Бог. Лучше бы я не рождался – потому что уже грешен. Тогда и мама согрешила тем, что меня на свет «появила», чтобы я грешил. Надо не рождаться, чтобы не грешить. Только так, и не иначе. Странно все это.

– Батюшка, а если я не согрешил? Если мне не стыдно?

– Такого не бывает, мой дорогой. Всегда за все стыдно. За то, что сделал, и за то, что не сделал.

– Так мне, может, заранее стыдиться? Ведь я еще не сделал того, за что стыдиться. А тут заранее за все стыдно: и Богу, и тебе хорошо.

– Богу нужны слезки твои, дитя, и раскаянье. Сердце сокрушенно и смиренно Бог…

– Не получается, батюшка!

– Что, дитя?

– Плакать, батюшка. Только если мне болячку на ноге сковырнуть…

– Так! Ладно! В чем согрешил?

– Согрешил, батюшка.

– В чем, я тебя спрашиваю?

– Бабушка сказала, что я телевизор много смотрю.

– Так это же прекрасно, дитя… ну, то есть, вот он – первый грех твой!

– Нет! Бабушка сама мне его включала и уходила болтать с Анной Семёновной с четвёртого этажа! Сказала, что за дрожжами, а сама целый час болтала!

– Хм… хорошо. В чем еще согрешил?

– Бабушка сказала, что я врун.

– А ты врешь?

– Нет. Я фантазирую. Дети не врут, батюшка.

– Так-таки и не врут?

– Не врут. Бабушка сказала, что я ангел. Все дети ангелы, батюшка.

– То есть ни за что не стыдно?

– Стыдно. За дождевого червя стыдно…Почему вы смеетесь?

– Нет, нет. Это я так… Так что же с дождевым червем?

– Я его перестал кормить. Раньше по куску пирога да приносил, а сейчас… как он там, сам по себе… Батюшка! Я спросить хотел. Гиена огненная – это та самая гиена, которая в Африке живет? А почему ее все грешники боятся? И почему бабушка боится, и я должен всегда помнить о ней?

– Ступай, милый. И ничего не бойся. Господь с тобой.

Батюшка поцеловал меня и дал мне крестик поцеловать. Это я люблю, Господа целовать.

Глава 7. Болею

Болею. Горло болит. Сказал врач, что неделю буду лежать. Что хорошо в болезни – это шоколадка, которую

мама принесет с работы! А еще мультики днем. А еще, когда бабушка книги читает, а еще, что маму с работы можно из окна встречать и махать ей рукой.

Что плохо в болезни – так это таблетки. И лежать всегда надо. Но у меня же горло, а не нога болит! А еще плохо, что на улицу не пускают. Рано надо спать ложиться и мороженое нельзя. А что еще плохо в болезни, это когда ты думаешь, что все плохо, и все на тебя смотрят и вздыхают, как будто ты умер. И ты на них смотришь, и самому плохо, аж слезы текут. И так плохо, как будто тебя не любит никто, а хочется, чтобы любили…

Глава 8. Самая страшная тайна

У Сеньки есть друг. Он меня старше на пять лет. Ему десять. Он уже взрослый молодой человек и носит портфель с тетрадками в школу. Он говорит, что в его возрасте надо учиться, а не балбесничать, потому что он умный становится от учебы. А я на него смотрю и думаю: все равно как был дурень, так и остался!

Но однажды Сенькин друг, Миша, тот, кого я дурнем считаю, поведал нам с Сенькой страшную тайну. Мы аж сели в песочницу от того, что услышали. Он заявил, что я и Сенька вообще родились не из животиков своих мам, а из других мест. Откуда, он так и не сказал, но заявил, что нас с Сенькой наши мамы обманывали и не говорили нам самой настоящей правды. Я сказал, что моя мама не может мне врать. Но он только улыбнулся и ушел, сказав напоследок, что с малявками ему нечего делать и доказывать нам правду о нашем рождении он не станет, потому что времени у него мало и он пошел уроки учить. Вот тогда мы и поняли, что Мише нет смысла нас обманывать. Но вот из каких мы мест родились у мам наших – это осталось для нас большой тайной. Раскрыть ее я не смог. Сенька сказал, что тоже не знает, как ее раскрыть. Потом я подумал, что стоит об этом спросить у бабушки. Быть может, она знает…

Глава 9. Почему охает бабушка, плачет по ночам мама и почему я не хочу быть взрослым

Бабушка охает. Порой целый день. Ходит по кухне и охает. Потому что постоянно болеет. А болеет из-за грехов. Это она так сказала. Когда она успевает грешить? Ведь каждую неделю в воскресенье она грехи замаливает и за неделю снова набирает. А Бог… он постоянно наказывает ее. Нет бы простить! Ведь она все равно в воскресенье придет и опять расскажет ему о своих грехах! Но он ее злостно наказывает. Ему нравится издеваться над ней. А ей приходится ему молиться. Иначе будет совсем плохо.

Еще бабушка охает, когда я ей мешаю сериалы смотреть. А еще она охала, когда я ее просил тайну раскрыть, которую мне и Сеньке Мишка поведал. Так и не рассказала тайну. Видимо, она есть!

Еще бабушка охает, потому что дедушка пил и умер от этого. Но я его не видел – я не помню его. Бывает, она охает от пенсии и старости. Старость – это когда лицо обвисает и тити. Так и произошло с бабушкой. Она стала старушкой. Пенсия у нее стала маленькая. Но и большой она не была. В общем, кушает она мало, думает о смерти и кожа у нее не становится, как у меня. Бегает бабушка плохо. Я ее быстрее. Она переживает за меня постоянно, я даже не знаю почему. И всегда плачет. Говорит, что ангелочек я, и плачет. А себя «старой дурой» называет. А я ее бабушкой зову. Так привычней.

Бабушка блокаду пережила. Она говорила, что сильно голодала и теперь по-другому к еде относится. И к людям вокруг. А еще у нее муж умер, и другой умер. Это очень непросто. Она мне сказала, что когда я буду старым, то буду камни собирать и переживать за сделанное раньше в своей жизни. И буду горько обо всем жалеть и Бога просить о прощении.

Мама плачет, потому что дядя Леша – козел. Это не я сказал, а бабушка. А еще мама ему деньги должна и кредит – я ничего в этом не понимаю. Но она платит куда-то большую денежку каждый месяц. Мама плачет, потому что

она никому не нужна, кроме меня. По утрам она встает, и у нее лицо, вспухшее от слез. Мне ее жалко.

А еще мама плачет из-за работы. В кризис ей не платят зарплату. Она сходит с ума и много работает за компьютером. Ночью работает, пока я сплю. У неё болят глаза, и у неё ещё много чего болит. Это из-за того, что она меня родила. Животик ей резали, и теперь он болит.

Из-за того что я маленький и зарплата у мамы маленькая, она всегда меня просит, чтобы я быстрее рос. Для этого я ем много каши. Ем яички, ем суп. Делаю зарядку по утрам. И мне кажется, что скоро мама перестанет плакать, только… я хочу вырасти… и не хочу. Хочу, потому что мама велит расти. И потому, что Сенька скоро вырастет и станет, как Миша. А я что же, буду маленьким всю жизнь?! Так не годится. А не хочу я вырастать, потому что не хочу быть, как мама и бабушка. Не хочу болеть, стареть, не хочу отвисшую кожу и тити. Не хочу видеть, как люди умирают. Не хочу болеть и просить прощения у Бога, который постоянно будет меня наказывать. Не хочу сам умирать. Не хочу плакать и охать, не хочу, чтобы меня обманывали другие люди, как маму. Не хочу платить деньги никому и не хочу голодать, как бабушка. Не хочу воевать. Не хочу делать то, что не хочу, делать, потому что так надо, потому что я взрослый. Не хочу жениться. Мама говорит, что женюсь – и забуду ее. Чтобы маму не забыть, никогда не буду жениться. Мама же больше не выходит замуж, и даже дядя Леша не приходит. Вот и я буду с мамой и не буду никого водить к себе домой.

Не хочу врать. Хочу фантазировать. Не хочу исповедоваться, когда мне хорошо, и с утра не хочу ходить в храм. Не хочу терпеть много, как бабушка, потому что так надо. Мне нравится гулять, прыгать с качелей в песок, рисовать мелками, делать кувырок вперед, дразнить Павлика (он такой глупый – все это знают. А еще он камнями в окно Шуре беззубой кидал), смотреть, как горит откос в парке летом, прижигать зажигалкой мошек, когда они на балконе на стекло садятся. Я хочу прыгать на скакалке, играть в прятки и всегда побеждать. Хочу кататься на собаке Чарли, когда она к нам во двор заходит, хочу есть мороженое и не болеть. И я еще много чего хочу. Я – ребенок. Я не хочу

плакать и страдать. Дети не страдают. Страдают только взрослые. Это как когда-то я ветрянкой болел: мне – ничего, а маме было очень плохо!

Глава 10. Свой фотоальбом

Я все равно стану взрослым. Мне так сказали все. И батюшка, и дядя Леша, и мама, и Шура беззубая, и бабушка. Это не избежать. Когда я вырасту – куплю себе фотоальбом. И буду туда фотографии помещать. Но не такие, как у мамы в альбоме, где я себе не нравлюсь, а такие, которые мне будет интересно смотреть.

Вот, например, фотография, где мама улыбается. У мамы мало фотографий, где она улыбается. Мама вообще последнее время мало улыбается. А у меня в альбоме будет! Хочу найти фотографию, где бабушка молодая и кожа у нее не висит, как сейчас. Будет красивая фотография. Хочу себя с Сенькой сфотографировать и с тетей Валей – нашей воспитательницей. Она помогала нам домик строить из песка – она нас любит, она хорошая. Хочу сфотографировать всех с улыбками, всех довольными и счастливыми. Дать всем по конфете и сфотографировать. Хочу, чтоб в моем альбоме не было дяди Леши. Он доводил маму до слез. Из-за него она платит денежки и лежит сейчас в больнице. За это в моем альбоме его не будет.

В моем альбоме все будет хорошо, а не как у взрослых. Им всегда стыдно за некоторые свои фотографии. И они говорят гостям, которым дали альбом свой посмотреть: «Ой! А это и смотреть-то не надо!» В моем альбомчике будет солнце (я-таки прищурюсь и его сфотографирую), будут фотографии, где я с обезьяной на море, будет наша первая собака, будет снеговик, которого мы лепили этой зимой, будет первый снег. Будет зуб Сеньки (хоть и на фотографии), зубы других моих товарищей, чтоб им обидно не было, будет первая моя машина. Туда я помещу всех и все хорошее, что мне нравится. Там буду я! Всегда таким, какой я есть, – маленьким, а не взрослым!

Михаил ПЕСИН

СРЕДИ КАНАВИНСКИХ ЗАДВОРОК

Судьба никогда не открывает одной двери, не захлопнув в то же время другой.

Виктор Гюго

Вы, должно быть, подумаете, что такое могло произойти только в Одессе? Так я вам так скажу: не поручусь за другие города почившего СССР, но в городе Горьком – было.

Если кто не знает, город этот, пятьдесят восемь лет носивший псевдоним пролетарского писателя Алексея Пешкова, с 90-х годов прошлого века вновь стал именоваться Нижним Новгородом, продолжая при этом стоять на Дятловых горах, горбатящихся у слияния двух рек. Именно там, где, собственно, и был «царственно поставлен» в начале тринадцатого столетия князем Георгием Всеволодовичем. Знающие люди говорят, – в качестве опорного пункта обороны границ Владимирского княжества от проживавших окрест малых народов: мокши, эрзи, марийцев и волжских булгар, видимо, посягавших на его независимость.

Ну, если говорят, стало быть, так и было. А устроил я этот исторический экскурс лишь потому, что, где находится Одесса, знают все. Хотя бы из песни Утёсова. А вот нижегородцев (особенно усердствуют в этом москвичи) почему-то упорно называют новгородцами. Оно, конечно, Новгород тоже ничего городок – и Великий, и «отец горо-

дов русских», только нам это не интересно. Хоть и на одни буквы начинаются, а ихний Волхов нашей Волге – не чета. Как говорят всё в той же Одессе, четыре больших разницы.

Вы спросите, при чём тут Одесса? А и впрямь: где та Одесса и где этот Нижний?!

Тогда – что?

А то, что в Нижнем, то есть бывшем Горьком, на левом берегу впадающей в Волгу реки Оки, расположилось Канавино. Старинный рабочий район, со всеми присущими такому району атрибутами: заводами, фабричками и покосившимися одно-двухэтажными домиками с «удобствами» во дворах, тянущимися вдоль кривовато-грязных улиц. При этом данный район в центре своём был «унавожен» наличием Московского железнодорожного вокзала и… Центрального рынка!

Ну и что?

А то, что в те послевоенные сороковые–пятидесятые годы прошлого века, о которых пойдёт речь, на нескольких канавинских улочках, с одной стороны непосредственно примыкающих к упомянутой злачной парочке «базар – вокзал», а с другой естественным образом перетекающих земляными потоками своих булыжных мостовых в прибрежные окские пески, жили, наряду с немногочисленными семьями русских и татар, бежавшие от фашистов из Украины и Белоруссии евреи.

– Фима, *а цудре́йте коп* («безумная голова» – идиш), не забудь уже надеть на неё шапка! Глупости в тебе и без менингитов хватит до могилы, чтоб ты жил сто двадцать лет!

– Сёмочка! *Их хоб кейн ко̀йех* (у меня нет сил), пожалей больное сердце бабушки, слезь с этот самасшедший забор, или оно сейчас разлетится на кусочки, чтоб врагам нашим такой *на́хес*! (достаток, благополучие)

– *А брох цу дир* (чёрт тебя побери), Роза Мирзоевна! Что это за новости: так задурить *а коп* детям, будто этот малолетний бандит, ваш Рафик, и наш Нёмочка, чтоб он был здоров, чуть ли не близнецы-братья (тьфу-тьфу-тьфу, *нит ге́бен а гот* (не дай бог), конечно)?! И что, что вы тоже *ӭсэн нит хазе́йре* (не едите свиное) мясо, а Рафик ходит с обрезанным *по̀цем*? Аллах с вами и *це́пезех оп* (отстаньте)

от нашего Иеговы *цузамен мит у́нзере ѝнгэлэ* (вместе с нашим мальчиком)!..

Вся эта нелепая смесь русского с идишем неслась из окон, калиток, с околозаборных лавочек, а то и вовсе с середины песчано-булыжной дороги (благо в те времена машины по ним ходили крайне редко) и, само собой, с младенчества вливалась в уши Моти.

И кто эта Мотя?

Мотя, или Матвей, – герой нашего рассказа. Он был отпрыском большой еврейской семьи, объединяющей помимо родителей двух бабушек – Нюру и Этку, двух дедушек – Мойшу и Менделя (правда, первый был прадедушкой по папиной линии и к моменту нашего повествования обоих уже не стало, но всё же), двоюродной бабушки Блюмы и её сестры Баси (война год за годом забирала у неё трёх сыновей и мужа, отчего, почти обезумевшую, приютила её сестра) и, наконец, младшего сына бабы Нюры, папиного брата Бориса и его двоюродного брата, сына бабушки Блюмы, Руву, которых, в силу не слишком большой разницы в возрасте (каких-нибудь семь-восемь лет), Мотя воспринимал как старших братьев. Да! Совсем забыл! У Блюмы был, как теперь говорят, бойфренд – седой, сгорбленный старый еврей с длинной засаленной бородой, заскорузлыми пальцами чёрных от работы с металлом рук, которого, по причине навязчивого ухаживания за бабушкой, все называли Хо̀сен, что на идише значит жених. Хосен не был членом семьи, но, занимаясь починкой самоваров и чайников, почему-то лудил их в коридоре Мотиного дома, отчего коридор этот был постоянно задымленным и кисло пах припоем.

И вот весь этот кагал (за исключением жившей через улицу бабы Этки) размещался в трех маленьких комнатках второго этажа двухэтажного домишки, о котором хочется сказать отдельно.

Домишко – это если смотреть с высоты сегодняшних многоэтажек, всё нахальнее превращающих веками формировавшийся патриархально-купеческий облик Нижнего в среднестатистический современный мегаполис. Меж тем живший в этом домике в начале XX века весьма состоятельный коммивояжер, торговавший немецкими швей-

ными машинками «Зингер», очень даже им гордился. Да и было почему: на первом, каменном его этаже помещался салон-магазин, в стоящем рядом большом и опрятном сарае-мастерской эта чудо техника ремонтировалась, а на втором – деревянном – постоянно проживал сам Худяков с домочадцами. Помещение это, раскинувшееся во всю площадь дома, имело в своей передней части, выходящей четырьмя окнами на улицу, круглую чёрную голландку, в центре – великолепную изразцовую печку с латунными круглыми вьюшками, а в дальней, выходящей во двор комнате – скрывающуюся за легкой перегородкой большую русскую печь.

В этих шикарных условиях зингеровский посредник ухитрился пребывать довольно долго не только после октября 17-го, но даже и НЭПа. Однако настала середина 30-х и однажды летней ночью к его дому подъехала чёрная машина с людьми в чёрных кожаных пальто, и... Уже на следующий день состоялось заседание ЖАКТа (это были общественные работники домоуправления) с повесткой дня: «О заселении освободившихся жилплощадей». Заседание было открытым и происходило прямо посреди улицы Песочной, только что получившей имя советского дипломата Максима Литвинова. И, представьте себе, – хвала простым людям тех времен и тем нравам! – несмотря на то, что немало обитателей улицы проживало в стеснённых условиях (а многие ли тогда жили в иных?), они единогласно постановили отдать весь верхний этаж освободившегося дома № 36 многочисленной, включавшей тогда четырёх сыновей будущего Мотиного деда, семье, ютившейся в полуподвале дома № 40. Мало – постановили. Тотчас всем собранием ринулись в означенный полуподвал и перенесли, пусть небогатый, с не ахти какой мебелью, но всё-таки скарб одуревших от счастья новосёлов в, как им тогда показалось, «царские хоромы».

Но вернёмся к Моте. К моменту нашего повествования он оканчивал седьмой класс средней школы и, хоть парнишкой был неглупым, особым прилежанием, как равно и дисциплиной, не отличался. Да и немудрено. Работавшие с раннего утра до позднего вечера родители мало участвовали

в его воспитании, а на бабок-дедок, как на ничего в его жизни не смыслящих, он не только «рукой махал», но даже прилюдно всячески избегал общения с ними, стесняясь слишком явного подтверждения своего еврейства. Впрочем, «стесняясь» – слово, наверно, неточное. А что точно? Боялся? Чего? Что обнародуется его национальная принадлежность? Но это и так ни для кого из окружающих секретом не было. Как было сказано, в том «местечке», где жил Мотя, эвакуировавшиеся еврейские семьи составляли большинство. И всё же... Помнится, ещё в пятилетнем возрасте прибежал он домой зарёванный и, ткнувшись в мамины колени, истерически всхлипывая заорал: «Чего они меня жи-жидён-ком дразнят?! Ск-ка-жи, скаж-жи им, что я не из этих!»

Значит, что-то всё же ещё тогда царапало...

Не потому ли, едва из их окошка на всю «литвиновку» разносился крик тёти Баси: «Мòтеле, *а нáресе* (глупая) *коп*! Спеши уже домой *ёсен* (кушать), бандит малолетний! Урокэс опять *нит гéтан*? (не сделал) *Их алц* (я всё) родителям *зòген*! (скажу)», – он втягивал голову в плечи и, петляя, бежал в первую попавшуюся калитку?

Но главное... с некоторых пор Мотька внезапно оказался под покровительством Кардáна – шестнадцати- или семнадцатилетнего шалопая, успевшего уже получить азы криминального образования в малолетке и на всей территории района от Молитовки до Гордеевки державшего шишку. И перед ним, а скорее перед шоблой глядящей ему в рот канавинской шпаны, по Мотькиному разумению, он *должен был быть русским*.

Покровительству этому предшествовала следующая история.

Признавший Мотькино повзросление (или решивший этому поспособствовать) дядя Боря, ещё с минувшей зимы начавший брать племянника в походы выходного дня (в шестидесятые годы прошлого века в молодёжно-студенческой среде практиковалась такая форма активного отдыха, при которой бесчисленные группы туристов с пятницы по воскресенье бродили по маршрутам области), на этот раз уговорил его родителей отпустить сына в пятнадца-

тидневное путешествие. В так называемую «звёздочку», во время которой начинавшие свой маршрут из разных точек области тургруппы завершали его на одной поляне у «Большого костра». Об обилии впечатлений, восторгов, навыков и протчая, и протчая, которыми одарил Мотьку тот поход, говорить излишне. Но дело даже не в походе как таковом, в смысле путешествия по неизвестным местам.

Мотька с раннего детства едва ли не патологически не мог усидеть дома и лет с десяти регулярно из него убегал. Случалось, часов в пять утра, пока ничего не подозревающие домочадцы вкушали сладость последнего сна, вылезал он из ближайшего к забору окна на улицу и, в зависимости от настроения, шёл либо на «чугунку», либо на «финлянчик», чтобы уехать-уплыть куда-нибудь к чёрту на рога... ну или, пока его как безбилетного зайца не высадят на ближайшей станции. До позднего вечера, до последнего обратного рейса, бродил там Мотька, представляя себя то Робинзоном, то Чингачгуком, а то и Папаниным на льдине. Хуже того! Вернувшийся-таки к ночи в город, он, и не думая о возвращении домой, устраивался среди пассажиров, ожидающих поездов на площади у Московского вокзала, где на огромном экране крутили кинуху, и... смотрел, смотрел, смотрел – без разбору, всё подряд – пока не начнет светать, пока опустевший белый лоскут на столбах не вернёт его в реальность, в осознание того, что домашние, как это не раз бывало, уже обзвонили все больницы и морги... Тогда он срывался едва ли не с низкого старта, во всю прыть мчась в сторону дома, чтобы, свернув на свою улицу, споткнуться взглядом о маячащую в конце квартала одинокую, с белым даже на фоне белёсого утра лицом, фигуру отца.

Дальше с небольшими вариациями повторялась одна и та же мизансцена. Не говоря ни слова, отец, пропустив сына вперёд, доводил его до калитки, и, едва Мотька оказывался во дворе своего дома, здоровенная отцовская оплеуха обжигала мальчишечье ухо. Потом, уже дома, отец порол его: нервно, истерично, крича и распаляя себя руганью, иногда до такой степени, что вместо ремня (и без того не милосердствующего пряжкой) брал подвернувшуюся

под руку палку, и тут уже мама, подставляя руки под удары, бросалась на выручку орущему сыну, пеняя мужу: «*Гоб рахмонес* (имей сочувствие), Додке! Адиёт, ты же убьёшь *майне ингэлэ*!»

– И убью, у-убью! – в запале, задыхаясь от ярости, кричал отец. – Чтоб запомнил! Чтоб на всю жизнь... Чтоб... Я не знаю, что я с ним сделаю-у-у!!

– Папочка, миленький... Йя-йя не... не... не-е бу-уду бо-ольше-е-е!..

Постепенно отец выдыхался, его ладонь, железной хваткой сжимавшая рубашку сына, расслаблялась, и, почувствовав это, Мотька, сделав рывок вниз и в сторону, опрометью бросался в дальнюю комнату, запирая дверь на крючок.

В итоге Мотьку сажали под домашний арест («Чтоб из дома – ни шагу!»), а недели через две примерного поведения и торжественных клятв («Честно пионерское, последний раз!») прощение вымаливалось, и...

...часов в пять утра, пока ничего не подозревающие домочадцы вкушали сладость последнего сна...

Так что к «путешествиям по неизвестным местам» Мотька привык с детства. Тут – другое. В этом походе в тургруппе оказался некий Валерий – студент-третьекурсник, прекрасно (на Мотькин взгляд) игравший на семиструнной гитаре, а главное, певший у костра такие песни, которые ни по радио, ни во дворе не звучали.

Из окон корочкой несёт поджаристой...
Над дорогой смоленскою, как твои глаза...
Ты у меня одна, словно в ночи луна...

Окуджава, Визбор, Кукин, Высоцкий... Неведомые ему до того фамилии, строчки впервые слышимых песен холодным водопадом обрушились в Мотькин мало обогащённый культурой мозг, взбурлив его так, что ни о чём, кроме этих песен, желания петь их, самолично аккомпанируя на семиструнке, не мог он ни думать, ни мечтать. К слову сказать, гитара-то в Мотькиной семье как раз была. Ширпотребовский инструмент с красным бантом на грифе висел над этажеркой с книгами, и изредка, поддавшись на уговоры гостей, мама, обладавшая красивым голосом, ско-

рее всего, драматическим меццо-сопрано, пела некоторые из популярных в те годы романсов, типа «Очаровательные глазки», подыгрывая себе на нём каким-то своеобразным способом – ведя на первой, высокой струне мелодию, она в нужные моменты поддерживала ритм трезвучьем. Получалось что-то вроде: ля-ля-ля ум-ца-ца. Это было забавно, но Мотьку не увлекало. А вот Валерий...

– Дядь Валер! – чуть ли не с рассвета начинал канючить Мотька. – Научи... ну, покажи, как и где зажимать... И вот эту... «семёрочку» – как надо бить?..

Как это вытерпел Валерий? Как выдержали члены тургруппы бесконечное, нудное бренчание, осваивающего аккорды Мотьки, оставим за скобками. Важно, что на следующий после возвращения из похода вечер Мотька, появившись во дворе с маминой гитарой, с таким шиком выдал пару песенок, что привёл дворовую компанию в восторг. Особенно блестели глаза у девчонок, впервые обративших на него, прежде невзрачного мальчика внимание. Песенок, действительно, было выучено всего две. Первая, понравившаяся девочкам, была забойной и, исполняясь под «семёрочку», рассказывала о живущей за рекой Бабе-яге, которая «меня с тобою околпачила». А вот вторая, про зэков, которые «шли по трапу на борт в холодные мрачные трюмы», сразу глянулась Лёперу – жившему по соседству шпанёнку из кодлы Кардана, а впоследствии и тому тоже. Настолько глянулась, что буквально через день, когда по дороге из школы к Мотьке – в который уж раз! – начала было цепляться шобла с соседней улицы (без какого-либо повода: слово за слово, «чё на чё») и уже какой-то шкет подсел сзади, чтобы от лёгкого толчка в грудь Мотька полетел спиной на асфальт, внезапно вывернувший из-за угла Кардан, резко свистнув в два пальца, гаркнул: «Горох-майдан, гавша! Закрыть бòталы и слухать сюды! Щё раз кто покатит баллон на пацанчика – закопаю!»

Особым шиком для себя Кардан считал употребление в речи шпанских, усвоенных в малолетке, словечек, называя это «по фене ботать». И хотя в тот момент значения их Мотька не знал, смысл и ему, и прицепившемся было, но моментально сиганувшим в разные стороны шпанятам

был понятен. Кардан же, смачно цыкнув-сплюнув сквозь зубы, к Мотькиному удивлению, весьма миролюбиво попросил его спеть «ну, ту самую, про зэков на пересылке».

С того дня жизнь Мотьки круто изменилась. Во-первых, получив кликуху (или, как сказал Кардан, погоняло) Маэстро, что немедленно разнеслось по всему Канавину, он стал свободно, не боясь быть избитым, гулять даже среди ночи и в самых криминальных закоулках района. Впрочем, не сразу. Дня через два после попадания в Карданов фавор довольно поздненько возвращался Мотька с традиционного шатания по центральным канавинским улицам, которое они со школьными друзьями Кнэпом и Таждином называли «прошвырнуться по Бродвею». За спиной весело погромыхивала ставшая уже неразлучной мамина гитара, в голове крутились куплеты только что разученных новых песен... Когда до дома оставалось метров триста, сзади, быстро приближаясь, загромыхали ботинки бегущих. Перед тем как от внезапного удара по затылку в глазах у него потемнело, Мотька ощутил острую боль и услышал злорадное: «Мочи жидёныша, Клин!»

Сколько он пролежал вниз лицом на асфальте, Мотька не помнит. Очнулся от резкого нашатырного запаха. Склонившиеся над ним люди в милицейской форме задавали какие-то вопросы, а в гудящей голове свербила мысль о маминой гитаре. Её, конечно, не было. Не было рядом и тех, кто её отнял, раскроив Мотькин затылок чем-то похожим на кастет.

Узнав о происшедшем, Кардан пришёл в ярость. Мотька при том не присутствовал, поскольку отлёживался дома с сотрясением, но впоследствии ему в красках рассказали, как, матерясь, скрежеща зубами и брызгая слюной, Кардан требовал приволочь к нему фраеров залётных (о том, что это могли быть канавинские, и не помышлялось), чтоб он лично шмазь сотворил.

Нашлись ли Мотькины обидчики, не знаю, только едва он вернулся в школу, встретивший его после уроков Кардан с нескрываемым удовольствием вручил «маэстре» новую гитару, или, как он выразился, «мировую певучку». Увидев её, Мотька оторопел: это был настоящий цыган-

ский инструмент с инкрустированной светлым деревом чёрной верхней декой удлиненного узкого корпуса и завершающимся изогнутой резной головой грифом. Счастью не было предела! И искренней благодарности тому, кто это счастье ему принёс. А то, что при этом тот известный хулиган, держащий в страхе всю округу, так это придавало ему, Мотьке, особый статус приближённого и рождало «самоуваженческую» гордость. И вполне объяснимо, что с тех пор, к полному недоумению школьных друзей и тревоге домашних, вечерами он стал пропадать на малине в полуподвале возле рынка. Само собой, репертуар его в короткий срок обогатился услышанными там же блатными песенками вроде «Мурки», «Как, как по шпалам» и «До свиданья, любимая, за разлуку прости меня»... В общем, всем тем, что вызывало радостное (если не сказать, сладостное) восприятие собиравшегося там побазланить и бухну́ть криминального или желавшего слыть таковым сброда. Появлялись у Мотьки и песни до того обитателям малины неведомые – в основном из раннего творчества Высоцкого и Анчарова, про авторство которых, впрочем, он не знал, да и не собирался этим заморачиваться. Но особую уважуху принесло Мотьке исполнение услышанной как-то в кругу его еврейских родственников и моментально выученной одесской песенки «На Дерибасовской открылася пивная». Содержание ли её произвело впечатление или национальные корни помогли Мотьке быть особенно убедительным – эффект, как сейчас говорят, был бомбическим. «Блатную компанию» просили повторить ещё и ещё...

Вот так к кличке Маэстро прилепилась характеристика «одессит». И вот так, наконец, возвратились мы к вопросу «Где та Одесса и где этот Нижний?!»

И где?

Там – в начале 60-х прошлого столетия; в кривовато-грязных канавинских улочках; в не самом плохом, хоть и шалопаистом еврейском мальчике Моте, волею судьбы примерившим на себя прелести одесской воровской романтики.

Поскольку соловья баснями не кормят, то и нелепо было бы думать (если б, конечно, Мотька хоть на минуту об этом

задумывался), что на одних, пусть даже самых-рассамых, песенках можно долго продержаться в Кардановской шобле. Настал день, когда, дождавшись окончания очередной песенки, Кардан поманил Мотьку увенчанным печаткой пальцем и едва уловимым поворотом головы приказав идти за ним, шагнул за тёмно-малиновую плюшевую шторку в соседнюю комнатушку.

– Слухай сюда, Маэстро! Или... как там тебя обозвали... Одессит? Ну почти што с Утёсова: «Ты одессит, Мишка...» Только... гы-гы-гы... Мотька... – Кардан говорил с улыбочкой, но Мотька почувствовал, как от страха холодный пот щекотно потёк между его лопатками. – Короче, на хазе харчился, пора хавчик отрабатывать. Обмозговал я тут темку. Дело дармовое. По Литвиновке мимо твоей хаты каженный понедельник и с ранья, и к ночеру перевозка с барахлом до базара колесит. Утро – кисло, а темень нам в самый раз. Ты пацанчик шустрый. Короче, у соседей твоих забор к дороге почти накренён. Часиков в девять затихаришься на ём до того, как «газик» с Прокофьевки свернёт, я проверял, там он почти стопорит. Значится – сигай в кузов и сховайся, шоб водила не срисовал! Дальше по дороге метров через триста-четыреста забор конюшенный, считай, на дорогу выпер. Жулишь пачку, упаковку... чего там будет... тихоходы, голицы, фуфло... и – за тот забор. Наши уже на стрёме будут, подымут. Короче, на повороте к рынку водила обратно тормознёт, там соскочишь и – ходу подальше. Лучше на Ярмарку. Местные накатят, кивни на меня, отвалят. А махаловку устроят, тоже нормалёк – случай чего у тебя эта... алибя.

Чем дольше говорил Кардан, тем мокрее становилась Мотькина спина, слабели ноги и муторно крутило в животе. Это был Страх. Причём страшно было вовсе не то, что ему предстояло совершить кражу государственного имущества, и скорее всего не раз, и, если попадётся, дело кончится арестом. Об этом бесшабашная Мотькина голова даже не думала. И вовсе не то, что сам процесс воровства – прыганье с забора в кузов хоть и притормозившей, а всё-таки движущейся машины, а потом соскакивание с неё – сопрягался с серьёзным риском для его здоровья и даже жизни. Это как раз, наоборот, вызывало уже привычное

чувство предвкушения чего-то необычайного, приключенческого. Страшно было... не суметь, не справиться, упасть в глазах Кардана до слабака, до никчемной сявки. И тогда прощай не только беззаботное веселье в малине с горьковатым табачным дурманом, немного приторным запахом дешевой парфюмерии барух и неизменным потреблением уже приглянувшегося ему портвешка, но и вообще дальнейшее его существование в Канавине. Затравят, забьют, и никакие песенки, уж это точно, не помогут.

– Шо, струхнул малёхо? – словно прочитав Мотькины мысли, недобро гоготнул Кардан и, глубоко затянувшись беломориной, метким щелчком послал окурок в таз под рукомойником. – Не бзди, прорвёмся! Тока не вздумай соскочить или заложить кому – порешу враз!

...И настал вечер понедельника, до которого Мотька едва дожил, неимоверно нервничая, не единожды прокручивая в голове способы проникновения в соседский сад, закрывающий густыми зарослями фасад дома (и даже для верности пару раз попробовавший забраться на наклонившиеся, пахнущие гнильём доски его забора).

...И настал момент, когда он-таки прыгнул, пересилив страх, с того забора в кузов полуторки, шандарахнувшись коленкой о борт так, что с трудом сдержался, чтобы не заорать от боли.

...И настал черёд конюшенского забора, за который было перекинуто аж две упаковки перевязанных шпагатом валенок.

...И...

Короче, дело оказалось и впрямь «дармовым», что на фене (Мотька уже это знал) значило «верным». Всё прошло без задёва. И даже на Ярмарке, сколько бы Мотька ни бродил по переулкам этой более чем бандитской окраины района, никто его не задел.

В общем, на следующий день на малиновской хазе он был уже не просто веселящий братву «маэстро-одессит», а сорвавший гуж фартовый жульман. Так, по крайней мере, назвал Мотьку Кардан, поднося ему полный стакан выпивки, причём не привычного портвешка «Три топора» (как ради хохмы именовался «Портвейн 777»), а самого

дорогого и качественного белого азербайджанского портвейна «Алабашлы».

– А это, – подмигнув, добавил он, дождавшись, когда, давясь и обливаясь, допил свою огромную дозу не привыкший ещё к потреблению алкоголя Мотька, и вкладывая ему пятёрку в ладонь, – твоя доля фарсы за спёртые тихоходы.

С той поры завертелось: вечер понедельника; соседский полу гнилой забор; кузов грузовика с барахлом... портвейн на малине и очередной пятерик в пятерне.

Закончившиеся к концу мая занятия в школе, которые он так запустил, что едва не остался на второй год; нескончаемо громкая суетливость многочисленных домочадцев, регулярно выливающаяся в скандальные разбирательства с ним родителей; едва ли не полный разрыв с Кнэпом и Таждином, посчитавшими его сближение с Карданом западлом и предательством; и много чего, ещё недавно составлявшего суть Мотькиной жизни, – всё существовало теперь как бы сбоку, как бы за скобками и почти не интересовало нашего героя, по уши влезшего в роль «маэстро-одессита».

Ох, как просто и как быстро должна была покатиться теперь Мотькина судьба по той самой кривой дорожке, которая, кажется, уже и не могла быть иной! Я и сегодня, всматриваясь через толщу почти шестидесяти лет жизни в того попыхивающего цигаркой разбитного, малокультурного и слегка пьяного паренька, при всей к нему симпатии не в силах выдумать чего-нибудь мало-мальски правдоподобного, что могло бы, не нарушая логики причинно-следственных связей, выпрямить, вытащить наверх эту дорожку. Как ни крути, а в итоге всё равно выходит либо тюрьма, либо гибель в драке, либо запойное существование, которое так или иначе привело бы не к первому, так ко второму. И всё же...

«Заране мы своей не знаем доли: не мы, а рок распределяет роли», – писал древний арабский поэт Ал-Маари.

– Где тебя опять носит, олух царя небесного! – с красным от негодования лицом набросился на Мотьку отец, когда тот в очередной понедельник, «состряпав дельце» и для верности пропетляв по темным закоулкам Молитовки, около одиннадцати возник на пороге. – Сколько можно говорить, чтоб ты не шлялся по ночам!..

– Какая, на фиг, ночь, одиннадцати нет!

– Какая?! А мама – места себе не находит, валерьянку пьёт...

– И чё?

– Нет, вы посмотрите на него, как будто не знает, что завтра в семь утра у нас с мамой теплоход... Москва – Астрахань – Горький.

– Ну... И чё?

– Да, не «чё», а то, что маму не отпустили в отпуск, неожиданная ревизия...

– Не сфартило. И чё?

– Сейчас как дам по губам, чтоб не чёкал! Мы решили, чтоб билет не пропадал, ты поедешь.

Мотька аж присвистнул от неожиданности. Такой поворот событий резко нарушал течение его, казалось, прочно устоявшейся и так понравившейся ему приблатнённой жизни. Это ж на сколько? Недели на три? А что скажет Кардан? А братва? А что будет с оставшейся на хазе цыганской певучкой?

Он, конечно, попытался отбрыкаться, но отец был непреклонен, мать, умоляя, плакала и... (Может, глубоко в душе, сам того не сознавая, он даже ждал чего-нибудь подобного, вырывающего его из затягивающей трясины?) Мотька согласился.

...Показавшаяся поначалу скучной жизнь на белоснежном «Кузьме Минине» с неспешно-размеренным распорядком трёхразового питания в красивом, отделанном деревом ресторане, ежедневными экскурсиями по волжским, впервые им виденным городам и ежевечерними танцами после киносеансов постепенно становилась не только интересной, но и увлекательной. Особенно когда однажды туманным утром он увидел на корме одиноко стоящую фигуру девушки в розовом лёгком платье с открытым верхом. Развевающиеся на ветру светлые её волосы, золотясь в лучах восходящего солнца, периодически обрушивались искрящимся дождём на полноватые мягкие плечи и ярко выраженную такую же, казалось, мягкую грудь. Она не была похожа ни на одну из виденных Мотькой прежде девушек-соседок, одноклассниц и тем более барух в притоне. Она была...

Девушку звали Аней. Только что сдав сессию, перешла она на второй курс филфака Горьковского универа и вот теперь, пребывая в благостном настроении, путешествовала вместе с мамой. Возможно, эта благостность и позволила Мотьке не только не быть отвергнутым в первый же момент знакомства, но и находиться рядом с ней все последующие дни поездки.

И были прогулки по городам, когда, стараясь идти к ней как можно ближе, Мотька, жадно вдыхая аромат духов, нет-нет да исхитрялся коснуться плечом плеча, рукой руки.

И были просмотры фильмов, к Мотькиной радости, в настолько переполненном кинозале, что удавалось сидеть рядышком, чуть не прижавшись.

Да много чего было неизведанного, не чувствованного, резко отличавшегося от предыдущей Мотькиной жизни вообще, а уж от притонного угара тем более.

Ах, Аннушка, Аннушка! Могла ли предполагать ты, что своей врождённой, выпестованной несколькими поколениями русской интеллигенции культурностью и тактом, гигантской, по сравнению с Мотькиным профанством, образованностью совершишь немыслимое – длительными, ненавязчивыми разговорами о литературе и искусстве, живописи и философии, чтением стихов, знаемых тобой в великом множестве (причем тех поэтов, о которых Мотька слыхом не слыхивал), исполнением на рояле в музыкальном салоне классики (особенно поразившего Мотьку красотой и изяществом седьмого вальса Шопена), а главное, счастливым чувством влюблённости, никогда ещё им не испытываемым, – перевернуть сознание почти сформировавшегося, вкусившего сладость воровской романтики паренька из канавинских задворок? Да нет, конечно. Ты просто была такой, какой была. Какой послал тебя Создатель.

Единственное, о чём думал Мотька, возвращаясь в Горький: как бы подольше не встречаться ни с Карданом, ни с кем-либо из его шоблы. И о том, что он скажет им, когда это произойдёт, как твёрдо и категорически разорвёт все отношения. Пусть даже это повлечёт за собой побои и щекотание пёрышком. Плевать! Теперь ему это не страшно.

Теперь в его жизни есть Аня, есть подаренный ею иной, чем прежде, смысл этой жизни, совершенно неожиданно для Мотьки выразившийся в неведомо как сложившихся в его голове поэтических строчках «Над Волгою, взяв меня в плен, искрится изящный Шопен, и я, обречённый на муки, взираю на девичьи руки...»

– Мотька, ты, что ли?! – выгружая из багажника такси, доставившего их с отцом к дому, чемоданы, сетки с астраханскими арбузами, банками с чёрной икрой и связки вяленой воблы, услышал он за собой голос Кнэпа. И впервые за долгое время ему обрадовался. Ну, конечно же! Кнэп и Таждин – его настоящие, верные друзья – его опора!

– Ни фига себе! А мы с Алькой в полной уверенности, что ты – *там*...

– Ну да... я и был где-то там – и в Москве, и в Ульяновске, и в Астрахани... – не понимая о чём речь, улыбнулся Мотька. – Мы с батей на теплоходе катались.

– Пòфиг теплоход! Ты чё, ничего не знаешь?! Ну даёшь!!

В конце концов, выяснилось, что в то утро, когда «Кузьма Минин» увозил Мотьку в сторону Москвы, прошла обширная милицейская облава, в сетях которой оказался не только Кардан со своей малолетней братвой, но и более взрослые обитатели притона в полуподвале возле Канавинского рынка.

УХ! – одновременно с выдохом громыхнуло, падая, Мотькино сердце. А вместе с ним – свалилась, разбиваясь в прах, огромная тяжесть страха, стыда и непреодолимой безысходности предстоящего. Почувствовав слабость в ногах, он медленно опустился на чемодан.

– Вос? Вос случилось, Мотеле?! – запричитала выбежавшая из калитки навстречу сыну мама. – Тебе плохо?

– Хорошо, мам. Теперь... очень хорошо! – слабо улыбаясь, прошептал сын, впервые с искренней благодарностью глядя на своих родителей, которые, конечно же, не понимали истинного смысла этих слов.

И – слава Б-гу!

Елена ЗАХАРОВА

А НИЧЕГО

– Катя, Екатерина! Ты слышишь меня или нет? Вынь эту дрянь из ушей! – не отворачиваясь от окна, Катя освободила от басов одно ухо. Она упорно тянула свитеру правый рукав, как удав – нос слонёнку.

– Что у тебя там?

– Ничего, ничего, – взглядом Катя вцепилась в уличный фонарь, который моргал уже вторую неделю подряд и днём, и ночью, и днём.

Мать шагнула к дочери и схватила её за запястье – зашуршала фольга. Катя вскрикнула. Мать закатила колючий рукав – на пол упала шоколадка. Мать пнула плитку под стол – взвизгнула кастрюля. Дочь укусила себя за костяшку большого пальца и заморгала в такт фонарю.

– У меня аллергия на твоё враньё.

Зажурчал кран – мать напоила чайник, запахло газом. Жидкость для мытья посуды запенилась на губке.

– Катя, ты смотрела сегодня почту?

– Не… нет, а что, что случилось?

– Ничего не случилось, я просто спрашиваю.

Пожёвывая губу, Катя растирала запястье то на одной, то на другой руке.

– Ты вообще проверяешь почту?

– Я... я на лифте езжу.

– А вот лучше бы пешком ходила и не таскала перед ужином всякую… дрянь.

Катя изо всех сил рванула рукав: треск нитки захлебнулся в журчании крана – мать не заметила. Катя выдохнула, нарисовала рожицу на запотевшем стекле и продолжила теребить свитер.

– Сергей! Сережа!

Мать натирала середину тарелки, а когда пена на губке выдохлась, она взяла следующую.

– Сходить, сходить за ним?

– Серёж! Серёж!

В унисон с матерью заверещал чайник. Катя рванулась к плите, но брат уже выключил конфорку.

– Что-то случилось?

Мать повернулась и вытерла руки. Её сморщенная ладонь радостно взлетела и почти коснулась щеки сына, но замерла и, не касаясь лица, убрала чёлку с его глаз. У Сергея вздрогнули уголки губ – он улыбнулся, а Катя снова отгородилась помехами.

– Ничего. Просто хотела узнать, где ты.

– Занимался. Помочь?

– Нет, нет, занимайся.

Сергей сел на стул, руки крестом легли на стол, а глаза не отпускали мать. Она выключила, потом опять включила кран и как будто удивилась, что начала перемывать ножи и вилки.

– Что готовишь?

– Ммм, вкуснотищу, – мать что-то вычертила вилкой в воздухе, – тушёное мясо под соусом. – Вот сейчас разберусь с посудой и начну.

– Звучит аппетитно. Только на меня не готовь, пожалуйста. Я поел.

Вилки лязгнули о раковину.

– Ты скоро вообще дома есть не будешь?

– Есть такая вероятность.

Катя вжимала лоб в стекло, поглаживая ледяные батареи.

– Что нового? – спросила мать, принимаясь ополаскивать посуду.

– А у тебя? – Сергей внимательно разглядывал ноготь за ногтем.

Мать сбивчиво захихикала.

– Да ничего.

– Правда?

– … – подали голос ножи.

– Правда.

– Ну-ну.

– Нового? А что у меня может быть нового? А? – голос матери, как подброшенный мячик, взлетал всё выше и выше. – Готовить, стирать, гладить, готовить, стирать

– Для меня – нет, – Серёжа на секунду поднял глаза на мать, и мячик упал.

– Что… ты…– мать с отчаянием насоса стала заглатывать воздух, – сказал?

– Я? Я молчал, – сын поднялся со стула. – Всё хорошо, мам.

Сергей убрал слипшуюся прядь волос со лба матери, подошёл к сестре, вытащил наушник.

– Зайдёшь ко мне, поговорим.

Мать вылила в раковину кипяток из чайника и вдохнула пар. Катя вывела на стекле крестик.

* * *

– Что делать? Что?

Сергей пять лет не пускал сестру в свою комнату, и сейчас Катя силком отрывала взгляд от полок, забитых дисками и книгами, от бережно расставленных там самолётов и поездов. Свои куклы она давно похоронила под кроватью.

– Только не читать Чернышевского. Стилист из него, говоря откровенно.

«Серёж, ты чего? Разве об этом сейчас надо»

– Думать, думать надо, а не в буковках копаться. Из-за этой твоей стилистики мы, мы в такой дыре!

Катя пыталась найти хоть один плакат, одну фотографию, одно лицо. Она привыкла, что её не отпускают десятки плоских глаз. Кате так было спокойнее.

– Нужно что-то придумать. Полностью с тобой согласен.

«Серёж, а если опять ничего не…»

– Выйдет как в тот раз. Придумали, придумали уже, и что, что теперь с матерью делать?

В комнате у брата жили только буквы. На полках, на столе и даже на лице: нос стоял ровной «л», за очками на боку лежала пара «о», а рот постоянно кривился в «с».

– Не знаю. Твой план, к сожалению, провалился. Так что…

«Серёж, ты чего, ты»

– Чего ты мелешь? А писал, писал кто? Не подскажешь, стилист, стилист… хренов?

Чему он всегда улыбается? Катя смотрела брату в рот. Ей не нравились его глаза. Катя водила пальцем по покрывалу, механически выписывая «с о л».

– Сперва идея и мне казалась неплохой. Но ты математик. Могла бы и получше просчитать. А с меня – взятки, я – стилист хренов. Мне сказали – я пишу.

«Серёж, ты же понимаешь, я хотела как»

– Лучше пойдём к отцу. Хватит, хватит комедию ломать, наломали уже.

Кивнув, Сергей несколько минут молчал, улыбаясь шире и шире. Лучше бы он спорил, кричал, грубил. Катя думала, так ей было бы легче.

– Как скажешь. Что нам ещё остаётся. Лучше прийти к нему прямо на работу. Согласна?

– Да, конечно, – Катя кивнула, приподнялась с кровати и разгладила на покрывале вмятину. Когда сестра вышла, Сергей открыл окно.

* * *

– Что сегодня готовишь? – под Владимиром Анатольевичем скрипнул стул.

– А ты ещё не поел случайно? – жена наклонилась к брюзжащей сковородке на плите и приподняла крышку, заглатывая широкими ноздрями пар.

– Где бы я успел? – взгляд Владимира Анатольевича спрыгнул с волосатой родинки на шее жены – на духовку – стол – подоконник и остановился на полумёртвом отражении супругов в заляпанном окне.

– А сын твой как-то успевает.

Тарелка с тушёным мясом опустилась перед мужем, который щёлкал языком в такт заикающемуся фонарю.

– Что ты сказала? – взгляд Владимира Анатольевича перескочил с оконной рамы – на красивую рамку на полке, чуть затормозил и потрусил дальше.

– Про что? – жена, почёсывая нос, принялась раскладывать вымытую посуду на полотенце.

– Про сына.

– Жуткий он, вот чего. А дочь и того хуже.

– Мне кажется, ты преувеличиваешь.

– Да ну? Ты когда их в последний раз видел? Когда в последний раз просто выходные до… достань, пожалуйста… кофе с верхней полки. Я нам сварю. Спасибо. На эти выходные опять отправят куда-то?

Владимир Анатольевич обнял жену со спины. Его пальцы пробежались по рыхлым бёдрам и сцепились на животе.

– Ты же знаешь, как мне не хочется.

– Да, – шмыгая сильнее и сильнее, выдохнула она.

Владимир Анатольевич уткнулся носом в заляпанный халат на её плече. Повернув голову, она уткнулась носом мужу в грудь, глубоко вдохнула и зачихала, морщинистой ладонью растирая глаза.

– Ты заболела?

– Нет. Кажется, аллергия, – она вытерла нос, оставив на халате новое пятно.

– У тебя ведь на астры, – Владимир Анатольевич подал ей салфетку и сам вытер руки.

– И на – апчхи! – лилии.

– Буду знать, – муж снял пиджак и положил на стул.

Жена подошла к отдыхающей на столе посуде, начала протирать и складывать тарелки, чашки. Владимир Анатольевич взял алюминиевую ложку, посмотрелся и пригладил усы.

– Почему ты не хочешь повесить зеркало?

Жена закусила губу, продолжая складывать ложки, вилки.

– Ладно, я в душ, потом спать. Детям привет.

Через пару минут заговорил кран в ванной. А жена ещё долго смотрела на ножи и нетронутое мясо.

* * *

– К вам дети.

– Кто?.. Ну, позови их сюда.

Секретарша кивнула, одёрнула бежевую блузку и, оставив тонкую щёлку, закрыла зеркальную дверь.

Взгляд Владимира Анатольевича порыскал по немым стенам, молчаливым полкам, остановился на столе – и прикрытая ладонью рамка для фотографий глухо ударила дубовую поверхность.

– Что-то упало? Упало, пап?

Первой вошла Катя. Кончики её пальцев то выглядывали, то прятались в рукавах серого свитера, длинных, как у Пьеро.

– Так что, что упало? – не найдя ничего интересного вновь спросила она.

– Да так, ничего.

Вторым был Сергей. Он сразу подошёл к стулу, сел напротив отца, сложил руки на столе, чтобы выбивать пальцами ровный медленный ритм.

Владимир Анатольевич смотрел сыну в лоб, уголки его губ вздрагивали, рука что-то механически черкала в блокноте карандашом.

– Буду с тобой откровенен, пап.

– Понимаешь, понимаешь, – перебила брата Катя, – мы уже два года в университете, – она сипло заглатывала воздух после каждой паузы. – Дома почти, почти не бываем. А мать одна. Совсем. Она ведь и не работала, не работала никогда, вроде. В общем… мы решили, – стук о столешницу затих, – …я, я решила, – пальцы Сергея заколотили вновь.

– Писать ей письма. Чтобы мама наконец-то почувствовала себя женщиной. Катя так хотела.

Владимиру Анатольевичу на секунду показалось, что у Кати треснуло лицо, – но это просто сломался грифель карандаша.

– И давно это продолжается?

– Уже год, но мы не думали. Не думали, что она воспримет всерьёз.

Катя сделала два шага к двери, потом обратно и снова к двери.

– И с чего вдруг решили признаться?

Сергей поджал губы, но улыбка приросла намертво.

– В последнее время мама совсем помешалась. Угрожает вскрыть вены, требует встречи с тайным воздыхателем.

Владимир Анатольевич задушил смешок и закашлял.

– Хорошо, поверю, что вы хотели как лучше, но теперь надо вместе подумать, что делать.

Сын кивнул, дочь – за ним.

– Надо, надо сказать. Самым верным будет всё-всё честно рассказать.

Зашелестел фантик. Катя за несколько секунд справилась с обёрткой и ещё быстрее с подтаявшей конфетой. Пальцы Сергея скрестились в «х»; его правый глаз косился на дверь, левый – не отпускал отца. Взгляд Владимира Анатольевича прятался от сына и, чтобы видеть только его спину, клеился к двери, как Катины пальцы друг к другу.

– Нет? Разве, разве нет?

– Мне кажется, Кать, это не самое разумное решение, – не поворачиваясь, сказал Сергей. – Согласен, пап?

– Да, несомненно. Во-первых, мать никогда вам этого не простит. Во-вторых, она может не поверить.

– Тогда это не закончится, пока мать не сойдёт с ума.

– А если сойдёт – вскроет вены.

– Главное, чтобы папа остался, – Сергей закусил безымянный палец, наклонил голову набок и посмотрел на руки отца.

Владимир Анатольевич спрятал под левой ладонью правую, встретил стеклянный взгляд Сергея и вспомнил, что у сына голубые глаза.

– Куда он денется.

Запиликал телефон. Несколько раз промазав по кнопке, Владимир Анатольевич сумел задавить звонок.

– Я думаю, нужно сделать так, чтобы мать сама его бросила, – продолжил отец.

– Разочаровалась и бросила? – Катя сжала кулаки и дунула в них. – Да, да, может, может получиться!

– Не разочаруется и не бросит, – Сергей сложил ладони в «л» и прижал к губам.

Взгляд Владимира накинулся на сына.

К Кате больше не поворачивались. Она прислонилась к кремовой стене и стала слушать, как в кармане шепчутся фантики.

– Значит, разочароваться и бросить должен он.

– Тогда мама вскроет вены.

– По твоей логике, она в любом случае их вскроет.

– Есть такая вероят… – Сергей сжал пальцами столешницу, заглотил воздух, словно хотел перестать икать, и повернулся к двери.

Он морщась следил, как по-отцовски дёргаются уголки его тонких губ. Мужчина в отражении криво усмехнулся. Продолжая смотреть в дверь, Сергей поднял себя со стула.

– Если что-то придумаю – позвоню.

Сергей кивнул отражению и вышел вторым.

Владимир Анатольевич поставил рамку на место, вытер сухой лоб и нажал на мобильном «Последний вызов».

– Алло, прости, что отключил. Важное совещание, – проговорил он, разглядывая голый безымянный палец. – Знаешь, нужно подыскать что-то более постоянное.

* * *

Катя не могла долго в тишине. Хруст обёрток её спасал. И Катя, всегда серая, слушала, как перешёптываются жёлтые, синие, зелёные.

Пальцы Сергея бегали по корешкам книг туда-обратно-туда, иногда переходя на нервную трусцу, иногда замедляясь до ровного шага, пока не цепляли какой-нибудь красный.

Кухонный стол, на котором ножи и вилки водили хоровод, подпирал мать. «Не-при-ят-ность-э-ту-мы-пе-ре-живём», – скрежетали они, а мать разлепляла губы и беззвучно подпевала.

Катины челюсти методично работали. Холмик блестящих вырастал в гору матовых и прозрачных.

Пальцы Сергея медленно позли по строчкам, поскрипывая от блаженства, смазывая буквы, собирая на подушечки чёрное.

«Вне-бе-сах-вы-со-ко-я-ко-сол-нце-све-тит», – шуршали губы матери, пока нож скользил вдоль телесной долины голубой реки.

Фантик за фантиком бережно выглаживались. После чего – комкались и подбрасывались. Так же бережно.

Пальцы ползли быстрее и быстрее, сокращая по диагонали, вычерчивая кривые, заплетая спирали.

Холод алюминия не спешил вторгаться в голубые речные воды, но… «ес-ли-всер-дце-чу-жом-не-най-ду-от-ве-та».

Фантик за фантиком взлетали, падали и взлетали. Нырнувшее в страницы лицо гладило щеками и тыкало носом строчки. «Не-при-ят-ность-э-ту-мы-пе-ре-жи-вём», – холод перетекал в ладонь, где река распадалась на много маленьких речушек.

Шуршащий салют плескался над головой, нос зарывался глубже в буквы, свежее красное разбегалось по рытвинам морщин и когда в шёпот обёрток втиснулось радостное подвизгивание в молчание букв блаженное сопение а в неприятность эту первая пауза – мать поднялась со стула, рот Сергея отлип от слов, а Катя вылизала последнюю обёртку.

Заворчал кран, мать подставила ладошку, и разбавленное красное потекло в трубу. Сергей последний раз вдохнул, провёл ладонью над страницами и закрыл книгу. Катя сгребла фантики в аккуратную кучку, вытерла губы и облизала руку.

Мать закрыла кран, чтобы послушать усталые капли – «Не-при-ят-ность-э-ту-мы-пе-ре-жи-вём!»

Сергей положил книгу под голову и заснул.

Катя свернулась калачиком и уткнулась взглядом в потолок.

«Меж-ду-про-чим-э-то-мы-пе-ре-жи-вём!»

* * *

– Думаешь, сработало? Сработало?

«Она надоела меня в сотый раз»

– Спрашивать нужно отца, Кать. Я знаю столько, сколько и ты.

Сергей шёл чуть позади. Всегда. На ботинки налетала пыль – Сергей кривился, поджимал губы. Катя не видела. Она никогда не оборачивалась, пока сзади не затихал ровный шаг брата. А он затих только раз, когда Сергей протирал ботинки.

– Только он не объявится, не объявится. Ни сегодня, ни завтра. Помнишь, помнишь, сколько раз уже пропадал? Надо самим искать. Нельзя, нельзя просто сидеть.

«Может, сама догадается. Хотя дура, она и»

– Есть другие предложения? Ответь, где ты собралась их искать? – большой палец Сергея по очереди касался мизинца, безымянного, среднего указательного.

Сергей пытался смотреть на асфальт, отводя взгляд от налёта на ботинках. Сестра попросила пройтись пешком: хотела продумать план.

– Не знаю, но точно надо, надо что-то делать. Хоть что-нибудь, хоть как-нибудь.

«Сестричка, вероятно, хочет, чтобы меня от её истерик»

– Вырвало

– Что-что?

– Вырвалось, говорю. Не знаю, что и сказать.

– А-а-а

Лакированный ботинок пнул камушек – на чёрном носке отпечатался след. Кулак Сергея на секунду сжался – но затем опять мизинец, безымянный, указательный.

– Но что, что могло пойти не так? Три дня ни один не отвечает. Отец же говорил, второсортный актёр. Говорил, бросит на втором свидании.

Сергей поднял голову, чихнул и поправил очки – он всегда чихал на солнце. А сестра не замолкала, и всё говорила, и говорила «мать не могла, не могла так просто нас бросить», пока железная дверь не пропустила их в прокуренный подъезд. Сергей недавно научил себя почти не замечать этот запах.

– Ключ есть? Есть? Хорошо, вызови лифт. Я почту посмотрю, – «что она собралась там найти? Послание от тайного воздыхателя-сыночка». – Серёж, Серёж, письмо! Отцу, без обратного адреса. Кто, кто это может быть?

«У нас вроде бы только одна больная на»

– Голову включи, Кать. Кто кроме матери?

Сергей стиснул ключ и вывел им на ладони букву «з»

– Читай вслух.

– Хорошо, хорошо… Владимир, не стану ходить вокруг да около. Наши отношения уже давно не те, что прежде. Да и чем они были прежде? Видимость – одна пустая видимость, – «а видимость бывает наполненной, да? Взяла стиль, да хоть бы хрень не писала» – А я встретила свою любовь, первую и единственную. Помнишь, что это? Держу пари, что нет. Так вот, теперь я стану актрисой, как и мечтала. Хоть это помнишь? И снова держу пари – нет. Знаешь, мне никогда не хотелось горбатиться на тебя и двух этих… – «ой, сестричка что-то пропустила» – Прощай, дорогой. Теперь ты точно свободен, хотя тебя это никогда не останавливало – держу пари.

– Кать, успокойся, проходи. Да проходи же!

– Папы нет, нет?

– Если я смог открыть, значит, нет.

«Ско-ты-ско-ты-ско»

– Ты не истери, главное. Что-нибудь придумаем.

Не включив свет, Сергей прошёл в ботинках в прихожую, продолжая рисовать на руке – «р».

– Я… я не знаю, не знаю, что сказать, что делать.

«Одно новое сообщение»

– Не нажимай, не нажимай, пожалуйста. Не хочу, не хочу ничего слышать.

Телефон запылился – Сергей не заметил. На коже краснело «я». Он нажал на кнопку автоответчика.

Виктор ЕРШОВ

ИЗ ЦИКЛА «СВЕТ В ОКОШКЕ»

Первый снег

Как матушка заботливой нежной рукой накрывает свое дитя покровом, так и природа, защищая от холодов, покрывает землю первым снегом. Бессловесной колыбельной стоит над землей тишина, в которой слышится запах прихваченной ледком лужи; пожухлой травы и замороженного терновника.

Первый снег – это повальный, не соизмеримый с космическим, звездопад. Это миллионы маленьких неповторимых звездочек, опускающихся с высот и не исчезающих в мироздании. Играя на солнце, они проходят свой Млечный Путь и ложатся на землю, образуя ковер планет.

Желанно, но зачастую неожиданно как первый поцелуй случается первый снегопад. Первые снежинки – это робкое прикасание к губам возлюбленной. С замиранием сердца, затаив дыхание, ощущая на губах растаявший снег, ты млеешь. Вокруг тебя холодная снежная круговерть, а внутри… горячий, извергающий огонь и пламя, вулкан.

Зачем вы так…

Говорят – босоногое детство. Правильно говорят. Но босоногим оно было у моих друзей, проживающих в далекие шестидесятые годы в деревне. Тогда редкая

тропинка не ощущала на себе легкую поступь их мозолистых ступней.

Мое же детство можно назвать – в сандалиях. Как сейчас помню эти кожаные со сверкающей металлической застежкой, янтарного цвета «скороходы». Когда я первый раз явился в этом чуде моды перед своими деревенскими друзьями-приятелями, они оторопели. Некоторое время они смотрели то на свои, то на мои ноги, пока самый старший, заводила Валерка, не сказал ехидно с выражением:

– Гусь лапчатый.

– Гусь, гусь, га-га-га! – тут же громко поддержали его остальные. Пошла потеха…

– Какой гусь, почему гусь? – во все горло, старясь перекричать их, спросил я, но посмотрев на свои ноги, чуть не плача, уже тихо добавил: – Зачем вы так…

Пошли годы, мы выросли и забыли про сандалии. Не до них стало, когда вокруг все расцветало. Оживала природа, и вместе с ней в наши сердца прокрадывалось что-то новое еще не изведанное. Порой хотелось петь, а иногда грусть заволакивала глаза. Но стоило появиться той единственной, ненаглядной, как сердце начинало стучать, словно молот о наковальню, язык немел, а лицо горело как пионерский галстук. Разве такое скроешь от друзей приятелей, и вслед уже летит:

– Тили-тили-тесто, жених и невеста, поехали купаться – стали целоваться!

– Да чего вы? Чего придумали, – вспыхнув словно свеча и опустив глаза, поспешно оправдывался я, – зачем вы так…

Прошли десятилетия. Седина запорошила головы, паутинки морщин легли на лица и остыли наши сердца. Где-то далеко осталась первая любовь, в разные стороны разлетелись друзья-приятели. Доходили лишь слухи – обзавелись семьями, появились внуки… А последнее время только одна новость – умер тот, умер другой, умер третий… И вот уже от всей нашей честной компании осталось только двое. И память…

– Друзья! Не рано ли? Ведь нам всего лишь шестьдесят… с хвостиком. Зачем вы так…

Песок…

Стекающий с нежных детских ладошек, просеянный сквозь неуклюжие пальчики и падающий на морскую голубизну зернистый пляжный песок так не похож на промерзший, застывший в комочках, колючий как лед, песок фронтовых полей.

В первом случае он впитал в себя материнскую ласку, трепетные слова любви, во втором – человеческое горе, соленные мужские слезы. Даже своим видом теплый светлый, играющий на солнце, береговой песок отличается от холодного темного, застывшего как камень, полевого.

Первый, следуя детским фантазиям, легко превращается в прекрасный замок или сладкое пирожное; второй, рассекаемый солдатской лопаткой, в одночасье становится уродливым, но желаемым прикрытием от пуль и осколков.

Пляжный песок, стоит человеку встать и побежать в воду, тотчас забудет о нем, лишь сохраняя очертания человеческого тела. Окопный, как гранит холодит, но после того как человек, оторвавшись от земли, пойдет в атаку, долго и жалостливо будет смотреть ему вслед.

Мелкий пляжный песочек, прилипая к мокрому после купания телу, вызывает приятное легкое щекотание и зуд желания; кусковой полевой, попадая в рукавицы и за шиворот шинели, – лишь болезненные уколы и озноб.

Человеческая память – кладезь воспоминаний. Некоторые из них отдают горечью, другие вызывают досаду, третьи – разочарование самим собой. И лишь немногие обращают к прежним радостям… Воин, спасавшийся в окопе от пуль и осколков, будет до конца жизни помнить холодный, колючий песок бруствера.

Последний лист

Хлопок, хлёсткий, словно выстрел из бутылки игристого шаманского, отвлек меня от чтения. Через широко распахнутую форточку, взволновав тюль, неожиданным, но приятным гостем в комнату влетела струя прохлады и запаха мокрых листьев. Она словно звала меня туда – за окно, где вот уж неделя как стволы берез слились с набухшей

свинцовой пеленой осени; а гирлянды ветвей, темные трещины и проплешины, выделяются на фоне унылого неба.

За окном задуло, завьюжило, зеленые цепочки взметнулись вверх, затем упали, перепутались и замерли в ожидании следующего порыва ветра.

В этот момент от одной из веток неохотно, словно оторвавшись от материнской груди, отстал листочек. Он замер, в надежде на возвращение, но природу не обманешь, ветка, движимая ветром, удалилась от него. А листочек, очевидно, не веря тому, что нить, связывающая его с веткой порвана навсегда, пытался полететь за ней. Он поворачивался то одном то другим боком, стараясь всячески привлечь к себе ее внимание. Но очередной порыв ветра увлек его за собой… и бросил на сырую, холодную землю.

«Жаль, что не увижу больше этот листок, потух последний фитиль угасшего лета, – подумал я, запустив пальцы в свои седые волосы, – грустно, но это не конец, ведь на следующий год на березе вновь вырастут листья, и заколышется, зашумит за окном изумрудное море».

Свет в окошке

Черные жирные тучи медленно, но неумолимо наползали на бирюзовое вечернее небо. Они были похожи на клубы черного пепла, извергаемого невидимым вулканом, проснувшимся где-то высоко-высоко в поднебесье. На моих глазах эти клубы перерастали в волны, которые, одна больше другой, стали накатываться на безропотную небесную гладь, пока не образовалось безжизненное застывшее море. В какой-то момент я почувствовал, что оно вот-вот опустится на землю и поглотит меня и все живое на этой грешной земле. Страх, ужас… ощущение безысходности… мурашки и холодок по спине.

«Я, кажущийся себе значимым, бессмертным, – всего лишь беспомощная букашка. Где мое величие, куда исчезла моя уверенность? Где другие люди, суетящиеся, жаждущие, надеющиеся на Бога? Вокруг никого… Где Я?»

Наступила мертвецки глубокая тишина. Внутри меня что-то екнуло, и я отчетливо услышал глухие удары: «тут,

тут, тут…» Непроизвольно схватившись за грудь, понял: «Это же сердце! Но как учащенно оно бьется. Тоже испугалось? Нет! Скорее хочет успокоить меня и обнадежить». И тотчас нескончаемый, неугасающий звон невидимого колокола застыл в моих ушах: «Бум-ммм…»

Уверяя себя, что это простое природное явление – тучи и сейчас пойдет теплый грибной дождик, я стал успокаиваться. Но тут среди могильной немоты раздался мощный объемный грохот, словно кто-то невидимый многопудовой кувалдой ударил по деревянной наковальне. Небо качнулось, земля содрогнулась под ногами, мир зашатался, и я невольно, как в минуты утренней молитвы, поднял голову, прикрыл глаза, а мои уста пролепетали: «Боже! Отче наш… на земле как на небесах… прости меня грешного…»

Следом последовал удар еще большей силы, страшная темно-свинцовая масса над моей головой раскололась, и огненная кривая стрела, извергающая во все стороны искры, ударила сверху в землю. И сразу треск такой силы, что вот-вот лопнут перепонки, а глаза вылезут из глазниц. Я невольно присел, закрыл уши руками и, сжимая голову, закричал: «Мама!»

Светлый образ матери, с легкой улыбкой на губах, с сжатыми в кулачок руками и спокойным теплым взглядом предстал передо мной: «Что ты, что ты! Это всего лишь гром. Сейчас пойдет дождь и все станет как прежде».

Задул сильный порывистый ветер, видение исчезло так же неожиданно, как и возникло. И как только оно пропало, на темном фоне шумящего леса замерцала звезда. Скорее звездочка. Она была очень маленькой и еле видимой в макромире наступающей ночи. Несмотря на это, для меня ее тусклый свет был единственным светлым пятнышком, из которого исходил лучик надежды.

Сейчас я сомневаюсь, даже думаю, что мне это показалось; но тогда был уверен – я услышал, произнесенные шёпотом, но твердо и повелительно, слова: «Иди туда. Там твое спасение».

И пошел, спотыкаясь о кочки, натыкаясь на кусты и деревья, увязая в грязи и промокая под внезапно хлынувшим проливным дождем: «Да. Там избавление. И меня ждут… люди, тепло, а главное – спокойствие, и не будет страха».

Не знаю почему, но был уверен, что иду к людям. В инопланетян я не верю. С каждой сотней шагов звезда росла, и наконец обозначилось застывшее светлое пятно. На моих глазах оно приобрело форму прямоугольника, выделяющегося на темном контуре, сливающимся с окружающей его черной бездной.

И тут меня осенило: «Это окно. Единственное во всей округе… а может быть, во всей Вселенной. Оно одно. Странно! Обычно у домов их несколько… А может быть, это окно не дома?»

Размышляя, я остановился протянул руки к свету и вдруг почувствовал, что стою в другом мире. Дождь прекратился, небо очистилось от туч и засверкало бликами звёздного ковра… Меня овеял легкий, теплый ветерок. Рядом, не желая подчиняться дреме ночи, зашуршала листва. Не хватало только феи, в длинном белом платье с волшебной палочкой в руках.

«Феи, феи…» – изображение исчезло, словно растворилось в ночи. Я приоткрыл глаза и понял, что просыпаюсь. Дневной свет застенчиво, легко ощупывая стены, мебель, мягко касаясь меня, проникал в комнату. Где за окном протрубил петух, загавкала собачонка и… больше ничего. Покой, тишина, спокойствие. Ни туч тебе, ни грома, ни страха, ни ужаса.

«Приснится же такое. Нет чтобы яркая цветочная полянка, или море голубое, на крайний случай – лес, поле; да и просто… наш дом, – думал я, по привычке валяясь в постели. Страх от ночных сновидений постепенно утихал. – Может быть, посмотреть телевизор? Зачем? Там одно и то же – заразились, умерли, выздоровели. Не хочу слышать это! Слава богу, прожито уже более шестидесяти лет. Можно сказать – пожил, посмотрел, даже помучился…»

Через приоткрытую форточку в комнату донеслись голоса соседей – «судачит, неугомонное бесстрашное племя». У котельной заурчал мотор – наверное, завели «уазик»; трактор бы заревел громче. Легкая дрожь пробежала по шелковой занавеске, утренний ветерок незваным, но желаемым гостем, обдав меня свежестью росы, влетел в комнату.

Вслед за ним потянулись еще робкие, но уже игривые солнечные лучи, и рядом с моей головой на стене появилось бледное светлое пятно размером с маленькое блюдце. Его края дрожали, и растворялись на голубом фоне обоев.

«А вот и гость пришел. Незваный, но приятный… других сегодня может и не быть», – подумал я, протянув к нему руку. Он тут же исчез. Я убрал руку, и солнечный зайчик вновь оказался на стене.

«Шутник! Вот бы в жизни так было просто. Грядет беда, взял и спрятался. Прошла стороной, появился», – не удержавшись от улыбки, я встал с постели и, подвластный притяжению дневного света, подошел к окну. Кто-то скажет, мол, нет ничего удивительного и соблазнительного в солнечном освещении – всего-навсего природное явление. Но я возражу: «Свет – это признак жизни, символ зарождения, даже можно сказать воскрешения. Когда ты оказываешься в темноте, то невольно испытываешь беспомощность, свою “слепоту” и даже испуг. Но стоит появиться проблескам свет как ты прозреваешь, оживаешь…»

Так же и вид за окном. На первый взгляд обыкновенный, уже привычный. Но так кажется только сначала. Посмотри: молодые листочки на стоявшей рядом с домом березе сегодня крупнее, их дрожь более заметна, а соперничество в красоте и грации с сережками уже очевидно. Послушай, как по-детски лепечут, собравший в кучки, свежие всходы травы и сердито, надрывно трещит сиротливый сухостой хвоща. Вздохни всей грудью, и ты почувствуешь слабый, горький запах цветущего «одуванчика» и широколистного «лопуха».

«Нет брат… лукавишь! Ты хочешь проснуться завтра, послезавтра, через месяц, год… Ты не согласен, чтобы без тебя за окном озорно пели птицы, размашисто качались ветви деревьев, колыхалось бездонное голубое вселенское море, а свет каждого нового дня вызывал вожделение и вселял надежду».

Владимир РОМАНОВ
Арзамас

ГОРБУН

1

В полдень к нему постучали. Собака проводила лаем двух мужчин до крыльца. Они в дом заходить не стали. Федор вышел сам, накинув на плечи овчинный полушубок. Мужчина, который курил, сказал:

– Фёдор Иванович, Николай просил вас приехать, там с лошадью что-то неладно… возьмите всё необходимое.

Быстро одевшись, Фёдор вышел с рюкзаком за плечами. За забором, занесённым снегом, он не сразу заметил «Буран». Второй мужчина, что повыше ростом, дёрнул стартер на себя. Мотор снегохода сначала протяжно взвыл, потом, равномерно стуча, заработал, как сердце тренированного стайера. Фёдор не стал запирать дом, а только крикнул своей собаке:

– Будь здесь, Рыжий, я скоро вернусь.

Собака заскулила, стала беспокойно топтаться лапами на одном месте, а потом протяжно залаяла на верхушки сосен, подняв свою рыжую голову кверху.

Они уселись втроём на холодное сидение, обтянутое кожей и, поднимая снежную пыль, помчались, сначала по просеке, потом по рыхлой целине, лавируя между деревьев. Минуя деревню, спустились к озеру и, проскальзывая на зеркальных проплешинах толстого льда, добрались до пологого берега, где за проводами высоковольтной

линии выехали на глубокие колеи занесённой за день дороги.

Проминая колёсами рыхлый снег, навстречу натужно поднимались в подъем два лесовоза, гружёные обработанным цилиндрическим деревом. От них пахло свежим распилом. Внизу открылась, опоясанная деревянным забором, территория лесозавода. В раскрытые ворота два тягача тащили волоком длинные сосновые хлысты. Короткими глухими толчками шумела пилорама, протяжно пищали станки.

Снегоход проехал мимо овальных ангаров, длинного навеса, с крыши которого опасно свисал снег, и остановился у деревянного дома конторы. Возле огромной кучи опилок играла девочка дошкольного возраста, она прихлопывала лопаткой по опилкам, разговаривая сама с собой. Из конторы выскочил молодой мужчина в расстёгнутом овчинном полушубке с шапкой в руке. Его лицо, с широкими скулами, большими сосредоточенными глазами, было напряжённым:

– Здравствуй, Фёдор!

– Здравствуй, Николай!

– Извини, что опять тебя беспокою. Моя кобыла вторые сутки не может ожеребиться, измучилась вся, я в панике. Помоги!

Они зашли на скотный двор. Затхлое тепло, смешанное с запахом свежего навоза и мочи, ударило в голову. Слева, в стойле, корова, с повисшей слюной, пережёвывала сено. За ней тихо стояла коза с немигающими глазами. Дальше, прижавшись, друг к другу, в небольшой кучке притихли овцы. В самом конце, в отгороженной просторной площадке, уткнувшись головой в сено, на правом боку лежала лошадь. Её тело казалось безжизненным, большие, в поволоке, глаза ни на что не реагировали, только неестественно раздутый бок при дыхании поднимался и опускался.

Рядом стояла молодая растерянная женщина с полотенцем в руке. Её безумные уставшие глаза просили о помощи. Большие мужские валенки нелепо смотрелись на её стройных ногах, овчинная поддевка плотно облегала

хрупкое тело. Она была среднего роста; платок съехал с её головы на шею, обнажив растрёпанные по сторонам волосы; толстый ворот свитера закрывал длинную шею и упирался в острый подбородок, с небольшой ямочкой над мокрыми от слёз губами, выпирающими вперёд, словно готовыми к поцелую. Её глаза, с опущенными вниз ресницами, припухли от слёз, которые скатывались крупными каплями вдоль вздёрнутого вверх небольшого носа.

– Это моя жена Лена, – сказал Николай. – Измучилась вся, не меньше лошади.

– Федя!? – сказала Лена, сделав шаг навстречу. Её подбородок задрожал, щёки запылали красным румянцем. – Ты как здесь, в наших краях? Ты вроде был где-то под Новосибирском?

– Ну… так сложилось, в общем, я…

– Вы что, знакомы? – спросил Николай.

– Да, знакомы, мы учились вместе в сельскохозяйственном институте, только я курсом старше, – сказал Фёдор, с трудом сдерживая своё смущение. Чтобы справиться с собой, он стал рыться у себя в рюкзаке, а достав металлическую квадратную банку с медицинскими инструментами, протянул её Лене. – Вот это нужно хорошо прокипятить. Мне нужны будут ещё таз с тёплой водой и белая простыня, а тебя, Николай, я попрошу прислать пятерых крепких мужчин.

Фёдор почти не слышал голоса Николая, дававшего распоряжения, не слышал возникшей суеты, не заметил Лену, которая тихо смотрела на него, облокотившись о стойку деревянных ворот.

Он, сняв с себя куртку, укрыл ею крутой бок лошади, лёг рядом с ней вдоль позвоночника и стал гладить ей шею, шепча какие-то слова в мохнатое ухо. Ухо лошади напряглось и задёргалось, шея натянулась острыми сухожилиями.

Когда он ползал на коленях взад-вперёд, водил своими руками по телу, голове, шее лошади, Лена смотрела на его перекошенную спину, где под вязаным серым свитером, в районе левой лопатки, уродливо выступал острый горб.

Его объёмная голова с жёсткими вьющимися волосами, на короткой шее, уходила в приподнятые плечи. На руках свитер был закатан на уровне локтя, обнажив предплечья с выступающими венами.

Ощутив посторонний взгляд, он весь поджался, напрягая спину, как бы стараясь втянуть свой горб вовнутрь, потом медленно повернулся. Его глаза от напряжения налились краснотой, всё внимание с лошади перенеслось на Лену.

– Что? – спросил он, разогнулся и замер.

– Как ты живешь, Федя?

Фёдор встал, отвернув голову в сторону, от нахлынувших чувств и эмоций, не было сил посмотреть ей в глаза.

– Нормально, – выдавил он из себя.

– Давно в наших краях?

– Потом. Сейчас не время.– Фёдор, с трудом сдерживая волнение, громко крикнул: – Коля? Где ты? Почему так долго?

Взяв банку с медикаментами, он набрал в шприц из ампулы жидкости, потёр на загривке лошади ватой в спирту и воткнул туда глубоко иглу; мышцы кобылы судорожно дёрнулись.

Фёдор снова упал перед лошадью на колени, зашептав ей в ухо свои магические непонятные слова. При изгибе спины его горб ещё страшнее вылез наружу, но он уже не обращал на это внимания, а вошедшим мужчинам сказал:

– Готовьтесь, возможно, её нужно будет поднимать, а вас, Николай, я попрошу увести отсюда жену.

Лена вышла из помещения. Она долго стояла у закрытых ворот, стараясь понять, что там происходит внутри.

– Мама! – позвала её дочь. – Давай поиграем?

– Что? – Лена словно вышла из гипнотического оцепенения. – Давай, давай, моя хорошая, поиграем.

Они пошли с дочерью к опилкам, потом покачались на качелях, зашли в дом поменять варежки на сухие. Иногда Лена подходила к воротам и замирала – ей казалось, что кроме мужских голосов она слышала протяжные вздохи и жалобное ржание лошади. Она бежала прочь, зажимая руками уши. Лена не находила себе места, нервы разыгрались,

ей казалось, что время идёт очень медленно. Они с Вероникой пошли на откос, сели в санки и помчались вниз, крича что было сил, но из головы не уходила мысль: «Как там Коля, Федя? Что с лошадью?»

Она вспомнила, как впервые увидела Фёдора. Проходило первенство института по баскетболу. Все девчонки сидели на лавках вдоль стены и кричали, болея за свои команды; парни бегали за мячом. Первый курс встречался со вторым. Особенно выделялся один парень. Он выделялся не своей хорошей игрой, а внешностью. В его фигуре бросалась в глаза уродливая непропорциональность. На фоне короткого тела с широкими плечами ноги и руки казались большими и сильными. А самое главное – сквозь запотевшую майку с седьмым номером выступал острый горб, и от этого парень не мог полностью распрямиться. Его голова была большая, с огромной копной жёстких вьющихся волос тёмного цвета. Он был прыгучим, умело перехватывал мяч у противника, смело атаковал кольцо, без устали бегал по площадке. Игра была напряжённой, команды шли очко в очко. В перерыве он сел на лавку отдохнуть и случайно повернул голову вправо – они встретились с Леной глазами. Он весь поджался, голову втянул в плечи.

Во второй половине матча у него ничего не получалось. Игра, как говорится, не шла – при каждой возможности он косился на лавку, где сидела незнакомка, Лена. Они проиграли.

В коридорах института Федор её избегал, но при этом украдкой поглядывал в её сторону. А вот подойти и спросить – хоть о чём-ни будь – так и не осмеливался долгое время. Но судьба подарила ему случай познакомиться ближе – на практике, в подшефном хозяйстве. Лена купалась в пруду, запуталась в кувшинках и водорослях, начала тонуть. Услышав девичьи крики о помощи, Фёдор бросился в воду, схватил Лену руками и вынес на берег. Она лежала неподвижно и тяжело дышала. Фёдор – неожиданно для себя! – погладил её щеки и поцеловал в полуоткрытые, посиневшие губы. Она открыла глаза, в его взгляде страсть и… страх. Он отпрянул от девушки и стремительно зашагал прочь.

2

Наконец ворота открылись. Из чёрного проёма двора потянуло тёплым терпким воздухом, на пороге показался улыбающийся Николай, он крикнул в надвигающиеся сумерки:

– Доченька! Вероника! Где ты? Иди сюда!

Через несколько минут всё население лесозавода, собравшись в тесном проходе скотного двора, смотрело, как под яркой лампочкой лежала на сене уставшая лошадь. Рядом с ней, покачиваясь на слабых ногах и подрагивая влажным телом, неуверенно стоял жеребёнок. Малыш смотрел на незнакомый мир, на улыбающихся людей, большими любопытными глазами.

– Как назовем жеребенка? – громко спросил Николай.

– Зяблик! – ответила Вероника.

– Ну, что же, Зяблик, с днем рождения!

Фёдор чувствовал себя опустошённым, сильно хотелось пить. Пока все люди любовались жеребёнком, он вышел на воздух, умылся снегом и направился в сторону барака, где жили рабочие.

В помещении царил беспорядок: давно не стиранная рабочая одежда лежала, где попало, из сапог торчали грязные портянки, на двух столах громоздилась немытая посуда с остатками пищи. За столом сидел рабочий в ватнике и пил чай из алюминиевой кружки.

Фёдор молча подошёл к ведру, стоящему на стуле, зачерпнул ковшом воды, стал долго и жадно пить. В дальнем углу послышались стоны человека.

– Что с ним? – спросил Федор.

– У нево шо-то с рукой, – прошепелявил рабочий, закрывая губами прореху из двух недостающих верхних зубов.

В конце барака, на нижней койке под одеялом, одетый лежал рабочий.

– Встать сможешь?– спросил подошедший к нему Федор. Тот молча приподнялся и сел, его правая рука висела как плеть. – Нужно раздеться по пояс, давай помогу. У тебя, похоже, температура.

Тело больного было худым и жилистым, в тёмных волнистых волосах на голове застряли опилки.

– Мне нужен градусник.

– Меня Миш… шей зовут, я сич… щас, – шепелявый незнакомец быстро кинулся в темный угол и вернулся с аптечкой.

Федор сунул градусник больному под мышку левой руки, взял со стола растительное масло, немного вылил себе на ладонь и стал массировать ему правую руку, поднимаясь от пальцев всё выше и выше к плечу, чередуя сильные болезненные движения с легкими поглаживаниями. В тот момент, когда рука была полностью расслаблена, он резко дёрнул её на себя.

– Ой, сукин ты сын, больно же! – взвыл рабочий, пригибаясь на кровати.

– Всё позади. Кажется, всё встало на место. – Фёдор посмотрел на градусник. – Тридцать семь и восемь. Выпей вот эту таблетку и хорошо укутайся. Я скажу Николаю, чтобы тебя завтра отвезли домой, нужно показаться врачу.

– Спасибо.

– Будь здоров!

3

Фёдор сидел за большим, круглым столом напротив Лены. Он на неё старался не смотреть, а уткнулся в тарелку с супом.

– Теперь я твой должник, Федор, может, тебе что нужно или чем помочь? – спросил Николай.

– Отвези меня на кордон.

– Ну, это само собой. Я не о том.

– Да нет, ничего не надо. Спасибо.

Вероника сидела на высоком стуле, болтая своей маленькой ножкой. Она неохотно водила по тарелке ложкой, с любопытством рассматривая Фёдора.

– Дяденька Фёдор, у вас что, спинка болит? – спросила она.

– Нет, Вероничка, не болит, – ответил смущённый Фёдор. – Просто меня туда клюнула птичка.

– И у вас выросла шишка?

– Да, Вероничка, выросла шишка.

– А вы в лесу живёте?

– Да, в лесу.

– И вам не страшно одному? Я бы боялась.

– Скажу по секрету, что я тоже боюсь, но мне нельзя жаловаться, я же мужчина.

– Доченька, иди в детскую, поиграй, – вмешалась Лена и почувствовала, что краснеет. – Простите, Фёдор.

– Ничего, я привык, – Фёдор повернул голову к Николаю. – Твой заказчик, из областной администрации, стрелял вчера по животным за дальними гатями.

– Может, ты ошибся, Фёдор?

– Нет, не ошибся.

В дверь настойчиво позвонили.

– Открывайте. Кто там? – громко крикнул Николай. – Да заходите же.

В прихожую первым зашёл рабочий в валенках, с заиндевелым лицом, он провёл грубой ладонью по своей недельной щетине и указал глазами на посетителя. Второй был значительно выше ростом, с чисто выбритым волевым лицом и выступающими вперед упрямыми губами. Его глаза из глубины запотевших очков въедливо смотрели перед собой. Он дотронулся до горбатого носа, поправляя очки, оглянулся по сторонам, разглядывая жилище.

– Здравствуйте! Приятного аппетита! – сказал он, сняв большую мохнатую шапку. – Николай Сергеевич, я, собственно, по делу. Если вам удобно, то прямо сейчас.

– Да удобно, пошли. Хотя подождите, – Николай посмотрел на Фёдора. – Видите ли, Виктор Андреевич, простите заранее за неделикатный вопрос. Наш егерь, Федор Иванович, утверждает, что с вашим приездом стали незаконно охотиться и стрелять в животных в наших лесах. Что вы на это скажете?

У Виктора Андреевича на лице не дрогнул ни один мускул:

– Понятия не имею, что творится в ваших лесах, я приехал сюда по другим делам. Если вы, Николай Сергеевич,

ещё имеете интерес к нашей сделке, то милости прошу в контору.

Он пошел к выходу.

– Да, конечно, – Николай быстро оделся и нырнул в дверь, чтобы догнать в сумерках уходящего важного гостя.

В комнате стояла тишина. Фёдор ковырял взглядом пол.

– Может быть, ещё чаю? – спросила Лена.

– Знаешь, Лена, мне отец однажды сказал: «Делай своё дело честно, справедливо и ничего не бойся». Федор сжал свои грубые пальцы в кулаки. – У него всё есть, что только можно, зачем стрелять-то?.. Ладно, мы ещё повоюем.

– Что ты надумал, Федя? Я тебе запрещаю. Слышишь, не связывайся.

– Я все буду делать по закону, успокойся.

Лена нервно заходила по кухне, потом остановилась за его спиной:

– Это, правда, что твой горб приносит удачу, если до него дотронуться. Ой, господи! Что я говорю?! Прости меня, Федя.

– Про меня многое чего говорят, не верь, я всего лишь инвалид.

Фёдор повернулся к ней лицом.

– Тебя что-то мучает?

– Нет. Ничего. Хотя… я не знаю, может быть, – Лена покраснела. – Как тебе сказать, после рождения Вероники я не могу забеременеть ещё раз, врачи говорят, что мы с Колей здоровы.

– Подойди ко мне. – Он положил ей ладонь на живот.

Она почувствовала через шерстяную кофту его горячую руку, по всему животу разошлось тяжёлое тепло.

– Знаешь что, Лена, у тебя будет все хорошо, ты скоро будешь беременна, даже очень скоро.

4

Как только спали морозы, Фёдор повёз корма на дальние болота. Завернувшись в тулуп с огромным бараньим воротом, он смотрел под ноги лошади, временами подни-

мая свой взгляд на её крупный зад и загривок. Она, задыхаясь, тащила небольшой воз сена, стянутый гнётом, на широких развальных санях. Твердый наст дороги был занесён слоем снега, и застоявшейся в стойле лошадке было тяжело. Из её ноздрей порывисто выходил пар, а влажный круп серебрился от таящих снежинок.

Лесная тишина оглушала. Длинная прямая просека растворялась в дали белой пеленой. По левую сторону встречались заячьи следы, убегающие в глубину леса. Под поваленным деревом была взрыта кабаном земля, она пестрела грубым пятном на снегу вперемешку с жёлтой мочой и чёрным, в горошек, помётом. Настойчивая птица сопровождала их на протяжении всего пути, поочередно отдыхая то на одном дереве, то на другом.

Федор в трёх местах туго набил кормушки сеном. На обратном пути лошадь шла веселей, пустые сани скользили быстрее. Неожиданно впереди, метрах в ста от повозки, заревели моторы снегоходов. Пересекая просеку, незнакомцы на снегоходах гнали лося на открытую поляну. Федор выстрелил в воздух. Все четыре «Бурана» остановились.

– Фёдор, не шали. Я знаю, что это ты, – крикнул мужчина из головного снегохода.

– А мне плевать, Иван Сергеевич, на то, что вы мэр города. Закон есть закон, – ответил Федор. – Выходите ко мне по одному, оружие кладите в сани.

Сквозь равномерное гудение моторов было слышно, как фыркала губами лошадь.

– Послушайте, давайте договоримся, мы сейчас уезжаем, и вы нас больше никогда не увидите, – произнёс мужчина в меховой шапке. Голос показался знакомым – «высокий гость» из области. – Может, вы денег хотите?

– Засунь их себе в одно место.

– Фёдор, ведь посадим тебя, век не отмоешься.

– А мне, горбуну, терять нечего. На этой земле я утратил всякий интерес к жизни. Если не сдадите оружие, положу вас всех, да и дело с концом.

– А если мы тебя?

– Давайте повоюем.

– Всё будет иначе, Фёдор. Гораздо проще. Пока.

Снегоходы взревели и, поднимая снежную пыль, стали удаляться. Федор, от бессилия, выстрелил в воздух.

5

Сумерки совсем сгустились, когда он подъезжал к своему дому. Лаяла собака. У забора стоял полицейский внедорожник. Из него вышли двое в форме. Один спросил:

– Панкратов Фёдор Михайлович?

– Да.

– Вы арестованы, вот ордер. Поедете с нами.

Фёдор, молча, распряг лошадь, отвёл её на двор, положил больше обычного сена в кормушку, поставил туда ведро с водой. Он вынес из дома поесть собаке, пристегивать её не стал, потрепал ей голову:

– Будь здесь, Рыжий!

К трехэтажному серому зданию полиции доехали быстро. Полковник Смирнов разговаривал по телефону, четверо из леса были уже тут.

– Товарищ полковник, арестованный Панкратов по вашему приказанию доставлен, – сказал сержант, прикладывая руку к зимней шапке, немного съехавшей набок.

– Сержант, снимите с него наручники и подождите в коридоре.

Полковник положил трубку телефона, а в раскрытую дверь крикнул:

– Мариночка?

Появилась высокая девушка в тесной короткой юбке, она теребила рукой кончик черного галстука, резко выделяющегося на её белой рубашке, и застыла в позе ожидания, поджимая тонкие крашеные губы.

– Да! – томно произнесла она.

– Мариночка! – ещё раз повторил полковник. – Принеси нам чаю с бутербродами и коньячку.

Девушка вышла и почти сразу же зашла с серебряным подносом. Фёдор стоял, потирая пальцами запястья.

– Фёдор Иванович, голубчик, что же вы натворили? – полковник развел руками. – Вы угрожали и стреляли в

этих уважаемых людей. И каких людей – первых лиц города. За этим знаете, что следует?

– Я вам не голубчик, товарищ полковник, а уполномоченное лицо. Они хотели убить лося.

– Какого лося? Они отдыхали на природе, а вы их чуть не убили.

– Я требую расследования, – сказал Фёдор.

– Вот и посидите в КПЗ до полного выяснения обстоятельств, товарищ уполномоченный. Сержант, уведите его в подвальчик.

Едва они сделали несколько шагов по коридору, Фёдор услышал из открытой двери кабинета голос полковника: «Этот горбун действует мне на нервы, пора гнать его из наших мест».

Фёдора увели в камеру с толстой железной дверью. Вдоль стены был пристроен деревянный топчан, а в углу находился грязный толчок и раковина с ржавой трубой. По камере нервно ходил худощавый мужик и чесал рукой свою волосатую узкую грудь.

– Дай закурить, – попросил он.

– Не курю, да и забрали всё из карманов, – ответил Фёдор.

– Не куришь? Положительный, что ли?

Мужик подошёл вплотную.

– Ба, да ты, оказывается, урод? Горбатый? – Вытянув тощую шею вперёд, он небрежно сплюнул тонкими губами в сторону Фёдора.

Фёдор молча ударил его в правый бок, в район печени. Удар получился сильным и неожиданным, так что угрожавший перегнулся пополам и захрипел. Через несколько секунд он все-таки сумел вдохнуть в себя воздух, а разогнувшись, задышал часто, как собака после быстрого бега.

Фёдор почувствовал усталость – и моральную, и физическую, его веки потяжелели, руки обвисли как плети:

– Отойди от топчана, я лягу.

Он лег на правый бок, повернувшись к мужику горбом. Сквозь тревожный сон Федор слышал стоны и глубокие вздохи сокамерника.

Сон длился не больше получаса. Фёдора разбудил скрежет ключа в железной двери. Сержант провел его по коридору, в дальний кабинет с мрачными стенами, где за столом сидел уставший капитан и рассматривал фотографию девочки с длинными косичками.

– Свободен, – сказал он сержанту, встал, протягивая вперед руку. – Здравствуйте, Фёдор! Извините, что вынужден принимать вас здесь и вести неприятный разговор. Вы помните меня?

– Помню. Вы Павел.

– Они хотят, чтобы вы уехали. Иначе у вас будут неприятности. Мне жаль.

– Все правильно, капитан. В этой жизни все правильно. То, на что я не мог решиться сам, судьба делает за меня. Иначе мне просто не выжить, я задохнусь здесь. Хватит бегать за призраком, нужно жить своей жизнью.

– За каким призраком, куда бегать?

– Это личное, капитан, очень личное

– Ну, личное – важнее всего.

– У неё все хорошо – это главное. А что я? – Федор замер в задумчивости. – Я приехал ради неё, уезжаю тоже ради неё.

– Ради кого?

– Неважно, капитан.

– Вам есть куда уехать?

– К брату, под Новосибирск.

– Тогда вот здесь распишитесь. Дела сдадите через три дня новому человеку. Мне очень жаль.

Фёдор вышел из здания полиции, когда было совсем темно. Он снял с головы шапку и простёр свои руки в черноту неба:

– Свобода!

Возле машины стояли Николай с Леной, ждали его.

– Извини, Фёдор, что ничего не смог сделать, – сказал Николай.

– Не надо ничего делать. Уезжаю. Начну, как говорится, новую жизнь.

– У дочери завтра день рождения! Приходи, будем очень рады.

– Приду.

– Мы тебя подвезём.

– Не надо. Хочу пройтись, осмыслить случившееся.

Когда Фёдор уже скрылся за поворотом дома, Лена окликнула его и побежала за ним. Федор вздрогнул и, как когда-то в институте, лицо его покрылось румянцем, ресницы нервно задрожали.

– Федя, представляешь, я беременна. Мы так счастливы, – она поцеловала его в щеку. – Прощай!

– До завтра.

Николай с Леной, обнявшись, смотрели, как Фёдор уходил всё дальше по улице, растворяясь в блеклом свете уличных фонарей.

Супруги не могли видеть его глаз, не могли догадываться о его мыслях, но зато отчетливо – даже издалека – могли видеть его спину, выступающую горбом.

Наталья ДОВЖЕНКО

КАРАСЬ

Прохлада летнего утра постепенно опускалась туманом на небольшой пруд, водная гладь которого отражала камыш и очертания высоких берегов. Я шагала в лес за земляникой по тропинке вдоль берега и, увидев рыбака, собирающего снасти спросила:

– Дядя Коля, здравствуйте, как улов?

– Сегодня хорошо. Во, глянь-ка, карась-то какой! С икрой, видать, будет. Катьку попрошу, может, сварит уху али зажарит… стерва, – рыбак потряс пакетом, в котором лежал действительно большой карась, грамм на восемьсот.

Дядя Коля – мой сосед по лестничной площадке, пенсионер, живёт один, любит встать раненько, часов в пять, выйти на балкон и громко здороваться с проходящими мимо соседями, не забыв спросить, как их здоровье, как дела на работе, или утвердить: какая хорошая погода. Ему хочется общения. Он даже не задумывается, что летом у людей открыты окна и он может разбудить мирно и сладко спящих в утренний час людей, живущих рядом.

Он когда-то жил в частном доме, который ему достался от родителей. Дети выросли и разъехались, а жена, хотя и жила с ним под одной крышей, но была с ним в разводе, потому что он пил и, унижая её, частенько распускал руки. Уйти Катерине было некуда. После развода Нико-

лай присмирел, но вести хозяйство самостоятельно не умел, а главное, не хотел, был ленивым. Он редко мылся, стирать одежду не любил, а утюгом вообще не пользовался, поэтому ходил в мятых штанах и рубашке. Брился раз в неделю, все привыкли к его рыжей щетине. Одутловатое небритое лицо с маленькими глазками чем-то напоминало рыбью голову. Кто-то его назвал карасём, так эта кликуха к нему и приклеилась, да и фамилия у него была подходящая: Рыбин. На счастье Катерины, дом, в котором проживали бывшие супруги, мешал строительству нового многоэтажного дома, его необходимо было снести. Взамен дома предложили двушку, но Катерина ни за что не хотела жить с Николаем. Им вручили ордера на однокомнатные квартиры в одном доме в соседних подъездах.

Николай вышел на пенсию, продолжать работать не пожелал, пенсии ему почти хватало. Его дети жили далеко, за помощью к нему не обращались, знали, что отец всё равно не поможет. Он почти не делал обновок, ходил в растоптанных ботинках зимой и в тапочках летом. Иногда загрустив, приглашал друзей-собутыльников, пропивал за два-три дня всю пенсию. Потом шёл к Катюше в соседний подъезд, стучал в дверь и требовал его накормить, обзывая её стервой и гадиной, иногда так и засыпал на коврике, не дождавшись приглашения за порог. Утром Катя пускала протрезвевшего Николая, заставляла его помыться, стирала ему одежду и кормила. Так и жили.

Сегодня, поймав карася, Николай решил отдать рыбу Катерине, предполагая, что она его вкусно накормит.

Пролетели тёплые летние деньки. Наступила осень. Катерина простудилась, захворала и умерла.

Николай остался один, он почувствовал себя завидным женихом, и решил найти себе подружку, которая бы кормила его и стирала. Друзей домой не приглашал, знал, что пенсия быстро кончится, а кормить теперь его будет некому.

В погожий осенний день сидит Николай по обыкновению на балконе, здоровается со всеми проходящими, увидел дворничиху Зину, поговорил с ней о том о сём,

а потом сделал сногсшибательное предложение: «Зина, будь моей женой!» Зина, будучи женщиной свободной, не обременённой детьми и любящая «причаститься» водочкой, не растерялась, забежала на второй этаж к Николаю, обсмотрелась и через час вселилась со своими скромными пожитками. Прожила она у Николая три дня, обобрала его как липку, не забыв прихватить почти всю кухонную утварь, грязную, но добротную (ту, которую он забрал после смерти Катюши), предварительно пропив с Николаем всю его пенсию.

Николаю пришлось несладко, необходимо было продержаться на картошке и макаронах целую неделю, пока почтальон не принёс пенсию.

Прошёл ещё месяц. Николай не оставлял надежд в поиске порядочной женщины, спутницы и собеседницы. Момент такой наступил. За стенкой я услышала женскую писклявую речь и шум передвигавшейся мебели. «Да, наверное, хозяйственную женщину нашёл дядя Коля, – подумала я, – может, ремонт задумали? Пусть лучше за стенкой разговаривают, чем на балконе ранним утром…»

Через неделю за стенкой было по-прежнему тихо. Я столкнулась с дядей Колей у дверей подъезда.

– Здравствуйте дядя Коля, – поздоровалась я, – как поживаете?

– Вот ты мне скажи, как так можно?! – чуть ли не с криком обратился ко мне дядя Коля, – я ей говорю: «Раиса, будь моей женой!» А она, знаешь что, – у Николая, видимо, так наболело (вероятно, ему не с кем было поговорить, он говорил без остановок), – да она пьёт больше меня! Не люблю таких женщин! Разве может женщина пропивать пенсию, а кушать потом на что?

Я сочувственно покачала головой и поспешила выйти на улицу.

Прошло ещё несколько месяцев. Наступило предзимье, на дороги и балконы выпал белоснежный покров. Николай, надев тулуп, вышел на балкон ранним утром посидеть на табуретке, подышать воздухом и пообщаться. Ему не спалось. Через открытую форточку я услышала, как его шаги скрипели по свежевыпавшему снегу, как

он потом железным совком его выбрасывает с балкона. Теперь уже и мне не спалось. Я повернулась на другой бок в надежде задремать. Как вдруг услышала громкий голос дяди Коли, он с кем-то разговаривал. Я изо всех сил старалась расслабиться и не слушать, но, услышав сакраментальное: «Машка, будь моей женой!», рассмеялась, встала с кровати и подошла к окну. На ещё не очищенном от снега тротуаре стояла, как памятник, Машка Щукина. Она утвердительно качнула головой и исчезла за углом дома.

Машка Щукина, сорокалетняя женщина, замужем никогда не была, поскольку имела диагноз: олигофрения, умственная отсталость. Жила она с мамой и семьёй брата, поэтому против её ухода из дома, вероятно, никто не был. А вдруг Машка нашла своё счастье?

Прожив недельки две у Николая, Машка решила вернуться домой. Момент ухода она подгадала на удивление логично и мудро для себя. Она дождалась, когда Николаю принесут пенсию, и, попросив денег для покупки продуктов на месяц, улучила момент, собрав свои пожитки, ушла. Николай, привыкший к порядочности первой жены Катюши, решив, что все женщины должны быть такими, отдал всю пенсию Машке в надежде, что теперь проблем с завтраками и обедами у него не будет. Машка никогда не пила спиртного, и, по мнению Николая, это та женщина, которая ему нужна. До вечера прождав Машку, Николай понял, что она не вернётся, и догадался, что денежки ему точно никто не вернёт.

Сидит Николай на балконе, грустит:

– Здравствуй, соседушка, здравствуй дорогая, – говорит Николай, окликнув меня.

– Здравствуй, дядя Коля, что какой грустный?

– Да вот, понимаешь, Машка-то Щукина меня обманула, всю пенсию мою забрала. Я вот чего думаю-то. Вот, думаешь, я не знаю, что меня Карасём называют? Знаю. Да, – Николай высморкался, – я вот о чём хочу сказать-то: она хоть и Машка, но ведь Щукина. А я когда-то книжку читал одну про щуку, пескаря и карася. Там щука-то карася съела. Вот она меня и слопала.

– Дядя Коля, ты меня удивил, – изумилась я. – Ты что, Салтыкова-Щедрина почитываешь?

– Кого-кого? Не, его я не читал. Я тебе про щуку… Может, если бы у неё другая фамилия была, может, всё хорошо было бы, а?

Я рассмеялась, пожала плечами и подумала: ну, если он сам себя чувствует карасём, значит – карась.

Зима выдалась тёплой. Дядя Коля ежедневно сидел на балконе, но разговаривал и здоровался редко, только тогда, когда соседи смотрели на его балкон и, встретившись с ним взглядом, сами здоровались. Он всё больше грустил и печалился. Вскоре врачи диагностировали у него хроническую сердечную недостаточность, но лечиться дядя Коля отказывался и умер скоропостижно, не дожив до новогодних праздников.

ГРАЖДАНСКИЙ ПАЦИЕНТ

В гарнизонном госпитале заканчивался рабочий день. Хирург Елена Васильевна стояла в ординаторской перед зеркалом и рассматривала своё уставшее и сердитое лицо: «Как же я устала… Домой бы сейчас… Но – де-жур-ство».

Вечер прошёл в штатном режиме, Елена Васильевна, сделав обход сложных больных, записала в их картах назначения и, уединившись в ординаторской, выпила горячего чая, накрылась синим солдатским одеялом и мгновенно уснула.

В 23 часа дверь распахнулась, в помещение ворвалась медсестра с поста и закричала:

– Елена Васильевна, позвонили из приёмного отделения с КПП, парня гражданского подвезли – ножевое ранение брюшной полости, пульс еле прощупывается, большая кровопотеря, просят срочно спуститься.

Елена Васильевна открыла глаза.

– Гражданский? А мы тут при чём?

– Да-да, гражданский, до больницы не довезут – далеко… Может, укол какой?

– Укол!? Какой укол! Ещё чего!? Его уже укололи. Гражданского я и смотреть не буду. У гражданских есть свой «здравпром», – Елена Васильевна цинично рассмеялась, довольная своей шуткой, – ладно, вызывай районную скорую помощь, пусть приезжают и забирают своего пациента.

Медсестра замешкалась, желая ещё что-то сказать, но Елена Васильевна, не желая окончательно просыпаться, с раздражением добавила:

– Зина, всё! Вопрос закрыт, не беспокой меня по пустякам. Поняла?

Прошёл час.

Зина постучала в дверь ординаторской:

– Елена Васильевна, разрешите?

Елена Васильевна проснулась, встала с кушетки, тряхнула головой:

– Зина, что случилось? – спросила она, понимая, что медсестра Зина без крайней необходимости не потревожит отдыхающего хирурга.

– Елена Васильевна, из приёмного отделения просят вас спуститься, очень просят. Там для вас какое-то срочное и важное сообщение.

Елена Васильевна вздохнула, надела белую накрахмаленную шапочку и направилась к лестнице, ведущей в приёмное отделение.

– Елена Васильевна, – медсестра приёмного отделения растерянно смотрела на хирурга и начала говорить что-то невнятное, затем собралась и сказала, – вы бы сами туда позвонили… Парень, который здесь был, час тому – скончался в машине скорой помощи по дороге в районную больницу от внутреннего кровотечения, не довезли – крови много потерял…

– И что? – холодно, с нотками раздражения сказала Елена Васильевна и, развернувшись, шагнула к выходу.

– Елена Васильевна, он – ваш сын.

Петр РОДИН
Воскресенское, Нижегородская область

ЗАРАЗА

Она пришла на приём к мэру посёлка Здвиженское, чтобы похлопотать о своём личном и наболевшем.

И старые, и малые называли её Таиска, хотя женщине было уже за пятьдесят. Таиска да Таиска – бывшая нянечка в бывшей уже тоже участковой больничке – числилась в списках малоимущих.

Это означало, что за последний год совокупные доходы её не достигали величины прожиточного минимума и наполняемости установленной правительством продовольственной корзины. Правда, мало кто из поселковых и знал, как всё это изобилие считается.

А самой Таиске, третий год считавшейся ещё и безработной после закрытия больнички, эта самая корзина представлялась белоснежной, из ободранных от шкурки ивовых прутьев. А в ней обязательными должны были быть вошедшие в моду замороженные куры – «ножки Буша» в красивенькой слюдяной упаковке, да ещё бодрической формы и невиданные доселе в залесной стороне заморские фрукты – бананы.

Таисия Ивановна Липина – невысокая, худощавая женщина с плоским чалдонским морщинистым лицом, в синей болоньевой куртке и такого же цвета резиновых сапожках – в прохладное и дождливое осеннее утро подошла к старинному краснокирпичному зданию поселкового Совета,

которое было когда-то конторой и кладовой местного лесопромышленника Зеленова. Очередь заняла первой ещё до открытия двери под намокшим за ночь, почти новым российским флагом. В кабинет поселкового главы ей удалось попасть также одной из первых. Мэр, или, по-ранешному, председатель сельсовета, молодой, невысокий и мордастенький, с обозначившимся брюшком малый, украшенный цветастым галстуком, в это утро отчего-то сильно потел.

– Что за нужда, Таисия Ивановна?

Та малость замешкалась, а потом зачастила:

– Да плохо дело, Михаил Павлович, нужда, да ещё какая! Помогите, ради Христа. Осень, а у меня в подполе картошки не больше двух плетюх и будет всего-то.

Посетительница затеребила полиэтиленовый пакет со справками и разноцветными корочками удостоверений.

Перебирая их, мэр поинтересовался:

– А дочка-то что, так уж и не помогает нисколько? В Нижнем же она у тебя. Говорят, свой киоск держит с винно-водочными.

Таиска малость смутилась, будто уличили ее в чём-то нехорошем, рукой отмахнулась с досадой:

– Да не говори, милый, по полгода никаких вестей от неё.

Михаил Павлович пробурчал что-то в затарахтевший телефон и положил трубку:

– Ну а картошка что, не уродилась, что ли?

– Вот и именно, Михаил Павлович, – Таиске будто в удовольствие было выговаривать имя-отчество начальника. – И не говори, дорогой, хлопотня с ней одна, с картохой-то. У избы шесть соток у меня под ней. А место у нас, сам, поди, видал, низинное да нажимное. А тут ещё дожди, почитай, кажинный день зачастили. Повымокла, не уродилась.

Возвращаясь домой из сельсовета, и мысленно, и шепотком поругала было себя Таисия за то, что скрыла истинную причину своего похода к властям, но по дороге успокоилась, полностью оправдала себя и малость даже похвалила:

– Ну и ладно, ишь, как ловко это я с Нинки-то на картоху-неродиху съехала! Кто будет искать мою непутёвую! Да и сплетни опять на посёлке вздуются. Лишняя слава, и

только. На доченьку родную в розыск подавать! Мыслимое ли это дело? А картошки есть немного. А может, и на самом деле подешевле мешочек достанется. Ведь сказывали вчера в сельмаге, что одиноким и малоимущим, да ещё инвалидам будут давать один мешок бесплатно, да ещё один за полцены,– рассуждала на ходу Таиска.

А Нинка-дочь обреталась поначалу где-то в Нижнем Новгороде. После райцентровской средней школы тряхнула её дочушка рыжими кудряшками, распахнула глазищи и поскакала, опережая мать, до автостанции. Новая цветастая сумка с сарафаном, кофтёнками да печенюшками-подорожниками хлопала по её точёным ножкам. Поступать в торговое училище или бизнес свой делать полетела девочка. А как же? Все торговать ринулись. Кто чем. В ходу тогда рекламная фраза из телевизора была: «Мы сидим, а денежки идут!» А как же? Прямо так и торопятся, и поспешают! Лёня Голубков всё хвалился с экрана норковыми шубками и финскими сапожками для любимой жены.

Поначалу, хоть и нечасто, писала домой Нинка, а потом и позванивала. Потом запропастилась надолго. Через два годочка с месяцами заявилась домой зимой и без шубы, без модных сапог и даже без паспорта, зато с изрядно округлившейся талией – на восьмом месяце беременности. Жалость и от людей стыдоба! Ни техникума тебе, ни бизнеса, ни мужа или жениха и в появе не было. А паспорт дочери какой-то бизнесмен отобрал. Будто бы задолжала она, торгуя в его киоске фанфуриками с пойлом спиртосодержащим, изрядную сумму. А по её разговорам определила Таиска, что ребёночка-то ей сынок того самого торгаша городского и замесил. Вот тебе и весь бизнес! И хоть бы устыдилась, поугомонилась бесстыжая. С пузом по деревне, как напоказ, выхаживала, старух дразнила.

Девчушка родилась – ни рыжинки фамильной, ни конопушки. Да крепенькая такая! Опять старухи судачили:

– Знать, не в мать, а в отца – проезжего молодца!

Будто назло маманьке с бабулей нарисовалась на свет божий девчушка-куколка с глазами-блюдечками василькового цвета и вьющимися льняными волосами. Так что даже в первые недели жизни младенца было уже за что

потрепать. Аккуратненький носик, пухленькие губки бантиком… Ну Алёнка и Алёнка с обёртки известной с советских времён фирменной шоколадки!

Красавица писаная. И хорошо, и ладно бы. Да с каждым годочком всё больше характер слобышный в девчушке стал вырисовываться, упрямый и вздорный то есть. Только бутылёчки с сосками в стенку летели, когда ещё и под стол пешком не хаживала. Дальше – больше.

Мамашка оставила кроху в два года на Таисию, а сама хвостом вильнула и пропала. На этот раз, как оказалось, надолго. Доходили до матери слухи, что умчалась её Нинушка-кукушка с каким-то кавказцем в чеченский город Грозный. В последний раз из этого города она и звонила. А там война шла страшенная. А война, она ведь не мать родна. С того последнего звонка и не было никаких известий от дочери.

Жалко было не в силу и дочку, и дитё её. Но вместе с тем поселялась иногда в душе бабушки непрошеная негодь на, казалось, чужие навадки внучки-куколки.

Из деревни в посёлок леспромхозовский с горем пополам перебралась. Не из-за сплетен деревенских – поутихло уж всё, поулеглось. Работы в деревне совсем не стало, жить не на что было. В больнице уборщицей устроилась.

А внученька, что не по ней, уставится в сучок на простенке своими гляделками и молчит, как безъязыкая. Шлёпнешь по заднюшке – то же самое. Только пыхтит, как ёжик потревоженный, ни слезинки, ни словечка. В папашку неведомого, знать, удалась звезда. Хотя, чего уж там, и свою Нинку узнавала в растущей, слава богу, здоровенькой, смышлёной, но слишком уж самостоятельной воспитаннице своей, Светланке.

И недобро отзывалась вслух о горе-родителях, подводя итог своим рассуждениям:

– И то сказать – два сапога пара.

А Светке уж двенадцатый годок шёл.

К начальству отправилась Таиска после бессонной ночи. Накануне вечером нагляделись они с внучкой последних известий из того самого города Грозного. Страх, да и только. По второму разу там война разгорелась. Да, видать, ещё пуще прежнего. Вот к утру и решила было за-

явить о пропаже, в розыск подать на дочку свою, со знакомым ей главой посёлка посоветоваться. Дитё ведь родное, какое бы беспутное ни было. Может, и не жива, головушка ветреная. Уж и завёл речь об ней Михаил Павлович, да сама ведь в последний момент и раздумала.

На подходе к своей избёнке увидела Таиска деда Алексея, соседа своего. Ему было уже за восемьдесят годков, но сухонький, как горбыль третьегодняшний, передвигался он на своих двоих довольно споро. На этот раз Алексей Григорьевич был явно чем-то взбудоражен. Он сидел на ступеньке своего крылечка, под крытиком, и будто застывшими в топорной плотницкой ухватке пальцами пытался свернуть козью ножку из крепчайшего самосада собственной нарезки.

– Что хоть стряслось, дядя Алексей? Ты будто сам не свой.

Прикурив всё-таки самокрутку, старик посетовал:

– Да в аварию попал, ёк-макарёк.

– В какую такую аварию?

– Да в собачью, тудыть её в качель!

Дед Алесей сплюнул и, малость поуспокоившись, продолжал:

– Только от крыльца вот и отшатился, как две псины на меня набросились. Дачник этот, шабёр наш, Юрий Иваныч, погулять их с цепи спустил.

Год назад поселился во вновь выстроенном двухэтажном кирпичном особняке на верхнем порядке, напротив Таиски и деда Алексея, милицейский высокий чин в отставке, на котором, по словам того же деда Алексея, мешки с мукой возить ещё можно было.

– Ну вот,– продолжал он,– а собачки-то ражие, и оба кобеля обличьем, прости Господи, на хозяина схожи. И пород-кровей не наших, а заграничных.

Старик взял в руки стоящую в углу палку.

– Вот хорошо ещё, что комелёк можжевёловый при мне оказался, а то бы они меня как есть загрызли.

– Да видывала я этих собачек, – Таиска показала рукой на терем дачника, который только в компании двух своих грозных сторожевиков и провёл всё лето. – От них и до беды недалеко. Светке тоже каждый день наказываю, чтобы остерегалась.

– А ты дальше слушай, – продолжал дед Алексей. – Отмахнулся я подожком-то, да одной зверюге и угадал по хребту. Завизжал пёсик. Жалобно так. Больно уж страшно он пасть слюнявую раззявил. А этот самый Юрий Иваныч, полуполковник отставной, выкатился на проулок и орёт:

– Ты что творишь, пепельница старая? Зачем машешься, не тронут они.

– Какое не тронут! Штаны вот порвали и коленку чуть не выгрызли.

А этот милицейский пуще бульдога рычит:

– Да он халупы твоей дороже, мой Фриц, а ты с палкой на него, дерёвня неумытая…

Таиска заторопилась домой. На ходу ещё добавила пословицу про сильного и бессильного, завершая разговор с обиженным соседом.

Прислушалась к шорохам в своей малость покосившейся избёнке со старинными резными наличниками. Тихо. Спит, знать, ещё егоза непослушная. Из низкой, почти задевшей печную трубу тучи снова припустил мелкий дождь-грибосей. Решила прибрать мешки и корзину после той же картошки.

Про собак опять же раздумалась. В последнее время их не только у дачников, у самих местных жителей развелось неисчислимо. По одному, а то и по два пса в каждом домохозяйстве содержали. А вот в Таискиной родной Баранихе народу было в своё время много. А собак – всего три головы и три же хвоста. У двоих охотников да у пастуха. Охотники были настоящими, «правеськими», как на деревне их называли. А покойному Вите-пастуху помощником незаменимым был его чёрненький кобелёк по кличке Цыган. Так он каждый божий день летом при стаде обретался. Бывало, ещё только солнышко из-за сосен выкатывается, а Витя как щелканёт плёткой своей – кнутом длинным, витым. Да ещё покрикивает грозно так:

– Хозяйка! Доёна, не доёна, выгоняй!

Это он так баб поторапливал, чтобы они коров-ведёрниц в хлевах не задерживали. А Цыган у Вити считай что вместо подпаска и был. И овечек от посевов завернёт, и телушку заблукавшую в кустах сыщет.

А соседа-то полицейского как не понять, всё рассуждала Таиска, добра-то у него наверняка немерено, коли такую хоромину отгрохал. А время на дворе беспокойное. Поди тут разбери, где новые русские, где рэкетиры, а где и просто бандиты-налётчики…

Какой-то шорох послышался в избе. Если ещё и спит Светланка под дождичек, время будить приспело.

Внучка разметалась на кровати со светлыми шарами и водила указательным пальцем по политической карте мира где-то в районе Южной Африки.

– Вставай-ка, лежебока, сегодня картошку переберём. Гнилой много, отбить её надо.

Таиска легонько шлёпнула ладонью по Светкиной голой пятке, высунувшейся из-под одеяла из пестрых клинышков.

– Ага, – только и выговорила её соня, продолжая изучать контуры континентов. И непонятно было: «ага» – это да или нет.

– Ага, ага – Баба-яга, умывайся уже. Да давай позавтракаем, чем бог послал.

А мыслями была Таиска всё в родной Баранихе, которая недавно ещё была бригадой колхоза «Завет Ильича». Зарплату при Ельцине деньгами давать перестали. Бартерным сахарным песком, рисом, комбикормом, а то и шифером с разбираемых ферм отоваривали колхозничков. А потом и работы не стало. После развала колхоза оставались лишь две статьи дохода – грибы да ягоды, только ими и спасались. Заготовителей тогда разных людно развелось. Вот им, перекупщикам, и сдавали лесные деликатесы за живые деньги. Из самой Германии автофуры огромные да красивые за лисичками в Здвиженск заезжали. На этих же лисичках в урожайную осень полугодовое колхозное жалованье выручали, не меньше.

А Таиске от их липинской избы и ходить далеко нужды не было. Совсем рядом, за баней своей, по ручеинам да по низинам, по бывшим колхозным полям, быстро затянувшимися березками и сосенками, грибочки дружными семейками так и просились в набирки. Только что сами не прыгали.

А уж свои-то местечки заветные деревенские никому из приезжих не выдавали.

У Таиски со Светкой в это утро как раз на завтрак и была картошка, жаренная со свежими подберёзовиками и опятами на маслице, сбитом из козьей сметанки. Пальчики оближешь.

Утро не обошлось без маленького скандала. Бабушка вдруг обнаружила, что деньги на хлеб, сущая мелочь, припасённая в старом, побитом заварочном чайнике, исчезла. Может, и сама после бессонной ночи запамятовала, в карман куда-нибудь засунула.

Осмелилась спросить внучку:

– Свет, чай, не смахнула куда, мелочь вот тут припасена была.

Девчушка лишь надула губки и молча уставилась в одну, достойную её внимания точку.

– Отвечай, зараза ты экая, тебя спрашиваю.

А «зараза», попыхтев ещё немного, веско и с достоинством выговорила:

– Уеду я от тебя!

– Ну вот и Новый год в Воздвиженьев день! Что тебе, лень ответить, когда спрашивают? Ну вот, и эта туда же! Горя́ вы мои неприкаянные! – срывалась на крик Таиска. – Гли-ко ты, какая ездючка выискалась! На первый снежок писает, а уж лыжи навостряет, как матушка родимая! – распаляла она себя.

Чтобы унять боль и обиду, перегребала на погребушке картошку, протирая тщательно каждый клубень сухой ветошкой, или подмывала полы в избе, в сенцах и на крыльчике, нещадно хлеща по углам тряпкой-окрушей, всё своё проговаривая:

– Вся, вся в матушку родимую да в батюшку неведомого…

А Светка вдруг пропадала куда-то, не сказавшись, несмотря на строжайшие наказы не делать этого. И так же молча пересиживала Таискину бурю, выдавая в самом её конце своё: «Уеду я от тебя». Куда уедет, на чём и зачем – не поясняла.

Да мало ли что в семьях бывает? Даже в таких усечённых, как у них. Ну, поругаются близкие люди, а потом

опять тишь да гладь. Но Светка-брошенка, как её называли сердобольные поселковые бабульки, по мнению её бабушки, «отбивалась от шара и от палки».

Поучить чадо, как и принято, изрядным шлепком или даже ремешком ей и в голову не приходило. Не дай бог, отчебучит чего ещё похлеще её оторва. Либо спрячется так, что сутки не найдёшь, либо сбежит совсем, как и грозится.

Вот и посещала душевная раздвоённость бабушку Таисию. То наругает Светланку, а то вдруг среди её незатейливых игр с самой собой прижмёт исступлённо к себе и целует, целует в пахнущий молоком и земляникой затылок. А объект её неразделённой любви отвернёт кукольное личико и будто думу свою никак не додумает.

А Таиску жалость к ней пронзала, кажется, насквозь и через самое сердце. Там, где-то в самом потайном уголочке, скрывалась вина не вина, но какое-то щемящее чувство незащищённости перед этой вот славной девчушкой…

Он был тогда студентом радиофака Горьковского университета. Со своей группой приехал на картошку в Бараниху, в захудалый колхозишко на картошку. А Таечка Липина школу окончила и два года подряд пыталась в пединститут поступить, но баллов не добирала. Пока сидела в Здвиженской библиотеке при Доме культуры, книжки выдавала. Там он её и увидел – высокий, сероглазый четверокурсник гитарист Андрюша.

Остались о нём только воспоминания. Какая же красивая и счастливая была осень! Их осень. Ещё куплетец его наивной песенки в памяти отпечатался:

Туман-туманище над миром стелется,
Туман-туманище, как молоко.
А ты представь себе, совсем не верится,
Что ты ушла с другим так далеко…

Не она ушла, а Андрюшенька её уехал тогда. А какие письма они друг другу писали! С его родителями она уже знакома была. Он сам два раза приезжал ещё к ней, в Бараниху. Свадьбу к лету намечали…

Таиска боялась и думать об этом светлом отрезке своей жизни. Сердце вдруг в пляс срывалось и будто забивалось

под язык, и горькие слёзы лишь поманившего и утерянного счастья не давали дышать.

На два месяца той весной в Советскую армию Андрюшеньку её призвали, а оказалось насовсем. Вот и виноватила она себя в своих ночных безмолитвенных бдениях и перед своей Нинкой, и перед своей же Светкой. Деревня и есть деревня, «на чужой роток не накинешь платок», как говорят. «Родила в девках» – такой проулочный приговор был вынесен Таиске Липиной…

А внученька на следующий день пропала, и надолго. Таиска обеспокоилась не на шутку.

С соседом, дедом Алексеем, пошли они по посёлку, ребятишек всё спрашивали, не видели где Светланку. Распогодилось. Солнышко неласковое проглянуло. Ни на пруду, у пожарной вышки, ни у магазина, ни у заброшенного пристроя школьного не нашли они девчонку. Зато в овраге, за пахучими ивовыми кустами и пожухлыми камышовыми стрелами, в заборе, огораживающем владения Юрия Ивановича, их шабра, обнаружили «следопыты» небольшой, словно специально разобранный лаз.

– Уж не туда ли эта зараза занырила?

Таисья шагнула было к дыре, да дед Алексей её остановил:

– Чего творишь, девка, про собак забыла?

Прислушались.

– Да нет, тихо.

Прихватили каждый по досочке от старой ограды и пробрались на милиционеров усад.

Собак они услышали, но, видимо, где-то закрыты были зверюги или на цепях были пристёгнуты.

Юрий Иваныч произвёл задержание нарушителей, переступивших границу его владений, тут же, за баней, у вырытого, но не благоустроенного пока бассейна.

– И чего на моей территории вам понадобилось? – начал допрос хозяин – красномордый блюститель закона и порядка. Как показалось Таиске, вопрошал он не очень и строго, воровски оглядываясь по сторонам. Бывший мент, будучи явно подшофе, всё запахивал тяжёлый халат на форменных галифе с тонкой красной прожилкой по бокам.

– Да не ругайся, Юрий Иваныч. Светку мою обыскались. Уж больно полазучая она у меня, – начала оправдываться Таиска и… тут же обнаружила свою пропажу.

Из-за угла банной верандочки как ни в чём не бывало она и выкатилась, дожёвывая что-то на ходу.

– Бабань, я больше не буду!

Таиска не выдержала, взвилась:

– Слава богу, выговорила словечко, зараза!

Схватила внучку за плечо, едва не порвав курточку, и потащила к дыре в заборе.

А сама рада была до смерти, что нашлась её непутёвая внученька.

А дед Алексей тут же не спеша самокрутку стал разжигать.

На шабра с прищуром поглядывал и, нисколько не боясь, сам к допросу приступил:

– И чего это, мил человек, девчушка у тебя обретается, а ты ни гугу? С ног сбились, ищем по всему Здвиженску… Не по-соседски это, не по-человечески…

Но Таиска со Светкой были уже в своей избе.

Ругать её бабушка больше на этот раз не стала. Повременить решила, чтобы супротивство ещё больше не вызвать у девчонки. Молчали обе, в молчанку играли. И ведь перетерпела, переупрямила старшая младшую.

Вдруг мелкой дрожью взялся словно фарфоровый Светкин подбородок, а из глаз обильно и неудержимо хлынули слёзы по горошине. Сама поведала о том, как привечал её добрый и богатенький дядя Юра, у которого дома и на веранде всё блестящее и красивое.

А Таиска опять не перебивала её. Удерживала себя с великим трудом от визга и воплей и своего обычного окрика: «Зараза!»

Только тихохонько задавала наводящие вопросы. А Светка? А что Светка? Ей уже приходилось отбиваться где-нибудь между поленницами дров от цепких пацанячьих ручонок, пытающихся пролезть сзади под намечавшиеся уже грудки и интересующихся содержимым её трусиков. Но ведь то были ровесники или охлёстки чуть постарше её. Поняла неразумная, что старый и добрый дядя Юра,

к её ужасу, этим же интересовался. Был у неё и опыт наблюдения за собачьими свадьбами, когда и глядеть на это было как-то неудобно и стыдно, а интересно всё же.

Поняла Светка, какой это крутой «сникерс» настойчиво и даже как-то приятно подтыкал её плотно под вытертую до белизны (как и положено по моде) джинсовую юбчонку, когда она сидела на коленях у дяди Паши.

Дознавателем Таисья Липина была на этот раз, должно быть, не хуже, чем опытный мент. Всё ведь выдала её «партизанка». Даже про запах сладкого одеколона и козьего горошка от его подмышек поведала. Обрисовала и волосатые титьки с сосками, похожими на крысиные мордочки, над которыми просматривались синие звёзды наколок.

Нет, не осквернил он её тельца, не опоганил, но за четыре прихода к нему соседской внучки постепенно приманивал он её мобильником да «марсами-сникерсами».

На следующее утро Таиска знала, что делать.

Потихоньку вышла в сенцы, нашарила на полке дрожащими пальцами замок-щелкунчик, хрустнула им в скобе входной двери снаружи. Зашла в сараюшку, взяла железные четырёхрогие вилы, успокоилась и быстрым шагом перешла подсохшую от дождей дорогу.

Она чётко и ясно представляла себе то место в грузной фигуре бывшего мента, куда она вонзит отполированные сочными и тяжёлыми навозными пластами блестящие пики вил…

Краснокирпичные столбы забора были накрыты металлическими пилотками с медным отливом. Кованная из толстых железных прутьев калитка была на это раз полуоткрыта. Но её скрип сразу же был заглушен злобным рычанием. Хозяйский Фриц на цепи с кольцом, скользящим по стальному тросу, высекая из него искры, бросился в ноги непрошеной гостье.

А она не отступила от брызжущей слюной клыкастой пасти. Лишь одна шпажка Таискиного холодного оружия, но вонзилась-таки точнёхонько в тёмную маску собаки, как раз между складками, над переносицей. Визг и утробное рыдание благородного и ни в чём не повинного пса

слышны были по всему Здвиженску. Через какие-то мгновения раздался громкий хлопок – выстрел.

Таиска не упала, она лишь съехала спиной по ребру столбушки и оперлась на черенок вил, будто отдыхая после тяжкой работы. Она потеряла счёт секундам…

Бывший милицейский начальник пожалел своего верного Фрица и пристрелил его, чтобы не мучился.

А Таиска знала, что делать. Она не испугалась и своего грозного соседа уже и в человеческом обличье. Взяла своё холодное оружие наизготовку и подошла к вооружённому пистолетом хозяину поближе. Сил хватило лишь на то, чтобы набрать немного слюны в пересохшем рту. Да и плевок пришёлся не в одного колера с забором морду Юрия Иваныча, а на его штаны-галифе. В эту минуту будто все её жизненные неурядицы, как заблудившиеся серые облачка, уплыли в окончательно прояснившееся небо бабьего лета.

На этом баба Тая посчитала свою миссию пока выполненной.

– Фрицу скажи спасибо, старый козёл, – ещё сумела с одышкой прошептать, хлопнув тяжёлой створкой.

Сил больше не было.

А вооружённый заслуженный работник МВД всё грозился ей вслед, что ответит она по закону и что не жить ей больше в Здвиженском.

Но она-то теперь знала, что ей делать.

В пяти шагах от калитки Таиска так и присела, ахнув. Свет в окошке – Светка её! Знать, была свидетельницей её «разбойного нападения». «Вот ведь зараза, – подумала, – скорей всего, через окошко козьего хлевушка выбралась. Вот уж зараза, так зараза!»

А Светланка стала послушной, ласковой и умненькой и бабушке помогать во всём стала. А называть её стала «Маматая». Так вот, одним словом.

А мама Тая всё жалела погибшую собаку, хотя считала, что и её саму понять можно.

Маргарита КУЗЬМЕНКО

САШКА

Алексей Васильевич устал. Нет, не от работы, работой он жил, то есть вся его жизнь – это одна сплошная работа. Да и работу свою он любил, а работа его любила. Он был врач, главный, и при этом еще хирург, оперирующий. Вернее, наоборот: сначала хирург, а потом главврач, потому что мешали и отвлекали от главного эти бумажно-административные обязанности, потому что главное – это лечить, спасать, оперировать, а не «руками водить», руководить то есть.

А хирургом Алексей Васильевич был от бога, столько людей за всю свою многотрудную жизнь с того света вытащил, и не сосчитать.

Но вот устал, перестал радоваться, разучился. «Надо», «обязан», «должен» заслонило «нравится», «приятно», «хочу». Нет желаний, ничего не хочу, спать хочу, и все. Иногда думалось: «Вот жизнь уже за полтинник перевалила, а кроме работы и нет ничего, ни семьи, ни детей, даже друзей нет. А некогда потому что, все работа, работа…»”

Ну, тут он не прав, потому что больные его не просто уважали, а любили, особенно дети.

А дети, они такие беззащитные, когда им больно. Алексей Васильевич с ними как-то так разговаривать умел, отвлекал что ли, и им легче становилось. Он с детьми никогда не сюсюкал, на равных разговаривал, как со взрослыми, и они к нему тянулись, дружили с ним, доверяли, «страшными» секретами делились.

Вот вчера мальчика привезли, тот с сарая спрыгнул и руку сломал, герой. Очень мужественный мальчишка, так терпел, так держался. Кто, как не Алексей Васильевич, знает, каково ему сейчас.

Вот если бы надо было в разведку идти, я бы с тобой пошел, сказал ему Алексей Васильевич. Тот глаза на него вскинул, лицо просияло, и тут же скривилось, губы задрожали… и «прорвало плотину», разревелся.

Замечали, когда нам плохо и больно, но мы стараемся не показывать, а кто-то вдруг проявит участие, заметит, что не так что-то с тобой, – и так жалко сразу себя становится, еще жальче, чем раньше, но и легче, разрядка какая-то происходит, ведь ты уже не один, а когда не один, не так все страшно.

– Поплачь, поплачь, тебе сейчас можно, даже нужно, не всякий взрослый так терпеть умеет.

Алексей Васильевич погладил мальчика по голове, встрепал ему волосы.

И так этот мальчишка ему себя самого напомнил, как будто он сам, тот маленький вихрастый Алешка, несчастный и бесстрашный одновременно, посмотрел на него через все прошедшие годы, он даже внешне был разительно похож на него в детстве, ну так ему показалось по крайней мере.

– Выше нос, летчик, в следующий раз парашют не забудь!!

«А ведь и у меня уже мог быть такой… внук, – подумал он, – а то все работа, работа…»

И тут память утянула его назад лет на тридцать. Он вспомнил тот день, когда увидел Сашку в первый раз. Был обход. Переходя из палаты в палату, слушая, назначая, успокаивая, советуя, Алексей, тогда еще совсем молодой, начинающий доктор, все время ощущал какую-то тревогу.

Обход закончили, вышли в приемный покой. И тут скорая подкатила. В покой вкатили носилки.

Маленькая, худенькая, беленькая девочка на носилках лежала, сжалась вся, будто замерзла. Алексея как в грудь толкнули, чуть не упал. Это он так почувствовал, как этой девочке страшно и больно, ему самому съежиться захотелось, как от ветра ледяного. Вот так он через себя ее состояние почувствовал. И еще понял, что он сейчас

эту девчонку будет спасать как самого себя, он и не разглядел ее еще, а уже знал – это его, родное.

Алексей осмотрел девочку, вернее девушку, как теперь стало понятно. В общем-то, некритично: ребро сломано и рука, еще небольшое сотрясение мозга. Все поправимо. И он успокоился.

* * *

Саша открыла глаза и увидела паучка, маленького и мохнатого, он спускался с потолка прямо ей на нос. Она ночевала на даче, на втором деревянном этаже, там в щелочках между досками проживало много разных существ и сущностей, не видимых глазу. И когда они вдруг являлись, даже самые неприглядные и даже страшненькие, Саша брала большую мягкую тряпку, аккуратно, чтобы не придушить и не примять, окутывала нежданного гостя и вытряхивала на улицу – пусть там поживет.

А сегодня был паучок – это к известию. «Сегодня что-то будет, что-то хорошее», – подумала она. Она верила в хорошее.

Саша – девушка-солнышко. Оно не слепило, не обжигало, а мягко грело, рядом с этой девочкой становилось тепло и уютно.

Пока Саша размышляла, как ей успеть к десяти в город, паук благополучно смылся.

– Александра, иди завтракать, – позвала мама. Девушка спустилась по крутой лесенке на первый этаж. Тоненькая, в белом платьице, с затянутыми в веселый пучок светлыми волосами, она была совсем девчонка.

– Мам, я не успеваю, мне нужно в город съездить, Дашке помочь, с Дениской посидеть.

Дарья, старшая сестра, только Саше могла Дениску доверить, этого бандита трех лет от роду, только Саша могла приручить.

Саша чмокнула маму в щеку и, жуя на ходу мамин оладьик с яблоками, умчалась на утреннюю электричку.

Саша успела-таки на первую электричку, хотя никак не должна была. Ведь чтобы дойти до станции, нужно прой-

ти через небольшой лесок, а там столько всего… И эти птенцы-подростки, которых мама-птица учит летать, и эти муравьи, что тащат через тропинку свой будущий дом, ну а эта стрекоза, что села на рукав белого платья ближе к плечу и ТАК посмотрела Саше прямо в глаза. Вы вообще глаза стрекозы видели? Вот именно!

В общем, Саша заскочила в последний вагон электрички за минуту до отправления. Ура, успела!

Вагон был почти пустой, никому в город в такую рань не надо. Какая-то парочка дремала в углу да две тетеньки с кучей корзинок с ягодами, видимо, продавать на базар в город везли.

Как же пахли эти ягоды… Земляника, сразу можно понять, такой нежно-розовый дух, с примесью дымчато-серого. Почему-то так представила себе Саша этот запах. Она вообще представлять любила. Вот ветер, например, он живой и такой разный: то легкий и веселый, как крылья бабочки; или упругий, тугой, но нежный и ласковый при этом; а еще бывает злой, колючий: жжет, бьет, отталкивает. Так же и о деревьях, воде да и обо всем вокруг можно представить и придумать. Она вообще такая выдумщица – эта Сашка.

Вот тут и задумаешься: а если сильно, сильно зажмуриться, как в детстве, и напридумывать, и намечтать, то так и будет все. Главное верить во все это по-настоящему.

Саша смотрела в окно: мир летел ей навстречу, она летела навстречу миру.

«Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает…»

Она все проспала, засоня, и не заметила, как задремала. Быстрей, быстрей! Две остановки на трамвае, а там дворами напрямую пять минут до Дашиного дома. Успею.

Саша вышла из трамвая. Свернула за угол во дворы.

Как же сладко пахнут липы – успела подумать… а дальше удар, она вскинула глаза на машину, увидела ужас на лице человека за рулем, и дальше… темно.

Когда обезболивающий укол подействовал, вернее, даже раньше, когда в приемном покое Саша поймала на себе этот зеленый тревожный взгляд, ей уже стало не так больно и страшно, как будто этот мужчина, как потом выяснилось, доктор, ее боль и страх себе забрал. Она ему как-то

сразу поверила, что он ее спасет и вылечит и ничего страшного уже больше не случится.

Сашу перевезли в палату, и зеленоглазый доктор был рядом, стоял, сидел, ходил, трогал за руку, словом не уходил из поля зрения, она его все время чувствовала, глаз с него не сводила, разглядела наконец, какой он до невозможности красивый, и в груди сладко защемило, екнуло и скатилось ниже в живот и там свернулось теплым трепетным клубочком. Саша влюбилась всей душой и всем телом, всеми ее (души) закуточками и всеми его (тела) членами, навсегда и бесповоротно.

А Алексей, он никак из этой палаты выйти не мог, все находил какие-то дела и предлоги лишь бы ЕЁ из поля зрения не выпускать, а вдруг исчезнет, как сон. Ему теперь без НЕЁ никак, невозможно. Вот и слонялся вокруг, пока в ординаторскую не позвали, где ему сообщили, что доктор, сменяющий его ночью, заболел. И Алексей обрадовался, есть повод остаться в ночную смену, быть рядом с НЕЙ, просто по коридору мимо двери ЕЁ палаты ходить и знать что ОНА рядом.

Саша проснулась оттого, что ее по голове гладят, глаза открыла – мама, испуганная и счастливая одновременно. Только мама может так гладить и так смотреть, много любовей на свете есть, а мамина, она такая одна, потому что она бескорыстная от слова «совсем». Даже у самого любящего человека есть корысть – люби меня, как я тебя, а у мамы – нет, себя за тебя отдаст и спасибо скажет, что взяли. Мало мы это ценим, при жизни ее, маминой, а потом уж поздно.

А за спиной у мамы стоял доктор и так сиял зелеными глазами, что Саша подумала: «Какое счастье, что меня та машина сбила». Вот уж не было бы счастья, да несчастье помогло.

В палату заглянула медсестра: «Алексей, вас к главному вызывают». Алексей рассеянно улыбнулся, ему так не хотелось уходить, сказал, что он скоро вернется, и вышел.

«Алексей! Тоже на А начинается, как и Александра», – подумала Саша и улыбнулась. Когда мы влюбляемся, нам так хочется найти хоть что-то общее со своим любимым.

А мама смотрела на нее и думала: «Лежит в больнице, в гипсе и улыбается, что за чудо-девочка у меня выросла, какая ж я счастливая».

* * *

Каждое утро в палате начиналось с ожидания прихода доктора.

Как ни тонка грань между больным и здоровым человеком, все же, переходя в разряд больных, человек сильно меняется, он как бы все свое внимание внутрь себя обращает, да это и понятно, кто ж себе самый дорогой, как не ты сам? Вот это всех больных объединяет, а так-то они разные.

Но Саша не как все остальные больные доктора ждала, ей ничего от него не нужно было, ей нужно было, чтобы он просто был, и все. Непонятно откуда, возникло у нее твердое убеждение, что без него ей уже нельзя, невозможно просто, и по его такому горячему, такому открытому ей навстречу взгляду она понимала, что он чувствует то же самое.

Саша быстро шла на поправку. Уже можно было потихоньку гулять в больничном парке. Сидя на скамеечке, она все время надеялась, что доктор хотя бы промелькнет, просто пройдет мимо, улыбнется, да просто посмотрит на нее, и ей не надо ничего больше, чтоб стать счастливой на весь день. Но у него бесконечные операции, операции, операции…

Однажды вечером, возвращаясь с прогулки почти перед отбоем (темнело поздно, поэтому разрешали погулять подольше), она поднималась по пустынной лестнице на второй этаж. Глядя под ноги, чтобы не споткнуться, она увидела, что ей навстречу спускается он, ее доктор, он вплотную подошел к ней, она подняла глаза. Стоя ступенькой выше, он смотрел на нее сверху вниз, и такая нежность и любовь была в его глазах, во всем его лице, во всей позе, чуть наклоненной к ней. Он казался таким огромным, сильным и бесконечно близким и желанным.

С этого мгновения они стали вместе, одно целое, так, по крайней мере, им казалось тогда. Как же их закружило: как же сладко было сначала целоваться, а потом, сдерживаясь, чтоб не наделать шума, любить друг друга ночью в пустой ординаторской на узком диванчике.

Пришло время выписки. Саша чувствовала себя чудесно, расцвела, похорошела и была неимоверно счастлива. Ей тогда казалось, что ничего не страшно, когда они вместе.

После выписки из больницы видеться стали реже, у Алексея работы невпроворот, а там и сентябрь, учеба у Саши началась. Но ведь чем реже встречи, тем они желаннее. Как сумасшедшие бросались они друг к другу, когда удавалось выкроить время для встреч.

Жизнь не стоит на месте. Алексею предложили очень перспективную стажировку в Париже, он тогда уже большие надежды в медицине подавал. Подумали и решили: поедем вместе. Стали планы строить, мол, поженимся там, обживемся, глядишь, и маму заберем Сашину, у Алексея родители умерли тогда уже оба.

Но опять же можно только предполагать, а располагает, как известно, Бог. Заболела Сашина мама, самый родной человек, необратимо заболела, даже Алексей был бессилен, и так сразу беспомощна стала она в своей болезни, и наотрез отказалась уезжать куда-либо из родных мест, сказала, умру дома.

Отказываться от стажировки Алексею было уже поздно, слишком серьезные люди его туда направили, и он уехал, на три года.

Расставались больно, очень больно, по живому рвали прямо. Утешали друг друга: «Время пролетит», «Ты ко мне приедешь», «Люблю тебя».

* * *

Уехал Алексей. Он-то сразу в работу окунулся, нет, не окунулся, нырнул с головой. Конечно, часто о Саше думал, хотел ее, снилась она ему постоянно, на звонки кучу денег тратилось сначала ежевечерне, потом пореже, пореже... работа для мужчины очень много значит, общеизвестно!

А Саша осталась одна на руках с больной безнадежно мамой, сестра с мужем и Дениской переехали в другой город по месту работы мужа, подруг она растеряла, жила одним Алешей в сердце.

Ну и что в результате: звонки все реже, беда с мамой все очевидней и страшней, одна, одна я на этом свете, не нужна никому… И тут, здрасьте вам, Антон, совсем не мачо, но чуткий, внимательный, переживательный, и… ценитель...

всего: искусства, красоты да вообще ценительный – руку подаст, плечо подставит, к сердцу прижмет… и прижал, неожиданно и властно, по-мужски. Опомниться не успела: утром кофе в постель, не секс, а феерия, в общем, дура, сама виновата.

А он-то ей не нужен, и даже противен, никто он ей и никогда, и как теперь с этим жить, если Алеша везде: в голове, в душе, в снах, в постели – запах, слова, мысли. Алеша звонит, а она замирает, но не от любви и нежности, хоть это все тоже никуда не делось, а даже еще и утроилось-упятерилось, а от чувства вины.

В общем, запуталась Сашка, потерялась.

Даша, сестра старшая, в гости приехала, одна, без семьи, у нее тоже проблемы начались, муж то ли загулял, то ли охладел, трудное время. В общем, встретились, поговорили, поревели и… напились быстро и неожиданно, разоткровенничались, наболтали друг другу всяких глупостей и разбрелись спать. Наутро Саше нехорошо так было, грешила на разгул вчерашний, ан нет, все серьезнее оказалось. Не только сегодня, а и завтра тошнит, и потом... беременная, в общем.

Да если б не этот случай с Антоном, не было б счастью ее предела, ну а теперь кто ж отец, непонятно, хотя уверена была, что Алеша, и иначе быть не может, что родные, что единственный, что, что, что... что делать-то теперь?

Что-что – рожать, мой ребенок, я гордая, а мужики все предатели, вот и Алеша не звонит неделями.

А через неделю умерла мама; хоть болела и ожидаемо вроде было, но нет, этого нельзя принять и понять, когда близкий человек уходит навсегда, насовсем, и нет и не будет его больше на этой земле никогда. Не понимает это человеческий разум, а сердце так и вовсе.

Алеше о смерти мамы сказала Даша, Сашка была никакая, все свалилось сразу, как в страшной сказке, кошмарном сне: и смерть, и предательство (свое собственное), и немощь (тошнило нещадно), не могла и не хотела она ничего и никого в тот момент. Хотя неправда: будь тогда он, ее Алеша, рядом, тогда все иначе совсем сложилось бы, но нет, это ж только в сказке, и принц, и Золушка, и карета...

У Алексея тогда проходил большой конгресс, светила медицинской науки съехались, решали глобальные вопросы здоровья нации и всего окружающего мира. А его, Алексея, мир, рушился, а он об этом и не знал даже. Даша сказала, что их мама умерла. Алексей много смертей повидал, на его руках умирали люди не раз, всегда это было тяжело, но такова жизнь, и профессия обязывала относиться к этому без личной трагедии, иначе не выжить просто, а людей тогда кто спасать будет?

Он только очень расстроился, что не сама Сашка ему об этом сообщила, какое-то смятение в нем колыхнулось, как будто крепкая железная нерушимая цепь между ними треснула, он это прямо физически ощутил, болью.

Но опять же, как у Симонова: «...но работа опять выручает меня, как всегда. Человек выживает, когда он умеет трудиться. Так умелых пловцов на поверхности держит вода. Почему ж мне так грустно…»

Да потому. Мир же не без добрых людей. Разъяснили, описали в подробностях, поддержали, даже посочувствовали, возмутились: «Да как она могла...» – приложили все усилия для восстановления справедливости в семье, отдельно взятой, не своей, Алешиной.

И он закрыл дверь, и внутрь, и наружу, и не стал ни с кем обсуждать, даже с собой, закрыл и ключ выбросил.

* * *

Александра Сергеевна жила одна. Сын Игорь с женой Машей и внуком Алешей жил в загородном доме. Игорь был успешным предпринимателем, так что многое мог себе позволить, он и маме хотел дом купить, но она захотела в родительской квартире остаться, родные стены согревали, и одиночество не казалось тяжким, даже наоборот, она уже так привыкла жить одна, что даже находила в этом свои прелести. Она так и не вышла замуж, хотя была с виду все та же Сашка, тоненькая и нежная, с непослушной челкой, падающей на глаза. Много в течение жизни было желающих прекратить ее одиночество, были и такие, которым это почти удавалось, но нет, того чувства уверенности,

что «мы одно целое» больше не пришлось ей испытать, а без него нет семьи, и к чему тогда все менять, какой смысл?

В то утро, когда она собиралась на работу, зазвонил телефон, и Игорь взволнованно сообщил, что Алешка свалился с сарая и сломал руку, отвезли в Первую городскую, Маша уехала со скорой, а он сейчас помчится следом, и сказал, что внук просит, чтобы Саша (так он бабушку называл) тоже приехала. Она попросила заехать за ней.

Алешка любил бабушку до замирания сердца, она и вовсе не бабушка ему была, а боевая подруга и союзница, только с ней он мог пускаться в приключенческие авантюры, только она могла так рассказать сказку, что оба они в этой сказке жили, и, конечно же, именно она должна быть рядом в ту героическую минуту, когда он, превозмогая боль, но не подавая виду, принял окончательное и бесповоротное решение стать летчиком и сразу же после выздоровления прыгнуть с парашютом, вместе с Сашей, разумеется, ну, можно еще и доктора пригласить, уж очень он Алешке понравился.

* * *

После обхода Алексей Васильевич решил еще раз заглянуть к тому отважному мальчугану, вот запал он ему в душу, и все.

Он шел по коридору травматологического отделения, а навстречу ему, выставив наперевес загипсованную руку, шагал Алешка. Глядя мимо него, мальчик прокричал: «Саша, Саша, я решил, я стану летчиком, и мы прыгнем с парашютом».

Алексей Васильевич резко обернулся, и в грудь ему с разбегу уткнулась его Сашка. Она подняла глаза, как тогда на лестнице, много лет назад, а он обнял ее и подумал, что теперь он ее никуда и никогда не отпустит.

Лирический портрет

Павел КЛИМЕШОВ

СПАСИБО, ГОСПОДИ, ЗА БОЛЬ...

* * *

То ль весна, то ль зима, не понятно:
Предрождественски шепчет капель,
Календарь поплелся на попятный,
Призывая негласный апрель.

Я порадуюсь всласть перемене –
Сколько можно из тьмы да во тьму?!
Дай-то Бог, чрезпогодье изменит
Что не в силах сменить самому;

Полусон и тоску-надоеду
На подъём и душевную яснь,
Чтоб лететь по любовному следу.
Укоризны седин не боясь.

* * *

Спасибо, Господи, за жизнь
Мою, дарованную Анной,
И детства отсветы свежи,
Спасительны и безобманны;
Пацанский нараспашку пыл
С невинной шалостью щадящей

Я благодатно переплыл,
Чтоб он укрылся в настоящем…
Спасибо, Господи, за боль,
Что накрывала не однажды;
Зато я стал самим собой
От вышней богоданной жажды.
Спасибо за мои года,
Что устремились по уклону;
Я знаю: предан навсегда
Небесному благому лону.

У росстани

Наши детки – инопланетяне
С неправдоподобным говорком,
К ним всегда неизъяснимо тянет,
Будто с ними вовсе не знаком.
Мелко ходят, нараспах глазёнки,
И живут слегка наискосок;
И в сообществе их пересловок звонкий
Лёгок и по-ангельски высок.

В умиленьи отрешась от грешности
Взрослого сурового пути,
Перед милой порослью в поспешности
Шепчешь небу грустное «прости»,
Что позачерствел, зарос коростою
Зряшных отношений и вестей…
Видишь деток – а стоишь у росстани,
У водораздела жизни всей.

* * *

И вновь о том же… Сосенки моложе.
Чем зимний неразымчивый рассвет,
А рядом лес, сумняшеся ничтоже,
Не хочет помнить бездну давних лет.
Младенчество и старость… Путь единый –
Отцвесть, упасть, побегам дав разбег.

Стремленье в глубь времён – непобедимо.
Так было, будет так из века в век…

А я средь леса – путник преходящий –
Сейчас дышу, а послезавтра – нет,
Уже не встречу в нетерпенье вящем
Такой же неразымчивый рассвет…
Сосёнки станут рослыми, прямыми,
И как забвенье, затенят следы,
Моё дыханье, умиленье, имя
И даже память!.. Это – полбеды.

Беда – в ином. В таинственном тосветьи,
В продлении духовном, неземном
Воспомню ли хотя бы сосны эти
И листопад, что отдаёт вином?..

К себе

Послушай, Павлуша, послушай,
Как в тайном пространстве теней
Зовут к поминанию души –
И нет в этом мире родней.
Послушай, голубчик, послушай,
Невольно прильнёшь в забытьи
К запамятной ласке минувшей,
Где все упованья твои
И все дерзновенья земные…
Очнёшься и выпрямишь взгляд –
Поодаль персоны иные
Вполне отстранённо стоят.
У них – свои тайные тени,
Своя заповедная тишь
И кладезь своих обретений…
Окстишься, смиренно молчишь.
Но где он, элизиум общий?
Вселенский тосветный приют
Живёт, процветает, не ропщет,
Когда поминанье поют.

Итоги

Истончился численник. Лист последний бледен.
Минус год из жизни – на год ближе смерть.
Говорить бессмысленно о своей победе –
Только о потерянном сожалеть не сметь!
Были упования бледные, как прежде,
Вместо утешения – ворохи хлопот.
Чем ответит издали бредящей надежде
В Лете растворённый високосный год?

Он в безмерной бездне смутно безответен –
Просто подневолен бегу бытия;
Житель неслучайный на Господнем свете,
И за всё, что было, отвечаю я.
Вешний блеск, померкший в летней непогоде,
Долгие работы ради скудных почв…
К счастью, вековечной я страде угоден
И погрязнуть в грядках дедовских не прочь.

Но страда иная увлекала сердце –
Страсть стихописанья удлиняла дни.
Стали с сельской музой мы единоверцы,
Даже с Аполлоном вроде бы сродни.
Труд стихосложенья сладостен и труден,
Вроде бесполезен, но – необорим.
За незримой гранью непарадных буден
С музой беззаветной просто говорим.

* * *

О безначальном, о двуполом,
О бесконечном, непростом,
Без коего сиротски голо
На свете этом и на том…
Все язвы века, все угрозы
Померкнут к полому нулю,
Коль прошепчу заветной прозой
Подруге: «Я тебя люблю».

Зачем?..

Снова сон, что напомнил о ней,
Неуёмной, взыскующей страсти;
И чем проще живу и скудней,
Тем упорнее память не застит…
Ну зачем беспокоить себя
В бесполезных видениях ночи?
Ведь она, смутный призрак любя,
Кров семейный упрочивать хочет.
Третий лишний, зачем бередишь
Не напрасно уставшую память,
В сновиденье не спящую тишь
Бестелесными топчешь стопами?

Лучик

Солнце, солнце, редкий гость
Для моей округи сонной,
Снизойди и лучик брось
Предвесенний, невесомый!..
Уж блистает березняк
Средь небесной звонкой сини,
Глядь – и снег уже обмяк
От жары невыносимой;
Засновали воробьи,
Запророчили синицы…
Велики дары твои,
Коли свет небесный длится.

Наталья ДЕНИСОВА

РАДИОСИГНАЛ

забыл нас снова

куда от тебя пойду я, в какие дали?
что в мире есть такого,
что я в тебе не видала?
солдаты страны моей выстроились рядами:
вот сталинки, хрущевки, и на свидание
панельные дома бежали к ним,
так бежали к ним.

привычно берут, как каски, железный нимб
братья мои фарфоровые.
живые такие, всегда делившие поровну
хлеб своей радости, хлеб своего горя.

и где бы я ни была – они хотят от меня веры
в то что над всем на свете пылает север,
в то, что однажды мы победим сумрак,
в доспехи превратив крупяные сумки.

ирга цветет, поет в предвечерней сутолоке.
а мы живем всё, такие хрупкие,
вблизи заводов и комбинатов,
как будто кто-то забыл нас летом
две тысячи первого, две тысячи второго.
забыл нас снова.

кем-нибудь другим

если бы я была не мной, а кем-нибудь другим,
кем-нибудь, сотканным ветром в степной юрте,
марией, бегущей в дешевой куртке
услышать весть о рождении бога,
в который раз услышать весть о рождении бога...

если бы жили твои вьюги
там, за углом моей двухэтажной школы,
в городе, который никто никогда не нашёл бы,
в городе с фиалковыми глазами –

вот я стояла бы так,
и собака эльза бы руку мою лизала,
и снежный ветер сделал бы нас бессмертными...

если бы лестничными пролетами
я не спешила так, не спешила бы,
не пряталась в тела одежду,
когда все вырастали и становились машинами –

как ты узнал бы, как бы узнал,
как ты бы узнал меня?

вечер тревожно падает в ландышей полынью.
если бы я была не мной,
то кто бы хранил
свет негасимый дрожащий для твоего пути,

голос, который не стих?

тебя не существует

когда я до конца истаю,
стану алыми, пахнущими землей цветами,
голосом своим в телефонной трубке,
ангелом промзон, танцующим в нижней юбке –
боже мой, да кем бы я там ни стала –

все живое во мне залатают лязгающими фанерными листами,
как на станции «заречной» плитами, похожими на течение,
спрячут от тебя мое трепетное молчание.

но ты слушай его как молитву самую искреннюю.
я всю жизнь ступала по земле, словно сейчас кто выстрелит,
я готова, как и ты, была умереть за любовь святую.
помни это, когда я говорю о том,
что тебя не существует.

нарисованный мелом полковник

широка страна моя чужая,
аккуратно здесь флаги сложили.
собирают свои пожитки
вороньи ангелы по углам.

на бетонном стоит балконе
нарисованный мелом полковник.
он не помнит уже, не помнит,
для кого он надел погоны,
для кого засыпал в зимнем поле,
и меж ребер его полых
для чего прорастала она.

а как только в ладоши хлопнут –
превратится он в теплый хлопок,
хрупкий хлопок скатерти тонкой,
из которой пошили нас.

сберегли мы эти молитвы
в подворотнях и в клетках тел,
прорастает из ткани рытвин
тоненький чистотел.

и с небес – не угомонится –
сыплет-сыплет январский шум.
это минин плывет в столицу
с распятием на весу.

это он светлоликим зверем
вгрызается в мерзлую твердь,
потому, что никто не верит,
здесь больше никто не верит,
что человек есть смерть.

силки

как собака бежит, высунув язык от жажды,
как принцесса ветров летит с крыши мира –
шуршат одежды,
как по ягодам терна ступает в летней ночи лиса,
как затем прорастет через тело ее винограда лоза –

сильно, медленно, невыразимо легко...
так звучит нежность твоей руки.

я никогда не ждала тебя,
но люди как звери – любят свои силки.

если погаснут на свете все языки,
и мы останемся, словно тысячи лет назад,
безголосыми у тёмной пучины моря –
я и тогда почувствую, как ты на меня смотришь,
жужжащей звёздной пылью прикасаешься
к воздуху, что был мной.

радиосигнал

ливни лили в платья лилий,
превращались в деревья львов хребты.
однажды из всех земных и небесных линий
появляешься ты.

распахивали окна свои старушки,
век длился как вечер, как белый шум.
у ребёнка в утробе матери формировались уши.
однажды я имя твоё произношу.

есть человек, который думает, будто все мы
уже встречались так много раз.
и здесь, под солнцем из полиэтилена,
когда материя взорвалась,

и там, в неведомых перекрёстках,
звучащей пылью,
загнанным зверем и тем, кто его догнал.
маленьким принцем и его розой
цветущей сквозь радиосигнал.

всегда отступала мгла

это твои ангелы провожали меня тогда до метро,
это они смотрели за мной, чтоб себя берегла.
и от взмахов их белым вышитого крыла
всегда отступала мгла.

это ты за мной по пятам входил
в каждый дом и в любой придел.
прорастали цветы из панельных льдин,
август звёздами сливовыми пел.

это ты глядел на меня тайком
каждый раз, когда видел терпко шумящий лес,
каждый раз, когда складывал в сердце своём
слова о том, что бог вокруг, здесь.

Галина ТАЛАНОВА

...И ХОЧЕТСЯ ПРОЙТИ ПО СВЕТУ БОСИКОМ

* * *

Ночные мысли странны и печальны,
И рваный сон не прогоняет их,
Что в жизни всё, наверно, неслучайно… –
И ветер шквальный,
Бьющий вдруг под дых…
За расставаньем будет чудо встречи,
За встречей – ком колючий из обид.
Сутулятся с годами больше плечи,
Закат всё чаще в сумерках кровит.
А в снах приходят мёртвые живыми
И обнимают ласково меня.
А все дожди, что стали затяжными,
Задуют дым любовного огня.
И страх глядит в ночи в проём оконный.
И капель стук – костяшки чужака.
И скрип зловещий у дверей балкона,
Что открывает чёрная рука.
Уснуть, забыться!
Снова видеть маму…
Она уже, должно быть, заждалась…
Но если я во тьму из этой жизни кану
И потеряю с миром этим связь?
Я всё ещё люблю

И скрип тяжёлый петель,
И шарканье шагов под самым потолком.
А лучик на полу от фар летящих светел,
И хочется пройти по свету босиком.

* * *

Вот и июль.
И жара, как в десятом,
Душном, для мамы последнем году:
Маревом белым,
Затёкшим в палату,
Дым возвратится в последнем бреду…
Скоро и я потянусь за тобою,
Словно от лайнера робкий дымок.
Сердце своё навсегда успокою,
Стану травой, шелестящей у ног.
Буду нашептывать странные строки,
Ветру отдавшись,
Как струны смычку.
Ранить, как лезвием нежной осоки,
Если протянутся руки к сверчку,
Что заиграет на тоненькой ноте
Грустную песню, что осень идёт,
Только не чувствуешь это в цейтноте,
Хоть и всё знаешь о смене погод.

* * *

Я разучилась чувствовать вкус слёз:
Они, как пена, от волны на море.
Я попрощалась навсегда, всерьёз,
Когда втянуло в свет тот в коридоре.
Но так привыкла к серым, будним дням,
Что отмахнулась, вырвалась наружу.
Я так боюсь тех двухметровых ям,
Где чуешь кожей даже летом стужу.
Пусть в тучах день
Толкает ветер в грудь,
Стучит в висок тугими кулачками.

И капли на листве,
Блестящие, как ртуть.
И прячется слеза за тёмными очками.
Не вынести глазам
Тот солнечный ожог.
Несётся сердце вскачь по кочкам на болоте.
О, если бы продлить земной, короткий срок,
И думать о душе, что крутится в цейтноте.

* * *

Закрою я глаза –
И нежность наплывает.
И злые голоса
Несёт, как тучу, краем.
Младенческой рукой
Мне веки свет щекочет.
Такой в душе покой.
Не будит криком кочет.
Но пальцем, как дитя,
Луч разжимает веки:
И вижу, что культя
У тополя-калеки
Нависла над прудом
И тянет древо в воду. –
Я только лишь о том,
Что тащат в пропасть годы.
В два пальца ветра свист
Вслед улетевшей галке,
Он на руку нечист,
Хоть дует из-под палки.
И муравей ползёт,
Бедро щекочет нежно.
А жизнь летит вперёд
И кажется безбрежной.
Но немощь по пятам
Крадётся, горбясь, тенью.
И птичий в небе гам
Уже не тот весенний:

С тревожной ноткой он,
Что улетать от дома,
От облетевших крон,
В страну, что незнакома.

* * *

Не видела соседей только год.
Но сердце закололо:
Постарели.
И близкие воды набрали в рот.
А птицы всё играют на свирели.
Здесь всё другое:
Лилии в воде,
Что приколоть так хочется на платье.
И в комнате живут шмели в гнезде,
Что поселились прямо над кроватью. –
И я боюсь усесться на постель:
Гнездо в стене как раз у изголовья.
И чувствую, как ветер дует в щель, –
Так папа гладил волосы с любовью.
Здесь даже мыши нынче не шуршат,
Но сон разорван,
Словно ситец ветхий,
Что положили постирать в ушат. –
Так жаль, что птице отлетать от ветки,
Засохшей, в чёрной плесени от гроз…
…Любимые, как там за облаками?
И крылья нарывают от заноз,
И я лечусь по-прежнему стихами.

Из свежей прозы

Дмитрий ЛАГУТИН
Брянск

ЛИШНИЙ ВОЗДУХ

Кирилл О., молодой человек двадцати четырех лет, выпускник юридического факультета, вот уже два года как занимающий должность юрисконсульта в небольшой строительной фирме, лежал на продавленной больничной койке во второй палате торакального отделения, расположенного на девятом этаже областной больницы, и безуспешно пытался уснуть. Уснуть ему мешали два обстоятельства: дренажная трубка, выныривающая из-под шестого ребра, задирающая футболку и спускающаяся к банке с мутной водой, и храп одного из обитателей палаты – грузного немногословного милиционера с пластырями между ключиц.

В палате было темно и душно, но Кирилл лежал в самом углу, и от окна к нему ползли струйки колючего февральского воздуха. Сухой редкий снег скребся в стекло, и на спинки коек, на умывальник, на тумбочки и узкий шкаф у двери падали дряблые бледные полосы света.

Дренажная трубка не позволяла Кириллу лечь на бок, и он пытался уснуть, лежа на спине, чего не практиковал с детства. Банка с мутной водой была подвешена на крюк, выглядывающий из-под матраса и в свою очередь подвешенный к перекладине койки. Если Кирилл вдруг кашлял,

по трубке в банку спешили пузырьки – лишний воздух выходил из плевральной полости, позволяя легкому дышать свободно.

Милиционер храпел так, что дрожали на тумбочках чашки, – раскатисто, яростно, во всю мощь своей огромной грудной клетки. Казалось, во всем мире не осталось никаких звуков, кроме храпа, и его слышат сейчас во всех уголках планеты и за ее пределами – на орбитальной станции, например. То и дело в палате кто-то кашлял, вздыхал горестно, тянул из-под одеяла руку и стучал по изголовью, по тумбочке, по чему придется. Храп прерывался, прислушивался, оценивал ситуацию и рокотал с новой силой. Будить милиционера никто не решался.

«Да и зачем? – думал Кирилл сквозь сонное марево, которое клубилось, принимало причудливые формы, но никак не могло сомкнуться. – Не заставишь же его не спать до утра, все равно захрапит. Кивнет головой, извинится и захрапит».

Кирилл смотрел в потолок, старался не кашлять, прислушивался к тянущей боли в боку и думал о том, что человек привык воспринимать свое тело как нечто замкнутое, вроде обтекаемой сферы, и как же странно чувствовать, что замкнутость эта нарушена, что между абстрактными какими-то там внутренностями – далекими, не вполне понятными, не похожими на то, что рисуют в учебниках, – и внешним миром проложен мостик, по которому путешествуют неизвестно зачем, представьте себе, пузырьки.

Сон обступал туманом, застилал потолок, потолок начинал дрожать и выгибаться, храп замедлялся, веки Кирилла смыкались, мысли обрывались, и в образовавшуюся пустоту спешили образы. Подошел исполнительный директор, попросил еще раз проверить цессию, системный администратор позвал курить, спросила, где лежат билеты в кино, Оля – невеста, без пяти минут жена – показала кольцо, посмотрела сквозь него на Кирилла. Над стеклянной крышей офиса сверкнула молния, заворчал гром, покатился по небу, делаясь все громче и громче, – образы растаяли, и снова навис над Кириллом белый потолок,

и не было в палате никого и ничего, кроме белого потолка, храпа и трубки, по которой бегут пузырьки.

Потом втиснулся откуда-то Сергеич, семидесятилетний старик с серым лицом, заскрипел кроватью, привстал, посмотрел на милиционера и хрипло выругался.

Из коридора под дверь тек тусклый желтый свет.

Сергеич в полумраке выглядел страшным, волосы его были всклокочены, одно плечо – выше другого. Он медленно повернул голову и встретился взглядом с Кириллом. Глаза его, глубоко спрятанные в сморщенное лицо, блестели.

– Сдохнуть можно, – он кивнул на милиционера, закашлялся, прижал к губам кулак, долго хрипел и вздрагивал, а потом медленно лег.

Кирилл закрыл глаза, храп снова превратился в гром, потом в рев мотора, потом в рев зверя, потом в гул, потом в звон, Кирилл почувствовал, как падает куда-то вниз, вытянул ногу, чтобы нащупать выступ, нащупал, тут же сорвался, вздрогнул – не вздрогнул, а дернулся так, что скрипнула кровать – и открыл глаза.

Голова гудела, казалась тяжелой, бок заныл сильнее – организм не мог привыкнуть к дренажу, сопротивлялся, выражал недовольство.

Кирилл стянул с себя одеяло, облокотился на левое плечо, спустил босые ноги на пол. Нащупал рукой веревку, которой была обвязана банка и на которой висела, снял ее с крюка и сел на кровати, сморщившись от резкой боли.

В окно бился щепотками снег, похожий на соль. Небо было черное, затянутое облаками. Пахло потом, табаком, колбасой и средством для мытья посуды – на ободке раковины лежала пухлая от пены губка. Кирилл дотянулся до скомканных спортивных штанов, кое-как влез в них, орудуя одной рукой и далеко отводя вторую – опасаясь зацепить банку, – нашарил тапки, сунул в них ноги и встал.

Перед глазами плыли круги, во рту было сухо и кисло.

Шаркая, он прошел до двери, зацепил коленом чью-то руку, рука дернулась и втянулась под одеяло, как улитка. Сергеич поднял лохматую голову.

– Гулять? – прохрипел он.

Кирилл кивнул.

Сергеич покосился на милиционера, лицо его скривилось. Милиционер спал, раскинув могучие руки в стороны, рот был распахнут, грудь поднималась и опускалась, выталкивая из себя грозные звуки.

Кирилл надавил на дверь, она скрипнула и отворилась. Кирилл шаркнул через порог, закрыл за собой, прищурил глаза. На столе дежурной медсестры горбилась лампа, от нее разворачивался, упираясь в обе стены, широкий желтый овал – яркий и густой. За пределами овала, казалось, было совсем темно.

В конце коридора кто-то стонал. Кирилл присмотрелся и узнал старика в инвалидном кресле, которого привезли в соседнюю палату вечером. Старик сидел, закрыв глаза и опустив голову на грудь, лицо его было спокойно и неподвижно – только по стону да по сведенным к переносице бровям можно было понять, что ему плохо.

Медсестра сидела за столом и что-то писала в толстую потрепанную тетрадь. Услышав, как стукнула, затворившись, дверь, она подняла голову и посмотрела на Кирилла. Кирилл махнул рукой, кашлянул, скривился.

– Не могу спать, – сказал он, подходя ко столу. – Храпят там…

Медсестра пожала плечами.

– Садись, посиди.

Она показала на стул сбоку.

– Не хочется чего-то, – сказал Кирилл.

Он подался вперед и спросил, кивая на старика:

– Что такое?

– Тяжко ему, – ответила медсестра. – Спать не может и другим не дает. Выкатили, утром на операцию.

Кирилл поежился.

– Я это… – показал он в другую сторону, на вытягивающийся вправо коридор. – Пройдусь.

Медсестра снова пожала плечами.

– Только не на улицу.

Кирилл выдавил улыбку.

– Я не шучу, – сказала медсестра. – Потом ходи вас ищи. И охраннику достается.

Кирилл заверил, что на улицу и не собирался – в таком-то виде! – и заковылял по коридору. Дойдя до широкого проема, за которым светилась площадка перед лифтом, он оглянулся на старика, которого теперь трудно было разглядеть, и свернул.

Площадка была квадратная, застеленная плиткой, ярко освещенная, с высокими черными окнами и дверью, через которую можно выйти на лестницу. Дверь была приоткрыта, и в щель ползли волны ледяного воздуха.

Было свежо, и пахло почему-то йодом.

Кирилл подошел к окну, отодвинул рукой невесомую занавеску. За ней было темно, вставал сбоку еще один больничный корпус, несколько окон горели белым, тянулся до ограды широкий тротуар, за оградой блестели крыши автомобилей, за ними был парк, за парком поднимались и шли стройными рядами пятиэтажки, а вдалеке был виден железнодорожный мост, ярко освещенный прожекторами. Вдоль тротуара и у ограды горели редкие фонари, но от них ночь казалась еще темнее, и смотреть на них Кириллу было почему-то грустно. С неба сыпался снежок, ложился тонким слоем на газоны, на тротуар, на автомобили, но не сиял, не светился белым, а лежал тускло и сухо.

Кирилл дышал на стекло, из-за мутного, в капельках, пятна смотрел на дома, на мост, на снежинки, прилипшие ко стеклу – и ему было одиноко. Ныл бок, банка оттягивала руку.

Кирилл обернулся, привалился к подоконнику, кашлянул и проследил за тем, как путешествует по трубке серебряный пузырёк.

С этой стороны над проемом, ведущим в коридор, блестела в лучах ламп икона. Кирилл вспомнил, что точно такая же – святого Пантелеимона – висит в углу бабушкиной комнаты – в Новороссийске. Тут же вспомнилась ему крошечная квартира с низкими потолками и бамбуковыми шторками вместо дверей, на первом этаже. Вспомнился горячий соленый воздух, шум моря, долетающий до раскрытых настежь окон, пышные кусты с толстыми мясистыми листьями, жмущиеся к подоконнику. Кирилл вспомнил свой прошлый приезд – два года назад, с мате-

рью и младшим братом, без Оли, они только-только познакомились, – вспомнил, как не хотел оставаться, как ему было скучно все три недели, как надоело слепящее солнце, духота, острая галька на берегу, продавцы жирных беляшей, перешагивающие через загорающих, как хотелось домой, к Оле, к прогулкам по скверу, к провожаниям и походам в кино. Вспомнил, как обрадовалась бабушка, узнав, что он устроился на работу, как расспрашивала, хорошо ли к нему относится начальство, не сильно ли он устает, как гладила его по голове, словно ему не двадцать два, а двенадцать. Кирилл сидел на диванчике, чувствовал себя неловко, но рассказывал, рассказывал и рассказывал, потому что видел, что всем от этого радостно – и бабушке, и матери, и даже младшему брату, который теперь тоже хотел идти в юристы.

Вспомнил Кирилл, как ночами соскальзывал с подоконника, выбирался дворами на узкую набережную, спускался к морю и подолгу слонялся, загребая ногами гальку, как курил одну сигарету за другой, сидел на шершавом парапете, глядя на вздыхающее прибоем море. На набережной горели огни, играла музыка, кое-где танцевали – и Кирилл ходил взад-вперед, разглядывал смеющихся людей, загоревших, веселых, не желавших идти спать, и ему было тоскливо оттого, что он здесь один, что ему не с кем танцевать, не к кому обратиться, перекрикивая музыку, некому пронести от барной стойки тонкий запотевший бокал.

На лестнице загудел ветер, Кириллу показалось, что ноги его по щиколотку погрузились в холодную воду. Он вышел к лестнице, спустился на один пролет и приник к открытому на проветривание окну. Щеки защипало, глаза заслезились от ветра. Кирилл отпрянул, с губ слетело облачко пара. Он спустился еще на пролет – здесь окно было закрыто – сел на нижнюю ступеньку и поставил банку на пол. Вытянул левую руку, сжал в локте, разогнул, поиграл пальцами, словно проверял – хорошо ли работает? От окна на ступени падал бледный свет, перетекал с одной на другую, рассеивался. Было тихо, Кирилл слышал свое дыхание, ныл бок, в окно был виден угол соседнего корпуса с темными окнами, и не верилось, что есть где-то море,

галька и узкая набережная, заставленная ресторанами. Не верилось, что скоро свадьба, что составлен уже список гостей, что выбран ресторан и ведущий, что Оля уже мерила платье – и только вставало перед глазами ее бледное лицо, с которым она вошла вчера утром в палату, с которым смотрела на банку, трубку и пузырьки.

Где-то внизу раздались голоса – поплыли с этажа на этаж, сливаясь и путаясь. Потом исчезли, отозвалась гулким эхом хлопнувшая дверь, а когда эхо растаяло, повисла плотная, давящая тишина. Кирилл стал думать о свадьбе, считать гостей, столы – но мысли обрывались, спотыкались, отказывались идти, куда велено, а от банки падала на кафельный пол мутная полупрозрачная тень, упиралась в ступеньку, залезала на нее краешком. Одно из окон в соседнем корпусе зажглось, выгнувшись желтым светом, почти сразу погасло.

Кирилл взял банку, встал, потянулся – так, что захрустела шея – и поднялся на свой этаж. Прогудел мимо, не остановившись, лифт, Кирилл снова услышал далекие голоса.

Коридор показался узким, было душно. Низкие белые двери уходили в обе стороны, некоторые были приоткрыты. Медсестра сидела за столом, писала в тетрадь, лампа ярко освещала лицо. В конце коридора, во мраке, едва угадывался силуэт старика. Слышно было только, как скрипит по бумаге авторучка, – стонов не было. Кирилла бросило в пот, на ватных ногах он подошел к столу и вопросительно посмотрел на медсестру.

– Уснул, – успокоила она.

Кирилл выдохнул.

– Может, его это… в палату вкатить?

Медсестра, не переставая писать, мотнула головой.

– Пусть спит, – сказала она шепотом. – Как прогулка?

Кирилл развел руками, опустился на стул.

– Что вы пишете?

Медсестра на секунду остановилась, потом ручка снова заскрипела.

– Учеба.

Кирилл кивнул и спохватился вдруг:

– Я не мешаю?

– Сиди, мне-то что? Только не шуми.

Кирилл замолчал. В одной из палат кто-то закашлялся, слышно было, как дышит во сне старик, как едва различимо гудит на лестнице ветер. Медсестра писала, время от времени заглядывая в огромный учебник, закрывающий треть стола. Кирилл смотрел на прыгающую по странице ручку, у медсестры было осунувшееся, с острыми скулами лицо, вокруг глаз – круги, но глаза, то вспыхивающие светом лампы, то гаснущие под ресницами, были живыми, сверкающими, и странно было видеть их в тесном больничном коридоре, среди белых дверей, кашля и банок с мутной водой.

Медсестра замерла, выпрямилась.

– Вот, – вздохнула она, – ручка закончилась.

Она пригладила волосы, кончиками пальцев надавила на виски и закрыла тетрадь, оставив закончившуюся ручку зажатой между страниц.

– Хватит на сегодня, – она посмотрела в сторону лифта. – Там окно открыто, что ли?

– Да.

– Это хорошо, духота такая.

Кирилл кивнул.

Медсестра пошарила в нише стола и выудила яркую книгу в мягкой обложке. Долго искала нужную страницу, а когда нашла, положила книгу перед собой, подперла щеку кулаком и стала читать.

Кирилл почувствовал себя неловко.

– Послезавтра отдавать, – сказала медсестра. – А я только на середине.

– Интересно?

– Очень.

Кирилл выставил вперед руку с банкой и встал.

– Пойду я.

– Хорошо.

Ветер на лестнице загудел громче. Кирилл перешагнул коридор, взялся за ручку, потянул, его тут же обдало терпким запахом пота.

– Оставь так, а? – услышал он хриплый голос Сергеича. – Дышать нечем.

Кирилл вошел, придержал дверь, чтобы она не закрылась.

Милиционер не храпел – он лежал на боку, свесив руку до самого пола, и дышал ровно, как ребенок. Сергеич привстал на локте, потянулся к тумбочке, передумал, вздохнул и улегся, отвернулся к стене.

Кирилл прошел к своей койке, сел – койка отчаянно заскрипела – повесил банку на крюк. И долго сидел, глядя в щель между занавесками – хотя, кроме черного неба и редкой снежной крупы, видно ничего не было. Потом сунул руку под футболку, нащупал тугой узел из пластырей и бинтов, постучал ногтем по теплой сухой трубке.

Из коридора в палату тянулся прямоугольник света, карабкался по дужкам коек, мялся на чьей-то простыне, выхватывал из темноты огромную руку милиционера. Кто-то заворочался, заскрипел кроватью. Кирилл почувствовал, как по ногам протянуло прохладой, вспомнил лестничную клетку, лифт, икону. Вспомнил, что в бабушкиной комнате перед иконами горит лампада – маленький красный огонек. Снова вспомнилось море, гудки пароходов, шорох загребаемой прибоем гальки.

Кирилл, как был в штанах, улегся, закрыл глаза. Тут же его закружили образы, тело налилось сладкой тяжестью, даже бок перестал ныть. Кирилл сосчитал до десяти, удивился ясности мыслей и уснул.

Анна БАБИНА
Санкт-Петербург

ВЗДОХ СОБАКИ

С любовью Дугласу, Маре и Тору

Ветер ныл в продушинах, дребезжал рамами – старый дом жаловался на жизнь. Булгаковская темнота за окнами прибывала, как вода, вот-вот затопит.

Мама мучилась с самого утра: болела голова, ныла поясница, кислота вязала рот. Она лежала на боку, сбив на сторону одеяло, не зная, как поудобнее устроить грузный живот.

Потрескивала печка-голландка. Папа склонился к книге, повернув шляпку настольной лампы, похожей на гриб, чтобы свет не бил маме в глаза. Его долговязая фигура отбрасывала на стену тень, похожую на паука-косиножку, и мама хмыкнула. Папа тотчас повернул голову:

– Спина болит? Может, принести валик от оттоманки?

Мама покачала головой и заворочалась. Заскулили пружины, и что-то отозвалось на чердаке, заставив маму вздрогнуть.

Папа любил Дом: он в нём родился и вырос, знал голос петель, скрип каждой половицы, дыхание столетнего дерева и даже задумывался о том, нет ли у этих стен собственного разума. Например, иногда Дом вредничал: совал под ноги складки половика, по собственной прихоти поднимал ступеньки, чтобы нога гостя зацепилась за них, громко хлопал дверью. Он пакостил не только чужим,

но и маме – так и не принял хозяйку. Мама садилась топить печь, и та плевала ей в лицо сажей; она лезла на чердак и цеплялась за гвоздь, распарывая сорочку вместе с кожей.

– Может быть, съездим завтра к доктору?

– И что он скажет? Все беременные женщины страдают, так заведено, – мама поморщилась.

– Так не должно быть! Ты же не спишь совсем! Я думаю...

– Тсс! – мама приложила палец к губам. – Ты слышишь?

– Что? Свистит на чердаке, да. Это слуховое окно. Ничего не сделаешь, пока не переменится ветер... Весной, как потеплеет, поменяем раму.

– Да нет. Пищит что-то как будто... Мышь?

– Мышей у нас отродясь не водилось, – обиделся папа. – В жилых комнатах уж точно.

– Значит, это во дворе, – упрямилась мама.

– Ладно, сейчас погляжу.

Папа безропотно спустился в прихожую, оделся и зажег керосиновый фонарь «летучая мышь». В детстве я думала, что это название придумал папа. Ему нравилось одушевлять вещи, придумывать им забавные клички. Он по-настоящему прикипал к ним – не по-мещански, из стремления накопить, как привязываются к барахлу иные люди, просто любил то, что служило ему верой и правдой.

Хлопнула дверь, и по заснеженной дорожке запрыгала тень «летучей мыши». Голые ветки яблонь расползались трещинами на фоне тёмного неба. Над Каверинкой гудели провода. Заречье тонуло в снежной мгле.

Папа чувствовал: приближается буран, страшный степной морок, подобно тому, из которого выступил навстречу Петруше Гриневу знаменитый Вожак.

Он повёл фонарём из стороны в сторону и прислушался. Что-то скрипело или пищало, но так тихо, что мама в доме вряд ли могла услышать. Может, действительно, мышь.

Папа пошёл обратно к крыльцу, но замер на полпути. Тёмный комок возле забора, который он сначала принял за мусор, принесённый ветром, шевельнулся, но не от дуновения, а сам по себе. И снова – писк. Он поднял фонарь, осветив пятно на снегу.

Щенок.

Как он оказался здесь? Приполз сам через дыру в заборе или кто-то перебросил его в сад? Раздумывать было некогда. Папа схватил щенка и метнулся навстречу свету и теплу.

На следующий день вместо женской консультации мама с папой поехали к ветеринару.

Ефрем Менделевич Шидловский, известный на весь наш город врач, «ветеран ветеринарного фронта», как он сам себя называл, сказал, что у собаки повреждены шейные позвонки. Возможно, тот, кто бросил её умирать на морозе, пытался расправиться с ней по-другому, но Штуша родилась под счастливой звездой. Она выжила, попала в наш двор, и мама каким-то чудом услышала её плач.

– Мы не справимся с двумя малышами, – пожаловался папа на обратном пути. – Давай отдадим собаку в добрые руки.

– А вдруг её снова попытаются удавить? Или утопят?

Мамины глаза подозрительно заблестели, и папа сдался. Так на неделю раньше меня в нашей семье появилась Штуша.

Она росла вместе со мной – шумная, весёлая и неуклюжая, как и я. Шея у Штуши так и не поправилась полностью: крупная голова клонилась набок, придавая собаке вид глуповатый и одновременно задумчивый. Он мог ввести в заблуждение кого угодно, только не нас. Штуша была умницей и хитрюгой, причём её лукавство не имело ничего общего с обычными собачьими плутнями. Обманывала она умело и вдохновенно. Некоторые проделки выходили на свет божий спустя месяцы.

«У животных нет мимики», – вычитала я в детской энциклопедии. Когда я открывала калитку, Штуша бросалась ко мне с радостным визгом и широченной, во все сорок два, улыбкой.

Она никогда не выпрашивала еду – вместо этого молча садилась посреди кухни и смотрела в упор печальными бархатными глазами. «Неужели, – говорил её взгляд, – у вас не найдётся для такой замечательной собаки, как я,

немного еды? Самый маленький, завалящий кусочек?» Если трюк не удавался, Штуша начинала дрожать. Её трясло, как в лихорадке, и всем своим видом она показывала: ещё минута без лакомства – и её уже не спасти. Когда мы привыкли к гипнозу и дрожи, наша гениальная питомица изобрела третий способ воздействия. Она вздыхала. Глубоко, почти по-человечески, заставляя нас вздрагивать.

Первым обычно сдавался папа. По сложной траектории прямо в пасть очаровательной попрошайке летел кусочек сыра. «Собаку со стола не кормить!» – строго командовала мама. «Я уронил», – оправдывался папа. «Мне не жалко, но это ей вредно». Через минуту мама забывала о своих принципах, расплываясь под жаркими лучами собачьего взгляда.

Я заходила ещё дальше: мы со Штушей, забравшись за оттоманку, жевали яблоко – одно на двоих. Потом собака самозабвенно слизывала сок с моего лица. «Это негигиенично! – ужасалась мама. – Она же во дворе бегает!» Мы почтительно кивали и начинали сызнова, прячась получше.

«Штуша-Кутуша – страшный зверь», – напевал папа, любовно наглаживая замшевое брюшко. Собака жмурилась и толкала его мокрым носом в ладонь: давай, мол, ещё, не ленись, хозяин. Иногда мне кажется, что эта сцена – первое в моей жизни воспоминание.

Хозяином Штуша по праву считала папу, слушалась маму, а любила меня. Все мы легко помещались в собачьем сердце, но я в её представлениях была кем-то вроде глупого щеночка, которого нужно оберегать.

В те годы мы не жили, а выживали. Папа работал на заводе, пытаясь справиться с учёбой на вечернем, мама преподавала химию в Каверинской школе. Родители маминых учеников, зная о нашем положении, иногда приносили продукты. Мама не отказывалась. Вместо дамской сумки она ходила на работу с пухлым папиным портфелем, в который стыдливо засовывала подношения.

Однажды после уроков бабушка маминого ученика сунула мне бумажный свёрток в бурых пятнах. Накануне они забили свинью. Я спрятала мясо в портфель и зашагала домой.

День был солнечный и бесснежный. Я спускалась в овраг по мёрзлой гулкой дороге, когда навстречу мне вышли собаки – огромная взъерошенная свора. Они не лаяли, только молча скалились, да где-то внутри лохматой движущейся массы зарождался утробный рык. Свора окружала меня. От удушающего страха я совсем забыла про мясо, а когда вспомнила, не нашла ничего лучше, чем достать его из портфеля и швырнуть в собачью гущу.

Половина рванулась в драку за свёрток, но остальные продолжали подступать ко мне. Я даже не подумала о том, что портфель и руки теперь пахнут мясом. Кровью. Добычей.

Свалявшаяся шерсть на пёсьих загривках вставала дыбом, зловещей краснотой отсвечивали глаза, с глянцевых клыков на снег капала слюна.

Пот выступил у меня на спине. Сцепив зубы, чтобы не завопить, я отступала. Собачий рык раскатился над оврагом, но я услышала нечто другое – тонкий заливистый лай. Этого просто не могло быть, как раз из-за этой своры мы никогда не выпускали Штушу со двора. Но лай приближался, моя собака спешила на помощь – нелепая, глупая и отважная.

Мы так и не узнали, как это случилось. Никто не открывал калитку, дыры или подкопа под забором папа не нашёл. Собака оказалась на улице так же, как когда-то метельной ночью в нашем дворе – совершенно непостижимым образом.

Как пушечное ядро, она влетела в самую сердцевину своры, и та распалась. Кто-то потащил в сторону мясной комок, но получил удар мощной лапы, и завертелась драка. Самые трусливые завыли, задергались и порскнули в кусты, не выдержав натиска незнакомой собаки. Бесстрашная Штуша пробилась ко мне и почти весело покосилась карим глазом. Знай, мол, наших. И вот тогда я заголосила!

Как во сне, мы увидели соседа дядю Борю. Размахивая топором, он бежал через овраг на помощь девочке и её собаке...

Ночью я тонула в кошмарах. Мама и папа по очереди сидели возле кровати, держали меня за руку. Стоило

мне задремать, как передо мной мелькали собачьи клыки. «Мясо, они отняли мясо», – плакала я, не просыпаясь. Поскуливала во сне Штуша. Её лапы дёргались – она бежала ко мне на помощь.

Под утро я заснула спокойно, а когда проснулась, комнату заполнял призрачный свет. Выпал снег. Мама спала, сидя на полу у стены. На коленях покоилась кудлатая голова Штуши.

В другой раз Штуша спасла нас всех. Это случилось через год после нападения своры. Папа как раз готовился к зимней сессии. Он почти не спал, запирался на ночь в кухне и, сгорбившись за неудобным столом, рисовал таблицы и схемы. Штуша лежала рядом на случай, если папе захочется поднять голову от скучных бумаг и погладить умную собачку – по её мнению, это было естественным желанием любого культурного человека. Когда становилось совсем невмоготу, папа разводил в эмалированной кружке дрянной растворимый кофе и залпом выпивал.

В ту ночь папа поставил на плиту чайник и вернулся к своим таблицам. Строчки покачивались перед глазами, лезли друг на друга и путались. Столбики цифр ездили туда-сюда, как эскалаторы в метро. Папа опустил веки всего на минуту, чтобы дать отдохнуть покрасневшим глазам...

Разбудил его истошный лай Штуши. Она скакала вокруг стола, пытаясь вцепиться зубами во врага – неведомого и невидимого. Враг лез из газовой горелки, залитой водой, и расползался по кухне. Папа вскочил и едва не потерял равновесие. Деревянные полки, на которых громоздилась кухонная утварь, кособокая печь и газовая плита с тяжелыми чугунными крыльями завертелись у него перед глазами. Штуша неистовствовала. Папа рванул раму – она не поддалась, ещё в октябре мы тщательно заклеили окна и заткнули щели. Тогда папа схватил кочергу и ударил. Стекло разлетелось вдребезги, в кухню ринулся холодный зимний воздух. Мы были спасены.

Когда-то мы вместе росли; теперь было иначе – я взрослела и крепла, а собака, наоборот, дряхлела. В темной

шубке проглядывала седина. Штуша приволакивала заднюю лапу и проводила всё меньше времени во дворе. Даже её фирменные вздохи, казалось, стали тяжелее.

Однажды Штуша совсем ослабла, и мы повезли её к врачу. «Ветеран ветеринарного фронта» в клинике больше не принимал, вместо него в кабинете суетилась бледная рыжеволосая девушка. Осмотрев собаку, она сухо сказала маме:

– Я, конечно, не вправе на чем-то настаивать, но я бы посоветовала не мучить животное...

Мама молча забрала Штушу, и мы вышли на августовский солнцепёк.

– Поехали к Шидловскому.

Ефрем Менделевич жил в аккуратном зелёном домике. Вдоль низкого заборчика росли мальвы и наперстянка, над ними кружили пчёлы. Когда мы подошли к калитке, он как раз выходил на крыльцо.

– Здравствуйте, мы...

– Штуша, радость моя! – просиял Ефрем Менделевич. – Я помню всех своих пациентов.

В комнате было прохладно. Уложив Штушу на лавку, Ефрем Менделевич начал осмотр. Пока его руки порхали над впалыми собачьими боками, Штуша пристально смотрела на меня, словно прося прощения за свою немощь. Шидловский встал, и я поняла: это всё.

– Штушино время пришло.

Мама вздрогнула от звука его голоса:

– Как?

– Отпустите её. Она будет присматривать за вами... оттуда. Уж я-то знаю, много собак повидал, – он отвернулся к умывальнику.

Звякал стержень, и вода лилась в ведро, словно ничего не произошло. Штуша смотрела, не мигая. Казалось, она всё понимала и не боялась. Страшно было нам.

В последнее воскресенье августа мы пошли на Реку, в любимые Штушины места. Всю дорогу папа нёс её на руках, но на косогоре, среди высушенных солнцем трав, она вдруг воспряла духом и поднялась на дрожащие лапы.

– Вот видишь, ей лучше, – с надеждой сказал папа маме, – может, повременим?

Мама покачала головой:

– Мы не имеем права мучить её из-за... своей слабости.

Штуша сделала несколько шагов по тропинке и, обессилев, легла. Я опустилась рядом. Обычно мама не одобряла валяния на траве – «платье зазеленишь!», – но в этот раз не сказала ни слова.

Я вспомнила, как Штуша неслась отсюда, с косогора, вниз, стоило мне позвать её. Сейчас она лежала тихо-тихо, только хвост чуть подрагивал. «Я люблю тебя». Штуша в ответ вздохнула.

Процедуру назначили на вечер первого сентября. Стояла свинцовая степная жара, воздух вибрировал, как бракованное стекло. Мы с мамой возвращались из школы по выбеленной солнцем улице. Синтетическая блузка с рюшами облепила тело. Цветочные стебли в маминых руках потемнели и обмякли, как зелень в супе.

– Ты... можешь остаться дома, – нарушила молчание мама. – Мы с папой справимся.

Наверное, это был хороший выход, но я вспомнила Штушу бегущей ко мне на выручку и ответила:

– Нет. Я пойду с вами.

На пороге нашего дома тишина едва не сбила меня с ног. Даже в последние дни Штуша подавала голос, стоило кому-то войти. Мама бросила охапку цветов – там, кажется, были разноцветные астры и три ощипанных гладиолуса – в угол и, не разуваясь, метнулась в кухню. Я услышала её голос: «Штушенька, милая, мы пришли» и уткнулась лицом в плащ на вешалке. Он умиротворяюще пах домом: грушевым компотом, печным дымом и метёлками укропа, высохшего в проткнутом солнцем полумраке чердака. Когда я выпуталась из духмяных складок, плащ оказался мокрым, хотя дождя не было уже третью неделю.

– Вы можете оставить тело, – сухо сказала ветеринар, – мы позаботимся.

– Мы её заберём, – ответила мама.

Мне хотелось крикнуть, что никакое Штуша не тело, она – мой друг, куда более близкий, чем те девчонки, которые шили короткие юбки на маминых машинках и пробовали курить в колючих кустах на склоне оврага.

Мы зарыли Штушу на косогоре, поближе к закатному небу. Папа бодро размахивал лопатой, но глаза его были красны, мама аккуратно раскладывала поверх прямоугольника потревоженной земли астры и гладиолусы. Ветер с реки трепал их венчики. Мне всё ещё не верилось, что земля навсегда поглотила мою Штушу.

– Я не знаю, – нарушил тишину папа, – есть ли рай для людей, но для собак он должен быть точно.

– Смотрите, – мама ткнула пальцем в рдеющее небо.

Над горизонтом стремительно неслась взъерошенная облачная собака, точь-в-точь Штуша.

С современными детьми травмы прорабатывает психолог. Поправляя очки в модной оправе, он сортирует детские мысли и эмоции, раскладывает их по полочкам, нещадно расправляясь с мусором, который путается под ногами. Тогда всё было иначе. Родители, конечно, понимали, что Штушин уход проделал во мне дыру, но о её масштабах не догадывались. У меня были друзья и подруги. Они пили чай с пирогом-разборником в день моего рождения, сидели рядом со мной на уроках и переменах, обсуждали последние новости, но сокровенное я поверяла только собаке. И дело было не в том, что она, бессловесная, вряд ли выдала бы мои мысли. Я искренне верила, что понимает меня только Штуша.

Шли дни. Осень навалилась на нас, и мы прогнулись под её натиском. Бурый, словно выжженный, прямоугольник слился с желтизной берега, потонул в ней, и я одна по-прежнему знала, где оно, это место. Каждый день после занятий я взбиралась на косогор, садилась на землю, подсунув пакет со сменной обувью, и говорила со Штушей, как с живой. Узнай родители, чем я тут занимаюсь, наверное, упекли бы меня в больницу.

«Почему, – шептала я Штуше, – так несправедлива жизнь? Почему мы живём дольше, чем вы? Если бы я могла

отдать тебе, милая моя, пять, да что там, десять лет собственной жизни, я бы даже не задумалась...»

Облака проплывали над нами, влекомые вечным небесным непокоем.

В конце ноября выпал долгожданный снег. На косогоре меня прострелило ледяным ветром, и я поспешила убраться домой. В ржавом ящике у калитки белело письмо, адресованное папе. Я оставила его на письменном столе.

Папа пришёл поздно. Преодолевая вязкое нежелание говорить с кем бы то ни было, я спустилась вниз. Стоя возле вешалки, папа разматывал шарф. Тень отросшей за день щетины ненадолго рассеялась под озарившим лицо светом, когда он увидел меня. По привычке папа опустил взгляд, ища глазами Штушу. Всё ещё не привык...

Ужинали вяло: папа устал, мама от перемены погоды мучилась головной болью, у меня не было аппетита. После ужина папа лёг отдохнуть; мы с мамой мыли посуду в остывающей кухне. Грохнуло ведро. Папа возник в дверях бледный, словно увидел призрака:

– Письмо пришло... из администрации...

Мама просияла:

– И?

– Сносить нас будут скоро...

– Где дадут?

– Тут не написано.

Папа подтянул к себе табуретку и по-стариковски тяжело сел.

– Так скоро...

– Ну уж и скоро! Сколько ждём уже, сил никаких нет.

Они столкнулись взглядами.

– Я не думал, что так скоро, – беспомощно проговорил папа, хватаясь за табуретку, словно неведомая сила могла снести его на пол.

– Зато удобства будут, а не это, – мама укоризненно ткнула пальцем в сторону закутка за цветастой занавеской, где папа устроил помывочную.

– Так скоро... – эхом повторил папа.

Переезжали на Пасху. Овраг раскис от дождей, и большой фургон завяз в жирной грязи.

– Твою мать! – орал шоферюга, пытаясь выправить колесо с помощью короткой лопатки, казавшейся детской в его огромной лапище. – Ненавижу ваши сраные выселки!

Разбитые башмаки папиных приятелей месили вязкую кашу. Закатав тренировочные брюки, мама наравне с мужчинами выталкивала фургон на свободу. Папа, весь в поту и брызгах, бестолково суетился возле кабины. Я стояла поодаль, прижав к груди портфель, набитый школьными принадлежностями. Фургон наконец напрягся и дёрнул вперёд; сочные брызги грязи полетели в меня. Мама, обернув тонкое лицо, покрасневшее от натуги, закричала со злостью:

– Совсем толку нет, что ли? Уйди оттуда!

Когда вошли в новую квартиру, уже стемнело. Папа методично щёлкал выключателями, лампочки отбрасывали резкие тени на голые стены. В комнатах плавал едкий запах краски, стены дышали тёплой клеевой сыростью. Я сняла шапку и расстегнула пальто, но пот всё равно выступил на лбу и спине.

Мужчины принялись собирать кровати и столы, мама в кухне вскрывала ящики с посудой и продуктами. Папа стоял в тёмной комнате возле окна и смотрел на улицу, обозначенную аккуратной линией фонарей.

– В субботу будут сносить, – папа зацепился за порог и едва не упал в прихожей; от него несло водкой и луком.

– Всё успокоиться не можешь?

Мамины руки быстро перебирали льняное полотенце. Она шагнула к нему, но, передумав, скрылась в кухне. Папа, не снимая пальто, сел на деревянный ящик, в котором перевозили посуду.

В субботу я вернулась из школы рано – географичка заболела, а подменять ее никто не хотел. В кухне мама остервенело рубила капусту. Сечка с грохотом опускалась в корытце, стол раскачивался в такт.

– Где папа? – спросила я.

– Ушёл в Каверинку. Сегодня дома сносят.

Я бежала, потом ехала на трамвае и снова бежала. У оврага кучно стояла техника: экскаватор, трактор, несколько самосвалов. Сползлись, как падальщики.

Нескладную папину фигуру я увидела издалека. Он стоял посреди улицы, наклонившись вперёд, словно собирался боднуть экскаватор, на стреле которого неподвижно висела «баба» – шар-молот.

– Ты зачем здесь? – папа поправил мне шапку.

– Дом... пришла... посмотреть... – я всё ещё задыхалась.

– Смотреть тут нечего.

Наш дом стоял сиротливый и распахнутый. После нашего отъезда его немного повело назад, и окна закатились, как глаза умирающего.

– Они этим будут... рушить? – я ткнула пальцем в шар-молот.

– Наверное.

Даже животных усыпляют тихо и безболезненно, дом же обречён опрочувствовать всё до конца. Он будет ломаться, трескаться, скрипеть, и мы не в силах будем ему помочь.

– Ребёнка уберите, – мимо прошли экскаваторщик с милиционером, оранжевая спецовка одного составляла контраст с серой курткой другого.

Папа взял меня за руку, и мы отступили назад.

Началось. Всё вдруг пришло в движение. Экскаватор, как танк в военном фильме, пополз к дому. Папа сжал моё плечо – ощутил, видимо, то же жгучее желание рвануться вперёд, под хищные гусеницы, вопя что есть мочи:

– Не отдам, изверги, это мой дом!

Экскаватор завертелся, приноровился и коротко, почти без замаха, двинул шаром, как ядром, в стену. Дом всхлипнул и вздрогнул, и папа дёрнулся с ним вместе. Я боялась увидеть его лицо, поэтому уставилась на ристалище. Машина снова поползла, уже менее смело, бочком, и снова шар невысоко подлетел и ткнулся в стену. Она лопнула и задымилась пылью.

«Баба» опять ударила, будто ставя на нашем доме чёрную точку. Рухнула стена, и сразу за ней со змеиным шорохом внутрь оползла крыша.

Тектонический сдвиг. На моих глазах менялся пейзаж, знакомый с рождения. Стало видно, как по склону сбегают вниз убогие мичуринские сады и наделы, которым вскоре суждено полечь жертвами новой застройки. Здесь станут жить люди, и некоторые никогда не узнают, что до них здесь была наша вотчина.

Каверинка не хотела меня отпускать. В сам район я не совалась – нечего там делать, грязь да стройка, – зато на косогор к Штуше заглядывала регулярно. Когда сошёл снег, я с ужасом осознала, что не помню, где именно лежит моя любимица. То тут то там на дёрне мне чудились рукотворные линии, но какая из них верная, я не знала. В конце концов, решила я, Штуша не под землёй, она где-то там, в другом мире, откуда приглядывает за мной.

Облака лениво покачивались в голубой зыби, и я представляла, что на одном из них сидит моя Штуша. Голова её чуть повёрнута набок из-за калечной шеи, одно ухо прижато, другое поднято. Изредка она вздыхает, и вздох едва отличим от человеческого.

В шестнадцать лет я впервые влюбилась – в типичного школьного ловеласа, кичливого и пустотелого. Его звали Кириллом. В драке на рок-концерте Кириллу сломали рёбра, и я ежедневно таскалась в больницу Семашко с бутербродами, пирожками и пивом. Пивные банки я несла у сердца под курткой, чтобы их не увидели сёстры, и, волнуясь, совала ему на лестничной площадке. Руки у меня были ледяными, а пиво – тёплым, и он выговаривал мне за это.

Иногда мы сидели на скамейке возле больницы или бродили по территории и смотрели, как шмыгают мимо скорые. Весеннее солнце резало нам глаза. На растрескавшиеся плиты дорожек выползали жучки, и Кирилл давил их белыми разношенными кроссовками без шнурков. Гадко и жалко.

– Зачем? – спросила я.

Он посмотрел на меня, и его глаза блеснули на солнце стеклом и пустотой, как у коллекционных кукол.

– Вот ты ходишь к нему, пиво носишь, – поймала меня на вонючей лестнице медсестра; в её лице было что-то овечье, и химическая завивка только усиливала сходство.

Я вырвала руку, но она заступила мне дорогу:

– Дура ты. Дурёха. К нему девки таскаются пачками, и он с ними сосётся – смотреть противно.

– Дайте мне пройти, – я почти отпихнула её.

– Дура и есть. Пожалела я тебя, дуру, и родительские деньги, – она медленно, чуть прихрамывая, пошла вниз.

Я же машинально поднялась ещё на один пролёт, постояла возле окна, закрытого пыльной сеткой и, развернувшись, выбежала на улицу. Город дышал предвкушением черёмухи.

Пиво я оставила себе. Оно оказалось невкусным. Я сделала пару глотков, а остатки зашвырнула в заросли на склоне оврага. Вкус, похожий на желчь, вызвал тошноту, и я поспешила зажевать его пирожком.

Невдалеке грохотала стройка. Я поднялась на косогор, к счастью, безлюдный. На Штушином пятачке чернели угли. От злости я разбросала их ногами, плюхнулась прямо в золу и окурки и расплакалась.

Земля была ещё холодна, голову обжигало злое весеннее солнце, а внизу меня тряс озноб. Он поднимался от холодной земли к рукам, животу, сердцу...

Я подняла взгляд и вздрогнула. Шагах в ста от меня стояла Штуша и пристально смотрела мне в глаза. Её хвост подрагивал, и она улыбалась.

Это неправда. Я ущипнула себя за руку, но собака не пропала. Наоборот, сделалась чётче, как будто я приблизилась к ней и видела теперь каждую шерстинку на тёмной спине.

Я знала, что подниматься нельзя – всё исчезнет, поэтому протянула руку и позвала её. Штуша сделала несколько несмелых шагов и остановилась. Она слышала и видела меня, но подойти не могла.

Длилось это наваждение несколько минут. Потом я моргнула – и её не стало. Только косогор и трава.

...Больше со мной такого не случалось. Я росла, становилась умнее и крепче, но без Штуши. Несколько раз меняла города, пока однажды под Новый год не осела в

Петербурге. То была страшная зима – многие её помнят. Город задыхался во льду и снегу.

Я снимала комнату на Петроградке, и нам было едва ли не хуже всех: узкие улицы, промёрзлые чердаки, дворы, засыпанные по самое кирпичное горло, поднял голову – бахрома остро отточенных сосулек. Того и гляди, попадёшь под ледовую бомбежку.

В тот день была моя очередь готовить. Я тащила два огромных пакета – они оттягивали руки и врезались в ладони. «Больше не могу», – произнесла я вслух, остановилась и бросила пакеты в снег.

Темнело, но фонари ещё не горели. Город расплывался под моим близоруким взглядом, как недосушенная акварель. Я выпрямилась, расправила плечи и, скользнув взглядом по другой стороне улицы, увидела собаку.

Она неподвижно сидела возле стены. Чёрная, с вывернутой шеей, одно ухо стоит, другое – нет. Я ощутила холодок на спине. *Так не бывает*.

– Штуша!

Мне показалось, что собака шевельнулась. Не помня себя, я подхватила пакеты и бросилась через улицу. На последней трети пути я осознала, что сумерки и плохое зрение сыграли со мной злую шутку. Никакой собаки не было – только тёмное пятно на стене. Содранная штукатурка, тёмно-коричневый кирпич...

Я споткнулась о поребрик и упала. Боль обожгла колено, разлетелись по снегу банки, мешки и коробки. Дура набитая! Приняла какую-то дрянь за свою собаку! Слёзы брызнули из глаз, но в этот момент за моей спиной заскрипело и ухнуло, отсекая быль от небыли.

Прихватив с собой колено водосточной трубы, ледяная громадина обрушилась прямиком туда, где на снегу виднелись мои следы и вмятины от пакетов.

Грохот погас. В тишине, покачиваясь на проводах, зажигались фонари. Я сидела на тротуаре и не плакала. Забыла на некоторое время, как это делается.

Возле моего плеча раздался вздох – тихий, почти человеческий.

Елена НАУМОВА
Киров

СКРИПКА

Иногда земля уходила из-под ног, и дорога, по которой бежал Лим, принимала вертикальное положение. Она разбивала мальчику лицо, и тогда он останавливался на некоторое время – передохнуть. Чтобы не заплакать от боли, Лим начинал петь. Листья на деревьях переставали шептаться, а ветер замирал над его головой, когда высокие и чистые звуки вырывались из его груди…

Потом Лим спешил дальше. У него ничего не было, кроме дороги и этого чистого голоса, похожего на звуки волшебной скрипки. Не было ничего и никого. Родителей он не помнил – мать его умерла от родов, а об отце люди говорили разное: одни отводили в сторону глаза и бормотали что-то невнятное; другие говорили, что он был непутёвым и умер при странных обстоятельствах; третьи, понизив голос, уверяли Лима, что отец его жив, что такие, как он, не умирают никогда…

Дорога упала Лиму под ноги, когда жизнь в кромешном аду интерната для детей-сирот стала невыносимой. С тех пор, маленького и беззащитного, но уже такого обречённого, словно кто-то толкал в спину, торопил.

Намаявшись и устав, Лим иногда мечтал свернуть с этой дороги куда-нибудь в тихую сторону, где люди спокойно занимаются своими делами – грызут орехи или, зевая, шелестят по вечерам газетами. Где его ровесники ле-

том обжигаются на берегу реки печёной картошкой, зимой таскают двойки по математике, а когда темнеет, сладко засыпают после очередной отцовской порки и видят замечательные мальчишеские сны.

Но Лим не знал своего отца, а возвращаться в интернат, при воспоминании о котором у Лима пробегали по спине мурашки, было невыносимо. И ещё Лим спешил туда, где земля сливалась со звёздами.

Отдыхал Лим в маленьких, забытых богом деревнях, где в полуразрушенных домах доживали свой век дряхлые старики и старухи. Они кормили мальчика горячей похлёбкой, за что Лим помогал им по хозяйству: колол дрова и таскал воду.

Тёмными беззвёздными вечерами Лим пел свои песни. От звуков его голоса лица стариков преображались, а старухи крестились и кланялись в ноги мальчику. Так он жил некоторое время, пока какая-то непонятная сила не гнала его в дорогу. И он упрямо шёл дальше, туда – в небольшой городок, название которого звенело у него в сердце. Этот городок и его отец соединялись для Лима в одно целое, и он спешил туда, словно это и было то место, где сливаются звёздное небо и земля.

Лето кончилось. А Лим по-прежнему пробирался своим ходом, избегая автобусов и попуток. Он часто сворачивал в лес, где уже облетели листья с деревьев, где было сыро и неуютно, но где он мог петь так же свободно и легко, как улетающие в тёплые края птицы.

Когда Лим добрался до заветного места, хлеб и мелочь, что давали добрые дряхлые старики, у него кончились, и, набравшись храбрости, он запел на базарной площади. Люди окружили мальчика плотным кольцом, а когда он кончил петь, в него полетели не только монеты и хлеб, но и… камни. Один камень попал Лиму в лицо, и люди в ужасе покинули мальчика. Утирая кровь, он подбирал с земли деньги, когда к нему подошла худая сгорбленная старуха.

– Пойдём со мной, – сказала она низким голосом, – я узнала тебя по трём родинкам на щеке. Ты – сын скрипача.

– Да! – обрадованно воскликнул Лим. – Ты знаешь о моём отце?!

– Пойдём, – повторила старуха, беря мальчика за руку.

Они долго шли по кривым улочкам города. Уже начал сыпать снег, а они всё шли и шли мимо пустых магазинов, мимо бледных и злых людей, о чём-то бранящихся друг с другом.

– Почему здесь так нехорошо? – спросил Лим.

– Как и везде, – ответила старуха, щуря слезящиеся от снега глаза. – Люди голодны и несчастны, а сегодня их растревожили твои песни – не всем под силу волнение души, поэтому тебе и разбили лицо.

Старуха говорила с Лимом не как с ребёнком, и он подумал, что, наверно, у неё никогда не было детей и что она очень несчастна… «А может быть, сейчас в этом голодном городе она зажарит меня и съест», – думал Лим, но продолжал покорно идти за странной женщиной, ведь она хотела что-то поведать ему об отце.

Наконец снег перестал обжигать лицо, и они пришли. Жильё старухи стояло на самой окраине города – дальше начиналась большая белая дорога. Избушка была так стара и трухлява, что Лим замешкался на деревянной скрипучей лестнице.

– Не бойся, – подтолкнула мальчика старуха, и в следующее мгновение Лим словно провалился в чёрную дыру. Старуха прошуршала где-то рядом, и тусклый свет залил стены крохотной комнатушки, где пахло мышами, пылью и лекарствами. Лим опустился на широкую скамью возле печки и задремал. Кроме скамьи в комнате стоял стол в засохших хлебных крошках, а в самом углу – широкая деревянная кровать, покрытая разноцветными лохмотьями.

– Как тебя зовут? – спросила старуха, разгребая лохмотья.

– Иначе как Лимом меня никто не называл. Значит, я Лим, – ответил мальчик, протирая глаза.

Старуха вырыла из-под лохмотьев буханку хлеба, смахнула со стола крошки и молча начала нарезать хлеб толстыми ломтями. Затем, так же молча, она вытащила из печки чугунок с картошкой, поставила его тут же рядом, и Лим сглотнул слюну. Кивком головы старуха пригласила

мальчика к столу, и голодный Лим, не дожидаясь второго приглашения, с жадностью набросился на старухины припасы. Пока он ел, старуха пристально смотрела на мальчика: какие-то мысли пробегали по её лицу, словно она решала что-то важное.

Наконец Лим допил чай, и старуха сказала ровным голосом:

– Это я убила твоего отца.

От этих слов Лим замер и прислушался к себе. Он долго смотрел на старую женщину, и она не вызывала у него ненависти, напротив – жгучий комок жалости подступал к горлу мальчика.

– Это было так давно… – погружаясь в свои мысли, начала старуха.

– Почему давно, ведь мне только тринадцать лет, – нерешительно возразил Лим.

– Это было очень давно, – повторила старуха, – в прошлом веке. А когда век сменяет век – проходит гораздо больше времени.

Она пожевала сухими губами, словно что-то подсчитывая. Затем, помедлив, вытащила из-под кровати чемодан и протянула Лиму фотографию красивой женщины.

– Кто это? – в недоумении спросил Лим.

– Это я, – сказала старуха. И голос её показался Лиму чуть грустнее обычного. – Видишь, как давно это было…

Переведя взгляд с фотографии на старуху, Лим покорно кивнул.

– В таких случаях принято добавлять, – с усмешкой сказала хозяйка избушки, – что я была молодой и глупой… – Она помолчала немного. – Но я была умной, жестокой и проницательной.

Глядя в чёрную прорубь окна, она начала свой рассказ.

– Твой отец был талантлив как бог и наивен, как ты. Он так играл на своей скрипке, что увядающий цветок расцветал на глазах без единой капли воды. Люди говорили, что сердца у них дрожат и плачут вместе с его скрипкой. Только моё сердце оставалось спокойным и ровным.

Лим слушал старуху, боясь пропустить хотя бы одно слово.

– …Когда твой отец влюбился в меня, его скрипка выводила такие фокусы, что все плакали навзрыд… И лишь мои глаза оставались сухими.

Твой отец был скрипачом, и этим всё сказано. Такие люди не годятся в мужья – они за короткое время испепеляют сердце любимой и уходят дальше. А я хотела жить вечно – иметь прочный дом, надёжного мужа и детей. Но в детстве у меня не было игрушек, и мне нравилось, что я могу вдохновлять такого человека, как твой отец.

И вот я привела твоего отца в дом к моему жениху, чтобы он прорепетировал для нашей помолвки свадебный марш. В тот вечер его скрипка плакала так пронзительно, что даже моё каменное сердце дало сбой. А когда твой отец закончил играть, побледневший жених всадил в него нож…

Старуха перевела дыхание и оторвала взгляд от черноты ночи.

– Бог наказал меня, – продолжала она, глядя тёмными глазами куда-то сквозь мальчика, – он не дал мне ни прочного дома, ни мужа, ни детей. Но одно моё желание, которое со временем превратилось для меня в кару, он исполнил – он приказал мне жить вечно.

Из груди старухи вырвался тяжёлый стон.

– Я ждала тебя, – продолжала она, – чтобы отдать тебе скрипку твоего отца.

С этими словами она снова полезла в лохмотья, закрывающие кровать, и извлекла оттуда скрипку, завёрнутую в розовую тряпицу. Тряпица была свёрнута конвертом, словно в нём был младенец. С минуту старуха прижимала скрипку к своей груди, прощаясь с ней, как с живым существом.

– Ты любила моего отца! – воскликнул мгновенно повзрослевший Лим.

Старуха, ничего не ответив, протянула ему единственную драгоценность своей жизни. Лим осторожно взял скрипку и откинул розовую тряпицу. Лак от времени немного потускнел, но скрипка была так заботливо хранима старухой, что сберегла тепло рук отца Лима…

– Сыграй, – попросила старуха.

И когда Лим коснулся смычком струн, стены комнаты словно раздвинулись – музыка озарила все углы, и в темноте окна зажглись звёзды. Закрыв глаза, Лим слушал, как кто-то невидимый водит его рукой, сжимающей смычок, по трепетным струнам.

…Старуха лежала на кровати поверх лохмотьев, скрестив руки на груди. Что-то мучительное и дорогое всплывало в её глазах, в едва заметной улыбке бледных губ. Вдруг в груди её что-то захрипело – она вздохнула в последний раз, и благодарная слеза скатилась по её морщинистой щеке…

Лим бежал по заснеженной дороге, прижимая к груди заветную скрипку. Теперь это была его скрипка. Он не чувствовал ни холода, ни усталости. За эту ночь Лим повзрослел настолько, что первая морщинка пробороздила его чистый до сей поры лоб. Теперь он точно знал, что найдёт скрипачей, подобных себе, чьи струны поют так же проникновенно, как струны его скрипки.

«И тогда, – думал Лим, шагая сквозь снегопад, – музыка излечит бедных, злых и несчастных. И они наконец перестанут браниться и убивать друг друга и не будут больше бросать камни в тех, кто дарит им эту музыку. Ведь если даже цветы и камни оживают от прекрасных мелодий, то люди обязательно будут любимы друг другом и счастливы…»

Сзади послышался шум подъезжающей машины. Лим крепче прижал скрипку к груди и побежал, испугавшись, что его нашли и собираются вернуть в интернат для детей-сирот.

Машина, взревев, догнала его, и из неё вывалилось несколько пьяных юнцов и девиц. Все они были немногим старше Лима. Лим облегчённо вздохнул.

– Стой! – крикнул высокий парень в спортивной куртке. Он приблизился к мальчику.

– Да это пацан, что с него взять? – сказала одна из девиц, презрительно кутаясь в лохматую шубку.

– Эй, пацан, чего украл? – спросил спортивный парень и вырвал из рук Лима скрипку.

– Это моя! Не трогайте! – срывающимся голосом крикнул Лим. Но парень равнодушно ударил его в подбородок…

– Отдайте! – закричал Лим, собирая последние силы и поднимаясь из сугроба.

– Ничего себе скрипочка, – не обращая внимания на Лима, рассуждал парень под хохот приятелей. – Завтра толкнём за стольник. А ты, малыш, отдыхай! – он весело развернулся и снова больно ударил Лима по лицу.

Сколько времени прошло, пока Лим лежал на снегу, сжимая в руке сломанный смычок, он не помнил. Когда он открыл глаза – было тихо. Только снег плавно кружился и падал на опустевшую дорогу.

Лим попытался встать, но почувствовал такую тяжесть во всём теле, что больше ему не хотелось шевелиться. Глаза его снова начали закрываться. Сквозь опущенные ресницы Лим увидел две яркие звезды – и его сознание на миг озарилось ослепительной вспышкой. Он устремился навстречу этим звёздам… И они начали с поразительной быстротой приближаться к нему. И тут Лим понял, что это его отец и мать. В сиянии остальных звёзд и в звуках прекрасной музыки они стояли такие молодые и счастливые, что сердце Лима слегка вздрогнуло.

Чуть склонив голову, отец выводил мелодию на своей волшебной скрипке. Рядом с ним была красивая женщина, которую Лим видел на фотографии у старухи. Женщина протягивала мальчику руки, словно ждала этой встречи всю жизнь. И Лим устремился к ней в последнем радостном порыве. Заносимый снегом, он счастливо улыбнулся, и его разбитые губы тихо шевельнулись:

– Ма-ма…

Снежинки мягко и бережно опустились на его веки.

МИШЕНЬ

Ночью приходила мать. Она умерла внезапно – пять лет назад, и в часть, где тогда служил Чемпион, телеграмма пришла с опозданием. Пока он добрался с Дальнего Востока, мать уже схоронили.

«Может быть, она и не умерла», – думал иногда он.

– Сынок, – позвала мать, – подойди к окну, не бойся.

Он послушно приблизился и, проследив за взглядом матери, посмотрел в звёздное небо, где тотчас увидел справа от Большой Медведицы пульсирующую звезду.

– Что это? – не отрывая глаз, спросил он.

– Это твоя звезда. Она родилась сегодня. Береги её, и тогда она принесёт тебе счастье.

Чемпион хотел взглянуть на мать, но не смог оторваться от звезды.

– Интересно, у каждого есть такая?

– Да, – сказала мать, помолчав, – но не у каждого она загорается, иначе бы всё небо было ослепительным и мы не знали бы ночи.

«Значит, не у каждого…» – замирая, подумал сын.

Он ещё долго смотрел на мигающую точку, а когда наконец повернулся к матери, в комнате никого не было. Он с минуту постоял спиной к окну и с бьющимся сердцем резко оглянулся – справа от Большой Медведицы горела новорождённая звезда.

Наутро Чемпион встретился с Бывшим Другом и рассказал ему о звезде. Бывший Друг усмехнулся и сказал, что лучше бы тот не пропускал тренировок, и что скоро соревнования, и как бы Чемпион не получил приставку экс.

И всё-таки Чемпион почувствовал, что Бывший Друг насторожился и позавидовал ему. Бывший Друг ему всегда завидовал, он почему-то вечно на чуть-чуть отставал от Чемпиона. С самого детства было так, и после, когда они оба увлеклись биатлоном, казалось, что нет им равных, но Чемпион всегда был на полшага впереди, на несколько секунд быстрее.

Старый Тренер любил Чемпиона. Он верил в его звезду и не скрывал этого. Но после его смерти пришел Новый Тренер, который тоже предугадал звезду Чемпиона, но по этой причине, наоборот, невзлюбил его.

– Беззвёздные люди опасны… – говорил Чемпиону Старый Тренер, – поэтому ты должен быть осторожен, когда зажжётся твоя звезда.

– …Мы звёзд с неба не хватаем, – любил повторять Новый Тренер, и Бывший Друг вторил ему.

Узнав про звезду Чемпиона, он лишился покоя. Теперь он плохо ел и спал, на тренировках показывал плохие результаты. Наконец Бывший Друг не выдержал и рассказал Новому Тренеру про звезду Чемпиона и про свои терзания. Тот ненадолго задумался, но тотчас, взяв себя в руки, посмеялся над фантазиями Бывшего Друга. Но и Новому Тренеру стало не по себе. Теперь они видели по ночам новую звезду на небосклоне, и каждый из своего окна сквозь дырочки в шторах наблюдал за ней.

Приближались главные соревнования. Чемпион был полон сил, сердце его радостно вздрагивало в предвкушении победы. Когда до срока осталась одна ночь, к нему неожиданно пришёл Старый Тренер. После смерти он даже ни разу не приснился Чемпиону, поэтому тот очень удивился старику.

– Я пришёл предупредить тебя, – грустно сказал Старый Тренер.

Сердце Чемпиона остановилось на мгновение, он взглянул в окно и… не увидел своей звезды.

– Они сняли её с небосклона, – опустив голову, продолжал старик, – они поставят её вместо мишени…

– Спасибо, что ты предупредил меня. Я не пойду завтра на соревнования и не выстрелю в свою звезду.

Старик печально покачал головой.

– Ты хочешь, чтобы кто-нибудь другой стрелял по твоей звезде? Её уже не вернуть на небо.

– Что же мне делать?! – вскрикнул Чемпион, почувствовав, что смертельно ранен.

Старик молчал.

Наутро Чемпион был в назначенное время на старте. Восторженная толпа встретила своего кумира радостными возгласами. Ни на кого не глядя, Чемпион по выстрелу рванулся со старта, круг за кругом показывая небывалое в истории биатлона время. Наконец он начал приближаться к своей мишени. И когда он увидел пульсирующую звезду, сердце его вначале дрогнуло, а затем и остановилось совсем.

Но он продолжал свой путь, по-прежнему наращивая темп. Вдруг рядом с ним появился Бывший Друг. Он бежал за Чемпионом без лыж, то и дело проседая в рыхлый снег. Он о чём-то виновато просил… Но Чемпион не слышал его и только боковым зрением на одном из поворотов уловил озадаченное лицо Нового Тренера.

Больше он, с остановившимся сердцем, ничего не слышал и не видел, кроме приближающейся звезды.

Добежав до нужной отметки, Чемпион вскинул винтовку, прицелился холодным глазом и… Он ещё успел увидеть, как впереди что-то сверкнуло и рассыпалось…

Он показал необыкновенный результат. Расстегнув крепления лыж и отбросив в сторону винтовку, он пошёл прочь от лыжни, но ликующая толпа лихорадочной волной подхватила его и с криком «Чемпион!!» подбросила к самому небу.

ЦВЕТЫ С МИННОГО ПОЛЯ

– Это здесь, – сказал старшина. – Здесь самое опасное и страшное место на свете. Никто ещё не смог вернуться назад, ступив на это поле. Оно сплошь усеяно минами.

– Такая красота! – удивился его товарищ. – И такая опасность…

– А цветы! Посмотрите, какие здесь цветы! Ни разу в жизни я не видел такого великолепия!.. – воскликнул третий.

– Это обманчивая красота, – сказал старший, проверяя свой миноискатель. – Цветы потому и прекрасны, что недоступны. Никому ещё не удалось без риска для жизни сорвать их.

– Мы будем первыми! – воскликнул самый восторженный.

– Не уверен. Пройти по этому полю даже с миноискателем почти невозможно, – осадил его старший и самый опытный.

Так они стояли и спорили, глядя на поле, раздираемые противоречивыми чувствами.

И вдруг все трое заметили, что впереди, на другом конце поля, показался человек. Сразу было видно, что он не имеет никакого отношения к военному делу. Его русые волосы вольно развевались от порывов ветра, в руках его не было ни винтовки, ни миноискателя, а мелькал лёгонький прутик, которым он на ходу сбивал головки клевера. Человек был молод, даже юн. Никакие тревоги и страхи ещё не поселились в его сердце. Это тоже чувствовалось издалека.

Увидев прекрасные цветы, юноша присвистнул от восторга, и трое сапёров тотчас поняли, что ещё секунда, и этот чудак взлетит на воздух.

– Эй! – закричали они что есть мочи. – Не ходи! Погибнешь!

Но юноша, не расслышав, подумал, что люди зовут его в свою компанию, и, откинув прутик в сторону, ступил на смертельно опасную полосу. Минёры замерли. Затаив дыхание, они следили за безумцем.

А юноша, ничего не подозревая, неторопливо шёл по полю, срывая необыкновенные цветы, которые поворачивали к нему свои очаровательные головки, доверчиво раскрываясь в его руках. Головокружительный аромат доходил даже до трёх замерших от ужаса сапёров…

А юноша тем временем неторопливо приближался к минёрам. Они уже видели его безмятежную улыбку. Уже можно было разглядеть каждый неповторимый цветок в его ослепительном букете.

– Не может быть… – шептал побелевшими губами старшина.

Но юноша, спокойно миновав опасное место, как ни в чём не бывало подошёл к военным. Цветы трепетали в его руках, как живые.

– А может быть, здесь и нет никаких мин, – засомневался второй, разглядывая живого и невредимого счастливца.

– А вот мы сейчас проверим, – воскликнул третий, самый нетерпеливый (он уже почувствовал тяжесть награды на своей груди за выполненное задание) и с этими словами сделал шаг вперед. Но не успел он приблизить свой миноискатель к земле, как оглушительный взрыв потряс всё вокруг.

Сапёры бросились на землю и закрыли головы руками.

Потрясённый юноша остался стоять, переводя взгляд с глубокой воронки, образовавшейся после взрыва, на свой обворожительный букет.

…Цветы и не думали увядать, наоборот – они становились в его руках ещё прекраснее и удивительнее и заставляли всё громче и громче стучать прозревшее сердце юноши.

Сергей АНТОНОВ
Крайстчерч, Новая Зеландия

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ВИРУС

– Так что же получается, – Вячеслав в растерянности развел руками, – вирус не угроза для человечества, а благо?

– Вот именно, – Клочков поднял указательный палец вверх, словно погрозил там кому-то наверху, и резко откинулся в затертом до белизны коричневом кожаном кресле, – природное благо.

– Что же тут благодатного, Сергей Владимирович, – спросил Слава и, усевшись на стул задом-наперед, облокотился на его высокую резную спинку, – когда люди пачками мрут. Настоящая чума двадцатого века.

Маленький кабинетик с высоченным потолком на два письменных стола впритирку – уютный закуток позапрошлого века освещался лишь большой, занимавшей треть стола бронзовой лампой под широким и плоским бежевым абажуром. Но света вполне хватало, чтобы загнать вечернюю темноту в самые углы комнаты.

– А вот не надо к этому так пафосно относиться, посмотрите на это явление с другой стороны, ведь человечество получает несравненно больше, чем теряет, – Клочков заговорщицки подмигнул Славе, – кого человечество лишается? Больных, слабых, старых.

– Людей, Сергей Владимирович, людей. И не таких уж и старых – группа риска начинается с сорока. Да и шестьдесят лет сейчас – это даже и не пенсионер еще, так, поздняя зрелость.

– Скажите, Вячеслав, а в чьих руках сосредоточены все земные блага: власть – деньги – власть-штрих? Это же невообразимо: тем, кому сейчас шестьдесят, проживут еще лет тридцать, а за эти годы подрастёт еще целая армия «шестидесятников» – втрое больше.

– Да, – неохотно согласился Слава, взглянув на старый шкаф, под завязку набитый разнокалиберными, пыльными и старыми книгами, – население стремительно стареет. И средний срок жизни ежегодно увеличивается примерно на год.

– Вот-вот, видите, – одобрительно улыбнулся Клочков, перехватив его взгляд на книжные полки, – а что делает природа, если размер популяции выходит из-под контроля, когда привычная среда обитания не может вместить всех? Стремительно сокращает! Неожиданная неизлечимая болезнь, и… выживает сильнейший: молодой-здоровый-выносливый. Эволюция. Чем человек лучше каких-нибудь, скажем, хорьков? Такое же животное со своими жизненными приоритетами и собственной иллюзорной цивилизацией.

– Ну, все-таки, как можно ставить в один ряд человеческую цивилизацию и, извините… хорьков – класс млекопитающих, отряд, – Слава задумчиво почесал лоб, вспоминая, – кажется, хищники?

– А что вас, Вячеслав, смущает? – притворно усмехнулся Сергей Владимирович. – Чем вам «человеческая раса» кажется выше хорьковой? По классификации человек в отряде приматов, а по сути чем не хищник? Он венец творения только в собственных глазах, да хорьки, скорее всего, такого же мнения о собственной цивилизации. У них своя организация общества и свои законы.

– Конечно, в глазах матушки-Земли все виды равны. То есть вы считаете, что природа умышленно пытается ослабить человеческую нагрузку на окружающую среду?

– Убежден, что это саморегулирующийся процесс, ведь закон подходит для всех популяций организмов. Человек возомнил себя сверхсуществом, а чумка на него нападает, как на хорька. Посмотрите на животный мир – десятки болезней возникают ниоткуда ежегодно. Какие-то проходят

слабо и почти незаметно, а от каких-то вымирает треть популяции.

– Вот вы не верите в искусственное происхождение этого вируса, – с улыбкой заметил Слава, умышлено сталкивая разговор с неприятной темы. Он прямо физически ощутил отвращение, невольно представив людей отвратительными облезлыми грызунами, прячущимися в сырых грязных норах, – а это очень популярная сейчас версия, особенно в странах с диктатурой.

– Чушь полная! – возмутился Клочков и почему-то сжал кулаки. – Кому это к черту нужно? Кроме молодежи, никто выгоды не получит, а кому принадлежат эти фонды, финансирующие вирусологические институты? Не двадцати- и не тридцатилетним, а зачем «старичкам» самим себе яму копать, да еще и за такие бешеные деньги? Вот если бы объявилась какая-нибудь экстремистская группа, например «трест Красных дьяволят имени Ильи Мечникова», – тогда можно было бы принять во внимание и эту версию.

– Вирусные террористы, – засмеялся Слава, – господи, Сергей Владимирович, это уже из теории заговоров.

– Звучит дико, – с готовностью согласился Клочков и, все больше распаляясь с каждым словом, продолжил, – но вы только представьте, Вячеслав, это же революция. Без восстаний, сражений, казней, можно сказать, почти без крови. Но не об этом ли мечтали большевики, не к ночи будь помянуты, да и остальные мятежные романтики. Разом во всем мире исчезнут старые, больные и слабые, освободятся ресурсы. Это ведь возможность перекроить мир, например, наконец-то расправиться с религией, с этим мракобесием, которое тащит мировую цивилизацию за хвост обратно в средневековье.

– Расправятся не только с религией, – помрачнел Слава, снова повернув лицо к старым книгам – неопрятным старичкам, беспомощно, как ему показалось, взирающим на него со всех полок, – но и с культурой. Все, что накоплено за века, в один день обернется анахронизмом. Ведь пропадут хранители культуры – некому будет передать их знания молодым.

– Вы правы, конечно, – Клочков, раздраженно отмахнулся, – ну и черт с ними, с этими старыми культурными традициями, со старой моралью, которые только тормозят прогресс.

– Как это черт? – начал злиться Слава. – Все культурное наследие к черту?

– Ну, ну, не переоценивайте ситуацию. Она же не пропадет, эта разнесчастная культура, религия, мораль – просто ее будут воспринимать как нечто музейное. Сейчас, например, наскальные рисунки – лишь памятники времени и больше ничего. Так и выжившее поколение будет относиться к нынешним святыням.

– А образование?

– Обязательно изменится, и, уверяю вас, до полной неузнаваемости. Образование – это очень традиционный институт, всегда значительно отстающий от прогресса, и сейчас многие понимают, что учат не так и не тому. Но как надо, никто пока не знает. Это долгий процесс – образовательные системы очень инертны и неповоротливы.

– А тут раз, – рубанул воздух ладонью Слава, – и ни одного профессора.

– Через двадцать лет новые появятся, – раздраженно отмахнулся Клочков, – только они будут совсем другими, молодыми, современными. Без бесполезного багажа реликтовых знаний за спиной. Так что зря вы кандидатскую затеяли – защита вряд ли состоится.

– Ужас какой, – выдохнул Слава, – мир на двадцать лет погрузится в хаос.

– Обязательно погрузится, – закивал Клочков, – любая революция – это воссоздание государственной машины на новый лад. Может, в этой новой версии госмашина объединит весь мир. Молодёжь чиста, она не знает ни национальных, религиозных и культурных вековых конфликтов. А рассказать будет некому, да молодежи это и не интересно. И мораль изменится: институт семьи, права полов и детей. Это будет огромный скачок вперед для всего человечества.

– Или огромный пинок, – возразил Слава, – все равно людей жалко. И не только родных. Вот вам, Сергей Владимирович, уже больше шестидесяти.

– Шестьдесят семь, – Клочков внезапно устал от всего этого разговора, осознав его пустячность и даже ненужность, – самая высокая группа риска. Я все понимаю и с удовольствием бы самоизолировался на какой-нибудь тропический остров, чтобы прожить там еще лет хотя бы пятнадцать. Но… так как это невозможно, придется принести эту жертву ради будущего человечества.

– А если просто пересидеть, ведь режим карантина остановит распространение. Коллективный иммунитет.

– Притормозит на время, но пока все не переболеют, вирус не остановится. Он будет возвращаться и возвращаться, вскоре доберется до всех и проверит каждого из нас на пригодность к будущему. Надо просто перестать паниковать и идти на плаху с гордо поднятой головой – помилования не будет.

– И что же, Сергей Владимирович, – пробурчал Слава, – вы так спокойно об этом говорите? Неужели нет смысла, да и желания бороться за жизнь? А как же инстинкт самосохранения?

– Стадия принятия, – Клочков лишь рассеяно пожал плечами, – в сущности, для конкретного индивида, не так важно: чуть раньше или позже, но для человечества это огромная услуга.

– Что-то мне подсказывает, что не многие согласятся оказать такую услугу, – сказал Слава и неожиданно засобирался, – вы простите, Сергей Владимирович, мне нужно маму проведать, я ей уже час не могу дозвониться.

– Конечно, что вы, не смею задерживать, – Клочков привстал и протянул Славе руку. Тот вяло ее пожал и заспешил к выходу. Плотно прикрыл тяжелую, оббитую коричневым дерматином дверь, зашаркал вниз по лестнице, наматывая бесконечный шарф на худую шею. «Вот что он несет, – возмутился Слава, – какая еще добровольная жертва, камикадзе хренов. Посмотрел бы я, как он запоет, если действительно заболеет».

Оставшись один, Клочков откинулся в кресле и покачал головой из стороны в сторону, разминая затекшую шею, затылок сегодня ощутимо побаливал. «Какой Слава все-таки недалёкий человек, – подумал он с раздражением, – им,

молодым, открывается такая перспектива, такие возможности. Да я бы сам на его месте этот вирус распылял. Какая может быть жалость ко вчерашнему дню, когда наступает прекраснейшее завтра. Это все они такие сейчас молодые – тонкокожие, толерантные, сплошное разочарование. Хорошо, что я так и не нажил никого – не нужны им на самом деле ни наши фотоальбомы, ни сервизы, ни воспоминания». Тут Клочков представил свою возможную дочь: высокая темноволосая девушка в белых мини-шортах стояла к нему полуоборотом, светлая полоска незагорелой кожи перечеркивала смуглую спину, а переплетенные руки небрежно прикрывали грудь. «Стоп-стоп, – всполошился Клочков, – нет, это не то». Эта больше похожа на Лену Кузнецову с третьего курса, впорхнувшую к нему прошлой осенью на пересдачу биофизики. И смотрела тогда так надменно и даже дерзко, как принцесса на престарелого слугу, впрочем, честно отработала свою пятёрку, и он даже плюс ей поставил в зачетку за… профессионализм. Нет, его дочь была бы совсем другой. Такой красивой быть не обязательно, красивым девушкам непросто приходится в жизни, особенно молодым, особенно гордым. Нет, она была бы просто симпатичной и милой… Воображение нарисовало ему светловолосую, скромно одетую девушку в очках, сидящую за соседним столом и внимательно читающую какую-то толстенную книгу, впрочем, он сразу догадался, что это второй том иммунологии. «Была бы кандидатом к тридцати, доктором к сорока, – размечтался Клочков, – жили бы вместе в нашей трешке на Тургенева. Профессорский дом – столько замечательных женихов из хороших семей». Но тут он вспомнил о Славе, и нарисованная воображением картинка несколько побледнела: «А вдруг встретила бы такого же, – профессор внезапно рассердился, – подтрунивали бы надо мной на пару. Был бы для них интеллектуальной обузой, проще говоря, старым дураком. Не спорили бы, не возражали, помалкивали бы, посмеиваясь. Да и вообще, может быть…» Тут воображаемая девушка за соседним столом подняла голову, щелкнула, лопнув пузырь жевательной резинки и голосом соседской дочери пэтэушницы Лизы, безобразно подтягивая

окончания слов, проговорила: «Ну, чё-о, идем домо-ой или нет? Беспонтов-о-о тут высиживать». Клочков понял, что книжку она не читала, а наводила макияж Александру Флемингу, черно-белый портрет которого в ужасе смотрел на нее с книжной страницы. Профессора бросило в холодный пот. «Господи, – взмолился он, – лучше уж никакую не надо, чем это. Нет, все же хорошо, что детей не нажил, и ни одного фотоальбома, ни сервиза. Вот куда бы сейчас со всем этим барахлом?»

Он довольно заулыбался и, пересев к столу, принялся привычно раскладывать разбросанные по столешнице мелочи в строго определенном десятилетиями порядке. Все, что он нажил за свою жизнь, было здесь: звания, должности, награды, коллекция научных книг и любимый письменный стол. Ничего его не держало снаружи этого кабинета: дома, в просторной трехкомнатной, еще родительской, сталинке было скучно, а дачи, машины, жены и собаки не завел, даже какого-то значительного хобби у него за всю жизнь так и не образовалось. Ему даже показалось, так можно обмануть судьбу: «Не зря говорят: кому нечего терять – тот неуязвим. Все самое настоящее, – он с самодовольным видом оглянулся вокруг, – все то, что никто не сможет отнять и никому после не достанется, у меня внутри». Тщательно разложил все на столе по своим местам: скрепки веселой разноцветной горкой возвышались в медном, до блеска начищенном блюдечке – бывшей пепельнице. Рядом степлер, словно маленький дракончик, сверкал своей приоткрытой металлической пастью. В небольшом, в пару к медной пепельнице, стаканчике цветные карандаши, четыре вместе – строго вертикально, а один – красный – под углом вправо. Клочков медленно провел ладонью по столешнице, как по струнам древесных волокон, начесанных русой гривой по всей ширине стола. Он помнил каждое пятнышко, каждый завиток, каждый бугорок – карта его личного, никем более не обитаемого острова, на котором прошла вся его жизнь.

«А что будет с ним? Выкинут!» – он внезапно вздрогнул, представив свой стол на институтской помойке, в дальнем углу пустынного двора. Приоткрытая дверца сло-

манной тумбочки, перекошенные ящики, на мокрой, потемневшей от сырости дубовой столешнице – сугроб подтаявшего снега. «Ничего им не нужно, не знают и не ценят ничего», – его вдруг захлестнула такая жалость ко всему в этом кабинете, он явственно увидел его пустым, до неприличия голым: выдранные с мясом еще «дореформенные» телефонные розетки, на стенах силуэты вынесенных шкафов и кучки бумажного мусора вдоль исцарапанных плинтусов. «Пустота. Пустота. Пустота, – повторял он одними губами, неожиданно ощутив внутри такую пропасть, которую не заполнить ни званиями, ни премиями, ни должностями. Она ширилась, втягивая в свою бездонную темноту все больше; острый холодок тонкой змейкой пополз по позвоночнику к затылку, вновь вспыхнувшему многоцветным фонтаном боли, окатившим его могильным холодом растущей внутри бездны отчаяния. Клочков ухватился обеими руками за край стола, навалился на него, прижавшись щекой к теплой деревянной, пахнущей самой жизнью, поверхности, и беззвучно заплакал. Он не рыдал и не всхлипывал, и те несколько злых жалких слезинок, просочившихся из зажмуренных глаз, лишь чуть смочили его дикий страшный внутренний вой. Если бы у него были силы, если бы у него еще оставались силы, он бросился бы на пол в сумасшедшей истерике, катался бы по полу, бился бы о потрескавшийся линолеум, чтоб хоть как-то погасить захватившую его душу животную панику. «Господи, – взмолился Клочков, – за что это все мне? Господи, ведь я не сделал ничего по-настоящему ужасного в своей жизни, отведи от меня эти беды, дай пожить еще хотя бы год-два, пять лет. Господи, ну хотя бы рак забери…»

Елена ЛАПАЕВА
Москва

ЧАСТИЧКИ ЖИЗНИ

Она бежит в руке. Стремительно, наносекундно перескакивает по венам. Моя кровь. Сейчас её набирают в цветные пробирки и наклеивают на каждую штрихкод. Врачи хотят узнать, что со мной происходит. Говорят, что кровь раскроет эту тайну. Я молчу – моя кровь и моя тайна давно живут отдельно друг от друга. Результаты анализов покажут скачки пролактина, низкий уровень серотонина и в целом вполне себе хороший гормональный фон. Врачи пропишут курс витаминов, микроэлементов, которые я выпью, проглочу, прожую (если потребуется). Врачи посоветуют высыпаться, поменьше проводить времени за компьютером и побольше гулять в парке. И, может быть, даже посоветуют влюбиться…

Врачи ничего не знают о тебе.

Ты – моя тайна, ты приходишь ко мне поздними вечерами, в мою съёмную квартиру, приходишь каждый вечер, и ночами, конечно же, я не сплю. Разве можно назвать сном два часа бездействия.

Так уж случилось, что посреди большого города мне встретился ты. Ты знаешь несколько языков (английский, итальянский, арабский) – то, к чему я стремлюсь. Странная, конечно, смесь из языков, но всему есть объяснение. В России без английского языка в приличную фирму не попадёшь или не станешь в приличной фирме получать

хорошие деньги. Арабский – потому что ты как бывший журналист-международник когда-то активно работал в странах, где говорят на этом загадочном и сложном языке. Итальянский – его знаешь не очень хорошо, но тебе хотелось его выучить из-за меня, когда узнал, что девушка, с которой ты встречаешься, умеет играть на фортепиано и знает несколько итальянских слов. Когда я за инструментом – ты подходишь ко мне со спины, обнимаешь за плечи и обязательно говоришь что-то по-итальянски; иногда поправляю. Серьёзно, пока твой итальянский оставляет желать лучшего.

Теперь у тебя другая работа, ты делаешь репортажи иного толка. График работы плавающий, да и я со своей работой и подработкой тоже иногда плаваю вместе с тобой. Несколько месяцев подстраивали графики друг под друга, ничего не получалось, как хотелось нам. Встреча раз в неделю, а после неё как похмелье и букет ирисов в высокой вазе на журнальном столике.

Ты хочешь, чтобы я работала вместе с тобой. Мои аналитические способности вполне укладываются в ту работу, которая меня в скором будущем ожидает. Осталось выучить хорошенько английский. Я бы этим и занималась, но подработка у меня на месяц исчезла, а тебе скорректировали график. Я снова вспомнила, что значит готовить на двоих и надолго, на кухне теперь пахнет специями, сладостями, мясом, овощами и морепродуктами. После готовки успеваю подремать до тебя часик или полтора. А потом звенит звонок и я сонная, зевающая, с растрёпанными волосами, иду открывать тебе дверь. От тебя пахнет улицей, древесным ароматом дорогих духов, букетом цветов и ещё чем-то, всегда новым. Мы ужинаем, говорим, обсуждаем всё на свете, ты целуешь меня, обнимаешь, подхватываешь на руки и несёшь в постель. И это тоже частичка жизни, крохотная, радужная, вся для меня…

Меня не смущают наши встречи на моей съёмной квартире, хотя мы могли бы видеться и у него (он тоже снимает квартиру, на другом конце города). Но недавно он взял ипотеку, и через год мы въедем в новое жильё, наше, только наше. А пока ему нужно ехать в командировку,

куда-то на Ближний Восток, и он пообещал, что по возвращении всё расскажет мне, потребуется работа в области социологии (социолог, кстати, моя университетская специальность).

Я стараюсь поменьше смотреть телевизор, хоть и сама работаю в СМИ. Но у нас развлекалово, поэтому даже важные новости до меня доходят с некоторым опозданием. Вечером, уже после работы, трелью отзывается мой мобильный, звонит незнакомый номер. Поднимаю трубку, это Андрей, они работают вместе. Голос усталый и почти ровный. Слышу что-то про Ближний Восток, про новости и что среди очевидцев был он. Он… взгляд на часы, показывают совсем не новостное время. Прошу подождать на трубке и открываю ноутбук, ищу новости за сегодня. «Ближневосточный регион… серия терактов, которые удалось предотвратить… единственный взрыв рядом с мечетью… многоступенчатый… гибель местного населения и туристов… есть погибшие из России… информация уточняется…»

Я подношу телефон вплотную к уху и губам: «Он был там?» Андрей тихо отвечает: «Он и сейчас там, тело опознали»…

Через двадцать минут включаю по телевизору новости, внимательно смотрю репортажи сначала на одном, потом на другом канале. Журналисты подробно рассказывают про случившийся теракт, про содержимое взрывчатки, про мотивы и какая организация должна взять на себя ответственность за содеянное.

Андрей сказал, что в ближайшие три дня мне нужно приехать к ним на работу, что для меня оставлен большой пакет и готовится рабочее место, меня очень ждут. Об ипотеке позаботятся, строящаяся квартира полностью переходит в мою собственность, финансовый вопрос помогут закрыть раньше срока. Ещё нужно будет забрать кое-какие вещи со съёмной квартиры, всё остальное, в общем, будет сделано коллегами по работе. Я должна только опознать тело.

Бесчестно и бесчеловечно. Голова наливается тяжестью. Кажется, что кровь замедляет свой бег. Сидя на

кровати, перед экраном телевизора, я откидываюсь навзничь. Край глаза улавливает какие-то краски. Медленно поворачиваю голову вправо: журнальный столик, широкая салфетка из плотного мягкого кружева, привезённая им неизвестно откуда, и высокая ваза с ирисами. Головки цветов задумчиво смотрят по сторонам. Я прорешиваю в уме, какой будет завтра распорядок дня, что надо записать в ежедневник, что не забыть сделать. Ещё надо обязательно поесть, обязательно пить воду. Глаза, как назло, застилают слёзы, ирисы расплываются, становятся мутными пятнами на фоне светлых обоев. Ты остался там, в далёкой стране, навсегда мой, навсегда преданный своей профессии. А меня ждёт пакет с документами, новая работа, невыученный английский язык и жизнь, без ирисов, без тебя.

Юрий ЕГОРОВ
г. Видное, Московская область

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ СВЯТОГО НИКОЛАЯ В ДЕРЕВНЮ ВОЛОКОЛАМ

1

До всех этих событий они не встречались полтора года, хотя жили на соседних улицах. А их всего две в Волоколаме, забытой деревушке Керженецкого края. Когда-то давно Гавриил ухаживал за Анастасией. Потом, когда ушёл в армию, девчонка выскочила замуж. Бывает такое. Её родители против Гаврика ничего не имели, но подвернулся богатый жених, вот и отдали за него дочь. Где теперь это богатство? Настёна на свадьбе в сторону мужа не смотрела, вероятно, любила своего первого. Гаврик после армии душой отмучился и тоже женился. На хорошей, которая сейчас рядом с Настёниным мужем на сельском погосте. А вот сами бывшие влюблённые видятся редко, хотя что такое Волоколам? – семь стариков. И обиды никакой не осталось. Тут даже прощать некого...

Просто за долгую жизнь все здесь друг другу надоели и всё о каждом знают. Раз в месяц добирается до них автолавка из Осиновки, привозит пенсию и продукты. Тогда выходят со дворов, а так сидят в своих норах как суслики.

По правде говоря, их не назовёшь чёрствыми. Старики следят за новостями: кто когда встаёт, что готовит, как себя чувствует. По дыму из трубы, скрипу колодца, неиз-

менному: «цып-цып-цып»… Если кто-то заболел, сразу слетаются стайкой галчат, и начинается: «Какие таблетки принимал?», «Вот тебе медок», «Нет, лучше самогоночки», «Сейчас кипяточек принесу», «Возьми оладушек»… К счастью, последнее время никто сильно не болел.

Недавно в Волоколам провели интернет. Михаил говорит, что лучше бы дорогу. До ближайшей Невейки три километра сплошной грязи, того гляди без автолавки останутся.

И то забава. Марии, бывшей учительнице, районный отдел образования подарил компьютер, теперь бабка по интернету службы смотрит. Когда-то активной комсомолкой считалась, а тут первой в деревне стала отмечать Рождество. Каждый раз рассказывает о Николае Чудотворце. Что родился он в городе Патаре в Ликии, кажется, это в Древней Греции или Византии, никто точно не понимает. Про его родителей замечательных, которые оставили богатое наследство, дядю епископа, который потом в Палестину уехал…

– Это тебе компьютер рассказывает? – интересовались старики.

– Через него можно узнать всё: что в мире происходит, и о каждом человеке. Друзей забытых находят. Языки иностранные можно выучить, познать науки, страны посмотреть, жизнь свою изменить. Вот вы по молодости батрачили на государство как проклятые, не разгибаясь. Теперь сидите здесь в таёжной глуши среди грязных луж и буреломов и, уставившись в телевизор, переживаете за политику, за Сирию. Лучше бы о своей душе подумали. Святой Николай…

– Может, ты церковь у нас откроешь? Проповедовать начнёшь? Или женщинам нельзя? – подшучивал над ней Михаил.

– При чём тут церковь? Я вам про человека рассказываю. Добрый он был. Это не политики ваши, которые бесконечно ругаются и воюют...

И тут по первому снегу Мария приходит к Гаврику.

– Слушай, ты ведь стихи когда-то сочинял, – начала без разбега.

– Ты о чём, какие стихи? – удивился старик. Он уже и забыл…

– Настёне. Прости, не хотела напоминать.

– Ты с ума сошла?

– Она мне тогда показывала. Хорошие стихи, трогательные, про любовь. Из армии присылал. Когда читали – плакали.

– Говоришь, плакали? То-то ты её не отговорила…

– Прости, Гаврюш, всю жизнь перед тобой виноватая. Не знаю, как исправиться…

– Ага, верю... А сочинения эти я выбросил давно, сразу, как женился.

– Жаль.

– Ты зачем об этом вспомнила? Хочешь, чтобы я снова бабке Насте стихи писать начал или, может, тебе?! – старик едва сдерживал смех.

– Просто подумала, что ты писатель, – не унималась Мария.

– Я бульдозерист, бывший. Сто лет назад! Если забыла – в лесничестве работал. Пни корчевал.

– В нашей деревне ты единственный, кто придумывал такие слова красивые в рифму... Значит – писатель.

– Премию по литературе за мои прошлые любовные письма вручить хочешь? Рекомендовать на эту самую, Нобелевску, так она называется? Тогда это к моему другу – завклубом в райцентре. Он выдумывал. Всегда помогал в безнадёжных ситуациях, фантазёр. А я даже не представляю, как это делается. Только не знаю, жив ли друг, столько лет не виделись. Об этом надо твой компьютер спросить.

– Как хочешь, но я хочу, чтобы ты написал пьесу, про святого Николая. Мы её поставим в нашем клубе на Рождество.

Дед Гавриил так и плюхнулся на пол...

2

– Кому показывать будем? Пригласим двух старух из Содомихи? Инвалидов из Гавриловки и Покровки? – Ольга, как в детстве, покрутила пальцем у виска.

– А что? Клуб откроем. Сколько лет заколоченный стоит, – поддержал идею Михаил.

Пётр отрицательно покачал головой, а потом кивнул в знак согласия. Он здесь самый молчаливый.

– Давай, рассказывай! – Борис сделал жест рукой, чтобы все замолчали. Этот – самый старший.

– Тогда слушайте, – Мария надела очки для солидности. – Гаврик напишет пьесу, а мы все вместе сыграем спектакль на Рождество. Помните, как в школе на утренниках? Только теперь – про святого Николая, его чудеса. И никого звать не надо. Сделаем для себя. Нет, если кто-то захочет прийти…

– Медведи, – предположил Пётр. – Услышат про нашу постановку и, удивлённые, вылезут из берлог!

– Тебе сколько годиков? Смеёшься над нами? – Борис недоверчиво посмотрел на зачинщицу.

– Тогда сиди в своей норе и глотай пилюльки. Тебе это нравится? – пошла в наступление Мария.

– Гаврик напишет. У него хорошо получится, – поддержала Настёна и, смущённая, отвернулась.

Все переглянулись – старуха-то покраснела. Значит, с годами не прошло...

– Только бы не помереть до Рождества. – Ольга с надеждой посмотрела на остальных

– Или чтобы клуб не развалился, – Михаил выглядел растерянным.

– Вас послушать, деревня в Керженец сползёт... Хорошо, давай, Гаврик, пиши нам пьесу про святого Николая Чудотворца! – пошёл на попятную Борис.

– Ладно, попробую, – согласился Гавриил. – Если Мария поможет. Мне кое-какую информацию требуется собрать через её компьютер.

Так и решили сходом.

3

– Вот слушайте, – приступил дед Гавриил, развернув тетрадь. – Город Патара в Ликии…

– Знаем, знаем! – загалдели старики. – Про родителей Феофана и Нонну, а ещё дядю епископа, который уехал в Палестину.

– Если такие умные, может, сами пьесу сочинять будете? – резко оборвал их Гавриил.

– Тихо! Молчим и слушаем, – скомандовал Борис.

В знак одобрения Пётр многозначительно кивнул головой.

– Тогда продолжаю. Святой Николай получил богатое наследство от родителей. Потом помог трём сёстрам, которые не могли выйти замуж из-за отсутствия приданого. При этом их отец, торговец, искал выгоды. Объяснять надо? – Гавриил многозначительно посмотрел на Анастасию. – Будучи скромным и желая избавить девушек от унижения, святой Николай подбросил мешок с золотом в их дом. Обрадованный отец с помощью этих денег выдал старшую дочь замуж. Спустя некоторое время святой Николай подбросил мешок с золотом также для средней дочери, что позволило и ей, имея приданое, выйти замуж. После этого родитель невест решил узнать, кто их благодетель, и караулил все ночи, чтобы его дождаться. И вот святой Николай в третий раз бросил мешок с золотом в окно и поспешил удалиться. Услышав звон золота, отец девиц побежал следом. Он догнал святого и бросился ему в ноги со словами благодарности. Николай Чудотворец не желал, чтобы о его участии в судьбе девушек стало известно, взял с торговца клятву, что тот никому не станет об этом рассказывать.

– И ещё, – вставила Мария, – мешок, брошенный в окно святителем Николаем, приземлился в чулок, оставленный перед огнём для просушки. Отсюда произошёл обычай вывешивать носки для подарков.

– Носочки красивые я свяжу, с ёлочками и оленями, – предложила Настёна.

– Всё понятно, – Борис обвёл взглядом присутствовавших. – Кто кого будет играть? Девушки у нас кто?

– Как кто? Мы! – закричали старушки.

– Нас здесь семеро. Три невесты, три их жениха. Борис – отец, как самый старший, – разъяснила Мария.

– Подождите, может, я тоже хочу быть женихом, – возмутился старик.

– Обойдёшься. Девушек он тут не видит, – с укором промолвила Ольга.

– А кто тогда будет святым Николаем? – осторожно поинтересовался Михаил.

Гавриил пожал плечами.

– Надеюсь, моя идея всем понравится, – Мария словно ждала этот вопрос. – Про кого, Настёна, ты мне рассказывала? Как звать этого актёра, твоего любимого?

– Пьер Ришар, – старушка, хихикнув, махнула рукой.

На лице Бориса проступило вселенское недоумение.

– А ты что ждал от неё? – ничуть не удивился Гавриил.

– Француз? Он же старый, – наконец, проснулся Пётр.

– Конечно, а мы все такие молодые! – одёрнула его Мария.

– Что Пьер Ришар забыл здесь среди наших болот? Он никогда не приедет. Это какие капиталы нужны? – сопротивлялся Борис.

– Фондрайзинг! – выпалила Мария.

– Это ещё что? – замахал руками Борис. Все переглянулись.

– Найдём деньги через интернет! Я отвечаю! – Мария всегда была такой! Прежде на Анжелу Дэвис собирала.

– А как найдёшь француза? Адрес надо знать, – засомневалась Ольга.

– Фирмы специальные есть. Им только заплати, кого угодно разыщут. Хоть Илона Маска! – дожимала Мария.

– Мы поддерживаем! – дружно согласились Гавриил и Настёна.

– Кто такой Илон Маск? – Пётр тихонько спросил у Гавриила, когда все расходились.

– Не знаю, но Мария – умная! Училка!

– Нет, комсомолка! – поправил его Пётр.

В этот вечер совершенно случайно Гаврик пошёл провожать Настёну.

– Волки могут ненароком повстречаться. Ты ведь живёшь на самом краю, – объяснил старик.

– А что случится в финале? – поинтересовалась Настёна. – Ты же не всё рассказал.

Гавриил взял её за руку.

– Финал будет красивым! – пообещал он.

4

И в самом деле, поймите, у нас – сказка! Стало быть, всё должно закончиться хорошо. И обязательно случится чудо! Не будет же автор разочаровывать своего читателя.

Через интернет Мария организовала фондрайзинг (сам плохо представляю, что это такое и как делается), собрала деньги. Борису объяснила, что нашла ответственную фирму и через неё пригласила Пьера Ришара. Расписала ему красоты Керженецкого края, особенно – озеро Кузлояр, хотя не помнила, когда туда бегала купаться. Дорога на водоём вся репейником и полынью заросла, мхом замшелым покрылась, но это неважно. Деньги на счёт фирмы перевела…

Приближалось Рождество. Грязь до Невейки покрылась льдом, и всё метровыми сугробами занесло…

Дружная бригада дедушек и бабушек не опускала рук. Расчистили от снега улицы и навели порядок в клубе. Украсили сцену, чтобы хотя бы чуточку напоминала город Патры в Ликии. Часами самозабвенно репетировали постановку.

Только по поводу Пьера Ришара не поступало никаких вестей… Чего ожидать, сейчас кругом сплошной обман. Надежды на приезд в деревню Волоколам знаменитого актёра таяли с каждым днём…

Но не буду расстраивать читателей: когда наступил Сочельник, чудотворец появился в деревне Волоколам со стороны Осиновки. Как прошёл через снежные горы и буреломы, никто не знает, – по волчьей тропе, не иначе. Постучал в окошко дома Бориса, и через полчаса вся честная компания собралась в клубе. Семь жителей деревни и «Святой Николай». Как положено, в нарядном облачении, с посохом и густой седой бородой.

– Вы – Пьер Ришар? – осторожно поинтересовался Борис.

– Я – Николай Чудотворец. Святой. – ответил гость.

Признать в нём знаменитого француза было тяжело, впрочем, чего не могут сделать кудесники-гримёры (где им только в наших краях взяться?!).

Потом они вместе сыграли свою пьесу. «Святой» подбрасывал им в дом мешки, правда, не с золотом, а с картошкой, а бабушки замуж выскакивали. Получилось невероятно красиво! Гаврик и Настёна составили самую красивую пару. Он – в расписной красной косоворотке, а она – вся в белом, точно Снегурочка! Гаврик сымпровизировал и подарил невесте огромный розовый букет. А ещё поцеловал, она не возражала.

Потом все дружно и весело, вместе с Пьером, простите, «Святым Николаем», отмечали Рождество. Достали из погребов заготовки: маринованные опята и грузди, вяленую корюшку, ягоды, самогон…

Когда утром проснулись, иностранного актёра уже не было… Жалко, конечно… ну и без того всё великолепно получилось.

Эпилог

Как оказалось, Пьер Ришар в Волоколам не приезжал. Марии от фирмы деньги обратно вернулись, с извинениями. Зато на собранное построили новую дорогу. Стало удобно ездить автолавке из Осиновки.

Новости про Пьера никто в деревне не удивился. Все и без того поняли, что в ту ночь их посетил самый настоящий святой Николай. Правду говорят – чудотворец!

И ещё о самом важном! (P.S. от автора)

Они хотя и не молодые, но всё же, наконец, решились и сыграли свадьбу. И правильно, зачем любящим сердцам жить поодиночке. Этому их счастью все в Волоколаме искренне радовались.

Событие так прогремело на всю округу, что даже старинный друг Гаврика из райцентра прислал поздравительную открытку...

Лирический портрет

Татьяна БАТУРИНА
Волгоград

Я НАВСЕГДА НЕ ВЕРЮ, ЧТО УМРУ...

Не ставьте горькую на стол

На свете много ль истинных чудес?
Вот на Руси: в любой заглянешь лес –
Там древний крест невидимо стоит
Или часовня листьями струит...

Все на Руси привыкли ко всему:
Копейку чтят и нищую суму,
Благодарят за праведную ложь,
Стрясая быль с дырявеньких подошв.

Не на Руси ли истина в родне,
А потому, как водится, в вине?
О, здесь подвох: вино или вина?
Вопрос хитёр, а истина одна.

Она в любви от края и до края
И в том, что все прейдут земной раздол.
Прошу: не ставьте горькую на стол,
Не пейте, поминая...

Зима Аввакума, гения русской прозы

Видим, убо , яко зима хощет быти: сердце озябло и ноги задрожали...

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»

Почто, аки хищные звери, терзали?
Ярился кощунник, усердствовал глум,
И Марковна плакала под образами,
И сердце озябло твое, Аввакум.

И ноги, и ноги твои задрожали
От каменной студной колодной страды –
Какие ещё несусветные дали
Им должно изведать, кровавя следы?

Какая назначена Богом кончина,
Куда упирается путь-чертогон?
Ужель не вернуть старорусского чина,
Спасительный не отыскать типикон?

От русского царства отъяли священство,
Во смуте духовной и церковь, и трон,
В губительной распре ища верховенства...
Качание мира низвергло закон.

Озлобилась Русь от чужого подзола,
И недоуменье осилило ум,
И выстудил истину холод раскола,
И сердце озябло твое, Аввакум...

Так шёл он, влача на себе побылицы
Судьбы старорусской, объятый зимой...
– А долго, родимый, в страданиях тщиться?
– И... Марковна... долго... до смерти самой...

Широка страна моя родная

По край двора овражная раскоска
Укромной изукрашена травой,

И рядышком – на цыпочках! –
берёзка,
А беленькая шустренькая Розка –
Тёть Манина любименькая козка –
Шелко́вой услащается листвой.

Сегодня мой черёд взирать на нежность
Рогатую:
брат Витька на пруду
Бекетовском,
жалея нашу бедность,
Выстругивает ча́канку-дуду –
Спешит!
И вот уж вьётся флейта лета
У дома,
а за низеньким углом
Поскрипывает старая телега
Со сказочным торгашным барахлом.

Старьёвщик, пожимая Витьке руку,
Нахваливает дудку так и сяк:
Она, мол, инвалидскую докуку
Развеивает,
это не пустяк,
Бери, что хошь, за дудку
и за так...
Да, не пустяк.
И Розка не в обиде,
Вон как сияют белые шелка!
Вся улица сияет на планиде
Послевоенья – ох, и широка!..

Век

Я навсегда не верю, что умру...
Татьяна Батурина, из ранних стихов

I

Стол полон был с вершка до корешка:
Ферт восседал, подмигивая раю,

Нищец же, зная, что тонка кишка
У кошелька,
перебивался с краю,
Катая глаз по на́ряди стола:
Плеснёт ли кто по-братски доброй водки?
Звенела речь, ещё белым-бела,
Лелея нагитаренные глотки...

II

А что же я? С какой я стороны
Кажусь счастливей – с левой или правой?
Укромнице державнейшей страны
Неуж не устоять пред сводной лавой?
Мож, выцветит от лени и тоски
Ко счастью всяко-доброго собрата
Столешница из аспидной доски*
Исконно серо-чёрного наката?

III

– О чём писать? – спросил поэт поэта,
То бишь себя, не веря насовсем,
Что сей вопрос не выманит ответа
У публики, не знающей лексем.
Взглянул окрест возлюбленно прощённый,
На горестях и радостях взращённый
Всей Русью почитаемый певец –
И улетел: его встречал Отец.

IV

Я знаю лес, где серебрятся пни,
Столешники для стансов и сонетов,
Где здравствуют старательные дни
В кружении вопросов и ответов.

И помню, как по юни, поутру
Здесь набрела на стебельную строчку –
(Враз душенька прибавила росточку!):
«Я навсегда не верю, не умру...»

Калина

Туманы канули светло́,
Прозрачность – зимушки примета.
Листву сквозную размело
По вьюжным вы́тенинкам света.

А посреди лилейной тьмы
Алеет ягода-былина:
Для чьей-то нищенской сумы
Её сготовила калина.

Вдовушка

Пряменькая, светлая,
На печаль ответная,
Грамотная с младости:
«Старят даже радости!..»

Оплетёт головушку
Веточкой берёзовой,
Обогреет кровушку
Шалью бело-розовой
В горничке морозовой...

Горничка хоть блёклая,
Но порхает стёклами!
«Не хвались, головушка:
Всё едино вдовушка...»

В младых годах

Воздвигнув огнь на взгорке при болоте –
Во славу неудавшейся охоте! –
Мы радовались, други, что за сутки
Не погубили ни единой утки,

И млели, что и селезни, и крячки
В безмолвии таятся, словно в спячке.

К утру запели птички-невелички –
Пора домой!
Глядь – нету рукавички...
Неуж в костре, истаявшем дотла,
Я рукавичку не́начай сожгла?

Да ладно...
Рукавичка не родня,
Но что-то беспокоило меня...

Быть может, на равнине мглистой кто-то
Охотится, не зная укорота, –
Зачем же мне в глаза пылит зола?

Чтоб рукавичку помнила дотла.

Бабий плат

Ах, платок невлада́нный,
Невла́данный!
Закурганный, свиданный,
Заплаканный...

А жарки, молочаи
И донники
На платке не в печали –
Ведь сродники!

Бабий век невлада́нный,
Невла́данный –
Былевой, бесприданный,
Нала́данный*...

* *Наладанный* – от слова «ладан».

* * *

Пуглива утренняя мгла,
Как сон, в котором я была.
Взгляну в окно – уже синё,
И синим кажется белье,

Летят по ветру рукава,
И синим светится трава
У бочки с прелою водой,
С непотонувшею звездой.

Сегодня бочку обварю,
Чтоб не рассохлась к сентябрю.
В ней будет новая вода
И – надо ж! – новая звезда.

Владимир РЕШЕТНИКОВ
Семенов, Нижегородская область

ВОПРЕКИ СТАНОВИМСЯ СИЛЬНЕЙ

Воля

Верую в Бога как в разум
Высший – начало начал,
Но, к сожаленью, ни разу
Господа не повстречал.

Пусть я потом не миную
За богохульство суда,
Более в волю стальную
Верю и верил всегда.

Фразы годами избиты,
Все-таки их повторю:
«Он» выходил на орбиту,
Перегоняя зарю.

«Он» через Северный полюс
Соколом в Штаты летал…
Вязнув в болотах по пояс,
Тонны укладывал шпал.

Падая под Сталинградом
На окровавленный снег,
«Он» не мечтал о наградах…
Имя его – Человек!

Рубежи

От великолепия немею,
Гул Москвы, как временна́я нить,
Мне доносит слово Филофея:
«Третий Рим, четвёртому не быть!..»

Как и не бывать второму солнцу,
Как не стать первейшим сатане…
Горечи испившие до донца,
Вопреки становимся сильней.

Потому уверен и отчаян
Каждый шаг, брусчаткою звеня.
К рубежам расходятся лучами
Родины великой сыновья.

И куда сегодня не посмотришь,
Всюду кровоточат рубежи.
В Карабахе русский парень Мотрич
За свободу голову сложил.

Сирия отныне не чужая,
Ведь когда враги пошли рыча,
То рука Филиппова разжала
РГД спасительный рычаг,

Чтоб не издевались, не пытали,
Он сирийский окропил рубеж,
Стал родным… Да только вот италий
Нам не надо, или Бангладеш…

Хачкар

Айрапетяну Григору Баласановичу посвящается...

Ещё крепка рука Григора,
И несмотря на шестьдесят,

На камне высек птиц и горы,
И высек зрелый виноград...
Шесть дней старик творил руками
Нерукотворность здешних мест,
А на седьмой – украсил камень,
Всему опорой – древний крест.

Но как же горько было высечь
Внизу узора надпись – сын...
И для отца из многих тысяч
Такой хачкар теперь один.
В груди вернувшегося сына
Осколок вражеский гулял –
В бреду далёкую Россию
Он, умирая, поминал…

«Любви той нету большей, если
За други гибнешь, ты – блажен».
Хачкар тот – каменною песней
Звучит в деревне Сариншен,
По всей Армении: по склонам
Долинам и вершинам гор…
Как дух народа непреклонный,
Стоит хачкар, живёт Григор!

Ирония

Новогодний праздник неминуем
Неудачной рыбой заливной,
И чужим горячим поцелуем,
Рваным фото, брошенным в окно.

Город пуст, и ничего не надо…
Светят путь фонарные столбы
Для идущей одиноко Нади,
Нади из «Иронии судьбы».

Подошла к пустынному вокзалу
Тихо, неуверенно, на свет,

Также неуверенно сказала:
К Счастью мне, пожалуйста, билет…

И вагончик тронулся, на части
Разрывая зимнюю пургу!
И привёз её, наверно, к Счастью,
Дальше говорить я не могу…

Понимание…

Я смотрю на мать и на отца:
Понимаю – несоединимы.
Понимаю – быть мне до конца
Только кровной связью между ними…

Их слова мне память выдаёт,
Как и в том восьмидесятом мае:
Женское в истерике – «развод!»
И мужское слово – «понимаешь?..»

Разве здесь наука – понимать?
И до чувств приходится раздеться:
Как обидно за отца и мать,
И немножко – за себя из детства…

Современнику

От тебя не останется писем,
Фотографий в семейный альбом.
Одинок, горделив, независим,
Как комета в пространстве ночном –

Длиннохвостый, верней, длиннорукий:
Твой айфон – продолженье руки,
Из него лишь эфирные звуки
И печатного текста щелчки...

Птицы падают камнем с высоток,
Излучением сбитые в мозг...

И потомки в две тысячи сотом
Озадачатся этим всерьёз!

Взяв в музее твою железяку,
Скрупулёзно начнут изучать,
Обнаружат какие-то знаки,
И прочтут обезличенный чат...

Такси

Я профессий попробовал много,
Власть и рабство изрядно вкусив…
И пошёл на большую дорогу,
А точнее – кататься в такси.

Эх, давно бы такому начаться,
Что со мною теперь началось:
Наверху – никакого начальства,
Под ногами – две пары колёс.

Пел движок, и подшипники выли,
За окном пролетали дома.
Иногда получал чаевые,
Но бывало, возил задарма.

Сердцем чуял клиентов и просто
Чтил: «не бойся, не верь, не проси»,
Понимая, что нынче не роскошь
Ездить в булочную на такси.

А когда мне на ухо язвили:
Мол, поэт за рулем – что за толк?!
Я шутил: даже Токарев Вилли
Покорял на колёсах Нью-Йорк.

Да, профессий попробовал много,
Впереди – чёрт-те что, а пока
Вдохновляет поэта дорога
Под брутальное пенье движка!

Елена РУСАНОВА
Тюмень

Я ПЬЮ ВИНО РОДНОГО СЛОВА

Современным русским писателям

Как окрыляет душу гордость,
Как оживляет благодать!
Никто нас не сумел исторгнуть,
Ничто нас не смогло унять!
Мы – пишущие, ибо дорог
Язык – животворящий брат,
Разоружитель всех раздоров,
Наставник, истины солдат,
Языческий и православный,
Где невесть что переплелось,
Как яркий город златоглавый,
Как та игла, как жизни ось…
Мы – пишущие, нас немало,
Нас враг не вышиб из седла!
За то, чтоб гордость окрыляла,
На перепутьях берегла! –
За эту радость светлой встречи –
По всем церквам затеплим свечи.

* * *

Я пью вино родного слова,
Но им же трезвенность бужу.
Существования земного
В нём смысл и прелесть нахожу.

И будущего им открыты
Обетованье и цена.
В родного слова чудный слиток
Вросли века и племена,

Вплелась история Вселенной,
Пророков ветхих голоса,
Всего святого дух нетленный
И здешней Родины краса.

* * *

Мы скоро уйдём… Оставляем вам эту планету.
Она как весна, как черёмуха в нежном цвету.
Она и в крови, и страницу не вычеркнуть эту.
О, не позабудьте, что надо беречь красоту!
Когда и огонь, и коварная злоба и пепел
Охватят пространство, то ярче увидится вдруг,
Как хрупко красив, сотворённый не нами, и светел,
И может уплыть из-под ног, раствориться из рук
Земной этот Шар...

* * *

За окном поля мыльнянки
И лабазника снега.
Кто дозволил самозванке
Заступить на берега

Не молочной, не хрустальной, –
Животворной и святой
Речки, где искрится тальник?
Горе самозванке той.

Угощали гостью щедро.
Приносили жертвы ей
Поле, воздух, лес и недра,
Речка, озеро, ручей.

И, освоившись как дома,
Стала требовать она –
И понощно, и подённо
Чтоб светила ей луна,

Чтобы речка вспять бежала,
Живность в руки шла сама...
И даров ей стало мало,
И сошла она с ума.

Там, где пела и плясала,
Жгла и строила завод,
Всё погибло, всё попало
В мёртвый хаос нечистот.

Человеческой породе
С безрассудною алчбой
Красота важна лишь в моде.
И творит она разбой.

Наслажденье – лишь в мадере,
А о прочем умолчим.
Плачут ласточки в карьере,
Плачет над планетой дым:

В нём сгоревший лес рыдает
На мильоны голосов.
Скоро, скоро, знать, беда ей –
Самозванке: был таков

Чистый воздух, дождь целебный
Был – и нет, ручей зачах.
Неужели дар полезный
Был ничто в её очах!

Две моторки, белый бакен
И песчаный влажный плёс.
Тихий лес стоит заплакан.
Добрый ветер дождь принёс...

* * *

Лягу ль на гладь озёрную,
В облако ль завернусь,
В ночь твою выйду ль чёрную, –
Всё ты не дремлешь, Русь.
Всё соглядаешь, милуешь
Взглядом своим святым,
Всё окрыляешь силою,
Зло обращаешь в дым.
Лес на холме кокошником,
Белый лабазник – мёд.
Вычерпаю пригоршнями
С озера летний лёд
Облака, синьку блёклую
Неба родной тиши,
Сброшу тоску залётную
В тёмные камыши.
Там в синей сини гибель ей,
Там и пойдёт ко дну.
Солнце мне душу выбелит,
Ветер вернёт весну.

Из будущих книг

Людмила ТОБОЛЬСКАЯ
Сафферн, штат Нью-Йорк, США

НЕПОВТОРИМЫЙ ДРУГ

Из книги «Жизнь как неизбежный черновик». Глава о поэте Юрии Адрианове

Смолк трамвай на пять минут,
Полночь тихо объявила:
«Остановка “Черный пруд”»...
Из стихотворения Ю. Адрианова

Мне было около 12 лет, когда вместе с родителями – отцом, оркестровым музыкантом, и мамой, балериной, – я переехала в город Горький. Переезды для семьи, как моя, – обычное дело. Родившись в Новосибирске, где родители мои работали в одном из крупнейших в стране театров оперы и балета, я уже успела попутешествовать вместе с ними в гастрольных поездках, поучиться в трех школах Новосибирска и Перми, так что новое странствие меня совсем не пугало. Наоборот: мой отец так красочно рассказывал мне о старинном городе на Волге, о его древнем кремле, что я с нетерпением ждала всё это увидеть.

Помню, приехали мы поездом уже ближе к полуночи. И пока с помощью встретивших нас официальных лиц добрались до гостиницы «Москва», что и тогда была в центре города, я в полусне ничего вокруг не успела увидеть, мечтая только о ночлеге. А утром! Мама раздвинула занавески

широкого окна гостиничного номера, и я от неожиданности вскрикнула. Прямо передо мной, отделенный от меня холмистым зеленым оврагом, и вправо, и влево тянулся кремль с его высокими красными кирпичными стенами и массивными, огромными башнями. Из окна не видно было ни людей, ни улиц (это окно гостиницы выходило на пустынный Зеленский съезд) – полная иллюзия, будто мне показывали не сегодняшний, а поза-поза-позавчерашний день. Стены, которых не щадили враги и время. Но они выстояли. И выстоят еще. Это была такая мощь! И такая красота...

Позже мне удалось наблюдать, как прямо с центральной площади города в овраг съезда, спускающегося к набережной, устремлялись, исчезая в его глубине, автомобили. Но из моего окна они, закрываемые склонами, не были видны, так что полная иллюзия того, что я переместилась в далёкое прошлое, сохранялась. Если выйти из подъезда гостиницы, что на фасадной ее стороне, сразу попадаешь в многолюдный оживленный центр города: шумит главная улица, которую местные называют «Свердловка», прямо перед глазами – пышное здание драматического театра. А посмотришь из нашего окна – опять попадаешь в глубину истории. С такой захватывающей игры началось мое знакомство с Нижним Новгородом – Горьким. Я еще не знала, что с этим городом будут связаны не только годы моего отрочества, но и вся моя юность и большая часть взрослой моей жизни.

Приехали мы посреди учебного года, даже ближе к его концу, и меня определили в довольно далеко расположенную женскую школу № 13, на бывшей улице Лядова, теперь Большой Печерской. В 13-й школе учились главным образом дети с окружающих улиц, не дальше Сенной, я жила, пожалуй, дальше всех, так что спутников-одноклассников не было. Школа эта стояла «спиной к спине» с Институтом иностранных языков. Можно было доехать на трамвае 2-м, но я в основном ходила туда пешком, думаю, потому, что это было другое время. Дети много ходили, бегали и играли по улицам и дворам, у детей было совсем иное, подвижное и независимое времяпровождение.

И я не считала за труд далекий путь в новую школу. Можно было выбрать каждый раз новый маршрут: площадь Минина – улица Минина и затем маленький переулок к школе, улица Пискунова – улица Лядова или улица Пискунова – улица Ульянова и по Трудовой налево к школе, можно было даже большую часть пути идти по красивейшему волжскому Откосу. Много было путей.

Я до сих пор люблю, приезжая в Нижний, бродить вот так, вспоминая...

Так я проучилась часть пятого класса и шестой класс и только начала обзаводиться подружками, как в конце учебного года нам объявили, что теперь не будет женских и мужских школ и что в следующем классе мы начнем учиться вместе с мальчиками. Получилась опять новая школа! Всё новое: и школа, и неизвестные пока одноклассники. И новый дом, потому, что из гостиницы мы переехали поблизости – в дом оперного театра, на так называемый Черный пруд, что на соединении улиц Ошарской и Пискунова. У самого входа в дом – остановка уже известного трамвая номер 2. Но ехать мне в школу не надо, она, что называется, «за углом». Вернее, за двумя углами: сначала идешь направо до угла по Пискуновой, потом направо до угла по Дзержинской, проходя мимо манящего вкусностями Мытного рынка, и вот уже на противоположной стороне бывшая мужская школа, еще раньше, до революции, – гимназия, а теперь – наша объединенная школа № 8. То самое прекрасное здание, где теперь Центральный городской выставочный зал.

Получилось так, что в моей новой школе «смешанные» классы с 1-го по 7-й учились на первом этаже. Тут царила разновозрастная неразбериха. Всех нас это очень волновало и даже немножко страшило. Старшеклассникам 8-й школы, видимо, решили дать спокойно доучиться: им были отданы классы второго этажа, на котором поблизости находилась учительская, лаборатории химии, физики, большой актовый зал и кабинет директора. Так что мы попадали на этот привилегированный этаж только по очень серьезным поводам. Вообще во всех школах тогда еще бытовала строгая

школьная дисциплина, нельзя было на переменах бегать и кричать, девочки не красились и не могли щеголять в мини и капроновых чулках. Нужно сказать, что в женских школах всегда существовала форменная одежда: темное платье (в зависимости от школы – коричневое, синее или даже черное. У меня в связи с переездами часто возникали проблемы с цветом платья), белые воротнички и манжеты, черный фартук на лямочках в будни и белый в праздничные дни. Так это и осталось после реформы, а для мальчиков как раз в это время вводилась новая школьная форма: серые брюки и серая рубашка типа гимнастерки с широким ремнем и большой «золотой» пряжкой или китель с «золотыми» пуговицами.

Помню, когда я в первый раз поднялась наверх, на этаж старшеклассников, по красивой лестнице, мне почудился отголосок старой дореволюционной гимназии, что была здесь когда-то. Наверху все мальчики, порой уже с пробивающимися усиками, в новой форме, которая их подтягивала и взрослила, в кителях с блестящими пуговицами, выглядели особенно впечатляюще и достойно. Девочки вели себя серьезно. Форменные платья, скромные прически.

И всё-таки «этажи» постепенно знакомились между собой. Были младшие и старшие братья и сестры, в школе устраивались совместные субботники, сборы макулатуры. А празднование Нового года, а демонстрации на 1 Мая и 7 Ноября! Но главное – выставки нашего творчества и вечера с концертами художественной самодеятельности. Был даже школьный самодеятельный театр под руководством талантливого учителя русского языка и литературы Николая Николаевича Хрулёва. Мы все с радостью во всем этом участвовали.

Я с самого раннего детства писала стихи, рисовала, кроме того, с 7 лет была отдана в музыкальную школу по классу скрипки, так что у меня было много возможностей участвовать в школьных мероприятиях.

———

Помню, однажды меня записали в участники школьного концерта читать свои стихи. Я подобрала что-то, уже

не помню что, и, зная, что я читаю где-то в конце, пришла с некоторым опозданием. Тихонько села у двери, потому что вошла во время чужого выступления. На сцене стоял мальчик лет 15. Он был очень красив: большие, выразительные серые глаза, пышные волнистые темные волосы. Одетый в очень идущую ему ту самую новую форму, в кителе с рядом блестящих золоченых пуговиц, он поразил меня каким-то XIX-вековым дворянским обликом. Стихи, которые он читал, я наполовину не поняла. Первые слова, которые долетели до меня:

– ...лежал сраженный Хоставрул.

О ком это? А дальше что-то про Евпатия Коловрата, про Мамая. Что-что? Эти страницы истории я никак не могла выудить из памяти. А мы это проходили? И если проходили, то когда? А мальчик читал серьезно и очень вдохновенно. У него была несколько торопливая и сбивчивая дикция, кстати, оставшаяся на всю жизнь, очень для него характерная. «Кто это?» – спросила я тогда, и мне ответили, удивившись, что я не знаю: «Да это наш поэт Юрка Адрианов». Когда после номеров всяких танцев и песен дошла очередь до меня и я вышла читать свои стихи, я заметила, что юный поэт сидит среди зрителей прямо напротив меня, стоящей на сцене. Это очень смутило меня, у него был такой серьезный и внимательный взгляд!

Вечером дома я, конечно, с папой и с книгами изучила всё про Евпатия Коловрата, всю эту рязанскую старину. И этот мальчик, захотевший написать стихи о таком далеком прошлом, вызвал у меня не только удивление, но и восхищенное уважение. Но ничего похожего на влюбленность или желание познакомиться. Дело в том, что я была очень занятой девочкой: всегда много читала, честно занималась школьными предметами, училась на пятерки, да еще музыка... А что касается мальчиков... Тут я тоже была очень «занята», у меня образовался, по стереотипу того времени, «свой мальчик», неразлучный друг, к тому же тоже очень красивый, особой, восточной красотой. Он заходил за мной в школу, он носил мой портфель, а на гулянья, даже с ним, у меня просто не хватало времени. Да еще вот моя

мама, балерина, настояла, чтобы я записалась в секцию плавания, для лучшей осанки, чтобы не сутулилась. Вот я и отправлялась систематически далеко, к площади Горького, в бассейн общества «Труд». Очень загруженная примерная девочка...Так что после моей встречи с молодым поэтом в моей жизни всё осталось по-прежнему. Кроме, пожалуй, одного: изредка встречая меня в школе или на улице, он вежливо говорил мне: «Здравствуйте». Что на «вы» – это было не странно (в те годы, теперь в это трудно поверить, уже с 4-го класса, в конце которого мы впервые сдавали экзамены для перехода в следующую ступень, учителя, которые теперь были разные по каждому предмету и еще прибавлялся иностранный язык, начинали называть нас на «вы» и по фамилии: «Вы, Петров, вы, Иванова»...), а странно было, что здоровался почему-то, хотя мы были не знакомы. Ну что ж, сначала удивилась, а потом привыкла, вежливо здоровалась в ответ и продолжала свой путь.

Однажды нам объявили, что в зале школы будет устроена выставка творчества учащихся. Кто понес в жюри свои выпиливания лобзиком, выжигания по дереву, кто лепку из глины или пластилина, была вышивка, вязанье спицами и крючком, разные модели. Я, помню, в этот день была на тренировке в бассейне и едва успела принести в школу свои рисунки и одну живописную работу маслом. Работы просматривали прямо в зале.

– Вон, видишь, – сказала мне директриса, возглавлявшая жюри, – на той стене как раз развешивают экспонаты. Отнеси туда свой натюрморт, пусть помогут.

Я взглянула: у дальней стены молодой человек в темном костюме стоял на лестнице ко мне спиной и прилаживал что-то. Я подошла. Это был небольшой пейзаж, тоже маслом, – опушка леса, палатка, солнечный день. Повесив, человек, не спускаясь с лестницы, отстранился, прищурился и спросил меня, обернувшись:

– Не криво?

Это был Юра Адрианов. В строгом костюме, белой рубашке с мужским галстуком. И в этом он был очень красив

своей благородной красотой. Он обрадовался, узнав меня. Тут уж пришлось как следует познакомиться и разговориться. Знакомство получилось самое теплое. Мы вместе помогали до вечера устраивать эту выставку, расклеивали этикетки под работами, а потом вместе вышли из школы.

Оказалось, что пейзаж, который он вешал, – его работа, что он уже не первый год занимается в художественной школе. Он много рассказывал об учителях этой школы. Советовал и мне туда пойти. Но где уж мне при моих многочисленных занятиях было успеть и туда! Обычно я, с детства любя рисовать, получала знания о рисунке и живописи у художников тех театров, где работали мои родители, и у их детей, приглашавших меня с собой на этюды. А в Горьком в нашем доме прямо за стеной жил оперный художник Василий Баженов, работу которого я часто наблюдала и который тоже давал мне много профессиональных советов. Кто бы мог знать, что всё это мне пригодится в дальнейшем напрямую, когда в далекой Америке я стану сначала ученицей известного иконописца Дмитрия Школьника, а потом и самостоятельно начну работать как иконописец! Насколько мне известно, Юра на всю жизнь сохранил любовь к рисунку и живописи.

А потом мы стали встречаться с Юрой на репетициях школьных драматических спектаклей. Школьный театр имел многолетнюю историю. Руководитель этих, высокопрофессиональных, постановок Николай Николаевич Хрулев был учителем русского языка и литературы, очень эрудированным и актерски талантливым человеком. Ставилась классика. Я застала три спектакля: «Свадьба» по рассказам Чехова, «Хижина дяди Тома» по роману Гаррие́т Бичер-Стоу и «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова – это уже о героическом труде строителей Иркутской ГЭС. Костюмы и декорации мы делали сами. Так что и тут у нас с Юрой нашлось общее дело. И темы для бесед.

Странный он был мальчик. Странный и для меня очень интересный. Как-то с самого начала у нас не получалось вести ничего не значащие, «ненастоящие», беседы. Мы могли

и пошутить, и посмеяться, но с самого начала чувствовалось, что мы оба важны друг другу как собеседники. Я была интересна ему тем, что переезжая или отправляясь на гастроли со своими родителями, уже повидала почти всю страну, много ему об этом рассказывала. Он расспрашивал меня о театре, об опере, вообще о музыке. А он открывал мне Нижегородский край, целые пласты его истории.

Он радовал и поражал меня своей необыкновенной серьезностью и глубиной восприятия мира.

Собственно, это было и не очень странно: при всей присущей детству и юности веселости мы все росли поколением с особым подспудным ощущением серьезного и даже трагического в жизни. Понимаете, о чем я говорю? После окончания войны не прошло еще и десяти лет. В каждой семье были погибшие на фронте. Когда я пришла в 1-й класс школы в Новосибирске в сопровождении моего отца, по счастью, вернувшегося с войны, семилетняя девочка, моя соседка по парте, спросила:

– Это твой родной отец?

Оказалось, что после войны в живых остались отцы только у трех девочек из нашего класса.

У моей бабушки было двое сыновей, маминых братьев. Бабушка проводила их на фронт, молодых, здоровых, еще не женатых, и они никогда не вернулись. Было неизвестно даже, где их могилы. На похоронке было написано только: «Пропали без вести». И таких семей были миллионы. Погиб отец и у Юры. На обороне Севастополя. С его именем связана была в семье горечь и гордость. А его мама, молодая красивая женщина, решив посвятить себя сыну, больше не вышла замуж. У них, как и во многих семьях, как святыни хранились письма с фронта. Я видела такие письма в разные годы в семьях моих друзей и знакомых. Молодой человек, в которого я влюбилась и который впоследствии стал моим мужем, тоже хранил такие фронтовые письма от отца, не вернувшегося с войны. А у Юры память об отце трансформировалась в постоянный внутренний диалог, в необходимость поверять этим свои поступки. Помню, как поразило меня одно раннее его стихотворение:

...Я пойду, опять пойду упрямо
На лесные дальние огни,
Чтоб в бору за мутноватой Волгой,
У сторожки с низеньким крыльцом
Летней ночью долго, очень долго
Мысленно беседовать с отцом.

Но, несмотря на полученную еще в раннем детстве рану, мы все были незыблемо уверены, что жизнь после победы движется к лучшему уже бесповоротно и теперь наша страна становится всё сильнее, всё счастливее. И, когда мы играли спектакль об Иркутской ГЭС, один из наших учителей во вступительном слове сказал: «Если бы ваши отцы и все, кого мы потеряли в эту войну, могли видеть, какую жизнь мы теперь строим…» Это создавало эмоциональный фундамент нашему энтузиазму. Его ступенями было для нас время октябрятских звездочек, красного галстука. Мы с волнением вступали в комсомол. Нам казалось, что будущее целиком зависит от нас, от наших будущих усилий. Ни смерть Сталина, которая пришлась как раз на реформу школы, ни разоблачительные документы Хрущева по поводу культа личности не поколебали этой нашей уверенности и рвения вперед.

А Юра в своих стихах, посвященных истории Руси, России, как бы напоминал нам, что мы – прямые наследники многих поколений предков, противостоявших вражескому покорению, разорению страны в разные времена истории. И этот усвоенный нами взгляд сквозь время, потом, в дни затухания хрущевской оттепели, помог многим из нас остаться самими собой.

После школы Юра поступил в университет на историко-филологический факультет, а я в музыкальное училище на скрипичный факультет, так что каждый из нас, к счастью, мог продолжать образование, следуя своим склонностям, не ломая себя. Юра много ездил по стране в составе групп творческой молодежи и даже побывал за рубежом, что в наше время удавалось немногим и не часто. Особый интерес

у него, однако, вызывали те поездки фольклорных групп, в которые уезжали студенты университета каждое лето. Поволжье вплоть до Астрахани, глубинки родной Горьковской области. Фольклорные кладези, сохраненные сокровища русского языка... Помню, он так захватывающе рассказывал обо всем этом, когда мы обменивались с ним новостями нашей жизни! Вот так долго не видимся, месяцами, а потом встретимся – и как будто виделись вчера, так радостно, так искренне поведаем друг другу о многом. А потом опять долгий перерыв, у каждого слишком разная жизнь. То встретимся в оперном театре или в драматическом, и Юра провожает меня домой, то идем из филармонии вместе долго по Свердловке, да и Черный пруд был частым местом пересечения наших путей. И опять – доверительный, искренний разговор, без «ненастоящих» фраз.

Запомнился один случай, ярко показавший Юрины человеческие качества. В нашей 8-й школе каждый год в последнюю субботу января устраивались встречи бывших учеников. Приходили люди разных поколений, встречались, вспоминали, рассказывали... Очень это было интересно, волнующе. И немного грустно. Расходились поздно, и Юра пошел провожать меня до дома. Тогда по причине капитального ремонта нашего театрального дома нас расселили по разным временным квартирам, и мы с мамой жили в маленьком деревянном домике поблизости, на улице Фигнер. Подойдя к дому, мы увидели, что мама взволнованно машет мне из окна. Оказалось, что у нее кончилось лекарство и, как нарочно, начинается приступ. Необходимо было срочно бежать в дежурную аптеку. Дежурная аптека была за несколько кварталов, на Ошарской площади.

– Я сбегаю, – сказал Юра, беря у мамы деньги.

– Будет лучше, если мы пойдем вдвоем, ведь ты ничего не сможешь ответить, если что-нибудь спросят о мамином здоровье.

Мы выскочили на улицу. Скользко бежать в сапожках на каблуках.

– Ты уж прости, – деликатный Юра крепко сжал мой локоть, и мы, сцепившись покрепче, побежали. Пробежка туда, объяснения с открывшей нам заспанной аптекаршей,

пробежка обратно. У наших ворот он, переводя дух и вынимая пузырьки и покетики из своего кармана:

– Ты отдай лекарство и вернись сказать, как мама, – может быть еще что-нибудь потребуется, я буду ждать.

Я вернулась не сразу, отвлеклась с мамой. Вышла – мороз, глубокая ночь, на улице ни души, а он радостно так сказал на мое успокаивающее известие:

– Ну, слава богу. Я позвоню завтра.

Попрощался и ушел в темноту. Длинные ресницы и край капюшона его легендарного серо-голубого пальто опушены инеем. Красивый, сердечный и при этом самоуглубленный.

Очень он был красив. Тогда и всегда. Благородная его романтическая красота, по слухам, смутила в университете да и вокруг не одно сердце. Я всегда любовалась им, хотелось нарисовать его портрет, да как-то не пришлось. А от любви к нему меня защитила уже упомянутая выше моя многолетняя история любви с молодым студентом, тоже музыкантом, кларнетистом из консерватории, с которым мы жили в одном доме. Об этой любви знали все. Он был сыном давнего, еще довоенного друга моего отца. Оба друга были гобоистами, часто работали в одном оркестре, разъезжались, снова встречались. Сохранились рассказы, как мы, их дети, общались друг с другом в самом раннем непамятном детстве. Теперь мой избранник жил вдвоем с мамой, отец погиб на фронте, а он с ранних лет воспитывался в музыкантском взводе суворовского училища. Потом, уже в консерватории, был одним из самых талантливых студентов, ему прочили серьезное будущее. Трудно сказать, почему и мои родители, и его мама были настроены против нашей любви, против наших серьезных планов. Эта шекспировская история, полная слез, интриг, тиранства и счастья преодоления, длилась несколько лет. Наконец, незадолго до получения наших дипломов, мы поженились. Юра, узнав о моем замужестве, сердечно поздравил меня, он знал моего мужа отдаленно, по детству, по общим знакомым, но не близко. И муж мой знал

Юру, конечно, уже и как поэта, и хорошо понимал смысл нашего с ним многолетнего общения. Иногда, возвращаясь вечером домой из консерватории или из оркестра, где он в студенческие годы подрабатывал, он встречал нас у крыльца дома, где мы «застревали» в разговоре. Тогда он делал страшное лицо и рычал:

– Отеллов на вас нет!

Но был он вовсе не Отелло, а настоящий Уленшпигель, шутник и озорник, всегда душа любой компании. Неунывающий, талантливый во всем. Именно это его реалистическое, искрометное существование и привлекло меня. Мне казалось, что мы удачно дополняем друг друга, что он спасает меня от моего всегдашнего, слишком серьезного, граничащего с трагизмом восприятия мира. Не спас. Но это потом. А сейчас мы были счастливы.

В те времена, а дело происходило в 1963 году, диплом нужно было «отработать»: три года проработать по приобретенной профессии там, куда ты подпишешь предлагаемое направление. Супругов отправляли «отрабатывать» вместе. Нам с мужем предложили работу в специфическом месте. Город особый, закрытый, «режимный». Ни заезжих гостей, ни выездов без особой надобности. Сразу будет нам и высокая зарплата, и хорошая квартира. Оркестр, в котором мы должны играть – и симфонический, и одновременно театральный, а театр – музыкально-драматический. А зрители и слушатели – высокоинтеллектуальная научная элита. Физики-атомщики. У них нет ни времени, ни возможностей разъезжать по столичным премьерам, поэтому и репертуар у нас оказался из самых горячих, порой из самых спорных новинок, и классический, конечно, тоже. Высокого класса актеры и певцы, артисты балета, большой оркестр, руководителем которого при нас скоро стал дирижер из Горького Сергей Гусев. Мы много и интересно работали. Это была хорошая школа для молодых специалистов.

Опять я ходила на этюды с театральными художниками, природа там прекрасная, исторические места, связанные

с Серафимом Саровским, изумительные монастырские красоты. Стихи у меня тоже появлялись, нашелся небольшой круг местных поэтов. Приходилось только жалеть, что с Юрой виделись мы теперь очень-очень редко. Расставаясь, так и решили, что теперь не скоро увидимся. Однако встреча произошла скорая и очень радостная: в книжном магазине я увидела в витрине его первую, только что вышедшую в Волго-Вятском издательстве книжку стихов «Считайте годы по веснам». Читала я его и в периодике.

В связи со стихами произошло там и знаменательное в моей жизни событие. К 50-летию комсомол получил тогда за действительно героическое участие в послевоенном восстановлении народного хозяйства страны и за освоение целины орден Октябрьской Революции. Горком ВЛКСМ обратился к местным поэтам написать стихи к знаменательной дате. Написала стихотворение и я. Праздник по всей стране проходил торжественно. Были торжества и в нашем городе. Мы отыграли праздничный концерт и пошли побродить по улицам, полным веселящегося народа. Был теплый день, вокруг цветы, улыбки, дети. В разгар веселья с вертолета полетели праздничные листовки. Я подняла одну. На ней – золотыми буквами! – были напечатаны мои стихи. Вот такой курьезной, «небесной» оказалась моя первая публикация. Всего стихотворения не помню, кончалось оно так:

На комсомольском знамени багряном
Пусть будет восемь, десять орденов,
Пусть Родина гордится неустанно
Великими деяньями сынов!
Пусть юбилеи будут как ступени
К грядущему, что строим мы сейчас.
С 50-летним юбилеем,
Соратники, мы поздравляем вас!

В рукописи вместо «мы», конечно, стояло «я» – искреннее непосредственное авторское чувство причастности к общему делу. Это я всё о той же созидательной вере большинства. Ведь это было время поэтов-шестидесятников.

Гремели Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Снимались «9 дней одного года». Физики и лирики. Костры, походы, песни под гитару...

И даже несмотря на то что уже появился солженицынский «Иван Денисович», казалось, что в наших силах, всё осознав, всё приостановить и направить жизнь в желаемое русло. И так естественно было сознавать свою молодость, силу, смелость. Своё мужество. Всё это гармонично отражалось в нашем творчестве. И в творчестве Юрия Адрианова.

Он, полный молодых сил, переживал в эти годы период ознакомления с самыми различными уголками нашей, тогда еще более огромной, чем теперь, страны, шагал по родному краю как настоящий путешественник: порой проделывал сотни километров пешком, преодолевал перевалы, ночевал в тайге, летел в небесах, перекрывая немыслимые пространства... И взахлеб рассказывал нам обо всем этом в искренних, полных мужества и любви стихах.

Мы поднимались с ним на плато Расвумчорр, проходя огромные расстояния:

...Мы шагаем по мхам на второй перевал,
Мы шагаем по мхам, даже ветер устал,
Даже ветер устал дуть нам вечно в лицо,
Только горы Хибинские сжали кольцо.

Спускались в шахту, поднимались «на ледяные лбы:

...И там,
Взойдя на обнаженный кратер,
Попав под ошалелый камнепад,
В купели снежной
Стану жизни ради
Ломать усталость десять раз подряд...

Стояли вместе с ним, полные благоговения, перед беззащитным пока еще ручейком – истоком великой Волги. Проследить рождение этой реки он мечтал давно, вынашивал план несколько лет в студенческие годы и всё-таки осуществил:

Мой исток,
И я над ним стою.
Мой исток –
Здесь наша плоть и соки...

Ощущенье первое начал...

И всегда – осознание себя частицей великой системы явлений и связей, из которых сложилась родная Земля. Отчина. Это ёмкое слово встало на заглавии его первой уже прозаической книги о родном крае. «Нижегородская отчина». Это подзабытое земляками разных возрастов слово снова напомнило о родстве, о прошлом как фундаменте настоящего.

Я радовалась Юриному стремительному поэтическому взлёту, общности его и читательских жизненных позиций. Но у себя в своем первом семейном доме в Сарове, где подрастал маленький сын, я, читая Юрины книжки, не могла отделаться от желания видеть его еще и лично счастливым, тем счастьем, которое тогда согревало меня. Я всё пыталась уловить в его строчках отзвуки идущего к нему светлого взаимного женского чувства. Но даже там, где он при всей своей сдержанности не мог удержать лирического порыва, порыв этот сиротливо замирал или окрашивался предчувствием расставания.

...И,,глядя в дождь,
Вдруг сразу же поймешь,
Как временем оправдано всё это,
Что ты вот так же от меня уйдешь,
Усталая, как северное лето.

Или в другом стихотворении:

И птицей стремительной, черной,
С мечты упадаешь в быль.
И скачешь, как будто Печорин,
За нею в степную пыль...

За той, что догнать невозможно,
Которой не скажешь: люби!
И рухнет в погоне лощадь,
И плачешь над ней в степи...

При такой-то его русскокняжеской красоте, при таком таланте, при таком, казалось бы, повсеместном обожании влюбленных молодых читательниц! Слухами земля полнится. Дошли и до меня слухи, объясняющие минорные стихотворные мотивы.

– Знаешь, – сказала я мужу, – говорят, у Адрианова серьезные любовные перипетии. И, кажется, я ее знаю.

– Откуда?

– Да странно... В студенческие годы, не помню почему, она несколько раз аккомпанировала мне на студенческих моих выступлениях. Была крепкая пианистка. Помнится, она очень оживилась, узнав, что я окончила 8-ю школу. Вскользь спросила, не знаю ли я Адрианова. Но потом мы уже не встречались. Теперь она, оказывается, окончила филфак. И наш поэт, видимо, влюблен. Интересно, что фамилия у нее Гончарова.

– Ну-у-у, что же тут удивляться? У настоящего поэта возлюбленная должна быть Гончарова. Красивая?

– На мой вкус – очень. Брюнетка. Красота странная: резкая и одновременно как бы иконописная.

– М-м-м...

– И голос низкий, бархатный...

– О-о-о... И при этом Гончарова!

– Но только не Наталья, а Маргарита.

– А вот это плохо.

– ?

Муж мой загадочно улыбнулся и пропел на мотив популярной тогда песенки «Красивая девочка Лида» молниеносный экспромт:

Спроси ты об этом у Гёте,
Булгакова тоже спроси...

И ведь как в воду глядел. Веселые неунывающие Уленшпигели бывают и прозорливцами тоже.

Позже стало ясно, что у Юрия и Маргариты не сложилось. Я искренне сожалела. Я понимала уже и на своем опыте, как порой, казалось бы, независимо от наших желаний, необъяснимо и непоправимо рушатся отношения – мой брак распадался. Мы расставались с болью и всё не могли решиться на окончательный разрыв. Помогла специфика нашего города: я поняла, что если я окончательно переберусь в Горький, встреча с обеих сторон будет затруднена спецификой города и никакой минутный наш порыв не сработает.

Так в один прекрасный день я с сыном оказалась вновь на Черном пруду у мамы. Душевное состояние было очень тяжелое. Я искала работу, но поняла, что горе отложило осадок даже на мою профессию, и я не могла себе представить, что смогу сидеть в оркестре, где мне всё будет напоминать нашу когда-то совместную работу с мужем. Хотелось вообще никогда больше не брать скрипку в руки. Но нужно было как-то выходить из положения. Нашелся компромисс: педагогическая работа. Далеко, на противоположном берегу Волги, в музыкальной школе на Бору. Добираться можно было двумя путями: автобусом, что называется, кругаля, через Канавино, Волжский мост и потом по берегу к Бору или от Чкаловской лестницы на маленьком кораблике-«финлянчике» через Волгу почти прямо к школе. Так я и плавала. На работу ранним утром и вечером домой. Так однажды, возвращаясь со скрипкой с работы, вдоль чернопрудского садика вдруг услышала радостный возглас:

– Люсенька!

Это был Юра Адрианов. Мы не виделись давно и оба изменились наверное, но чувство было такое, как будто перерыва не было, оба искренне обрадовались. Он так и сказал:

– Вот радость!

А я начала рассказывать ему, как «там у нас» продавались его книжки, как я читала все его стихи и статьи... Он хмыкал удовлетворенно, а потом спросил, надолго ли я приехала.

– На-сов-сем... – еле выдавила я. И сразу радость стала блекнуть, захотелось скорее уйти, просто уйти, не прощаясь, подъезд-то вот, рядом.

– Насовсем? Чудесно! – воскликнул было он, но, вглядевшись, смутился, всё поняв. – Ты прости, я не знал ведь, от радости сморозил. Хотел вот пригласить вашу семью на мое выступление, думал, будем видеться...

Он заговаривал меня, не хотел отпускать домой в таком состоянии и сказал со свойственным ему милым остроумием:

– Знаешь, я живу теперь на Белинке, значит, наши дома на разных концах Ошары, мы живем «напрострел»!

У самого подъезда моего «оперного» дома на Черном пруду – остановка легендарного трамвая № 2, идущего в сторону Свердловки, а через дорогу – идущего в противоположную сторону, к Сенной и далее. На этом трамвае, неважно в какую сторону, можно доехать прямо до Юриного дома. Кольцо. Полукружья по протяженности примерно одинаковые. Ошара делит это кольцо по диаметру. Так что, сойдя с нашего крыльца, в которое упирается Ошара, перейдя трамвайные линии и продолжая идти по Ошаре далеко, туда, где она снова пересекает трамвайные линии на другом ее конце, оказываешься опять же у Юриного дома. Действительно «напрострел». На прострел кольца «двойки».

Меня всегда волновали такие подкрепленные старой этимологией слова, и радостно было встречать их в Юриных текстах. Тут он был мне союзник. Я любила приводить примеры местных словечек, которых я наслушалась у моей сибирской бабушки: заплот (забор), вехотка (мочалка), глянется (нравится)... А чего стоит легендарная Юрина «отчина», вставшая в заглавие его книги о Нижегородском крае! Обо всем таком и подобном мы часто говорили.

Адрианов много встречался со своими читателями на разных производствах. Тогда это было очень популярно, люди всех слоев общества, всех профессий увлекались

поэзией, следили за новинками. Если по его приглашению я сопровождала его на эти выступления, то была свидетельницей того, как восхищенно его встречали, как расхватывали его книги и автографы. Он был настоящей звездой.

К тому времени я, продолжая преподавать на Бору и верная своему намерению оставить скрипичную профессию, поступила на заочное отделения Государственного театрального института в Москве, на теоретический факультет, театроведение. Много читала, старалась быть в курсе всех театральных новинок, чаще ездить в Москву, где по нашему гитисовскому студенческому билету нам всегда был обеспечен проход в любой театр. Мое давнее писание в стол вдруг получило реальный резон. Юра читал многое из этих первых моих строчек. Я стала писать об искусстве, в котором не была чужой и по праву рождения буквально за кулисами оперы и по первоначальному образованию (тут нужно сказать, что на наш факультет принимали людей только с первоначальной профессией, относящейся к искусству). И вот как-то быстро-быстро стали появляться мои первые, робкие, конечно, журналистские материалы то о художнике Рындине как педагоге в журнале «Москва», то о выставках и театральных премьерах в Горьком в местных «Ленинской смене» и «Горьковской правде», а газета «Советская культура» поручила мне снабжать интересными горьковскими новостями их отдел информации. Учиться мне было очень интересно. И опять на всю эту наполненную впечатлениями, работой, разъездами и «грызениями гранита науки» и к тому же семейную жизнь не хватало времени.

По зимам мой путь к моим ученикам в музыкальную школу на Бор приобретал характер систематического авантюрного путешествия. Дело в том, что тогда, до наступивших теперь климатических капризов, Волга замерзала прочно и надолго. Лед был настолько толстым и надежным, что поперек реки всверливались настоящие деревянные электрические столбы, протягивались провода и открывался пеший переход с берега на берег. Чаще всего

я совершала его при свете этой электрической ниточки, в кромешной окружающей темноте ранним-ранним утром и потом уже всегда таким ранним зимним вечером. Идешь по этой неширокой снежной расчищенной дорожке, шаг влево, шаг вправо – ледяные торосы, а позади тебя или навстречу – компании, иногда с гармошкой, а то и с матом... И это еще хорошо, что компания, а если никого и пурга?

Юра говорил мне в телефон, переиначивая цитату из «Слова о полку Игореве»:

– Выйди на́ берег, омочи бобровый рукав в реке... – и можно было немножко прогуляться и побеседовать, если позволяла погода. И опять от него – ни одного «ненастоящего» слова. Никаких попыток дешевого флирта. Никакого перемывания чужих косточек. Очень чистый он был человек. И при этом у нас, в общем-то, с давних, первых школьных лет установилась такая доверительность, такая открытость, что обсуждать можно было всё самое, казалось бы, сокровенное в жизни, в восприятии мира и собственного – творческого – «я». Это было очень драгоценно и такой степени искренности в моей жизни уже ни с кем не повторилось. Отсюда и название моих воспоминаний о нем. Да, открытость, но и большой такт. Он никогда не лез в душу с расспросами об интимном, и в его сердце были тоже уголки табу. Только один раз в эти трудные для меня месяцы он попытался меня «утешить». Он уверял меня, что это большое везение, что мне выпало на долю такое переживание, что в творчестве это дает новую ступень мастерства, обогащает душу. Что наши читатели в таком случае получают от нас более развернутый спектр отражений жизни человеческой души... Он говорил «от нас», и глаза его, устремленные на меня, были полны собственной боли пережитого, о котором я могла только догадываться... Такие минуты трудно длить долго. Мы защитились юмором:

– Ну да, я поняла: счастливая любовь поэту категорически не полезна.

– Как и всякая сытость. Недаром из бедных поэтов Монмартра...

И пошло, и поехало. Мы уже смеялись, перебивая шутками друг друга, спеша по безлюдному морозному Откосу

до поворота к улице Пискунова, поглядывая в перспективу трамвайных путей, идущих от Сенной: не подкинет ли поздний трамвай нас до нашей вечной остановки «Черный пруд».

В это время Юра Адрианов не выпускал мои дела из виду. Читал все, что у меня выходило, хвалил или делал свои замечания при редких встречах. Он всё хотел, чтобы я приняла участие в работе телевизионной студии, где он тогда был редактором. Однажды на каком-то мероприятии у Вечного огня в Нижегородском кремле, где я присутствовала по журналистскому заданию, он познакомил меня с присутствовавшими там тоже по работе своими телевизионными коллегами. Была сердечная, с прогнозами возможного сотрудничества встреча.

Я навестила их на телестудии, приготовила какие-то наброски, но нужно было серьезно осваивать незнакомую мне телевизионную специфику. Так что, помню, прошли только две передачи с моим авторством, о премьерах Горьковской оперы: балете «Легенда о любви» и опере «Фауст». На дальнейшее, к сожалению, не хватило ни сил, ни времени.

Как-то, вернувшись из Москвы с очередной экзаменационной сессии, я позвонила Юре по какому-то делу и с удивлением поняла, что он не совсем трезв. До этого мне уже приходилось слышать от знакомых художников, журналистов рассказы о веселых богемных застольях, в которых принимал участие и Адрианов. Но это не вызывало у меня особой тревоги. Веселые сборища молодых людей искусства – обычное дело. Но так сложилось, опять-таки из-за моей загруженности и стремления использовать всякое свободное время, порой даже один подвернувшийся свободный день, для поездки в Москву, что я не часто бывала на веселых пирушках. И Юру пьяным никогда не видела. А слухи о его злоупотреблении спиртным доходили всё чаще.

Как-то раз мы должны были встретиться с Юрой по какому-то делу, но накануне он сообщил мне, что простудился и просит меня зайти к нему домой. Я пришла, мы быстро переговорили, почитали на прощание друг другу какие-то новые стихотворения, и я собралась уходить, когда в дом позвонили неожиданные гости. Их было человек пять, и некоторых из них я знала – местные поэты и журналисты. Потом оказалось, что и журналисты пописывали стихи, потому что, перезнакомив нас, Юра попросил меня остаться и принять участие в чтении стихов по кругу.

Мы сели в его комнате-кабинете, кто-то начал читать, а я всё не могла вникнуть в чтение, потому что в открытую дверь видела, как в квартиру вошли еще какие-то приятели, прямо прошли на кухню и явно принялись по-свойски за приготовление пирушки. Им неинтересно было наше чтение, а я всё больше чувствовала себя не в своей тарелке. Когда пришла очередь читать мне, я поняла, что не могу, что я здесь чужая. Я молча развела руками, показывая, что стихов у меня нет. Юра удивленно посмотрел, но не сказал ни слова, и следующий чтец вступил вместо меня. А личности из кухни, помятые и не такие интеллигентные, как участники чтения, время от времени подходили к нашей двери и делали нетерпеливые жесты: пора бы, дескать, «и горячее подавать». Всё было очень красноречиво. Сюжет известный. Я не большая любительница таких сюжетов, а в доме Юры участвовать в подобном тем более не хотелось. Выползла тихонько из «круга» и пошла в прихожую одеваться. Юра вышел за мной, удивляясь, почему я не читала, спрашивая, куда я. Я отговорилась тем, что больше просто не имею времени, что спешу. Извинилась и ушла.

По дороге домой всё никак не могла успокоиться. Было горько. Всё услышанное о Юрином пристрастии к дружеским возлияниям выстроилось в сознании, и я поняла – беда. Собственно, такую беду, несколько отличающуюся в своем качестве от обычного русского пития, приходилось наблюдать уже несколько лет повсеместно. Это был результат происшедшей в разных слоях социума деформации отношения к пьянству как к таковому. Конечно, в России всегда пили. Но можно пить и пить. Если еще до начала

шестидесятых годов лозунг «Пьянству – бой!» еще осуществлялся через попытки общественного воздействия на увлекающихся зеленым змием, попытки пусть топорные, бесцеремонно-наивные в своей крутизне, – это работало. Оступившихся подвергали общественной «проработке», их брали на поруки. Перед ними маячила опасность потери работы, статуса. Во всяком случае существование под перекрестным огнем осуждающих взглядов било по самолюбию. А самолюбие, колебание самооценки – мощный рычаг. Но в застойный период, когда захлебнулось хрущевское потепление, началось диссидентское движение, когда люди утратили веру в близкий обещанный коммунизм, произошел какой-то дефектный излом в сознании многих. И вдруг – именно в искусстве, более того, в самом массовом ее жанре – в песне, появились разрушительные мотивы, славословие неудержимому, бесконечному, часто безнравственному питию. Герой рассказывал упоенно, как в каком-то доме, который он даже не сможет найти, протрезвев, он уронил балкон в пьяном загуле, предварительно нацеловавшись на кухне сразу с двумя незнакомыми дамами. Как поехав к больному брату в психбольницу, «первача взял 0,8, взял халвы, пива рижского и керченскую сельдь». Как брат, коря его за опоздание, дрожит от нетерпения: «Давай скорее по одной!» Как они «пивком переложили, съели сельдь, закусили это дело косхалвой», гастрономы... И как брат, предприняв авантюрное переодевание, сбегает от лечения (очевидно, принудительного), на волю к «законной» и еще одной, несомненно высоконравственной, – «знакомой»! И всё это рассказывается высокоталантливыми авторами и поется высокоартистично.

И вот уже с утра до вечера изо всех окон, на всех посиделках пиратски размноженные записи этих песен тянут к загулу, к беззаветному «гибельному восторгу»! Ох, дескать, пропадаю, дескать, «к последнему приюту», «к Богу не бывает опозданий», но – «чуть помедленнее, кони!», «я куплет допою» и... «хоть мгновенье еще постою на краю...» над самой пропастью! И всё это с хрипотцой, с отчаянием. Такие новые русские алкогольные мачо! Ну

как не восхититься, ведь совсем другой коленкор получается! И восхищались, и дамочки неожиданно включались и вместо порицаний подпевали и подпивали. Все самые подзаборные алкаши в одночасье стали героями и даже мыслителями и бесцеремонно полезли в любые компании, где ими учуивался запах спиртного. Эпоха эта долго длилась, фактически до самого разрушения СССР. Погибли и певцы, и многие восхищенные слушатели. Отголоски этого безумного восхищения дожили до сегодняшних дней. Недавно я видела по Ютюбу чудный материал: ностальгическую иллюстрацию, предпринятую отцом и сыном Ширвиндтами характерного варианта теплой выпивки в гараже под плавленый сырок. И гараж был настоящий, и водка, и сырок. Антикварно!

Я рассказываю всё это не для того, чтобы оправдать Юру, а для того, чтобы показать, как легко было ему, открытому, поэту-романтику с культом дружбы и беззаветного самоотвержения, оказаться захлестнутым этим потоком. Как легко среди настоящих друзей в минуты триумфа приветить чужих и опасных. Присоседившихся «на халяву».

Счастье, что, несмотря на начавшееся привыкание, это не отразилось на его творчестве. Родина, ее история для него были святы. И честь и дружба. И красота, и природа. И неуклонное стремленье к свету и правде. Продолжали появляться новые книги стихов и прозы. Его приняли в Союз писателей СССР. Он жил творчеством. Поездки, встречи, в том числе – незабываемая встреча с первым космонавтом Юрием Гагариным. Многие стихи Адрианова еще со студенческих лет становятся песнями. Его произведения побеждают в конкурсах, берут призы на протяжении всех его последующих лет.

Каждый раз, когда случалось встретиться в Горьком, он буквально «вываливал» на меня интересные свои новости, это было у него в привычке, думаю, что не из хвастовства, как считали некоторые, а из той же открытости, из простодушной уверенности, что спрашивающему «Как дела?»

действительно интересно всё до мелочей. Думаю так потому, что и меня он выспрашивал обо всех моих новостях и слушал внимательно, и реагировал на каждую малость. А я что же? Верная своему стремлению, покончив с преподаванием музыки, уходила в новый – искусствоведческий и литературный мир.

Тогда в Москве, если не ошибаюсь, дважды, проходили гастроли японского театра кабуки. А в ГИТИСе мы как раз изучали восточный театр. Я пересмотрела все спектакли японцев не по одному разу. Впечатление было непередаваемое. Я даже решила было делать диплом по кабуки. Стала завсегдатаем Музея искусства народов Востока. Познакомилась с хранителями японских коллекций. Неожиданно открылась возможность для меня работать в этом музее, параллельно с учебой. Мои бездетные родственники в Москве обрадовались. Они очень любили меня, были гостеприимны, и я могла поселиться у них. Всё как-то быстро решалась.

Однажды, вернувшись в Горький, я неожиданно встретилась с Юрой недалеко от его дома. Мы давно не видались и оба, как обычно, обрадовались. Он предложил зайти к нему, сказал, что хочет обсудить со мной что-то. Была холодная осень, я продрогла и была рада теплу его дома, горячему чаю, которым он начал потчевать меня. Потом он стал читать что-то свеженаписанное, но вдруг захлопнул рукопись, посмотрел на меня очень серьезно и сказал:

– Знаешь, я много думал... Я хотел бы на тебе жениться.

Я изумилась. Я сидела как громом пораженная. Он продолжал:

– Мы так давно, так хорошо знаем друг друга. У нас получится...

«Нет!!! – беззвучно закричало всё во мне. – Не надо, не лишай меня своей дружбы! Ей не выжить, если мы станем жить вместе!»

Я представила, что должна буду взять контроль над ним, над его несчастным пристрастием. Обсуждать его поступки. Регламентировать встречи с друзьями и не друзьями, в оценке которых не раз жестоко ошибусь. Все предстоящие разборки. Скандалы и примирения. Представила его досаду и злость на меня. Его попытки обмануть мою

утомительную бдительность и то, как ложь может исказить его открытый, моцартианский талант. Какая уж тут искренность? Какая дружба? То, что будет со мной в этой ситуации, я старалась и не представлять. А он говорил:

– Твоему сыну нужен отец. Я приучу его к путешествиям, к охоте. Мальчишка должен знать ружьё.

И опять я представила: лес, компания у костра, выпивка. И мой мальчик с ружьём. И снова во мне всё беззвучно воспротивилось: «Нет! Не-е-ет!»

А Юрины прекрасные глаза смотрели на меня искренне и чисто. Сейчас он был абсолютно уверен, что всё будет так, как ему представляется: просто, бесхитростно и полно счастья. Сказать ему в эту минуту «нет» было немыслимо. И я сказала:

– Я подумаю, Юра.

Вскоре я уехала в Москву. Надолго. Он при своей чуткости всё понял, конечно. Встретились мы нескоро.

В Москве в моей жизни многое изменилось, а о Юре я знала только новости в его успешной литературной работе. Правда, один раз судьба сделала меня свидетельницей свежих житейских событий его жизни. Незримой свидетельницей. А произошло это так.

Я была проездом в Горьком у мамы, буквально один день. Пришли мамины друзья повидаться со мной и захватить нас с мамой на обед в их новой, недавно полученной квартире на Ковалихе, им хотелось эту квартиру показать мне. Новый блочный дом в старинном квартале смотрелся чужеродно, но что об этом говорить! Люди были так счастливы переселяться из коммуналок в отдельные квартиры, что и хрущевская пятиэтажка казалась раем. Поднимаемся по лестнице (кажется, лифта не было?), и вот на одном из этажей эти люди говорят мне, указывая на одну из дверей:

– А вот здесь живет наш поэт Юрий Адрианов. Он недавно женился, и они получили эту квартиру.

Я смотрю на дверь и вижу рядом с нею аккуратно заметенную в пирамидку сверкающую кучку хрустальных осколков.

– А это что же?

– Да вчера у них праздник был, не то новоселье, не то дата какая-то. Гуляли допоздна, сейчас отсыпаются, наверное.

Потом, уже после обеда, хрустальная пирамидка у двери была еще цела. «Хорошо погуляли... – подумалось. – Тост – и бокалы об пол!» Но я была рада, что Юра устроил свою жизнь. Пойдут дети, может, всё и к лучшему. Конечно, хотелось повидаться... Но что делать? Ситуация была уж совсем неподходящая. Да и приехала я всего на один день...

Но через какое-то время Юра навестил меня сам, в Москве, пришел ко мне на работу в Останкинский дворец, в Шереметевский театр XVIII века, где я работала главным хранителем. Он изменился, погрузнел, но был всё так же обаятелен, дружествен и по-адриановски застенчив. В этот день по погодным условиям дворец был закрыт для посетителей, и мы, обутые в войлочные тапки, ходили по дворцовым залам только вдвоем. В разные годы Юра посвятил много восхищенных стихов народным мастерам, народным умельцам. А Останкинский дворец-театр – синтез искусств: тут и живопись, и графика, и прикладное искусство, и всё создано русскими руками, руками шереметевских крепостных. Юра давно, может быть, с детства, не был здесь, и теперь с новым восторгом рассматривал всё. И деревянную золоченую резьбу, и узорные сверкающие паркеты, и расписные потолки. Надолго задержался в картинной галерее, в зале графики, у шереметевских книг.

Он обо всем подробно расспрашивал, был очень взволнован, войдя в кабинет императора Александра II, где, по преданию, государь, гостя в Останкине, работал над проектом по отмене крепостного права в России.

Вот так мы и встретились впервые после моего переезда в Москву. В XVIII веке. Дворец, потом осенний парк, скульптуры, и только мы на пустых аллеях... Элегическая получилась встреча. Красиво? Но всё больше и больше щемило сердце: вот попрощаемся, и так в XVIII веке наша встреча и останется... Но солнышко, «живые» тени на аллеях,

звон недалекого трамвая, кружащиеся вокруг нас золотые листья вернули нас в настоящий день и – словно плотину прорвало. Мы начали рассказывать о неизвестном друг другу последнем периоде наших жизней.

У него рос маленький сын, почти ровесник моей дочки, родившейся в Москве во втором моем браке. Мы делились забавными историями о своих детях, мечтали, гадая об их будущем, вспоминали и своё детство, и школьные годы. Мы радостно улыбались друг другу, мы даже хохотали. Наши сердца издалёка вернулись друг к другу.

– Двадцать лет... – подсчитал Юра.

– Двадцать лет!

Будучи теперь матерью двоих детей, я с трудом вырывалась в Горький. Дочка была еще мала, так что мама много помогала мне, подолгу гостя у нас в Москве. Вспоминается один из дней, когда мы ждали маминого приезда. Муж в отъезде, дочь до вечера в хореографическом училище. Мне нужно успеть встретить маму на вокзале и не опоздать к сдаче какого-то материала в газету «Московский литератор», где я подрабатывала внештатно. Мы поехали вдвоем с сыном, к тому времени уже юношей. Ждем у вагона. И вот мама, радостная, выходит и перецеловавшись с нами, просит чуть-чуть подождать:

– Сюрприз. Вы не угадаете, с кем я провела всю дорогу.

И тут я вижу смущенного милого седоватого бородача, в котором не сразу узнаю Юру Адрианова. Мы радостно кидаемся друг к другу, но оба спешим, приходится говорить на ходу, торопливо спускаясь в метро. Часть пути едем все вместе, потом прощаемся с мамой и сыном – они уезжают домой, а нам нужно переходить на другую, к радости, одну и ту же, линию. Потом оказывается, что едем до одной и той же станции. Долго не понимаем, что оба спешим добраться до Центрального Дома литераторов, потому что Юра говорит, что едет «по делам издания книги», а я говорю, что в «редакцию одной газеты». Осознав, хохочем, и в ЦДЛе расходимся по своим делам. Сговариваемся увидеться, созвонившись, если получится. Не получается,

и он уезжает через день или два. Никакой трагедии, мы веселы, расставаясь, – сто раз еще увидимся. Горький и Москва рядом, есть телефоны, какие проблемы?

А потом трагически погибает мой муж. Черный период моей жизни, когда не помогут ни встречи, ни самые верные друзья. И я набираю Юрин телефон только из Америки, из Техаса.

У него там, в России – перестройка, ГКЧП, жизнь неузнаваемая, проблемы. У меня своя перестройка, свои проблемы. Но говорим мы не о колбасе, жалко тратить на это драгоценные минуты. Юра расспрашивает меня о Техасе, где я поселилась тогда, и сам рассказывает мне только о своих книжных перипетиях, о новой прозе, успевает прочитать стихотворные строчки. Так что о Юриных критических бытовых трудностях я узнала много позже, уже после его ухода. Да и о моих он даже не подозревал. Зато как радовался он, когда я рассказала ему о том, что его стихи имели огромный успех в Америке! Произошло это на конкурсе поэзии, устроенном Пушкинским обществом в Нью-Йорке к 200-летию со дня рождения Пушкина. Все стихотворения должны были быть написаны на соответствующую тематику. Я оказалась в числе победителей, и когда нам предоставили возможность после победившего стихотворения прочесть на выбор еще что-нибудь, я сказала, что хочу прочесть стихотворение моего друга – поэта из Нижнего Новгорода Юрия Адрианова. И прочла одно из своих любимых, которое как раз было в тему – «Стихи о третьей позиции». Это о дуэли Пушкина, о нравственной подоплёке секундантства. Успех его стихотворения был головокружительный, меня потом многие расспрашивали о Юре, жюри просило его координаты, обещали послать ему диплом участника. Всё это я рассказала Юре в одном из наших телефонных разговоров. Он был очень тронут, радовался, конечно.

К сожалению, в те времена ни мне, ни ему было не по карману часто переговариваться по телефону через океан, а интернета и мобильников с их бесплатными программами еще и в помине не было. Изредка общались по обычной

телефонной связи. Я старалась обязательно поздравить его с Новым годом, звонила на его именины – День святого Георгия. И опять, как всегда, с ним не получалось никаких разговоров, кроме «настоящих». Радость! Каждый разговор как глоток свежего воздуха!

Когда в 95-м году начался кровавый этнический конфликт в Сербии, мы, прихожане Зарубежной православной церкви, восприняли это с болью и сочувствием к братьям-славянам (тем более что в те годы еще были живы многие русские эмигранты первой волны, помнившие радушный прием беженцев из революционной России, оказанный сербским королем Александром в 1918 году). Сразу же в литургию была включена специальная молитва о даровании мира и «умягчении злых сердец», о прекращении кровопролития в Сербии и скорейшем восстановлении нарушенного добрососедства. Трудно изложить то чувство сострадания и горя, которое хватало за душу на богослужениях, где по причине того, что велись они на общем нам церковно-славянском языке, присутствовали, как всегда, и наши соседи – сербы. У многих из них там, на родине, в опасности, а и порой в безвестности, находились члены их семей. Много было горя.

Обо всем этом я рассказывала Юре по телефону. Там, в России, он тоже переживал сербские события, тяготился ролью наблюдателя, собирался хотя бы журналистским словом, стихами как-то участвовать.

– А лучше было бы нам сейчас прямо там с тобой встретиться, – горько прошептал он через океан.

– Почему ты шепчешь?

– Да ночь ведь у нас, спят люди.

Между мной, в штате в Нью-Йорк, и им в России было 8 часов разницы, но в своем нетерпении я забыла об этом совсем.

– Прости, – начала я лепетать извинения. – Разбудила тебя.

– Да что ты, какой сон!.. Руки коротки... Сон!

Благодарил за вести.

———

Я говорила уже о том, что, живя в Центре Русской зарубежной православной церкви в Джорданвилле, освоила иконопись. И вот в надежде на поездку в Россию и тогда уж на встречу с Юрой я написала ему небольшой, с ладонь, образ его святого – Георгия Победоносца. А на оборотной стороне иконы дарственные стихи мелко-мелко:

...Потому, что жив еще дом школы, которую мы любили;
Потому, что редко наши беседы «ненастоящими» были;
Потому, что обоим дар, но так по-разному дан;
Потому, что меж нами Тихий и Атлантический океан;
Потому, что книжки твои переплыли их в моем багаже;
Потому, что и здесь я пишу свои,
но порой по-английски уже;
Потому, что я здесь – совсем, совсем иной человек,
Потому, что душе (увы, не телу), отжившей своё,
был дарован еще один век,
С тем великим счастьем, что нашла за морями,
Да с горем, которое не развести руками:
Без Руси, без Волги, в тихом плаче снов,
Да со смертной памятью уходящих годов
Пальцы мои вывели образок тебе,
Твоей, неизвестной мне, но крутой судьбе.

На память школьному товарищу, русскому поэту-нижегородцу Юрию Адрианову.

И подпись с моей школьной, девичьей фамилией – *Людмила Бутюгина*.

Как раз в это время в семью прихожан Джорданвилльского монастыря приехала в гости родственница из Горького. Она много рассказывала о городских новостях, а при моем вопросе о Юрии Адрианове сообщила, что хорошо знает их семью и даже дружна с Наташей, Юриной женой. Вот удача! Можно, не дожидаясь моей будущей поездки, отправить икону с ней. Так я и сделала. После ее отъезда долго не было от нее вестей. Юра тоже ничего не получал. Наконец она сообщила, что какие-то трудности личного

характера помешали ей передать икону непосредственно в семью и она отнесла ее для передачи Юре в Горьковское отделение Союза писателей. Вскоре эта женщина умерла. О судьбе моего подарка я до сих пор ничего не знаю.

Я подхожу к последним страницам моих воспоминаний.

В начале нового тысячелетия я наконец получила возможность, уже имея американское гражданство, навестить Россию. Мой муж, британец, за которого я вышла после 10 лет вдовства, очень просил меня показать ему Россию. Мы долго продумывали наше путешествие, готовились, составляя маршрут, решив по пути навестить еще и Прагу, где я мечтала поклониться мощам захороненной там моей духовной покровительницы святой Людмилы. Но за несколько дней до нашего вылета в Нью-Йорке произошел известный взрыв башен-близнецов, и всё это внесло определенную сумятицу в работу транспорта и сферы услуг. Помню, добираться до аэропорта пришлось с множеством объездов, по улицам летала гарь, обстановка была нервная, а потом, уже в процессе нашего путешествия, обнаружилось, что кое-какие рейсы, обозначенные на наших билетах, временно отменены, так что получилась некоторая чехарда со сроками виз и временем пребывания в намеченных пунктах. Кроме Праги нам пришлось провести несколько дней в Братиславе и уже потом отправиться в Петербург и Москву. Так что на Горький осталось всего неполных 2 дня. Мельком показав мужу город, я отправилась с ним в Марьину рощу, где похоронены мои родители и бабушка. Нужно было не только поклониться их могилам, заказать панихиду в кладбищенской церкви, но и позаботиться о состоянии захоронений. Времени до отъезда оставалось так мало, что с Юрой я не успевала встретиться, тем более что тогда он уже не выходил из дому по состоянию здоровья. В разговоре по телефону я успокоила его, что скоро собираюсь опять приехать и уж тогда привезу ему и две свои книжки – стихи и прозу, которые как раз готовились к печати в Москве.

Как я жалею, что мы не увиделись тогда! Но кто же мог предвидеть, что мне придется вскоре пережить пожар моего джорданвилльского дома, возникший от электрозамыкания

ночью, так что просто чудом никто не пострадал, благодарение Богу. Однако в пожаре погибло многое, в частности много книг и большая часть моего архива, российские семейные реликвии. Естественно, восстановление дома и работа над изданием моих книг затянулась.

Но мы созваниваемся. Когда сроки моей поездки в Россию становятся более определенными, я радостно сообщаю об этом Юре.

– Буду ждать, – несется ко мне через огромное расстояние.

И вот наконец я снова лечу в Москву. На посещение Горького – Нижнего Новгорода отведено много времени. Можно всё успеть: и с Юрой повидаться и по договоренности с писательской организацией города даже выступить со стихами на двух площадках, а Нижегородская епархия ждет моего выступления по их радио. Но главное – радуюсь, что всё-таки смогу подарить Юре свои свеженькие две книжки, как и планировала – стихи и прозу. Из Москвы звоню в Нижегородское отделение Союза писателей о своем приезде.

– Да, Людмила, ждем вас. В скорбное время приходится увидеться. Поминки у нас. Юра Адрианов умер.

11 октября 2020 года

Елена АРСЕНЬЕВА

ДОЧЬ ВРАГА

Фрагменты повести

На этой базарной площади Нинка и Маркс иногда расклеивали листовки: на ограде старой церкви, на фонарном столбе, на стенах окружающих домов. По ночам, конечно, – когда здесь было пусто. А днём на площади обычно толклось немало народу. Кто приносил вещи для обмена на продукты, кто, наоборот, – продукты для обмена на вещи.

Приходили сюда и немецкие солдаты, а то и офицеры: норовили сменять консервы, или сахарин, или эрзац-мёд, или сигареты на одежду, особенно тёплую или хотя бы мало-мальски добротную. Особенно дорого у горожан ценились лекарства. За упаковочку аспирина отдавали целый отрез ткани! Вещи оккупанты отсылали в Германию. Ходили слухи, что в «Великой Германии» и вещи, и продукты распределяют по карточкам, вот гитлеровцы и стараются обеспечить своих фрау и киндеров. Ну и ладно, пусть меняют – главное, чтобы не отнимали, как было в начале оккупации. Тогда немцы врывались в дома и гребли все подчистую. Однако комендант Гросс живо навел порядок. По-немецки – орднунг. Гросс требовал соблюдения правил от всех: и от местных жителей, и от своих солдат. Солдат за грабежи отправляли на гауптвахту , жителей расстреливали за нарушение комендантского часа и за пособничество партизанам и подпольщикам. Но строже

всего за сохранение орднунга в городе комендант спрашивал с полицаев, оттого они и лютовали.

Иногда предпринимали рейды и облавы гестаповцы. Тогда ещё пуще лилась кровь…

Сегодня на базарной площади немецких мундиров что-то не было видно. Поговаривали, что в Краев прибыл новый заместитель коменданта, какой-то Шварц, что ли, и он глубоко возмущён тем, что германские солдаты «подкармливают большевиков», поэтому запретил солдатам что-то менять или покупать у местного населения.

Ну что ж, новая метла всегда по-новому метёт, известное дело!

Однако, хоть гитлеровцев не было, на площади сегодня оказалось довольно многолюдно. И Нинка знала, почему! Потому что на церковной ограде минувшей ночью появилась новая листовка и её пока ещё не успели сорвать. Около ограды толпился народ, а оттого в кружку старого нищего, который сидел около церкви, нет-нет да и падали медяки или рядом с кружкой кто-нибудь клал на землю кусок хлеба или картофелину.

– Здорово, да? – чуть слышно прошептал Маркс, попинывая, по своему обыкновению, старый футбольный мяч, и торжествующе улыбнулся.

Нинка хмуро кивнула. Она бы тоже радовалась вниманию, с которым горожане читали листовку, внизу которой стояла подпись «Народные мстители», если бы…

Вот именно, если бы!

Нинка сердито поджала губы и, достав ещё одну листовку, которая лежала в кармане ватника, незаметно сунула её в корзинку одного старикана. Он как раз оставил корзину с картошкой, которую хотел продать, и тоже пошёл читать листовку, наклеенную на церковной ограде.

Старикана звали дед Кашевар, и он был ужасно вредный. Почему его прозвали Кашеваром, никто не знал – знали только, что это бывший кулак! Когда у него все добро отняли и раздали беднякам, дед Кашевар и его жена перебрались из деревни в город, к сыну, который работал на льнозаводе. Развели большой огород и жили тем, что выращивали и продавали потом на базаре. А чтобы ребя-

тишки не лазили в огород, когда поспевал сахарный горох, дед Кашевар ходил вдоль забора с берданкой, заряженной солью, и стрелял из нее без всякой жалости, чуть кто близко подойдет! Потом жена старика померла. Началась война – сын ушёл на фронт. Когда нагрянули фашисты и велели сдать всё оружие, какое у кого оставалось, дед Кашевар свою берданку отволок, конечно, в комендатуру и теперь хаживал вдоль забора со своей тяжёлой клюкой. Как съездит по спине – не обрадуешься! Вредный дед, одним словом.

Впрочем, Нинке сейчас все казались вредными! Особенно разозлил какой-то человек, который вдруг негромко проговорил за её спиной:

– Ох и молодцы эти «Народные мстители»! И название для себя придумали замечательное!

Маркс покосился на сердитую Нинку и опустил голову, с трудом скрывая усмешку.

Он знал, почему злится «атаманша»!

Это ведь Юльку хвалят. Это она придумала «замечательное название». И клятву она придумала, которую недавно принесли все: и Марек, и Мишка, и Тимка… нет: Михаил Климко, Тимофей Фролов, Маркс Краснов, Нина Ломтева, Николай Поляков и Юлия Симонова. Клятва звучала так: «Я, Николай Поляков (Маркс Краснов, Юлия Симонова и так далее), вступая в ряды боевой организации “Народные мстители”, торжественно клянусь: пока жив, буду бороться с врагом и никому не выдам тайны нашей организации. Клянусь беспощадно мстить проклятым фашистам за нашу Советскую Родину, за наших людей, за всех убитых, казнённых, угнанных в Германию, за слёзы матерей и сестер, за кровь отцов и братьев. Клянусь не щадить ради этого самой жизни, а если я трусливо нарушу эту клятву и предам своих товарищей, пусть меня покарает их беспощадная рука. Клянусь! Клянусь! Клянусь!»

Конечно, прекрасные слова. Ребята очень воодушевились, дав эту клятву. Всем она нравилась. И Нине она тоже понравилась бы… если бы клятву не Юлька выдумала! Если бы все зависело только от Нины, она бы эту Юльку

и близко к своим ребятам не подпустила. Особенно к одному из них… Но теперь от новенькой, кажется, не отвяжешься!

Нина раздражённо огляделась:

– Ну где же связной?..

– Должен прийти, – уверенно сказал Маркс. – Ты пароль помнишь?

– Конечно! – огрызнулась Нинка.

Ещё бы она не помнила пароль! Что, Маркс её дурочкой считает, что ли?! Да у нее великолепная память, не зря она училась в школе на «отлично»! Велика важность запомнить пароль: «Как в горсовет, то есть в городскую управу пройти?» – и отзыв: «Нам… нам тоже туда нужно, мы вас проводим, пойдёмте!»

Маркс нарочно спрашивает, не забыла ли она. Надеется, что Нинка ему пароль и отзыв разболтает.

Ничего подобного! Это её секрет. А все те, кто Юлькой восхищается, обойдутся!

– А ну разошлись! – раздался вдруг крик. – Стрелять буду! Отошли все от столба!

Это полицай Стецьков примчался и начал разгонять людей, читающих листовку. Чуть не лопается от злости:

– А ну посторонись! Разойтись! Подонки советские! Пошли вон, всех перестреляю!

Наконец сообразив, что первым делом надо сорвать листовку, Стецьков попытался это сделать, однако она оказалась приклеена намертво. Пришлось действовать штыком, чтобы её соскрести.

Люди, которые разбрелись было по сторонам, вновь собрались к столбу и наблюдали за его стараниями, украдкой ухмыляясь и подталкивая друг друга.

– Чего вытаращились? – рявкнул Стецьков, обернувшись и наставляя на собравшихся винтовку. – А ну разошлись!

Люди неохотно попятились. А нищий, который до этого сидел себе да помалкивал, вдруг провозгласил громогласно:

– А Господь – он всё слышит и видит, его не прогонишь.

– Молчи, старый дурак, – огрызнулся Стецьков, – а то загремишь у меня куда Макар телят не гонял.

– Где я только не бывал, чего только не видал… – отрешенно пробормотал нищий.

Нина насторожилась: дед Кашевар наконец-то обнаружил листовку в своей корзине с картошкой, достал её, близко поднес к глазам и начал читать по слогам:

– «У-ни-что-жай-те вра-га, у-нич-то-жай-те во-ен-ное сна-ря-же-ние, под-жи-гай-те все, что мо-жет до-стать-ся фа-шис-там…»

– Ах, матушка родимая! – воскликнула, всплеснув руками, Ефросинья Самохина, соседка Нинкиной тётки. Муж её ушёл на фронт, детей не было, она славилась своим любопытством и частенько сидела на базарной площади, но не столько для того, чтобы обменять или продать свои старые, ещё довоенные платья, сколько ловя слухи о немцах и партизанах, о наступлениях и отступлениях, о новых приказах оккупантов… Потом она разносила эти слухи по соседям. Таким вот «радио О-Бэ-эС», то есть «Одна Баба Сказала», и жил Краев.

Остальные горожане, бродившие по базарной площади, потихоньку собирались вокруг деда Кашевара, вслушиваясь в каждое слово.

Подбежал Стецьков и замер, не веря ушам. А дед Кашевар упоенно читал:

– «Бей-те гит-ле-ров-ских га-дов! Мсти-те за на-шу Совет-скую Ро-ди-ну! Крас-ная Армия при-дет, победа будет за на-ми! “На-род-ные мсти-те-ли”».

– Народные мстители… – повторила Ефросинья как зачарованная.

А нищий пробормотал отрешённо:

– На начинающего бог!

Стецьков выхватил у деда Кашевара листовку, скомкал её и швырнул наземь:

– Ах ты ж старый дурак! Жить надоело, что решил коммунистическую пропаганду распространять во всеуслы́шание?!

– Всяк имеющий уши да слышит, – пробубнил нищий.

– Ох и нарвётся он! – пробормотала Нинка, с тревогой взглянув на старика, однако тут нищий перекрестился, а она как пионерка, почти комсомолка просто не могла

на это смотреть, поэтому опять повернулась к Стецькову и деду Кашевару.

Вредный старикан подобрал брошенную полицаем листовку и возмущённо прошамкал:

– Чи ты ошалел, Петро? Какую пропаганду, какую коммунистическую?! Ты что, не знаешь, что я честный кулак был, покуда у меня Советы все не отняли подчистую? Пропаганду, это ж надо такое сказануть! Нет, я эту листовочку на самокрутки пущу. Бумаги-то нету! Вот разживусь табачком – и искурю эту поганую писанину. Не видал, тут кто-нибудь табачком торгует чи ни?

– Не видал, – буркнул Стецьков и обернулся к собравшимся: – Чтобы этих слов – «Советская Родина» – я больше не слышал! Теперь у вас другая родина – великая Германия! Ферштейн? И фюрер новый! Вместо Сталина – Адольф Гитлер! Ферштейн?

Кто просто кивнул, кто понурился, кто пробормотал:

– Ферштейн… Понятно, господин полицай…

Стецьков довольно оглядел покорно склонённые головы и ушёл.

Но стоило ему удалиться на приличное расстояние, как дед Кашевар бережно расправил листовку и показал вслед полицаю кукиш:

– А вот тебе, гнида белоповязочная! Искурю! Да я эту листовочку кажинный божий день читать буду, как молитву, чтобы вот это сбылось поскорей: «Красная армия придёт, победа будет за нами!» Молодцы эти «Народные мстители»! До самых печёнок меня пробрало!

– С богом, с богом, рать святая!.. – пропел нищий, глядя в небеса.

– Всё-таки здорово Юлька написала! – воскликнул Маркс. – Если даже деда Кашевара, честного кулака, до самых печёнок пробрало, – значит, правильные слова.

– Слова-то правильные, да сама Юлька не больно-то правильная, – буркнула Нинка.

– Это почему?

– Потому что я ей не верю! – Нинкины глаза зло сверкнули. – Не верю, хоть тресни! Вкралась к нам в группу, охмурила всех!

– Кого это она охмурила? – удивился Маркс.

– Да вас всех, ребят! А в первую очередь Кольку. И чем она вас взяла? Чем она перед нами себя показала? Подумаешь, листовку написала, подумаешь, название группы придумала, подумаешь, клятву для нас сочинила! Да я бы в сто раз лучше сочинила!

– Ну и чего ж не сочинила?

– Да просто не успела! – отвела глаза Нинка.

– Ох, не успе-ела ты! – протянул Маркс. – Да нашей группе уже полгода, а ты все не успевала! Если бы не Юлька, у нас бы ни названия, ни клятвы не было.

– Да подумаешь, чепуха это, – фыркнула Нинка.

– А радиоприёмник – тоже чепуха? – возмутился Маркс. – Это ведь Юлька нашла радиоприёмник. Мишаня его уже достал. И ничего, не сорвался, не убился! Ох и ловкий он! Все до приёмника снизу, по лестницам, пытались добраться, вот и срывались, а Мишаня с крыши на верёвке спустился, с крепкой балки, и на крышу приёмник снова поднял. Так что теперь у нас есть радио!

– Подумаешь! – презрительно скривила губы Нинка. – Ещё неизвестно, будет ли оно работать.

– Тимка приёмник уже проверил, говорить, что можно починить, – сообщил Маркс. – Подпаять кое-что – и заработает!

– Мало ли что Тимка говорит! – дёрнула плечом Нинка. – Подумаешь, изобретатель радио Алексей Попов нашелся!

– Александр, – пробормотал Маркс.

– Чего?! – нахмурилась Нинка.

– Того! – огрызнулся Маркс. – Александр Попов изобрел радио, а не Алексей.

– Подумаешь, велика разница! – фыркнула Нинка. – Вот заработает радиоприёмник – тогда и будем радоваться, а пока ещё рано. Но всё равно Юльке я не доверяю.

Конечно, Нинка нравилась Марксу. Раньше его даже немножко заедало, что она к Коле явно неравнодушна, а на него, на Маркса Краснова, никакого внимания не обращает. Но он любил справедливость и знал, что эту новую девчонку есть за что уважать. И есть повод ей доверять.

Поэтому он не удержался от того, чтобы не поинтересоваться ехидно:

– А как насчет того, что Юлька Колю спасла? Это факт, а не реклама!

– Подумаешь, я бы тоже его спасла! Я бы для него… я бы… – начала было Нинка, но осеклась, спохватившись, что проговорилась. Однако Маркс и так всё понял.

– Ясно... – протянул он.

– Что тебе ясно? – насторожилась Нинка.

– Да всё! – вздохнул Маркс. – Ты бегаешь за Колькой, а он бегает за Юлькой. Поэтому ты Юльку терпеть не можешь. Классический любовный треугольник.

– Сам ты треугольник! – окрысилась Нинка. – Какая может быть любовь, когда война?! Знаешь частушку?

Ах, война, война, война,
Злобная зверюга!
Дала клятву не влюбляться
Я в своего друга!

– пропела она. – Вот так и я дала клятву ни в кого не влюбляться!

– Что б ты, Нинка, понимала, – вздохнула тётка Ефросинья, которая как раз прошла мимо и услышала частушку. – От любви не закроешься никакими клятвами! – И печально пропела:

– Ох ты, горюшко земное,
Ни к кому не прислонюсь.
Через Гитлера кривого
Я вдовою остаюсь!

– Да, война-войнуха! Всем от неё беда! – уныло пробормотал дед Кашевар и тоже завёл надтреснутым голоском:

– На закате возле хаты
Ходит немец с котелком.
Дайте курку, дайте яйки
Да корову с молоком!

– Скоро эти гады нас начисто обчистят, по миру пустят! – добавил старик.

Марксу стало тошно слушать эти причитания! И он пропел с вызовом:

– Ехал Гитлер на Москву
На машинах-таночках.
А оттуда, из Москвы,
На разбитых саночках.

И тут, к своему изумлению, Маркс услышал бодрый голос нищего, который стучал своей кружкой по земле и пел:

Эх-ма, наша мать –
Горькая Расея.
Научились воевать –
Долбанём злодея!

Кто-то в толпе подхватил:

– Долбанём, долбанём,
Живы будем – не помрём.
Живы будем – не помрём,
Кол осиновый воткнём!

Ему ответил другой голос:

– Эх, яблочко
Да розмариново,
Всех врагом победим
До единого!

Нинка и Маркс изумлённо переглянулись. Ай да разошелся народ…

Какие у всех счастливые лица сейчас! Люди словно на свободу вырвались, словно собрались на демонстрацию в честь 7 Ноября или 1 Мая, где всегда играла гармошка и пели не только торжественные песни, но и частушки голосили во всю мочь, от всей души...

Маркс от полноты чувств залепил мячом в церковный забор и чуть ли не прокричал:

– От Москвы и до Берлина
Дороженька узкая,
Сколько, Гитлер, ни храбрись,
Победа будет русская!

И застыл с открытым ртом, увидев какого-то гитлеровца, который вышел из-за угла и, конечно, слышал, как на площади поют. И слышал, *что* поют!

Хотя, может быть, он не понял ни слова… Но всё же – как они могли забыть обо всякой осторожности?!

Торговки уткнулись в свои корзинки и мешки, нищий принялся сосредоточенно пересчитывать в кружке медяки.

Мгновение свободы закончилось. Они опять стали пленниками гитлеровских оккупантов...

Но нет-нет да и проскользнут на лицах затаённые улыбки. Частушки сделали-таки свое дело!

А гитлеровец приближался.

Вообще самым разумным было бы, конечно, дать дёру… Но ведь должен прийти связной! А может, этот фашист всё-таки ничего не слышал?

Нет, кажется, слышал… то-то направился прямиком к Марксу и Нинке!

Ребята, не сговариваясь, попятились, в любую минуту готовые повернуться и чесануть прочь, однако гитлеровец оказался каким-то очень проворным и мгновенно сцапал обоих за руки:

– Хальт. Кто здесь петь?

Нинка огляделась, чуть ли не выпучив глаза от недоумения:

– Где?

– Нах пляц, – уточнил фашист. – На плёщадь. Кто нах пляц мечется, как баран на новые ворота?

– Ну и сказанул! – хохотнул Маркс. – Баран на новые ворота не мечется, а пялится!

Судя по тому, как ужасно немец говорил по-русски, ничего понять он был не способен, поэтому Маркс надеялся, что ничем не рискует, так опасно пошутив.

Нинка, похоже, подумала так же, потому что похлопала невинными глазками:

– Господин офицер, здесь нет ни баранов, ни ворот.

– Я ефрейтор, – сообщил фашист.

Ишь, какой скромник!

Нинка и без него знала, что это ефрейтор: можно было научиться за время оккупации различать погоны врагов. И даже нужно! Ребята часто следили за перемещёнием гитлеровских войск, считали, сколько офицеров, сколько рядовых, сколько орудий. Когда был жив Иван Иванович, все эти сведения передавались партизанам, чтобы они точно знали о положении в городе, об увеличении вражеского гарнизона, о передвижениях вражеских частей. Наверное, теперь сведения будет передавать новый связной.

А что если он не появится, потому что сюда припёрся этот ефрейтор? Надо от него поскорей отвязаться!

– Господин ефрейтор, здесь нет никаких баранов! – сладким голоском сообщила Нинка.

– Почему нет, вот же баран стоит передо мной, – пробурчал Маркс, которому очень хотелось хоть немножко поиздеваться над фашистом.

Нина опасливо толкнула его в бок, а гитлеровцу сказала:

– Никто здесь не пел.

– Я слышал своим ухом, – торжественно сообщил тот.

– Что, всего одно ухо у тебя, рожа фашистская? – пробубнил себе под нос Маркс. – Ничего, погоди немного, мы и второе оборвем.

– Сдурел, Марек, так шутить? А вдруг он слышал? – прошипела встревоженная Нинка.

– Сдурел, Марек, так шутить? А вдруг он слышал? – вдруг повторил ефрейтор, хлопая голубыми глазами совершенно так же, как Нинка.

– Да он ничего не понимает! – хохотнул Маркс, уже не стараясь говорить тихо. – Повторяет, как попка!

Ефрейтор поднял одну бровь и насмешливо уставился на него:

– Думаешь, Марек, ты очень храбрый? А на самом деле очень глупый. Это ты баран, а не я. Среди «фашистских

рож» многие понимают по-русски. И ты рискуешь, очень рискуешь глупо погибнуть. Не за дело, а по глупости. Понял?

Ах ты гад! Маркс так и вспыхнул. Мало того, что дурака из себя строил, так ещё и издевается! Ишь, заботливый какой нашёлся!

– А твоя какая печаль? – прошипел он с ненавистью. – Вы нас всех поубивать хотите, что вдруг обо мне взялся заботиться?

– Марек, хватит! – испугалась Нинка. – Отвяжись от него! Уходим скорей. Мы пойдём, господин офицер.

– Я ефрейтор, – терпеливо уточнил фашист.

– Ауфвидерзейн, господин ефрейтор, – выдохнула Нинка, изо всех сил пытаясь освободить руку из его цепких пальцев.

– Айн момент, – покачал головой ефрейтор, не отпуская ни её, ни Маркса. – Что-то я заплутался в вашем городе, ребятишки. Как в горсовет, то есть в городскую управу пройти?

Нина уставилась на него, буквально онемев. Да ведь это пароль!

– Что?! – прошипел возмущённый Маркс. – Чего тебе ещё надо?

– Не слышал? – осведомился ефрейтор. – Или у тебя только одно ухо? Чего пялишься, как баран на новые ворота? Повторяю: что-то я заплутался в вашем городе, ребятишки. Как в горсовет, то есть в городскую управу пройти?

– Маркс, это пароль! – выпалила Нинка и уже сама схватила ефрейтора за руку: – Нам… нам тоже туда нужно, мы вас проводим, пойдёмте!

Маркс даже рот разинул.

Пароль? Этот гитлеровец и есть связной?! Ни-че-го себе!

– О-ой, – протянул он со счастливой, совсем детской улыбкой, – ой, мы вас так ждали… Но даже в голову не приходило, что вы придёте в этой форме! А как вы нас узнали?!

– Не догадываешься? – усмехнулся связной. – По паролю и отзыву. Кроме того, Иван Иванович всех своих

учеников описывал. И вас двоих, и Тимку, и Колю, и Мишаню…

– Вы знали Ивана Ивановича? – встрепенулся было Маркс, но сразу вздохнул горестно: – Его повесили…

– Мы отомстим за него, – сурово сказал связной. – А теперь слушайте. Есть одно задание.

– Мы всё сделаем! Любое задание выполним! – в один голос заявили Нинка и Маркс, и в это время нищий, только что перебиравший монеты в своей кружке, неожиданно громко воскликнул:

– Всякое дыхание да славит Господа!

– Тихо! – настороженно взглянул на ребят связной. – Держитесь от меня подальше.

Он быстро отошел от ребят и с любопытством уставился на картошку в корзинке деда Кашевара.

Маркс опять принялся пинать мяч.

– Ну чего зенки вылупил, аль не видал никогда, аль в твоей Неметчине картошка не ро́дится? – рассердился дед Кашевар.

– Твой кар-тош-ка ест зер гут! – заявил связной.

– Сам ешь свой зер гут! – проворчал дед Кашевар.

На площади появился Стецьков в сопровождении патрульного солдата. Огляделись, отдали честь ефрейтору, который небрежно махнул им рукой, и, никого не тронув, прошли дальше.

Нищий перекрестился:

– Да воскреснет Бог, да расточатся врази его! Яко исчезает дым, да исчезнут!

– Твоими бы устами, добрый человек, да мед пить! – перекрестился и дед Кашевар.

Бросил ефрейтору:

– А ты гуляй отсюдова, неча лапы распускать!

Схватил свою корзинку и быстро ушёл.

Ефрейтор огляделся, сделал знак ребятам, и те снова подошли к нему.

– Через Энск идёт на запад линия связи с Берлином, – быстро заговорил связной. – Однако схему её найти не удалось даже мне, хоть я служу в комендатуре. Она в секретном сейфе коменданта. И все же необходимо обнаружить

кабель и прервать связь. Партизаны будут искать его в лесу, а вы ищите в городе. Конечно, кабель тщательно замаскирован...

– Мы его найдём. Обязательно найдём! – пообещал Маркс.

– Неужели это все, что вы нам поручаете?! – обиженно спросила Нинка. – Разве мы дети малые? Да мы листовки расклеивали, мы у грузовиков немецких шины резали, мы…

– Это все здорово, что вы делали, – улыбнулся связной. – И будете продолжать! Это партизанам огромная помощь, но сейчас именно кабель – первоочередное задание. Однако вы должны быть очень осторожны, понимаете? Осторожность – первое условие. С глупой дерзостью должно быть покончено! Это тебя касается прежде всего, Маркс Краснов! Если схватят кого-то из вас, значит, схватят и остальных. Погибнут все. А через вас могут выйти и на партизан, это понятно?

– Вы что, думаете, если нас будут пытать, мы кого-то выдадим?! – оскорбился Маркс.

– Да как вы можете в нас сомневаться?! Как вы можете считать нас предателями?! – возмутилась и Нинка.

– Если бы я в вас сомневался, а тем более, считал вас предателями, то не подошел бы к вам, – серьёзно заявил связной. – А теперь идите. До городской управы я и сам доберусь. – И добавил с улыбкой: – Я ведь отлично знаю, где она находится!

– А если мы найдем телефонный кабель, как об этом сообщим? – спохватился Маркс.

– Если вы что-то найдете, об этом сразу узнают все, поскольку телефонная линия оккупантов будет прервана, – усмехнулся ефрейтор. – Но вы правы, у нас с вами связь должна быть. На всякий случай. Вы в церковь ходите?

Нина и Маркс возмущённо переглянулись.

– Скажете тоже! – презрительно бросил Маркс. – Мы ведь пионеры, мы в комсомол готовились! Мы безбожники!

– Мы крестные ходы разгоняли! Мы над попами смеялись! – гордо заявила Нинка. – Мы частушки пели знаете какие? Вот послушайте! – И шёпотом быстро пропела:

– Дуют, дуют ветерки,
Дуют ветерочки.
В церковь ходят старики
И поповы дочки.

Нищий только головой покачал, услышав это, а Марк, насмешливо поглядывая на него, подхватил:

– Не годится нам теперь
На богов надеяться.
Есть у нас одна надёжа –
На красноармейца!

– Прости им, Боже, ибо не ведают они, что творят! – пробормотал нищий, а связной даже головой покачал:

– Да, весёлые вы ребята, ничего не скажешь! Но всё-таки именно на бога нам придётся надеяться в данном случае. В кружку этого нищего можно бросить записку для меня. Только чтобы никто не видел, понятно?

Маркс снова изумлённо разинул рот:

– Так он тоже наш?! А я думал, обломок старого строя, распространитель опиума для народа…

– Это разведчик? – недоверчиво уставилась на нищего Нинка. – Да? Наш разведчик? Как вы?!

– Тише, тише, – нахмурился связной. – Зря языком не болтайте. Вот пароль для нищего: «Помолись, дедушка, не за упокой, а за здравие». Отзыв: «Во всякой безнадёге надейся на Бога!» Запомните?

Маркс и Нина переглянулись с кислым видом.

Ну и пароль… Да такой пароль произнести пионерам, будущим комсомольцам стыдно!

– Не слышу ответа! – сурово проговорил связной.

– Так точно! – отрапортовали Нинка и Маркс, вспомнив, что ради победы людям приходится идти на многие жертвы и понадеяться на бога – это самая малая из них.

– Завтра пусть кто-то из вас придёт сюда же в это же время. Пароль для связи со мной тот же. Получите новое серьёзное задание и кое-что ещё.

Ефрейтор кивнул на прощание, быстро пересёк площадь, повернул за угол и скрылся из глаз. А ребята только

переглядывались да косились на нищего, который оказался… нет, просто с ума сойти, кем он оказался!

А тот хмыкнул, откусил от ломтя хлеба, прожевал и насмешливо сказал:

– Во всякой безнадёге надейся на Бога!

. . . . .

Гауптман Теодор Шварц, новый заместитель коменданта города Краева, перебирал документы в папке, которая была озаглавлена «Приказы командования. Берлин».

Сам комендант, майор Эмиль Гросс, сидел за столом, на котором стояло несколько телефонных аппаратов, и подписывал бумаги, которые ему подкладывал его помощник, ефрейтор Райнер. Райнер превосходно знал русский язык и национальные обычаи, поэтому Гросс предпочитал именно его помощь во время рассмотрения дел, которые касались работы с местным населением. Впрочем, вся работа оккупационных войск была напрямую связана с местным населением, поэтому Гросс вызывал к себе Райнера чаще других своих помощников.

Гросс был бы потрясён, если бы узнал, что его помощник русский, более того – связан с партизанами и подпольщиками.

– Чем вы так увлечены, гауптман? – спросил Гросс, кладя наконец ручку.

Райнер аккуратно складывал подписанные документы в папку с наклейкой «Приказы коменданта города Краева».

Шварц прочел вслух:

– «Указ Министра по делам оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга о вынесении специальными судами приговоров о смертной казни лицам, не повинующимся оккупационным властям, Берлин, 23 августа 1941 года».

– Да, и что? – удивился Гросс. – Можете идти, Райнер.

Ефрейтор щёлкнул каблуками и вышел, жалея, что не узнает, о чем пойдет разговор между комендантом и его новым заместителем.

Гросс задумчиво смотрел на Шварца.

Они были друзьями детства. Более того, Теодор Шварц однажды спас жизнь своему приятелю Эмилю, когда тот чуть не утонул! Потом их пути разошлись: Гросс стал солдатом вермахта, Шварц занимался более опасной и сложной работой за границей Германии, в частности в СССР, однако чуть не погиб и вынужден был вернуться в фатерлянд. После этого он простился со своим прежним ведомством и так же, как Гросс, стал служить в действующей армии. Конечно, шпион не перестает быть шпионом, и те, кому был известен послужной список Шварца, могли бы опасаться такого сослуживца, однако Гросс верил в порядочность своего друга. Кроме того, он отлично знал, ради чего Шварц приложил столько усилий, чтобы попасть на службу именно в Краев. Гросс из деликатности не спрашивал, нашёл ли его друг то, что искал здесь, однако у него сегодня такой мрачный вид… Неужели опять потерян след тех, кого Теодор так упорно ищет?

– Можно подумать, ты видишь этот приказ впервые, Тео, – осторожно начал Гросс.

– Вижу, конечно, не впервые, но только сейчас осознал, о чем тут идёт речь, – проговорил Шварц и продолжал читать вслух: – «Местное население обязано вести себя в соответствии с немецкими законами и с приказами, изданными для него немецкими властями…»

– Разумеется, – буркнул Гросс. – Или мы должны позволить этим унтерменшам, этим недочеловекам делать что им угодно? Но, может быть, хватит мелодекламации? Лучше поговорим о другом. Я так и не понял, видел ли ты дочь.

Впрочем, Шварц словно не слышал коменданта и читал дальше:

– «Все лица, осуществляющие акт насилия против немецкой империи или против органов власти, находящихся на территории оккупированных восточных областей; все лица, намеренно разрушающие учреждения, принадлежащие немецким властям, объекты, служащие деятельности немецких властей, или сооружения, служащие общественным интересам; все лица, подстрекающие к неподчинению указам или постановлениям немецких властей;

все лица, нарушающие установленный для них распорядок передвижения по оккупированной территории…»

– И так далее, и так далее – «подлежат смертной казни», – раздражённо перебил Гросс. – Я вижу и читаю это каждый день. И чуть ли не каждый день выполняю приказы господина фон Розенберга. Благодаря этому в городе почти спокойно. Расправившись с подпольщиками, мы подавили почти всякое сопротивление. Остались только одиночки, которых мы рано или поздно выловим! Кстати, я задал тебе вопрос. Ты так и не рассказал, видел ли свою дочь?

– Да, – кивнул Шварц, наконец-то закрывая папку. – Видел и даже говорил с ней.

– Ну?! – обрадовался Гросс. – И чем кончился разговор?

– Можно сказать, ничем, – передернул плечами Шварц. – Она меня ненавидит. Сказала, что настоящим отцом считает своего отчима Фёдора Симонова, чью фамилию носит.

– А кто он такой? Ты знал его? – спросил Гросс.

– Да, немного знал в то время, когда работал инженером в Харькове. Вокруг Ирины крутился какой-то безнадежно влюбленный поклонник...

Семнадцать лет назад Теодор Шварц был заброшен в Советский Союз для проведения диверсий на крупных промышленных предприятиях. У него имелись превосходные документы на имя инженера Фёдора Чернышова и безупречная легенда. Шварца очень забавляло, что ему достались документы на имя и фамилию, фактически совпадающие с его собственными. Фёдор – то же, что Теодор, а слово «шварц» в переводе на русский означает «чёрный».

Ему удалось устроиться на Харьковский авиазавод. Во многом помогла доктор заводской больницы Ирина Извицкая. Разумеется, она не знала, кто такой на самом деле этот красивый инженер!

Чернышов намеревался просто использовать хорошенькую докторшу в своих целях, однако с первой минуты встречи понял, что влюбился в нее. Это была именно такая любовь, о которой он раньше только в книгах читал

и в существование которой не слишком верил. Всепоглощающая страсть! Теперь он думал не только о выполнении задания, но и о том, как увезти Ирину с собой в Германию. Чернышов начал осторожно подготавливать почву для отъезда из Харькова вместе с Ириной, искал способ достать для нее фальшивые документы, чтобы потом вместе с ней перебраться через границу... Но случилось непредвиденное. Чернышовым заинтересовалось НКВД. Он не знал, где и какую оплошность допустил, однако благословлял судьбу за то, что они с Ириной держали свои отношения в тайне. Отчасти из-за этого Фёдора Симонова, который проходу Ирине не давал, следил за ней и подозревал, что Чернышов ей нравится. Ирина даже боялась его и сама предложила своему возлюбленному скрывать их чувства. Шварц подозревал, что это Симонов написал на него донос в НКВД – не потому, что подозревал в нем шпиона, а просто чтобы устранить соперника.

Это могло показаться невероятным, но именно Симонов предупредил Чернышова, что за ним уже выехали сотрудники НКВД. То ли совесть в нем взыграла, то ли «загадочная славянская душа»… А может быть, он просто боялся за Ирину?

Арест Чернышова означал бы провал всей шпионской организации, работавшей в Харькове, поэтому он немедленно покинул город и под запасными документами добрался до границы. При переходе был тяжело ранен случайной пулей, долго пролежал в госпитале. Потом пытался через верных людей отыскать Ирину и дать ей знать о себе: ведь, спасаясь бегством, он даже записку не успел оставить! Вскоре он получил ответ: Ирина Извицкая вышла замуж за Фёдора Симонова и родила дочь, которую назвала Юлей.

Однако Шварц знал, что это была его дочь, он сам выбрал для нее имя! Он догадывался, что Симонов спас Ирину, женившись на ней: спас от подозрений в том, что она встречалась с загадочным инженером Чернышовым. Видимо, Симонов в самом деле любил Ирину, любил так же безумно, как любил Шварц, если не побоялся ради нее рисковать.

Теперь и Ирина, и дочь были для Шварца потеряны. Но он всё же надеялся на лучшее.

Он продолжал любить Ирину, даже думать не хотел о других женщинах, и война Германии с Советским Союзом была для него средством не только уничтожения ненавистной страны большевиков, но и возможностью снова встретиться с любимой женщиной и увидеть, наконец, дочь.

Шварц не сразу смог попасть в Харьков, а когда попал, искал там Ирину, но так и не нашел. А потом узнал, что Симонов погиб ещё в 1939 году, а Ирина с дочерью перед самой войной уехали в Краев, где жили её родители.

Теперь Шварц постарался перебраться на службу в Краев. Во многом ему помог старинный друг Эмиль Гросс…

– Какая злая насмешка судьбы, – невесело усмехнулся Шварц, – что отчима Юли звали так же, как зовут меня. Теодор – то же, что Фёдор. Я был Фёдором Чернышовым, он – Фёдором Симоновым…

– А как звучит по-русски мое имя? – спросил Гросс, пытаясь отвлечь друга от печальных воспоминания. – Как будет по-русски Эмиль?

– У русских есть старая сказка про некоего деревенского парня Емелю, который поймал волшебную щуку, – ответил Шварц. – Думаю, этот Емеля – твой тёзка, Эмиль.

– Емеля! – брезгливо передернулся Гросс. – Этакое варварство! Ну и что за чудеса творила его щука?

Шварц усмехнулся:

– Насколько я помню, она умела говорить и заставила печь, на которой лежал Емеля, переезжать на довольно далёкие расстояния, причем с весьма приличной скоростью!

Гросс расхохотался и даже не сразу смог сказать:

– Получается, русские в незапамятные времена изобрели что-то вроде автомобиля? Мы считаем их людьми из болота, дикарями, а они, выходит, очень умны?

– Ты прав, Эмиль, – серьёзно ответил Шварц. – Я работал с русскими. Я их хорошо знаю. Они в самом деле очень умны. Однако ленивы, как медведь, которые сладко спит и не хочет вылезти из берлоги. Но уж если вылезет – берегись его! Особенно если этому русскому медведю помешали спать и разорили его берлогу. Тогда его не остановить!

– Брось, Тео, – отмахнулся комендант. – Я ведь тоже знаю Россию. Не так хорошо, как ты, но знаю. Я много слышал о ней, о её обычаях. И мне приходилось читать об охотниках, которые зимой поднимают медведя из берлоги и приканчивают его, не боясь его ярости!

– Да, мне тоже приходилось читать об этом, – кивнул Шварц. – Я всегда надеялся, что для бесстрашных охотников всё кончится хорошо.

Гросс испытующе взглянул на своего друга. Некоторое время оба молчали. Потом Гросс опять спросил:

– И всё же – как ты намерен поступить с дочерью?

– Для начала надеюсь уговорить её переселиться ко мне в отель, – невесело проговорил Шварц.

– Она даже не это не согласна? Неужели и правда тебя ненавидит? Или… или она ненавидит не только тебя, но и всех нас? – прищурился Гросс.

– У нее есть на это основания, – уклончиво проговорил Шварц.

– Какие? – разозлился Гросс. – Неужели она пропитана советской пропагандой? Ведь она наполовину немка, фольксдойче…

– Какая, к черту, пропаганда?! – рявкнул Шварц. – Ты знаешь, что случилось с моей Ириной? С Юлиной матерью?

– Судя по тому, что ты о ней не упоминаешь, она умерла? – уже мягче проговорил Гросс. – Прими мои соболезнования, если это так.

Шварц покачал головой.

– Нет? Она жива?!

– Она погибла, – холодно сообщил Шварц. – Год назад её расстреляли по приказу коменданта города, который очень усердно исполнял распоряжения министра по делам оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга. По твоему приказу, Эмиль.

– Да что за бред?! – развел руками обескураженный Гросс. – Она что, была партизанкой?! Надо поднять документы, все выяснить…

В это минуту коротко звякнул один из телефонных аппаратов. Гросс с видимым облегчением схватил трубку:

– Алло! Майор Гросс у телефона! Алло! – Постучал по рычагу и с недоумением опустил трубку: – Что за черт?

– Нет, Ирина не была партизанкой, – продолжал Шварц. – Её просто швырнули к стенке за то, что она появилась на улице в 18 часов 10 минут, в то время как комендантский час заканчивается у нас в 18. Так что, как видишь, Эмиль, у моей дочери имеется основательный повод нас ненавидеть!

Опять раздался короткий звонок. Гросс снял трубку, постучал по рычагу...

– Мне жаль, что так получилось, искренне жаль, поверь, Тео. Я и представления не имел… – Он снова нервно стукнул по рычагу. – Да что за чёрт со связью?! Этот приказ касался не её лично, а всех русских. Мы только взяли Краев, мы должны были пресечь даже поползновения к любому неповиновению… – Швырнул трубку.

– Я не виню тебя, – пожал плечами Шварц. – Я просто пытаюсь объяснить, почему не могу найти общего языка с моей дочерью.

– Я понимаю! – раздраженно воскликнул Гросс. – Я всё понимаю, кроме одного: что случилось со связью?

Он нажал на кнопку вызова на столе. Дверь в приёмную распахнулась, на пороге появился Райнер:

– По вашему приказанию…

Гросс потряс безответной трубкой:

– Что происходит?

– Связь внезапно пропала, господин майор! – доложил Райнер. – Возможно, обрыв на линии. Или повреждение кабеля.

– Проверить линию. Проверить кабель. Немедленно! – скомандовал Гросс.

– Яволь! – выпалил Райнер и исчез

– Так что ты говорил, Тео? – рассеянно спросил Гросс.

– Я говорил, что ни в чем не виню тебя, – повторил Шварц. – Это война. Она отняла у меня надежду снова встретиться с Ириной, но вернула мне дочь. Во всяком случае, я очень на это надеюсь.

– Я тоже, – кивнул Гросс. – И я искренне рад за тебя, Тео. Главное, что твоя девочка нашлась!

Он опять схватил трубку и опять раздраженно швырнул её.

– А теперь идем. Я сам должен выяснить, что случилось!

Он почти выбежал из кабинета.

Шварц подошел к столу, поднял трубку, постучал по рычагу…

Обрыв на линии? Повреждение кабеля? Интересно, где именно?

– Неужели они всё-таки сделали это, безумные дети?! – пробормотал он, и в голосе его звучал страх.

. . . . .

Теодор Шварц ждал свою дочь. Он уже поднялся по этой ужасной лестнице, ежеминутно рискуя жизнью, постучал в дверь с табличкой «Извицкий Н. П.», обнаружил, что дверь заперта, и спустился, больше заботясь о том, чтобы не раздавить коробочку с пирожными, которую держал в руках, чем о чистоте своего мундира и сапог, а также о целости своих конечностей.

Сердце щемило от беспокойства: где Юля? Что с ней? И было страшно даже представить, как она могла она прожить здесь одна – почти год после смерти Ирины.

Там, в Германии, размышляя о встрече с Ириной и дочерью, Шварц видел эту встречу в каких-то идиллических, розовых тонах, особенно когда узнал о гибели Фёдора Симонова, своего соперника. Шварц даже представить себе не мог, что Ирина окажется расстреляна, а дочь будет смотреть на него с ненавистью.

Ирина смотрела на Фёдора Чернышова только с любовью. А Юля…

А Юля смотрела на Теодора Шварца с ненавистью.

Эта ненависть обезоруживала его. Он не знал, как нужно держать себя с дочерью. Во время первой встречи потерял терпение уже через минуту после бессмысленных пререканий с ней и её глупых доводов о том, что ей стыдно оказаться дочерью фашиста!

Нет, Шварц не разозлился. Он почувствовал себя до крайности несчастным!

Его поражали собственные чувства. Он никогда не видел эту девчонку, а между тем с первого мгновения она совершенно завладела его сердцем и душой. Ему вдруг открылось, что отцовство – это великое счастье, пожалуй, не меньшее, чем материнство. Эта девчонка была ему родной, родной, и он тоже хотел стать ей родным!

Шварц не собирался оставлять дочь на растерзание войне и этой ужасной стране, которая продолжала сопротивляться, несмотря на то что была обречена на поражение, как были в свое время обречены Франция, Польша, Бельгия и все прочие государства, быстро склонившиеся перед мощью германской военной машины. Шварц приложил огромные усилия, чтобы попасть в Россию, в Краев. Теперь он приложит ещё больше усилий, чтобы добиться перевода отсюда. Нет, не в Берлин: он не любил этот город. Париж, Рим – вот куда он уедет и куда увезет свою дочь. Она должны расти не среди развалин, а среди памятников архитектуры, среди красоты, среди музеев с их картинами и статуями.

Конечно, Юля не сразу согласится уехать. И сейчас, прохаживаясь в ожидании её, Шварц продумывал те доводы, которые мог привести дочери, чтобы убедить её слушаться.

Однако Юля не возвращалась. И беспокойство мучило Шварца всё сильнее.

Где она? Что с ней? Имела ли она отношение к той нелепой диверсии, которую сегодня ликвидировали благодаря его своевременному вмешательству? Кажется, никого не задержали. Но вдруг ему ещё не все известно?..

Тревога Шварца дошла до передела, он мерил выщербленную мостовую шагами все быстрее и быстрее, как вдруг Юля вылетела из-за угла и чуть ли не наткнулась на него, но немедленно отпрянула в сторону с таким испугом, как если бы перед оказался нильской крокодил.

Шварц увидел слезы на её глазах, и сердце его глухо стукнуло. Он был готов немедленно застрелить всякого, кто обидел бы дочь, однако ни за что не хотел бы выглядеть в её глазах врагом и её самой, и её неразумных друзей, и всей этой непонятной страны, которую она любила неведомо почему.

– Юльхен, здравствуй, моя девочка, – ласково проговорил Шварц.

Она опустила голову и попыталась молча проскользнуть мимо, но Шварц задержал ее:

– Даже поздороваться со мной не хочешь? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?

– Дайте мне пройти, – буркнула Юля. – Я устала.

– Может быть, ты пригласишь меня зайти? – осторожно попросил Шварц. – Я принес пирожные. Теперь на Хорст-Вессель-штрассе появилась отличная цукарбекарай… то есть кондитерская. Мы могли бы выпить чаю.

Юля уставилась на коробку, которую Шварц бережно держал в руках, и прочла надпись на наклейке:

– «Цукарбекарай нур фюр официр»? Кондитерская только для офицеров? – криво усмехнулась: – Спасибо, не надо. Вдобавок у меня и заварки нет. Я кипяток пью. Это нихт фюр официр! Не для офицеров!

– Ничего, – миролюбиво улыбнулся Шварц. – Я принес отличный чай.

– У меня не убрано, – с вызовом сообщила Юля. – Нихт фюр официр!

– Ничего страшного, – терпеливо сказал Шварц. – Я неприхотлив. Однако не понимаю, как ты вообще можешь жить в этих развалинах!

– Здесь мой дом, – огрызнулась Юля. – Там наши с мамой вещи.

«Так, – подумал Шварц, – пришло время приступать к намеченному плану действий!»

– Ты должна переехать ко мне, – мягко предложил он. – Мы заберём все, что тебе дорого! Картины, пластинки, книги… Я буду счастлив, если ты поселишься у меня, если когда-нибудь назовешь меня мейн фатер, моя отец.

– Мейн фатер?! – с издевкой повторила Юля – Слушайте, мейн фатер, отвяжитесь от меня! Я никогда не буду жить у фашиста, у врага моего, моих друзей, моей страны! Сто раз уже говорила – нет! Пустите!

План, разработанный Шварцем, летел к черту. Миролюбивые уговоры на нее не подействуют. Эта опасная

фанатичка, а не ребенок. Значит, к ней нужно применять сильнодействующие методы убеждения.

– И все же есть надежда, что на сто первый раз ты скажешь «да», – спокойно заявил Шварц..

– Это ещё почему? – пренебрежительно усмехнулась Юля.

– Разумеется, я враг твоей стране, но не враг твоим друзьям. И могу это доказать! – заявил Шварц.

– Ну надо же! – воскликнула Юля и недоверчиво расхохоталась.

Ни она, ни гауптман Шварц не заметили, что в это мгновение из-за угла вылетел Коля, но тотчас отпрянул, привалился к холодной безжизненной стене.

Его поразило это зрелище: Юлька и этот фашист беседуют вполне мирно, она даже смеётся…

Над чем она смеётся? Над тем, что сначала подсказала ребятам, как найти кабель связи, а потом надоумила своего папашу-оккупанта найти место диверсии и выслужиться перед своими?

Фашисты свои и папаше, и доченьке.

Значит, Нинка была права, значит, это правда…

Юльке смешно! Ей смешно! Какой же он был дурак, Николай Поляков, который и в самом деле с первого взгляда одурел от этой девчонки, считал её необыкновенной, загадочной, таинственной…

Она предательница. Она смеётся над теми, кого обманула. И над ним, над Колей смеётся!

Коля достал пистолет и передёрнул затвор. Поднял руку и сделал шаг, чтобы выйти из-за угла.

Первый выстрел в фашиста, второй в Юльку. Может быть, тогда он сам сумеет убежать.

А впрочем, сейчас собственное спасение не имело для него особого значения. Главное – отомстить!

И в это мгновение, которое едва не стало бесповоротным, безвозвратным, смертельным, Коля вдруг услышал голос Шварца:

– Ты, конечно, ещё не знаешь, что всего лишь через два часа после того, как твои отважные приятели перерубили

в парке кабель и прервали телефонную связь, повреждение было устранено.

– Что?! – ошеломлённо повторила Юля. – Не может быть!

Коля, услышав это, споткнулся.

Она удивлена? Она не знает? Но как же это может быть, ведь она сама рассказала этому фашисту…

Или не рассказала?!

Теперь он вслушивался в каждое слово Шварца, который сурово говорил:

– Вы все, ты и твои друзья, чрезмерно болтливы и чрезмерно неосторожны. Вы обсуждаете важные и опасные планы, даже не позаботившись закрыть дверь! А ведь за дверью может кто-то стоять и слушать ваш разговор.

Коля сразу вспомнил, как неожиданно появился Шварц в Юлькиной квартире – вошел не постучав. Дверь была не заперта…

«Ох мы идиоты! – подумал Коля. – Ох дураки! Болтуны!»

– Ты стоял за дверью! – после минутной оторопи воскликнула Юля. -Ты подслушал! Ты нас выдал!

– Знаешь, что мне больше всего нравится во всей этой истории? – усмехнулся Шварц.

– Что удалось нас выдать? – с ненавистью спросила Юля – Что ребят схватили?

– Больше всего меня порадовало, что моя дочь наконец обратилась ко мне на «ты», – спокойно сказал Шварц.

– Не радуйся! – всхлипнула Юля. – Мое отношение к тебе не изменилось. Ты враг. Я тебя ненавижу. Что ты наделал!

Кажется, никогда в жизни у Коли не было более счастливого момента, чем этот, когда он понял, что Юлька не предательница, что она никого не выдала. Теперь он бранил себя за то, что плохо подумал о ней.

– Я тобой горжусь, Юлька! – прошептал он. – Ты самая лучшая на свете! Ни одному Нинкиному слову больше не поверю!

– Я никому не сделал ничего плохого, – сказал в эту минуту Шварц. – Всего лишь посоветовал начать поиск

обрыва кабеля именно в городском парке, потому что там легче всего подобраться к нему. Не надо взламывать асфальт, не надо поднимать булыжник на мостовой. Всего лишь поднять дерн и разрыть землю. Меня послушались, поэтому место диверсии было найдено очень быстро. Меня похвалили за догадливость, но я ни словом не обмолвился о том, что знаю диверсантов. Да, я пока промолчал! Прежде всего потому, что, если бы этих глупых мальчишек схватили, они обязательно выдали бы мою дочь как свою сообщницу.

«Обо всех по себе не суди! – зло подумал Коля. – Мы бы никого не выдали! Даже Нинка молчала бы!»

– Да они бы молчали даже под пытками! – вскричала Юля, словно услышав его мысли.

– Что ты знаешь о пытках? – тихо, холодно спросил Шварц. – Тебе загоняли иглы под ногти? Твои пальцы защемляли дверью? Тебя били резиновой дубинкой по лицу? Тебя ставили под ледяную воду, которая капает на макушку и постепенно начинает казаться кипятком, сводит с ума? Тебя водили босиком под раскаленным углям? Что, страшно? А ведь я ещё не описываю самые ужасные и унизительные способы насилия, которым можно подвергнуть девочек, да и мальчиков, если на то пошло. Ты в своей наивности и невинности даже представить этого не можешь! Ты уверена, что они выдержали бы все это и не выдали тебя?

Коля почувствовал, что его пробрала дрожь. Нет, Шварц не пугал Юлю. Он говорил искренне, он предостерегал ее! Он её жалел!

И то, что он говорил, было правдой, ужасной правдой.

– Это страшно… то, что ты говоришь, это чудовищно! – пробормотала Юля. Её голос прерывался, и Коля понял, что и её пробрала такая же дрожь, как его. – Но разве ты боишься только за меня? Ты боишься и за тебя! Если откроется, что твоя дочь состоит в подпольной организации, тебе тоже плохо придётся! Разве поверят, что ты об этом ничего не знал? Так что тебе лучше молчать.

– А ты сейчас заботишься обо мне или о себе? – поинтересовался Шварц.

– Я о своих товарищах забочусь! – выпалила Юля. – Прежде всего о них! Поэтому и прошу тебя их не выдавать.

Коля покачал головой. Просить этого гада? Не надо его ни о чем просить! Надо его прикончить. Прикончить! Тогда он точно никого не выдаст!

– Ты просишь меня поступиться моим долгом офицером вермахта? – высокомерно спросил Шварц. Помолчал мгновение и вдруг продолжил совсем другим тоном: – Ради тебя я на многое готов. Но я хочу награду за свое молчание.

– Какую награду? – насторожилась Юля.

– Ты должна переехать ко мне, – спокойно объяснил Шварц. – У меня неплохой двухкомнатный апартамент в отеле «Германия» на площади Адольфа Гитлера.

– На площади имени Ленина! – зло прервала Юля. – А гостиница называется «Россия»!

– Называлась, ты хочешь сказать, – пренебрежительно бросил Шварц. – Об этом пора забыть, Юльхен. Далее. Необходимо прекратить твое общение с этими юными самоубийцами, твоими друзьями. Подозреваю, на одной глупой диверсии они не остановятся, а задумают что-нибудь ещё более дурацкое, но на сей раз – смертельно опасное. Как это говорил ваш Сталин? Земля должна гореть у врага под ногами, так, кажется? Тысячи, десятки тысяч русских поджигают землю под нашими ногами и сами сгорают в этом костре. Они служат дровами для этого костра, думая, что кто-то когда-нибудь поблагодарит их за это?

«Ещё как поблагодарят! – гордо подумал Коля. – Нас не забудут!»

– Не забудут ни одного человека, который погиб ради нашей победы! – эхом отозвалась Юля. – Ими будут гордиться! Их именами будут названы улицы во всех городах Советского Союза!

Шварц презрительно хохотнул:

– Не сомневаюсь, что, когда ваш Советский Союз будет полностью побежден германской армией, об этих жалких глупцах никто и не вспомнит. Никто и никогда!

«Вы нас не победите!» – мысленно воскликнул Коля, а Юля выразила его мысли вслух:

– Вы нас не победите! Армию Наполеона тоже считали самой сильной в мире, но она была разбита, она бежала из России – жалкая, голодная, оборванная! То же самое ждёт и вас!

Шварц засмеялся. Впрочем, смех его звучал не весело, а зло:

– Мне надоело слушать эту коммунистическую пропаганду. Или мы немедленно отправляемся ко мне и ведешь себя со мной так, как подобает дочери вести себя с отцом, или я отправляюсь в гестапо.

– Не успеешь, гад, – пробормотал Коля, взводя курок. – Я тебя застрелю. Застрелю и сброшу в тот же подвал, куда свалился полицай. Никто тебя там не найдёт!

– Хорошо! – с отчаянием воскликнула Юля. – Я согласна переехать. Только соберу некоторые вещи там, наверху.

– Ты умница, мейне тохтер! – радостно воскликнул Шварц. – Я помогу. Кстати о вещах. Я тебе купил кое-что, переоденешься, а то на тебя смотреть жалко в этих обносках.

– Купил в магазине нур фюр официр? – огрызнулась Юля.

– Нур фюр дойче, – терпеливо поправил Шварц. – Только для немцев. Теперь ты тоже немка.

«Да я лучше умру, чем твои фашистские тряпки надену!» – подумала Юля, входя в подъезд и начиная проворно подниматься по обломкам лестниц.

– Айн момент, – крикнул Шварц вслед, однако она не задержалась ни на мгновение, наоборот, двинулась вверх ещё быстрее.

«Надо предупредить наших! – думала Юля, стараясь не заплакать от отчаяния. – Если я убегу сейчас, этот “мейн фатер” разозлится и выдаст их. Придётся пойти с ним в гостиницу, а уже оттуда сбежать. Сначала в Нинкин сарай, а если не найду ребят там, побегу на базарную площадь и передам записку нищему около церкви. Я помню пароль: “Помолись, дедушка, не за упокой, а за здравие!” Отзыв: “Во всякой безнадёге надейся на бога!” Скорей написать записку…»

В это мгновение Шварц достал полицейский свисток и поднёс к губам. Немедленно из-за дома вышли два гитлеровский солдата.

Коля, который высунулся было из-за угла, целясь в Шварца, едва успел отпрянуть назад.

– Подождите меня здесь, – скомандовал гауптман. – Если услышите подозрительный шум наверху, поднимайте тревогу.

«Я люблю эту девчонку, но она опасная фанатичка, – подумал он. – От неё всего можно ожидать!»

Поставил коробку с пирожными на камень, достал из кобуры пистолет, вошел в пролом двери и начал подниматься.

Солдаты мерно прохаживались перед домом, поглядывая на коробку так внимательно, словно она могла в любой момент сбежать.

«Что же делать? – в отчаянии думал Коля. – Что делать?.. Ладно, первым делом надо обо всем рассказать ребятам! Рассказать, что Юлька не предательница и что этот фашист знает о нас. Как же мы могли так сглупить?!»

Забывшись, он яростно стукнул кулаком в стену. Солдаты, переглянувшись, сорвали с плеч автоматы:

– Кто там есть? Стоять!

– Хальт!

Коля метнулся назад, сиганул через покосившийся забор, за которым скрывались развалины соседнего с «пятиэтажкой» дома. Когда солдаты подбежали к тому месту, где только что прятался Коля, его уже и след простыл.

Переглянувшись, патрульные продолжали прохаживаться туда-сюда, держа автоматы наизготовку.

. . . . .

– На закате возле хаты
Ходит немец с котелком.
Дайте курку, дайте яйки
Да корову с молоком!

– напевал себе под нос дед Кашевар, стреляя глазами по сторонам.

Сегодня на базарной площади народу раз-два и обчёлся. Этак с часок назад налетели вдруг гестаповцы, аки вороны чёрные, началась стрельба, народ разбежался, а когда фашистюги уехали, вернуться осмелились немногие. Только те, кому, как деду Кашевару, дома делать решительно нечего, разве что со скуки помирать, или вроде Ефросиньи, любопытной, как та Варвара, которой на базаре нос оторвали.

Но сейчас дед Кашевар пожалел, что не ушёл вместе с другими. Немцы-то уехали, да оставили полицаев Бубело и Стецькова. Бубело у церкви торчит, а Стецьков шляется между торговцами, в корзины заглядывает да в мешки сует ручищи свои загребущие.

Не то ищет что-то, не просто покуражиться хочет.

Ну надо же! Накликал дед Кашевар на себя лихо! Стецьков прямиком к нему ринулся:

– А ну высыпай картошку, дед Кашевар!

– Это ещё зачем? – насупился тот.

– А мож, у тебя там гранаты!

Дед Кашевар высыпал несколько картофелин, одну подобрал, сунул полицаю чуть ли не под нос:

– Глаза разуй! Картоху от гранаты не отличишь? А то давай кину, рванёт чи ни?

Замахнулся шутки ради в сторону Бубело, да тот винтовку вскинул:

– Эй ты, старый дурень, не шути, а то запросто к твоей бабке отправлю на небеса, небось она тебя заждалась! Собирай свое барахло, а то конфискую!

Дед Кашевар угрюмо собрал картошку. Язык так и чесался сказать: «Я и рад бы к мой Марье Петровне отправиться, да больно охота поглядеть, как наши придут да тебя к стенку поставят, падла белоповязочная!»

Промолчал, конечно… Но не со страху промолчал, а потому, что и впрямь хотелось увидеть, как этих предателей прикончат!

А Стецьков подошёл к Ефросинье, уставился на какое-то невзрачное бабье барахлишко, перекинутое через её руку:

– А ну-ка потряси своим тряпьем!

– Да чего им трясти, небось не колокола! – огрызнулась Ефросинья.

– А мож, у тебя патроны в карманы напиханы! – нахмурился Стецьков.

– Что ж вы такое говорите, господин полицай! – невесело усмехнулась Ефросинья. – Да чтобы простая баба патроны носила в карманах?

– А что такого? От вас всего можно ожидать! Глядите у меня! – погрозил кулаком Стецьков и побрёл дальше, в который уже раз осматривая немудрящий товар.

«Пойду-ка до дому, от греха подальше!» – решил было дед Кашевар, однако вдруг заметил, как Бубело отошел от церковной ограды и настороженно уставился на девчонку в потёртом синем пальтишке, которая появилась на площади.

Дед Кашевар знал эту девчонку. Она жила в разрушенной «пятиэтажке» – как она там жила, одному господу богу известно! – и порой появлялась на базарной площади, чтобы сменять на еду граммофонные пластинки или кое-какие женские платья.

«Мамкины, небось, – думал дед Кашевар. – Мамка-то её небось при бомбежке погибла, вот дочка и выживает как может».

Словом, это была самая обыкновенная девчонка. Непонятно, чего это Бубело так подозрительно на нее уставился?

…Юля боялась, что Шварц, уходя на службу, запрет её в своем «неплохом двухкомнатном апартаменте», однако он только приставил к дверям часового. Умывальная комната и туалет находились в другом конце коридора, рядом с лестницей, и Юля сказала часовому, что ей нужно туда. Видимо, приказа не пускать её по надобности у часового не было, поэтому он кивнул и остался стоять у дверей номера. Не то приказа не получил сопровождать её до дверей туалета, не то поделикатничал с дочкой заместителя коменданта. Ну да, Шварц ни от кого не скрывал, что эта девочка – его дочь!

Скрывшись за дверью туалета, Юля сразу бросилась к окну, однако с третьего этажа прыгать не решилась, да и часовые ходили вдоль здания.

И тут ей повезло. За дверью послышались голоса, и, выглянув в щелочку, она увидела целую толпу офицеров, которые шли по коридору. И они заслоняли часового, который оставался у двери «апартамента»!

Юля выскользнула из туалета и понеслась вниз по лестнице. Правда, потом она замедлила шаги и прошла мимо портье и часовых на выходе из гостиницы спокойно – даже улыбнулась и помахала им на прощанье. И они улыбнулись и помахали ей. Ну да, ведь и они знали, что это дочь гауптмана Шварца, заместителя и друга коменданта Гросса, – отчего бы ей не улыбнуться? Правда, портье удивился, что маленькая фрейлейн не надела на себя что-нибудь новое (он приметил, что в номер господина Шварца было доставлено несколько пакетов с одеждой), однако, наверное, размер не подошёл.

Юля заставила себя как можно спокойнее пройти мимо часовых, охранявших гостиницу на улице, но, завернув за угол и убедившись, что её никто не видит, со всех ног ринулась на базарную площадь.

К её изумлению и ужасу, связного-нищего около церкви не оказалось, а там, где он раньше сидел, торчал один из ненавистных городских полицаев.

Он почему-то сразу уставился на Юлю.

Неужели знает, кто она такая?

Если так, донесёт Шварцу… Да и ладно, семь бед – один ответ!

Если полицай прицепится, у нее есть предлог прийти на базарную площадь! Собирая вещи для переезда к Шварцу, она прихватила пакетик с маминими новыми, ни разу не надетыми чулками. И резинки прихватила!

Юля подошла к деду Кашевару, заглянула в его корзинку с картошкой:

– Дедушка, картошка сегодня сколько стоит?

– Нисколько, – буркнул дед Кашевар.

– Как так? – удивилась Юля. – Даром отдаете, что ли?

– Держи карман шире! На табак меняю. Штуку на щепотку. Дожил!

– Табаку у меня нету, – вздохнула Юля. – А на чулки не сменяете?

Достала из кармана сверточек и показала деду Кашевару тонкий чулок телесного цвета:

– У меня и резинки к ним есть…

– Сдурела?! – вытаращился на нее Дед Кашевар. – На что мне эти красотульки? На мои коряжины только носки из собачьей шерсти налезут!

– Я имела в виду, что вы своей жене возьмете… – смутилась Юля

– Да она померла уж, царство ей небесное, – вздохнул дед Кашевар, перекрестившись. – Вдобавок она тоже носки собачьи носила, сама ж их и вязала. Ревматизм её мучил! Твой товар не для стариков… может, молодка возьмет? Фроська, подь сюды!

Ефросинья, которая уже приметила чулочки, вмиг оказалась рядом и восторженно всплеснула руками, так что её немудрящее барахлишко чуть на землю не попадало:

– Ах ты господи, чудо-то какое! Фильдеперсовые*, ты только погляди! На что меняешь? Я бы взяла да берегла до того дня, когда миленький с войны воротится. Да воротится ли… – Ефросинья приуныла было, но тотчас встряхнулась: – А на что чулки меняешь? Хочешь кофту? А юбку?

Она начала разворачивать свои поношенные вещички, но Юля покачала головой:

– Не надо мне ничего. Возьмите чулки просто так, только скажите, где…

И осеклась, увидев подходящего к ним Стецькова, который жадно смотрел на чулки:

– Это шо ж цэ такэ? Неужто панчохи шелковые?

– Да, шелковые чулки, – нехотя кивнул Юля.

– Чул-ки-и… – ехидно протянул Стецьков. – Да ещё шелковые! Будя! Наносились вы шелков! Забудьте свои совдеповские причуды. Давай чулочки сюда.

– Мы уже с этой тётенькой договорились, – твердо сказал Юля и протянула чулки Ефросинье, которая прижала их к себе.

---

* *Фильдеперс* – особенным образом обработанная хлопчатобумажная пряжа, из которой в описываемое время делали тонкие, шелковистые на ощупь и очень дорогие чулки. Иногда их называли просто шелковыми.

Однако Стецьков выхватил их и ударил Ефросинью по лицу. Она упала, и все её жалкие пожитки рассыпались по земле.

Стецьков небрежно поддел их носком сапога:

– Что это ты свое барахло тут пораскидала? За такое штраф!

– Как вам не стыдно! – вскрикнула Юля.

– Чего?! – вытаращился полицай. – Ещё и эта вша тут пищит?! А ну, подбери! Не то отволоку ту и другую в комендатуру, вот где зададут вам перцу!

«Сам ты вша! – с ненавистью подумала Юля. – Прихвостень фашистский! В комендатуру, главное, отволочёт! Знал бы ты, что мой отец – заместитель коменданта, сейчас по струнке бы тянулся, честь бы мне отдавал! Да только нет у тебя чести, гад, отдавать нечего! И твое счастье, что мне стыдно признаться: мой отец – фашист».

Она помогла плачущей Ефросинье подняться, собрала её вещи, аккуратно свернула…

Юля не заметила, что на площади появились Коля и Маркс – этот, как всегда, с мячом. Увидев Бубело, прохаживающегося там, где обычно сидел нищий, ребята замедлили шаги и встревоженно переглянулись.

Юля подала вещи Ефросинье, однако Стецьков схватил её за руку:

– Давай сюда! Это барахло, конечно, да ладно, ничего, авось хоть что-то моей бабе сгодится.

Коля и Маркс обернулись на его голос и увидели Юлю. Оба так и замерли.

– Как вы смеете! – вспыхнула Юля. – Это не ваше!

Стецьков бесцеремонно вырвал вещи у нее из рук:

– Пошла вон, дура. А то отправлю в комендатуру, там тебе покажут кузькину мать!

– Верните вещи! – закричала Юля.

Стецьков отшвырнул сверток и замахнулся на Юлю прикладом.

Коля бросился было к ней, но Маркс повис на нём и заставил остановиться.

Юля с ненавистью взглянула на полицая:

– Только троньте меня, и я скажу отцу!

– А кто твой батька? – захохотал Стецьков. – Какой-нибудь краском ? На фронте кровь, дурак, зазря проливает за Советскую власть?

– Нет, – надменно вскинула голову Юля, – он, к сожалению, офицер вермахта.

Стецьков наставил на нее винтовку:

– Лихо брешешь! Только я не люблю, когда мне брешут!

Он прицелился, однако Бубело, который исподтишка наблюдал за этой сценой, кинулся к нему и оттолкнул от Юли:

– Стой! Она не врёт!

– Да ты сдурел, Микита! – Стецьков чуть не выронил винтовку.

– Пасть заткни! – рявкнул Бубело. – Это и взаправду офицерская дочка. Господин гауптман Шварц её фатер. Дивчинка в разрушенной «пятиэтажке» жила, а теперь господин Шварц её к себе забрал.

– Иди ты! – простонал изумлённый Стецьков, вытаращив глаза.

– Сам иди! – буркнул Бубело и почтительно повернулся к Юле: – Простите ради божечки, фрейлейн. Петро, – небрежно кивнул на Стецькова, – у нас на цвету прибит: с детства, значит, дурковатый. Это ваше имущество?

– Нет, её, – хмуро ответила Юля, показывая на Ефросинью.

– Стецьков, а ну верни добро по принадлежности! – свирепо скомандовал Бубело.

Стецьков поднял вещи и подал Ефросинье. Та поспешно схватила их. Пакетик с чулками упал на землю, но Ефросинья подхватила его и протянула Юле:

– Это не моё.

– Пожалуйста, возьмите себе, – сказала Юля.– Мне взамен ничего не нужно, возьмите просто так!

– Да иди ты к своему папаше вместе со своими чулками! – с ненавистью бросила Ефросинья и быстро пошла прочь.

Бубело, выругавшись, кинулся было вдогонку, однако Маркс ударил по мячу и забил прекрасный гол в спину полицая. Тот рухнул на колени.

Дед Кашевар чуть не подавился от смеха! Маркс бросился наутёк, схватив мяч.

Стецьков помог Бубело подняться. Тот был в бешенстве!

– А ну пошли все отсюда к чертовой матери! – заорал на зевак.

Торгующий народ торопливо разбегался, кое-как собирая свое добро.

Пользуясь суматохой, Коля подбежал к Юле, схватил её за руку и потащил за церковный забор:

– Что ты здесь делаешь?

– Я вас искала! – выпалила Юля. – Была в Нинкином сарае, но там никого не нашла. Я написала записку, хотела нищему передать… я запомнила пароль… Хотела вам рассказать, что мой… что Шварц слышал наш разговор про кабель и догадался, кто его перерубил! Кабель сразу починили, но я не виновата, я никого не предавала! Имейте в виду, он всех вас видел, вам надо быть очень осторожными!

– Я знаю, – ласково сжал её пальцы Коля. – Слышал ваш разговор у подъезда. И всё рассказал ребятам. Теперь они знают, что ты здесь ни при чем, что ты не предательница. Но у нас есть новое задание, очень важное. Мы с Марксом пришли, чтобы кое-что взять у нищего.

– Новое задание?.. – испуганно спросила Юля.

– Да, – кивнул Коля. – Но куда пропал нищий?

– Я не знаю, – вздохнула Юля. – Хотела спросить кого-нибудь, но не успела.

В эту минуту мимо проковылял дед Кашевар, таща свою корзинку и опираясь на палку.

– Дедушка, подождите, пожалуйста! – окликнула его Юля. – Здесь, у церкви, всегда нищий сидел. Не знаете, почему его нет?

– А тебе какое дело, фашистское отродье? – злобно покосился на нее дед Кашевар.

Юля закрыла лицо руками и кинулась прочь.

– Погоди! Постой! – крикнул Коля вслед, но она уже скрылась в каком-то переулке.

Коля сердито схватил деда за рукав:

– Где нищий? Ну?!

Старик сторожко огляделся и шепнул:

– Да убили его, бедолагу. И того парня, который к нему пришёл, убили. Говорят, они оба-два были партизаны. Царство им небесное! – Он перекрестился и добавил: – При них такие штуки нашли, из которых бомбы делают. А ты, парень, иди отсюда подобру-поздорову – видишь, как сегодня полицаи лютуют?

И захромал прочь так быстро, как только мог.

А Коля стоял потрясённый…

«При них такие штуки нашли, из которых бомбы делают», – сказал дед Кашевар. Связной принес нищему детонаторы, который тот должен был передать ребятам! Значит, детонаторы попали в руки гестаповцев. У ребят остался тол, который сам по себе взорваться не может…

Что же теперь делать? Как изготовить мины? Как выполнить задание партизан?!

Стихи по кругу

Михаил САДОВСКИЙ
Нижний Новгород

Александр Невский

Геннадию Красникову

Простирается любовь вселенская,
Прорывается сквозь толщу лет.
Мы наследники Александра Невского,
Блистательных
                его
                побед!

Мы наследники православной веры!
Мы не отступники подлые.
Да будет Невского жизнь примером
Мудрости,
                мужества,
                гражданского подвига!

И постигнем непостижимо главное,
Не страшась обиды или перегрузки:
Если вы русский, значит, православный.
Если православный – значит, русский!

Мы в наше время бушующее
Живем и любим Родины ради!
А без прошлого нет будущего,
«Бог не в силе, а в правде!»

Простирается любовь вселенская,
Прорывается сквозь толщу лет.
Мы наследники Александра Невского
И
    блистательных
                побед!

Автопробег «Александр Невский – знамя наших побед».
Нижний Новгород – Переславль-Залесский – Тверь – Великий Новгород – Порхов – Псков – Самолва – Усть-Ижора – Санкт-Петербург – Валдай – Сергиев Посад – Владимир – Городец

Нижний Новгород

Вдохни в себя небо мирное
И – наполнишься красотой.
Нижний Новгород – родина Минина.
Нижний Новгород – свет золотой, –

Солнца лазерная указка
Непременно в сердце направлена:
На любви стройте жизнь – подсказка,
На любви стройте жизнь – это правило.

Наши предки были поэтами –
На любви город воздвигали.
Вот поэтому Нижний, поэтому –
Любовь, пронизанная веками!

Нижний Новгород – названье поэмы,
Поэтические строчки – улицы.
И на кремль, забыв все проблемы,
Рот раскрыв, иностранец любуется.

Отражается золото куполов,
Неба синь, облаков поволока
В теченье рек. Словно любовь без слов –
В объятьях трепетных Ока и Волга.

Ах, возлюбленная моя, прелестница,
Обволакиваешь любовью…
Видно, кольцами Чкаловской лестницы
Повенчались навеки с тобою.

Я люблю тебя, Нижний Новгород,
Детство, юность моя и счастье!
На любви твоей жизнь основана! –
Понимаю все чаще и чаще.

Вдохни в себя небо мирное
И – наполнишься красотой.
Нижний Новгород – родина милая.
Нижний –
слиток любви –
золотой!

Лариса ДЕГТЯРЕВА
Астрахань

* * *

Поймали ветер в парус. Слава, Отче!
Закинем сети в море. Боже, дай нам!
Чем меньше предстоит нам ожиданий,
тем больше уготовано пророчеств.

Как это сложно – по полету птицы
сказать, что будет день, и будет пища...
Во внутренностях рыбы что-то ищем...
Бросаем в воду, чтобы откупиться

от бед любую мелочь – ржавый ключик,
сухие крошки, мелкие монеты...
И понимаем, что по всем приметам,
по верным знакам завтра будет лучше.

Взметнется чайка. Вскрикнет буревестник.
Качнется лодка, сонно клюнув носом.
И мы поймем, что мы сюда вернемся.
И мы поверим, что вернемся вместе.

Михаил ГЕРШТЕЙН
Нижний Новгород

Соломинка русской поэзии

Соломинка русской поэзии
Нас держит в судьбе на плаву,
Когда распадается время,
И жизнь трепещет на краю.

Когда растворяется память,
И жизнь свои ниточки рвёт,
Соломинка русской поэзии
И вынесет нас, и спасёт.

Театр моего двора

Театр чудный моего двора,
Где птицы, как певицы в Опера',
Где сквозь забор, смущая нас без толку,
Порою солнышко подглядывает в щёлку,
Где по ночам встаёт дремучий лес,
Куда луна спускается с небес,
Где дом-лунатик бродит и поёт,
И наши сны горячие несёт.

* * *

Горит экран – спасенья нет!
Уходят люди в интернет...
Живут там мысли их и души,
И лишь тела торчат снаружи.

На уход Евтушенко

Евгений Александрович отправился на встречу
К Сергею Александровичу и Александр Сергеевичу.

Поехал из Америки по месту небожительства,
В небесную Россию душевного строительства.

И там не будет тихим, а «больше, чем поэт»,
И вновь за совесть встанет, которой в мире нет.

Пройдется по карнизу, дразня нас синью глаз,
И мы увидим снизу его ещё не раз.

Маленький принц Марк Шагал

Принц петит – Моше Шагал,
Как любил ты, как летал,
Белым ангельским крылом
Жизнь сгущая в голубом.

Как еврейским акробатом
Ты скитался по земле,
Раздавая миру Витебск,
Оставлял его себе.

На твоей планете малой
Перевёрнутой родной
Небо мне залижет раны,
Свет любви вернёт домой.

* * *

Жизнь не та,
Что быть должна, а какая есть.
Эта истина проста,
Только трудно съесть.

Марина ГЕРАСИМОВА
Пенза

Звезда

Жабий ребёнок прыгает по болотцу,
по изумрудным кочкам, по нежному мху.
И ему дела нет до людей-уродцев
и выяснения вечного who is who?

Рыбий ребёнок выплыл на мелководье –
это его угодья, его простор.
Знать он не знал про рыбачье их отродье,
водку и пластик, и матно-вербальный сор.

Птичий ребёнок вылетел из гнезда,
мамку зовёт и – слышите – он звезда!

Божья коровка

– Спелой медью гудят наливные твои бока.
Тётя божья коровка, небесного дай молока.
Я ещё молодой, я совсем несмышлёныш пока,
оттого не боюсь ни козы-дерезы, ни быка.

– Я билет получу и наверх полечу по лучу.
В небе млечный ручей, я бидончик с собой захвачу.
Слаще мёда посылку мою заберёт твоя мать,
Чтоб ты мог пировать.

Ночь – большая сова тебя мягко обнимет крылом.
Сонной песни слова – словно дым из трубы над селом.
В этом мире сбегающих каш и стекающих крыш
Спи, малыш.

* * *

Как было хорошо на чердаке
Той девушке в ромашковом венке,

С презрительной улыбкой анархиста,
С пером жар-птицы в тоненькой руке.

С презрительной улыбкой анархиста
Она теперь работает бариста
В пластмассовом стаканчике-ларьке,
С пластмассовым стаканчиком в руке.

Она теперь работает бариста,
Не грезит о возвышенном и чистом.
Она живёт без мыслей, налегке.
Она почти не помнит о сверчке,
Предателе смешном и голосистом
С квартирой и машиной в рюкзаке.

Мила дежурно. Сердце в кулаке.
Ажурное тату по всей руке.
Узнал ли девушку в ромашковом венке,
С презрительной улыбкой анархиста?

* * *

Было время мы прятали крылья в походные рюкзаки.
Были мысли наши светлы, а мы на подъем легки.
Впереди только чистая трасса – и мы запрягали Пегаса
И летели на тёплые огоньки.

А теперь мы собрали все камни, разбросанные в пути.
Рюкзаки потолстели, мой мальчик, мне так тяжело нести
ерунду, не меняясь в лице.
Если верить, что бонус в конце –
Бодро в гору крутую
стартую.
Без права грустить!

* * *

А на белом безрыбье – ни ветра с соседних границ,
ни зелёной волны, ни ресниц, ни домашних синиц.

Ни кола, ни двора, ни кальяна на пёстром ковре,
ни тебя, моя радость, уснувшая в янтаре
между белых грудей у торговки вином и душой.
Обмани, нашепчи: будет всё, будет всё хо-ро-шо.
Будет солнце, и розовый город, и песни, и прыть.
Или белое море – на льдине столетие плыть.
Или просто палить на помойке священный костёр,
и в него – все излишки событий и братьев-сестёр.
И вынашивать фарс, как спустился спасатель в народ
перекраивать глобус и перекрывать кислород.

Константин ШАКАРЯН

Ереван

* * *

А. Т.

...Со вчерашнего дня стал себе непонятен:

Много белых в душе обнаружилось пятен.
Маловато, как видно, узнал я о ней –
О загадочной гостье наземной своей...

А сегодня проснусь, до познания жаден.
Новый день богоданный – на то он и даден,
Чтобы в душу свою заглянуть, и ступить,
И добра семена в ней успеть посадить...

– Так ли, Отче? – спросил я,
И Голос ответил:
– День вчерашний далёк.
День сегодняшний светел!

...Незадачлив мой день, бестолков и досаден.
Много впадин в душе обнаружилось за день –
В ней проваливался сотни раз я на дню,
Семена растерял... А кого обвиню?
День сегодняшний светел – я слышал об этом.
Почему же я в нём разминулся со светом?

Брезжит утро. Ответ удручающе внятен:
Много пятен в душе... Несмываемых пятен...

Только веет в лицо, улыбается ветер:
День вчерашний далёк...
День сегодняшний светел...

* * *

Л. Ш.

Ты ворочаешься в постели
И не можешь никак уснуть...
Вот бы тихо тебе пропели
Колыбельное что-нибудь.

Вот бы на руки нежно взяли:
Баю-баюшки, мол, баю...
Или сказочку рассказали,
Душу выходили твою.

Потому что бывает надо
Ощутить себя малышом,
В ком душа, беспричинно рада,
Обретается голышом,

А не в тысячах оболочек,
Прибавляемых каждым днём...
Неизбежен взросленья почерк:
Всё рассчитано. Всё при нём.

Стала жизнь достиженьем целей –
Ежедневно, за шагом шаг...

Ты ворочаешься в постели
И не можешь уснуть никак.

* * *

Наблюдаю во храме за верою,
Отмыкает молитва уста.
Церковь кажется светлой пещерою,
Что вовек не бывает пуста.

А на службе церковной, как водится,
Разливается свет-благодать...
Держит Сына в руках Богородица,
Чтобы в души – из рук – передать.

Борис АНДРИАНОВ
Нижний Новгород

Воспоминание

Всё было так, а не иначе
На остановке у берёз,
Где ветер воет, словно плачет,
И отъезжающий замёрз.

В пыли лежали незабудки
И астры – звёздные цветы.
На развороте у опушки
У нулевой её версты

Пыхтел автобус в сизом дыме,
Все размещались по местам:
Захлопнул дверцу – только имя
Твоё скользнуло по губам.

Посланец встречи и разлуки,
Автобус в гору еле влез.
И выхлоп, как из самокрутки,
Окутал чадом дальний лес.

В нём растворились и пропали
И листопад и звездопад.
Я шёл ковром из листьев палых
Вдоль палисадов и оград.

Я размышлял, что лист роится
Совсем, как люди в забытьи,
Я знал: автобус лесом мчится
И в дверь его мне не войти.

Взглянув на пыль и незабудки,
Салют увядший звёздных астр,
Припомнил я лишь смех и шутки
Распавшихся беспечных пар.

Неугомонных, как казалось,
Но укативших далеко.
Бензинный чад – вот что осталось
Воспоминанием всего.

Приезжий

Покупал в Тунисе обереги…
Выезжал из Агры в Тадж-Махал…
А у вас тут бабы на телеге:
Вёрст пятнадцать мерин отмахал –

Всё полынь да серость вдоль обочин
Да пузырь в руках у мужика,
Козья ножка, дыма вонь – короче
Всё не по-людски у вас, не так.

Лобстеров и устриц не едали
И штаны – совсем не те штаны.
Кончено: по жизни – вы пропали
Жители деревни Бедуны.

Ропот пробежал меж мужиками
Бабы загалдели – удружил:
Дыры – те же доллары в кармане
И телега – тот же самый джип.

Вспомни-ка, не ты ли за амбаром
Брагу дул с приездом за гроши,
А потом с похмельного угара
Матерился в бога от души?

Вышел за родимую ограду
И понёс с размаху всех в распыл…
Чай, ты наш – то видится по взгляду
И отец твой хомуты пропил.

Виктория КОРОЛЬКОВА
Воскресенское, Нижегородская область

* * *

Всё снится мне край –
по-весеннему светлый,
и слышится в травах
гуденье шмеля,
мой домик в деревне
от времени ветхий,
где мать родила
и растила меня.

Там небо такое –
как плат, голубое,
подружки-берёзки
в серёжках стоят,
и в сердце моём
отзываются болью –
о детстве прошедшем
они говорят.

В туманах росистых
там иволга плачет,
там русские печи
на зорьке дымят,
и звон колокольный
жизнь честную славит,
леса заветлужские
тихо шумят.

Вехи памяти

Владимир АЛЕЙНИКОВ
Коктебель

ВЕЧНЫЙ ВОИН

В январе Владимиру Алейникову исполнится 75. Редакция «Земляков» поздравляет замечательного мастера русского слова с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и неиссякаемой творческой энергии.

...Ветер ли свежий с востока ночью, во тьме, из глуби времени и пространства, разъятого, для кого-то, и собранного мгновенно в единый, предельно сжатый, энергетический сгусток, распахнутого, на север, на запад, на юг, на восток, и вытянутого зачем-то, как мост, посреди вселенской, в движении вечном, жизни, для памяти и для речи, для новой, желанной встречи, сюда, в укром киммерийский, в мой дом и в сон мой тревожный, где вновь чередой видений томило меня былое моё, налетел внезапно, ворвался с вестью о чём-то далёком и незабвенном, или что-то ещё случилось в мире нашем, право, не знаю, трудно сразу понять, и, тем более, трудно сразу об этом сказать, – да только с утра лежали на влажной земле, на садовых дорожках, и на ступеньках крыльца, и у двери входной, не шурша ещё под ногами, под ледком ещё не хрустя, раскалённые, жаркие груды воспалённых, иссиза-алых листьев дикого винограда, над которыми сызнова пели, бормотали, меланхолично и тихонько что-то играли, так прощаль-

но и грустно звучали посреди осенней, с избытком чувств, и дум, и надежд, поры, в удивлённо-прохладном, чутком к звукам этим, густеющем воздухе, отрешённо-звенящие струны устремлённых вперёд и ввысь, по привычке давней, упругих, оголённых, устало вздыхающих, о какой-то потере скорбящих и упрямую веру таящих в предстоящее с новой весною возрождение, цепких, выносливых, вдохновенно, в любую погоду, сквозь преграды вьющихся лоз…

Игорь Ворошилов, человек исключительно своеобразный, а вернее, и это правда, уникальный, такой, каких днём с огнём не сыщешь в разброде всё нежданно переиначившего и смешавшего нашего нынешнего междувременья, за которым вижу я, отшельник давнишний, отрешённые от всего, что душа их не принимает, понимания, просто внимания терпеливо, устало ждущие, за чертою смуты бредущие к эмпиреям своим наивным, огорчённые, гордые тени драгоценных моих товарищей по сражениям лет былых, тоже друг мой, причём настоящий, периодически, чаще ли, реже ли, но неизменно появлялся на горизонте.

Некоторые из прежних, памятных мне доселе, стремительных ворошиловских появлений, порой спонтанных, но всегда для меня желанных, поневоле хотелось сравнить с прохождением непредвиденным поистине беззаконной, как Пушкин заметил, кометы или падением, с высей вселенских, в земную действительность, крупного метеорита.

Но такое, из ряда вон выходящее, по причинам, не всегда, не для всех, объяснимым, случалось не так уж и часто.

В большинстве – старшинстве – случаев появление друга Игоря скорее напоминало, да, со всеми приметами зримыми и догадками всеми незримыми, с удивительной схожестью внешней с конкретным оригиналом, с методичностью завораживающей, ритуальной, олицетворяло какое-нибудь одно из четырёх времён года, удачного или до крайности неудачного, в зависимости от его, Игорева, настроения и состояния данного светлой, мятежной, мятущейся, крылатой его души.

Ещё совсем ведь недавно, в прежней моей квартире, он подолгу жил у меня, помногу, в охотку, работал.

Сутками напролёт вели мы с ним, по традиции, сложившейся как-то сразу и принятой нами обоими как нечто закономерное, перемежающиеся с трудами, его, живописными, и моими, со словом связанными, бесконечные, словно молодость, беспредельные, словно свет, безграничные, словно мир, доверительные беседы.

Теперь обстоятельства – надо же! – негаданно изменились.

Ночлег у меня, куда надёжнее, чем у других, больше не мог для него быть по возможности длительным, с наличием благ минимальных для жизни, столичным пристанищем.

В подмосковных Белых Столбах, где, так уж вышло, имелась у него захудалая комната, было ему находиться, в одиночестве затянувшемся, и в прежнее-то, посветлее, потому что моложе был, время, невыразимо тошно, а с годами, с их опытом горьким, с каждым прожитым без его любимой, желанной, единственной, без Миры, слишком далёкой, живущей отнюдь не в столице, а в провинции, на Урале, напряжённым, сумбурным, тяжким, в ожидании счастья растраченным, канувшим в прорву бездонную, только чаяньем и сохраняемым, только творчеством и озаряемым, годом – ещё тошнее.

Он маялся там, на отшибе, один, почти что в глуши.

Его то и дело тянуло к людям, в их гущу, где было главное: то есть – общение. Какая-никакая, а среда!

Он кочевал. Приезжал в Москву, бродил по знакомым.

И мне, признаться, его так порою недоставало!

Вижу его в отдалении, высокого, высоченного, выше многих вокруг, нескладного, сутулящегося, словно стесняющегося нежданного своего появления на людях, но в то же время и полного духовных сил и физических, врождённых сил, от природы, значительного в движениях и жестах, с великолепной головой мыслителя, странника очарованного, и воина, с взлохмаченной, тронутой проседью, шевелюрой, с резко, решительно и смущённо вперёд выдающимся, слегка искривлённым, несколько карикатурным носом – этаким хоботком смешным добродушного зверя, с полураскрытыми, детскими, шевелящимися

губами и подбородком, упрямым, твёрдым, вдруг придающим притягательное обаяние узкому, со щеками, наспех выбритыми, лицу, из глубины которого, таинственной, недоступной для многих непосвящённых, сияют умные, зоркие, пронзительные глаза.

То ли сказочный витязь, отважный, в мир на подвиги славные вышедший и застывший вдруг на распутье, то ли большой ребёнок, волею судеб заброшенный в совершенно чужой, огромный, хаотичный столичный город, ужасающий, но и властно, беспощадно, неумолимо, так, что лишь вздохнуть остаётся да шагнуть в эту прорву хищную, притягивающий к себе.

А вернее всего, пожалуй, так: художник от Бога, призванный в мир для того, чтобы в нём, трудясь неустанно, созидать, а не разрушать.

Изобретатель, а не приобретатель, – по формуле горячо любимого им Хлебникова, делившего человечество на эти две категории.

Мазила.

К тому же – верзила.

С виду – ну впрямь грозила.

Застенчивый и неловкий, но рвущийся в бой дерзила.

– Да, я мазила, – писал когда-то, в пылу вдохновенном, в сиянии неизменном правоты высокой своей, словно странник, дервиш, мудрец на пути, ведущем к прозреньям небывалым, с вершины духовной, Ворошилов своим родителям, тревожившимся за судьбу непутёвого, хоть и талантами с детских лет поражавшего всех, непохожего на других, понормальней, попроще, людей, в рядовые каноны и русла не вмещающегося, хоть тресни, озадачивающего многих, огорчающего поневоле их, отца и мать, продолжающих, тем не менее, твёрдо верить в то, что всё ещё образуется, что, даст Бог, дождётся он в будущем изменений к лучшему в жизни, встанет на ноги, образумится, заведёт, возможно, семью, словом, все оправдает надежды наконец, горячо любимого, но такого, каков уж есть, что поделаешь с ним, такой уродился, видать, их сына, –

но вы должны знать, что этот мазила – один из лучших мазил России.

Старое, тесноватое, задрипанное пальто с протёртыми, коротковатыми рукавами, мятые брюки с разноцветными пятнами красок, дешёвые, вдрызг разношенные ботинки, рубашка линялая, мешковатый пиджак или свитер – одежда его привычная, не стоящая внимания лишнего, слишком условная оболочка, из-под которой иногда, всегда непредвиденно, заставая врасплох окружающих, вдруг взмывал, на глазах у всех, поражая, обескураживая даже виды видавших людей, устремляясь куда-то ввысь, в небеса, ну а может, и дальше, в глубь вселенной, к мирам неведомым, к озареньям, прозреньям, чаяньям, к измерениям неземным, некий плотный, жаркий, светящийся луч ли, столб ли, – столько могучей, первозданной, светлой энергии там таилось, где-то под спудом, не понять ничего, и всё тут, не проникнуть туда, внутри.

Самим собою – и только самим собою, подчёркнуто, мол, как же ещё иначе, по-другому ведь быть не может, человек, да ещё и художник, должен быть лишь самим собою, и никем иным, это важно, это главное, это правило непреложное, это закон, так уж в мире заведено испокон веков, – оставался он везде и всегда, в любой ситуации, самой ли сложной или так себе, пустяковой, жил, не просто существовал, рефлексируя, прозябая, в нищете хронической, где-то на отшибе, вне досяганья, в глухомани, да и в столице, в суете, в пестроте повседневной, в тесноте бытовой, коммунальной, в толчее вагонной, вокзальной, в темноте мастерских подвальной, в пустоте окраин печальной, там, где снег заметал повальный все пути, или дождь прощальный шёл всю ночь до утра, – он жил, сам по себе, независимый от обстоятельств житейских, невесёлых, а то и плачевных, и трагических, зачастую, то на чём-то сосредоточенный сокровенном, ушедший вглубь, в лабиринты своей метафизики, в измеренья своей мистичности, ввысь, к истокам своим ведическим, то внезапно, разом встряхнувшись и опомнившись, распрямля-

ющийся в непредвиденном и стремительном, по чутью, по наитью, порыве.

По-журавлиному как-то голенастый и длинноногий, с могучей грудною клеткой, в отрочестве и в юности хороший спортсмен – пловец, бегун, конькобежец и лыжник, неутомимый ходок, бездомничая, неделями бродил он по всей Москве, по причине слишком знакомого, постоянного до безобразия, опостылевшего вконец, но куда от него деваться, да и как, отсутствия денег, не имея возможности ехать, хоть куда-нибудь, к цели смутной, на транспорте городском, просто шёл себе, да и всё тут, в направлении нужном, пешком, и даже из Подмосковья добирался, бывало, в столицу вовсе не на электричке, но терпеливо, привычно вышагивал, в одиночестве, в любую погоду, и в пору года любую, десятки, а общей сложности сотни и тысячи километров, о чём-то своём размышляя, вдоль тянущихся в пространство, сквозь время его земное, железнодорожных путей.

Постоянно недоедавший, при случае подходящем, разом, обычно, впрок, навёрстывал он упущенное.

Способен был выпить чуть ли не ведро спиртного, любой, даже самой высокой, крепости, при этом всегда поминая выразительным, добрым словом своего былинного деда, выпивавшего регулярно, по семейным преданиям, добрую четверть водки – а ну-ка представьте эту ёмкость себе – за обедом, а потом с удвоенным рвением приступавшего к разнообразным хозяйственным, благо вдосталь их, как известно, бывало, работам.

Если уж он рисовал, если уж он дорывался до любимейшего занятия своего, до темперных красок, акварели, гуаши, угля, сангины, карандашей, восковых мелков или туши, до всего, чем способен был он заполнять пустую дотоле поверхность кусков оргалита, картонок, фанерок, листов бумаги, дощечек, холстов, то происходило это на едином, невообразимо долгом, таком, что и сравнивать не с чем его, дыхании, без малейших, вполне естественных, для любого другого, только не для него, находящегося

в творческом трансе, признаков усталости и без всяких, даже крохотных, перерывов, покуда длилось и властвовало над ним, над его душою, нужное, с ритмами, важными для созданий его, состояние, – и количество сделанных им работ, изумлявших свидетелей ворошиловского рисования, учёту не поддавалось, и свет их, и дух высокий очевидными были для всех.

Именно так работал он, бывало, в давние годы, у меня в квартире, под музыку Моцарта или Баха, держа на коленях картонку или бумажный лист с подложенной под него какой-нибудь твёрдой основой.

Ещё в такую далёкую пору, что диву даёшься теперь, в совершенно другую эпоху, в новом столетии, как и в самом деле давно это было, хотя никуда не ушло из души, из памяти, и уже никогда не уйдёт, в шестидесятых, во время первого моего посещения Ворошилова в Белых Столбах, где в облупленном доме барачного типа была у него своя комната, нелюбимая, но, с натяжкой, да всё же своя, собственная, то есть та, где прописан, чудом полученная однажды от Госфильмофонда, где работал он, по специальности вгиковской, киноведом, – ещё тогда, в подмосковной круговерти снежной, которая за окном клубилась, поблизости, вечерея, густея, темнея, когда посмотрел я едва ли сотую часть «картинок» ворошиловских, так называл их он, а вокруг меня лежали, висели, стояли и валялись, на каждом шагу, где попало, бессчётными грудами, кипами и холмами прочие, удивительные, неожиданные, пока что не увиденные, творения, так их лучше всего назвать, полагаю доселе, и я, поражённый всем, что предстало предо мною, с трудом, постепенно в себя приходил, а он стоял среди этих сокровищ, долговязый, смущённый, радушный, радуясь, что пришлись по сердцу мне светоносные эти произведения, – понял я навсегда, что это великий художник.

Что бы он и когда бы ни делал, за что бы ни брался, – во всём, это сразу бросалось в глаза окружающим всем, был у него исполинский, и никак не иначе, дух, раблезианский размах.

С такой вот, необычайной, одному ему только и свойственной, широтой души и безмерной, необъятной творческой щедростью, с безудержностью в пристрастиях геркулесовых и запросах, с неистовой самоотдачей, он, такой уж, как есть, разумеется, не вписывался ни в какие общепринятые, стандартные рамки – и для обитателей московских квартир и приятельских, большей частью подвальных, прокуренных, тесноватых, сырых мастерских то и дело бывал непонятен, а нередко и неудобен.

При необходимости, ежели случай такой выдавался, для некоторых, не знавших толком его, неожиданно, поражая их, этих некоторых, озадачивая, восхищая, обнаруживал он обширные познания в философии, истории, литературе, без музыки просто жить не мог, хорошо разбирался в учениях эзотерических, историю мировой живописи превосходно знал, – и, в противовес премудростям этим, живо интересовался политикой, вообще абсолютно всем, что происходит в мире окружающем, регулярно газету «Советский спорт» читал, внимательно, пристально, за ходом соревнований, решительно всех, следя.

Общий язык находил и с интеллектуалами, и с похмельными горемыками у пивной окраинной или в магазинных, километровых, с нервотрёпкой, очередях за желанной выпивкой, – был в высшей степени демократичен.

Этот крупный во всём, природой, так считали друзья, рассчитанный на столетие, человек тратил себя, стремительно, буйно и неудержимо, ежедневно и ежечасно, как сроду никто себя не тратил из окружающих.

Он точно ежемгновенно и обострённо-чутко прислушивался к различаемым только им самим, и никем другим, особенным ритмам бытия – и жил, в этих ритмах находя отраду и волю, широко, размашисто, щедро.

Вырос он в Алапаевске, городе, исторически связанном с царской семьёй, в семье по-советски униженных, гонимых спецпереселенцев, сорванных с места, высланных, неизвестно зачем, с Кубани – в глухомань, далеко на Урал.

Род свой вёл Ворошилов – от запорожских казаков.

Правильная, сечевая, на украинский лад, скифской древности отзвук хранящая, степовая его фамилия должна бы писаться правильно, по традиции, – Ворошило.

Один из вполне легендарных ворошиловских славных дедов носил фамилию птичью, щебечущую, – Горобец. По-украински так называется именно птица, известная всем, – воробей. Можно себе представить этого двухметрового, наделённого богатырским, отменным, железным здоровьем и, к тому же, ещё обладавшего просто чудовищной силой и редкой работоспособностью, былинного предка Игорева, человечища-«воробья».

В древнем роду ворошиловском, по отцовской и по материнской линии, было немало таких вот, дюжих и рослых, полных сил, крутых мужиков.

Запорожцы, уж так повелось, да и все вообще казаки, испокон веков, искони – прирождённые воины. Кшатрии.

Вот и мой друг Ворошилов был прирождённым воителем.

По природе своей. По крови. По рождению. Вечным воином.

Нелепым всяким историям, перед которыми сразу же тускнеет и попросту меркнет прославленный повсеместно и многими почитаемый доселе театр абсурда, начало своё берущий не где-то на стороне, в чужих, зарубежных краях, а в пьесах нашего Чехова, комическим происшествиям, таким, что и в самом деле не хочешь, да обхохочешься, и вспомнишь в первую очередь не кого-нибудь там, а Гоголя, событиям драматическим, из тех, что, уж так положено у нас на Руси давно уже, за версту отдают Достоевским, и даже вполне трагическим событиям, за которыми встаёт едва различимая, но явная тень Шекспира, сопутствовавшим Ворошилову постоянно, в любые годы жизни бурной его, недолгой, к сожалению, – несть числа.

Их он словно упрямо притягивал, отовсюду, где бы хоть раз он случайно ни появлялся, где бы ни обитал, – к себе.

Так, наверное, на войне – вызывают огонь на себя.

Пару забавных случаев – пусть звучит по-одесски это, ничего, – нынче можно, пожалуй, вам, читатели, рассказать.

Как-то бродили мы с Игорем в Сокольниках. В тех Сокольниках, где блистательный Толя Зверев, работавший там не кем-нибудь, а, представьте себе, маляром, когда-то, в пятидесятых, за неимением нужных для него холстов и картонов, на природе, средь шелеста лиственного и весёлого щебета птичьего, писал, на газетах прямо, на «Правде», «Советской культуре», «Известиях» и «Вечорке», маслом, свои этюды, на которых деревья окрестные хоровод с облаками водили, было небо хмельным немного, в доску пьяной была трава, поднимались цветы войсками зазеркальных, сказочных стран, пребывал в измерении странном весь подлунный, подсолнечный мир, белый свет был ещё дороже, чем в его довоенном детстве, каждый взгляд был ещё пронзительнее, чем вчера, и каждый мазок был ещё точнее, чем прежде, и всегда устремлялся в завтра, чтобы завтра уйти в послезавтра, и так далее, в яром азарте, вдохновении, взлёте, трансе, – в тех Сокольниках, где однажды заприметил его случайно там гулявший один человек, по фамилии Румнев, и сразу же изумился, увидев здесь, в старом парке, среди природы среднерусской, перед собою, неустанно производящего несравненную, дикую, дивную, фантастическую, поющую, небывалую просто живопись, натурального русского гения, и немедленно с ним познакомился, и повёл его тут же к Фальку, и прославленный мастер, узрев произведения зверевские, сказал, что такие художники рождаются раз в столетие.

Стоял июнь. Было в мире не то чтобы очень жарко, но достаточно всё же тепло для того, чтобы нам обоим очень уж захотелось выпить пива, именно пива, холодненького, шипучего, по возможности, если выйдет, если вдруг пофартит, – побольше.

Возможности наши были тогда, увы, ограниченными. Однако на несколько кружек желанного, даже в мыслях восхитительно пузырящегося, светло-жёлтого, лёгкого, жажду летом лучше всего утоляющего, пенистого напитка

некоторое количество денег, немного бумажных, и в основном, конечно, разнообразной мелочи, мы всё-таки наскребли.

Ну а поскольку скромные, но очевидные средства были, как говорится, налицо, и нам оставалось истратить их по назначению, то мы, разумеется, тут же, вдохновлённые предвкушением удовольствия, незамедлительно, собрались, быстро вышли из дому – и двинулись вместе в поход.

От моего тогдашнего дома, недавно построенного и заселённого нами, жильцами, тоже недавно, менее года назад, нового дома, кирпичного, буровато-жёлтого цвета, говорившего мне всегда о присутствии осени в мире, даже летом, даже весной, ну и, само собою, зимой, когда среди снежной, завихряющейся белизны, морозной, вьюжной, холодной, напоминал он мне о жёлтой листве осенней, со всеми её оттенками, – дома, гнезда богемного, приюта для сонма знакомых моих, на улице, ставшей весьма популярной в Москве, улице шумной, проезжей, названной в честь неизвестного нам Бориса Галушкина, до Сокольнического, манящего нас к себе, огромного парка, было рукой подать.

Следовало пройти пешком по знакомой нам улице в сторону, противоположную помпезной ВДНХ, или проехать несколько совсем коротеньких, быстро сменяющихся остановок на красном – «трамвайная вишенка страшной поры» – трамвае, пересечь свободно раскинутый над пространством, изрезанным грубо, широко, на глазок, размашисто, вкривь и вкось, поперёк и вдаль, разветвляющимися, змеящимися, норовящими убежать неизвестно куда и тут же возвратиться скорей обратно, железнодорожными рельсами и мазутом щедро пропитанным, и щебёнкой засыпанным впрок, боковыми юркими тропками, как морщинами, изборождённым и забытым внизу почему-то, как ненужное нечто, мост, под которым со свистом и грохотом проносились зелёные пригородные электрички, свернуть направо – и вот она, в меру запущенная и не в меру для нас притягательная, вся, как есть, с листвою и мусором, с прохожими одинокими и с группами подгулявших окрестных людей, окраина парка, лесного массива, озона сплошного,

приволья на столичной глинистой почве, чего-то вроде понятного, но такого, что сразу не выразить, словом, некоего прорыва из жары в прохладу блаженную, на две трети воображаемую и на треть отчасти похожую то ли вправду на явь неведомую, то ли, может, всё же на сон.

Поездку на быстром трамвае, ради более чем серьёзной экономии нашей наличности, мы, подумав, сразу отвергли.

Мы шли вдоль трамвайных рельсов, быстрым шагом, вдвоём, пешком – и так вот, по давней привычке, как два пешехода заядлых, незаметно, за разговором, прошли всю короткую улицу, заросшую, вдоль дороги, не просто слишком высокими, по прямо-таки гигантскими, разносящими щедро по всей, ошалевшей слегка от сплошной круговерти белой, округе свой обильный, всепроникающий и, похоже, вселенский пух, светлокорыми, слишком широкими, рук вдвоём не сцепить, в обхвате, примечательными своими необъятными, слишком свободно и уверенно расположенными в городском, расписанном кем-то по минутам, не по часам, подневольном, имперском времени и предписанном властью пространстве, доселе могучими кронами, старыми тополями, ряды которых, редея, устало чередовались с приземистыми шеренгами облупленных низких бараков, уже теснимых упорно и плотно к ним подступающими, одновременно, со всех четырёх сторон, угрожающими оттеснить их совсем отсюда в никуда, навсегда, новостройками, потом поднялись на мост, прошли по нему, спустились вниз – и вмиг оказались в запущенной, густо заросшей стоящими не почти вплотную, но с перебором, так, что плотней не бывает, друг к другу, сосед к соседу, вид к виду, порода к породе, стеною сплошной, деревьями и сроду никем никогда издревле не подрезаемыми, косноязычными, праздными, языческими кустами, полной свежей, приятной, ласкающей глаз, расплёснутой всюду зелени и птичьего дружного пения, части парка, больше, пожалуй, напоминавшей лиственный, полноценный, таинственный лес.

Да это и был ведь самый что ни на есть настоящий, довольно большой, просторный, нешуточный, словом, лес.

Иногда деревья слегка расступались, и в этих проёмах обнаруживались залитые солнечным светом поляны, до такой одуряющей степени и с восторгом таким непомерным, ошалело, в геометрической, разрастающейся прогрессии, как пришлось, охотно заросшие густейшей зелёной травой, что в ней только чудом, случайно можно было вдруг обнаружить разомлевшие и покрасневшие, раскалённые на солнцепёке тела позабывших здесь о приличиях и порядках, доверившихся покою, пускай не совсем надёжному, но всё же вполне заслуженному, и воле, пусть относительной, но всё же вполне доступной, загорающих москвичей.

Мы с Ворошиловым шли напрямик, достаточно быстро, постепенно, интуитивно всё ускоряя шаг, шли – к цели своей, к тем заманчивым и зовущим к себе местам, где в Сокольниках, на приволье, вот ведь как, торговали пивом, шли иногда по дорожкам, иногда – и через поляны, наискось, по петляющей в зарослях диагонали, пересекая эту, окраинную, лесную, в достаточной степени дикую, территорию парка огромного, – и вскоре, с трудом немалым, но всё-таки добрались до более окультуренных, с различными аттракционами, павильонами и ларьками, всем известных, вольготных, сокольнических, с птичьим щебетом, с шелестом лиственным, с небом синим над щедрою зеленью, над гульбою людскою, мест, – и в итоге благополучно, без особых в пути приключений, без ненужных недоразумений, оказались в одной из пивнушек.

Там, постояв поначалу, как и все сограждане, в очереди, получили мы наконец из натруженных красных рук пивной рыхловатой тётки, по привычке неистребимой и корыстной к тому же, небрежно, мол, и так сойдёт, ничего, всё допьёте, до самого донышка, ею налитые на глазок и дополненные художественно пузырящимися, напоказ, да и только, громадными шапками скользкой, схожею с мыльной, пены свои, не очень-то чистые, полулитровые кружки, по четыре кружки на брата, потом отыскали себе местечко довольно удобное с краю, поближе к зелени, к

природе желанной, устроились за столиком – и принялись утолять, наконец-то, жажду.

Первую кружку выпили мы залпом – в награду за пройденный нами, целенаправленно и довольно быстро, немалый, в несколько километров, по улицам, по жаре, сквозь гущу Сокольников, путь, скорее даже, и в этом свой резон есть, – за марш-бросок по пересечённой местности.

Вторую кружку мы выпили тоже довольно быстро, вслед за первой, вдогонку, чтобы закрепить ощущение временной, но зато и приятной, свежести, с натяжкой – даже прохлады, сопутствовавшее всегда самому понятию – пиво.

Жажда, казалось бы, – так ли? – частично, пусть и частично, что, в общем-то, хорошо, нормально, по нашим понятиям тогдашним, по нашим правилам давнишним, была – ну, пусть, поверим в это, на время, вообразим себе, что это именно так, что всё в ажуре, в порядке полном, – утолена.

У нас оставалось ещё по две, всего-то, кружки.

Денег больше – у нас обоих – не было. Ни копейки.

Приходилось нам проявлять выдержку – и растягивать мнимое удовольствие.

Мы закурили. Я – сигарету, привычную, в молодости, в красной пачке, без фильтра, «Приму». Ворошилов – свою папиросу, извлечённую им из растерзанной, смятой пачки, дешёвый «Север».

Мы поглядывали вокруг – и почти ничего друг другу, что случалось, хоть и не часто, почему-то не говорили.

Надо прямо заметить, без всяких околичностей и недомолвок, – никакого комфорта мы здесь, в пивнушке, вовсе не чувствовали.

Ну, добрались до пива. Делов-то! Подумаешь, невидаль!

Ну, сидим в захудалом, пропахшем кислым запахом, то ли пивным, то ли, может, ещё каким, всё бывает ведь, заведении. Народу в нём – предостаточно. С избытком. Полным-полно. Шум, непрерывный, всеобщий. Сплошной, неумолчный гвалт. Гогот какой-то, хохот. Крики,

призывы, смех. Чья-то, в зачатке, драка. Чьи-то, в итоге, слёзы. В общем, подобье мрака. Бред и разброд – сквозь грёзы. Шаткий, немыслимо грязный столик, с которого тихая, пьяненькая уборщица с грохотом собирает пустые кружки, который, больше для виду, изредка, нехотя протирает подозрительно серой, сырой, вонючей, мохрящейся тряпкой.

А уюта – нет и в помине.

И покой – он-то напрочь отсутствует.

К тому же, количество пива в наших кружках, – пусть и сознательно, от безвыходности, скорее, от нелепейшей безысходности, что маячила впереди, что сжимала сердце в груди, отпивали его мы крохотными глотками, – всё уменьшалось.

Глоток за глотком, слово за слово, за минутой минута – и вот он, пожалуйста, грустный итог похода нашего: пиво уже, незаметно как-то, но, тем не менее, выпито.

Надеяться на продолжение, наверное, слишком наивно понимаемого тогда нами летнего долгого пиршества было нечего. Да, надеяться было нечего. Да и не на кого.

На какие шиши, скажите, нам сейчас его продолжать?

Оставалось одно лишь действие, вынужденное, реальное, драматическое, эпохальное, – плестись восвояси обратно.

Что и пришлось нам сделать.

Эх, частенько такое бывало!

Не успеешь порой и во вкус войти, как тут же приходится приятное для души занятие прерывать.

А всё – по простейшей причине: из-за отсутствия средств.

Солнышко, для кого-то, может быть, и весёлое, но уж точно, что не для нас, горемычных друзей, пригревало.

Мы, смирив себя, возвращались, из пивнушки, с её толкотнёй, из приволья, из щебета птичьего, из весёлого шелеста лиственного, из лесного зелёного мира, обратно, в мою квартиру.

Там, глядишь, что-нибудь толковое, может, к вечеру и придумаем.

Вдруг зайдёт кто-нибудь из моих многочисленных, несть им числа, это верно, столичных знакомых, да ещё и предложит выпить вместе с ним, в охотку, пивка, ну а может быть, и не только, почему бы и нет, пивка, а чего-нибудь и покрепче.

Казак – он всегда в седле.

В бедах – не унывает.

Правда – есть на земле.

Всякое ведь бывает.

Вот мы и шли с Ворошиловым, сокращая свой путь, срезая все углы, приминая траву зелёную на полянах, огорчённо шурша подошвами по дорожкам разнообразным, шли – с обидою на действительность, на житуху нашу нескладную, вот уж точно, практически нищую: ну скажите нам, почему же никогда не выходит так, чтобы хоть единственный раз двум друзьям отдохнуть спокойно, – сплошь и рядом что-нибудь этому, с изуверством настырным, что ли, с подковыркою ли какою подозрительной, да мешает, всё мешает, и это тянется, шлейфом долгим, длиннее некуда, мы-то знаем, из года в год, и конца и краю вот этому безобразию натуральному не предвидится, да, похоже, не предвидится, никогда.

С каждым пройденным метром по местности густолиственной, пересечённой, с каждым сделанным шагом по тропкам и дорожкам, с их пылью, камнями, с их песком, их глиной, корнями, вылезавшими узловатыми, шишковатыми, твёрдыми, прочными, как металл, сплетеньями дружными, то и дело, из-под земли, из-под сочной травы, наружу, может – просто погреться, на свет, ну а может быть, чтоб о них ненароком кому-то споткнуться, Ворошилов, глядя вперёд, в никуда, или в дебри грядущего, настроения лучшего ждущего, в роли путника, вечно идущего да идущего, в поисках сущего, да, возможно, всякое грезилось на пути, всё мрачнел и мрачнел.

Он уже не шёл, как обычно, в нужном ритме, быстро, размашисто, а почти что по-стариковски, с напряжением, ковылял.

Он сутулился, втягивал голову, горделивую ранее, в плечи, отчего его крупный нос ещё больше вперёд выдавался и покачивался на ходу, как печальный, ненужный, лишний, озадаченный бестолковщиной и тщетой, вопросительный знак – мол, ну что это, братцы-кролики дорогие, за жизнь такая?

Жажда, обоими нами недавно, совсем недавно, вроде бы, пусть и на время, но всё-таки утолённая, ненадолго, понятное дело, снова томила нас.

Во рту было сухо. Так сухо, что сложно выразить это. Поймут ли нас? И хотелось просто-напросто пить.

Пива ли выпить, воды ли, с градусами ли, без градусов ли, влаги бы лишь, – уже как-то, можно сказать, всё равно.

Впереди блеснула полоска отчасти лесной, прохладной, зеленовато-бурой, отчасти пронзительно-синей, отражающей небо высокое с белыми, кучерявыми, плывущими преспокойно, куда-то к хорошей жизни, к обещанным светлым далям, редкими облаками, стоячей, тихой, нетронутой давно, зацветшей воды.

Мы подошли с Ворошиловым к мелкому, густо, старательно, до самых краёв заросшему липкою тиной пруду.

Глядя на слабо, как в луже, хлюпающую внизу, рядом, почти под нашими ногами, такую блёклую, окраинную, захолустную, позабытую, позаброшенную, воду, в которой, как в зеркале, непротёртом, довольно тусклом, заодно с деревьями ближними, отражались и мы, Ворошилов, поначалу меланхолически, а потом оживившись заметно, и даже с этаким пламенным, геройским, эпическим пафосом, произнёс похвальное слово летнему, именно летнему, не бывает ведь лучше, купанию, – и тут же, прямо по ходу своего монолога, вспомнил, как в отрочестве, на родине, в Алапаевске, на Урале, любил он, взяв камень побольше, чтобы раньше нужного времени не выплыть вдруг на поверхность, ходить преспокойно по дну речки, ходить и пугать плавающих девчонок, иногда хватая их за ноги.

Ворошилов, припомнив прошлое, даже повеселел.

– Я здоровый тогда был, выносливый, не то, что теперь, в Москве, при такой-то жизни сумбурной, такой был крепкий, поверь, что куда там, кремень, монолит, богатырь из былин, да и только! – сказал он мне, по привычке простирая длинную руку ввысь куда-то и вдаль, и при этом чуть покачивая головой.

Покосился вспыхнувшим глазом на меня и этак спокойно, скромно, просто совсем, прибавил:

– Под водой я мог находиться по четыре минуты. Запросто. Много раз. Много, много раз. Как в цыганской песне поётся. И без всяких там перерывов. Набирал я побольше воздуха – а у нас был он чистый – в лёгкие – и нырял. А когда выныривал – воздух в лёгкие вновь набирал. И – нырял. Всё нырял и нырял. Веселился. Всем весело было. Девки наши визжат оглушительно. Парни наши дружно смеются. Ну а я всё ныряю себе – да выныриваю. Развлекаюсь. Между прочим, такие забавы – тоже спорт. Настоящий спорт. Я, возможно, был чемпионом. Все рекорды шутя побивал. По четыре минуты сидел под водой, даже больше сидел, ведь бывало, – и хоть бы что!..

Ворошилову я – не поверил:

– Брось, Игорь, шутки шутить. Четыре минуты! – да это ведь очень много, неслыханно много. Думай, что говоришь.

Ворошилов даже обиделся:

– Вот ей-Богу, Володя, было, и не раз! По четыре минуты, ну, чего там, подумаешь, невидаль, и поболее, до пяти, до пяти, и частенько, минут под водой, бывало, сидел! Жив, как видишь. Ты что, мне не веришь?

– Нет, конечно! – ответил я.

– Значит, вижу я, ты не веришь?

– Нет. А ты, вспоминая подвиги, те, былые, из мифов, из сказок, всё же думай, что говоришь.

– Часы у тебя, Володя, есть? – спросил Ворошилов.

– Есть, конечно. Идут исправно. Вот они, посмотри, на руке, – показал я свои часы.

– Так. Идут. Всё в порядке. Очень хорошо. Ну тогда – смотри!

Без всяческих лишних слов, не просто, как часто бывает с любым из нас, очень быстро, а стремительно, по-спортивному, Ворошилов скинул с себя, раз – и всё тут, рубашку и брюки.

Он стоял, по-бойцовски подтянутый, на берегу пруда, высоченный, как тополь, в длинных, сатиновых, так называемых «семейных» старых трусах, бывших когда-то чёрными, а теперь линялых и сморщенных, разминая широкие плечи, перебирая ногами, демонстрируя всем своим видом непривычным – готовность к бою.

– Я готов! – громко крикнул он мне. – Засекай, друг Володя, время!

И грузно, с разгону, плюхнулся в раздавшийся, охнувший пруд.

Зеленовато-бурая перепуганная вода расплескалась от неожиданного человеческого вторжения в тишину её и сонливость, а потом с натугой сомкнулась, грязно-белой покрывшись пеной, закипев, над его головой.

Стоя на берегу, я смотрел на свои часы.

Одна минута прошла.

Другая прошла минута.

Третья минута прошла.

Секундная стрелка сделала ещё один быстрый круг.

Четыре минуты. Четыре!

Ворошилова, занырнувшего в пруд сокольнический, всё не было.

Я уже начинал беспокоиться.

Секунды бежали. Четыре с половиной минуты... Факт!

Ворошиловская голова, облепленная обильной, мокрой, бледно-зелёной ряской, с выпученными глазами, с плотно закрытым ртом, показалась, как в детских фильмах по мотивам народных сказок, на поверхности ошалевшего, потерявшего разом покой от Гераклова нового подвига, а вернее, Гераклова-Игорева, столь недавно ещё безмятежного и в забвении пребывавшего, а теперь перемены почуявшего в горькой доле своей, пруда.

Вынырнув, Игорь с шумом выдохнул воздух оставшийся – и новую порцию воздуха в лёгкие тут же набрал, и – задышал, всей грудью, задышал, как ни в чём не бывало, не судорожно, и не часто, а спокойно, вполне нормально, будто бы и не нырял, будто бы и не сидел под водою, в пруду, так долго.

– Ну что, старина, проверил? – крикнул он мне из пруда, стоя в воде по пояс и пробираясь к берегу.

– Проверил! – откликнулся я.

– Убедился? – уже патетически произнёс он, глядя на мир, приоткрывший нежданно свои небывалые, новые грани, сквозь листву, и траву, и цветы, и беспечность летнего дня, и разливы тёплого света, и ненужность мыслей недавних, с их тоской, для него, для воителя, состояний смурных победителя.

Я сказал:

– Убедился. Четыре с половиной минуты сидел ты под водой, вот в этом пруду. Странно даже. Действительно, странно.

– Что я слышу? Что значит – странно? – возмутился вдруг Ворошилов. – Вот, нырнул. Привычное дело. Для меня. Для других – не знаю. Для меня-то – дело знакомое. Если хочешь – я повторю!

– Да ладно уж, вылезай! – сказал примирительно я.

Но Ворошилова что-то в тоне моём заело.

– Спорт есть спорт. Вот что важно. Для пущей убедительности – повторяю! – крикнул он. Развернулся – и тут же погрузился, по новой, в пруд.

– Сколько? – спросил он, вынырнув.

– Четыре минуты десять секунд! – ответил я. – Вылезай!

– Мало! Как я недотянул? – огорчился, ударив ладонью по воде в сердцах, Ворошилов. – Это не по-спортивному. А ну-ка ещё разок занырну. Засекай время!

Развернулся – и снова нырнул.

– А теперь-то сколько? – азартно выкрикнул, вынырнув, он.

– Четыре минуты и…

– Ну, скажи!

– Тридцать пять секунд.

– Вот теперь-то гораздо лучше! – воспрянул в пруду Ворошилов. – Теперь выходит по-моему. Как в прежние времена. Эх! – вспенил он воду обеими руками, – есть ещё порох в пороховницах! Есть!

Покуда Игорь нырял, а я, на часы поглядывая, засекал, по-судейски, время, на берегу пруда помаленьку, один за другим, собираться стали, всё гуще, всё активнее, всё смелей, превращаясь в праздную стайку, любопытные, любознательные, так их лучше назвать мне, люди.

– Что тут, граждане, происходит? – проявил интерес умеренный к ворошиловскому нырянию пожилой гражданин, похоже, что из зощенковских рассказов на московскую почву пришедший, в мятой летней шляпе, которую то и дело снимал он, держа на весу её и вытирая тоже мятым платком носовым потный, гладкий, мясистый затылок.

– Что-нибудь случилось, товарищи? – деловито и быстро спросил человек невзрачный с портфелем, в котором, судя по звуку, звякало что-то стеклянное.

– Эй, ребята! Что там такое? – подходя поближе, кричали парни крепкие, с виду – рабочие, подвыпившие слегка, гуляющие в Сокольниках в свой выходной день.

– Что такое там? Что стряслось? – раздавалось со всех сторон.

– Ничего здесь такого, граждане, вы поймите, все разом, особенного, необычного – не происходит! – успокоил я всех вопрошающих любопытных одновременно. – Просто-напросто друг мой показывает, что сидит он в пруду под водой по четыре минуты запросто, даже больше порой, по четыре с половиной, бывает и так.

Любопытные, любознательные – поначалу все озадачились.

А потом, прикинув и взвесив, по привычке, все «за» и «против», принялись, один за другим, критиканствуя, возмущаться:

– Ерунда!

– Чепуха!

– Враньё!

– Что за шутки?

– Так не бывает!

– Столько времени под водой просидеть нельзя! Невозможно!

– Не рассказывай, парень, сказки!

Тут Ворошилов обиделся.

– Как это – ерунда? Почему же это – враньё? Как это – так не бывает? – возопил он громко и гневно, разобидевшись, из пруда. – Как это – что за шутки? Почему – не рассказывай сказки? Вот он – я. И могу сидеть под водой четыре минуты. Даже больше могу сидеть. Понимаете? Значит – умею!

– Ты, парень, не заливай, – сказал ему гражданин в шляпе. – Дыхалки не хватит у тебя, чтобы столько сидеть под водой. Ты слышишь? Ды-хал-ки!

– Дыхалки-то у меня хватит! – грозно и весело ответил ему Ворошилов. – Спорим, что просижу под водой четыре минуты с какими-то там секундами? На бутылку портвейна – спорим?

– Идёт! – согласился охотно гражданин в мятой летней шляпе. – А где тут портвейн продают? Сейчас ты за ним, за портвейном, и побежишь, весь мокрый. Не успеешь даже обсохнуть. Как миленький, побежишь!

– Портвейн, поясняю заранее, продают вон в том заведении, – указал Ворошилов перстом на синеющую за зеленью кустов и деревьев стенку павильона буквально в минуте быстрой ходьбы отсюда, – а за портвейном, кстати, пойдёте вы, а не я. Ну так что, действительно спорим?

– Я же сказал! – откликнулся гражданин в мятой летней шляпе.

– Тогда, – Ворошилов строго поглядел на меня, – Володя, засекай, пожалуйста, время! И вы, – обратился он к присутствующим, при этом сделав царственный жест рукою, будто бы одаряя их чем-то необычайным, – и вы, дорогие сограждане, засекайте, все вместе, время!

Игорь нырнул. И – вынырнул.

Посмотрел на меня вопросительно.

Я крикнул ему, показав на часы:

– Четыре минуты и тридцать семь секунд!

И тут же нестройным хором подтвердили это все зрители.

– Папаша! – тряхнул головой, облепленной водной растительностью, Игорь, – вы это слышали? Уговор наш остался в силе? Вы проспорили. Я победил. Посему – вперёд! За портвейном!

– Это я мигом! – с готовностью откликнулся гражданин в шляпе. – Проспорил – куплю сейчас. А ты молодец!

– И не такое бывало! – скромно, куда уж скромнее, ответил ему Ворошилов.

Гражданин в шляпе ринулся к синему павильону – и через пару минут вернулся обратно, с бутылкой портвейна в руке.

Ворошилов, кряхтя, отряхиваясь от растительности липучей пресноводной, вылез на берег.

Чтоб кота за хвост не тянуть, поскорей открыли бутылку.

Нашёлся, как по волшебству, и стакан. Он всегда, замечу, вовремя находился, да и в нужном, представьте, месте, в былые, с их героизмом и трагизмом их, да и с юмором несгибаемым, времена. Ворошилов, недолго думая, ополоснул его, на всякий случай, в пруду.

Мы втроём – Ворошилов, я и гражданин проспоривший в мятой летней шляпе, которого поощрить мы решили, – выпили.

Светлая птица удачи пролетела над нами тогда, приветливо, даже по-дружески, по-доброму как-то, взмахнув над нашими головами своими лёгкими крыльями.

Почему-то решительно всем собравшимся возле пруда гражданам вдруг захотелось, да так, что азарт всеобщий, собравшись в единый, жаркий сгусток энергетический, как молния шаровая, пронзил округу мгновенно, спорить с Игорем, спорить и спорить, на бутылку портвейна, конечно: просидит он четыре минуты или даже, может, поболее, под водой, вот в этом пруду, – или всё же не просидит?

Наверное, всем собравшимся хотелось ещё, по причинам, понятно, различным, для каждого, – но прежде всего – в удовольствие, на природе, в Сокольниках – выпить.

А тут, как в сказке, – такой вполне подходящий повод!

Ворошилов уже вошёл в ритм – и вошёл в роль.

К тому же, выпив портвейна, почувствовал он себя в отличной спортивной форме.

Каждому гражданину он вкратце, весьма толково, чтобы сразу стало понятно, разъяснял, не ленясь, терпеливо, почему он сидит в пруду, и спорил, с каждым в отдельности, потом, на бутылку портвейна, что пробудет он под водой свои четыре минуты.

Граждане – разволновались. В раж незаметно вошли.

Спор – заводная штуковина.

Граждане спорили, спорили, – и проигрывали, проигрывали.

Им оставалось только бежать в павильон за портвейном, покупать его – и возвращаться, как можно скорее, обратно.

Ворошилов, стоя в пруду, отпивал из каждой бутылки, понемногу, пару глотков, остальным делился со мной и с проигравшими гражданами.

Он был, великий ныряльщик, великодушен и щедр.

Он хлебал портвейн – и нырял, вдохновенно, уверенно, снова.

Вскоре берег пруда был густо, словно семечками, усеян любопытными современниками.

Пруд, в который Игорь нырял, окружали плотным кольцом бутылки портвейна, частично пустые, частично полные. Стеклянные их бока поблёскивали на солнышке.

Ворошилов нырял – и выныривал.

И – выигрывал, выигрывал, выигрывал.

Всеобщее, бурное, праздничное народное ликование придавало ему, герою, победителю, новых сил.

Он обрёл спортивную форму.

Он чувствовал нынче себя действительно молодцом.

Он не только жажду свою утолил, да с каким размахом, но в придачу к ней получил возможность реальную – выпить, разумеется – тоже с размахом, да ещё и вместе с народом.

Ну и, само собой, это была – работа.

Да, такая вот, своеобразная, но – работа. Творческий труд.

И это все поголовно сограждане осознавали.

К тому же у всех сограждан, просто чудом, в кои-то веки, появилась такая хорошая, счастливейшая возможность: выпить – вместе, здесь, на природе, от души, в своё удовольствие, выпить – впрок, – да ещё и присутствовать при таком необычном зрелище.

В тот день в павильоне сокольническом, синем, как небо высокое над столицей всею, над летнею бестолковщиной и суетой, продан был на корню весь имевшийся запас портвейна дешёвого.

В тот день молва быстрокрылая о славном ныряльщике Игоре разнеслась по всем развесёлым, для кого-то, для большинства, островком природы спасающим сердца и души Сокольникам.

В тот день Ворошилов негаданно, словно в сказке, вдруг оказался на вершине успеха спортивного, и даже спортивной славы, а с нею и выпивонной, что тоже почётно, доблести.

Он и сам как следует выпил – и всех вокруг угостил.

И все, кого ни спроси, кого ни возьми, сограждане, современники наши, люди, это прежде всего, человеки, собравшиеся могучею ратью возле пруда были ему благодарны – и за зрелище, и за выпивку.

И рекордом личным его стало, к восторгу всеобщему, пребывание под водой в течение четырёх, для кого-то – слишком коротких, для кого-то – долгих, минут, и пятидесяти пяти чемпионских весомых секунд.

А потом, незаметно как-то, а для многих и неожиданно, потому что день был хорошим, а для многих и замечательным, наступил, изумив сограждан появленьем своим негаданным на приволье, вот здесь, в Сокольниках, средь блаженства хмельного, вечер – и водные процедуры, сулившие прорву выпивки, Ворошилов, слегка уставший, решительно прекратил.

Он выбрался из пруда к ликующей, как на празднестве, случайном, почти волшебном, и никак не иначе, толпе, где

шло уже поголовное, с восклицаниями невнятными, с объятиями, с заверениями в дружбе навеки, братание.

И мы с ним вдвоём, снабжённые немалым запасом оставшегося, выигранного в спортивной упорной борьбе, портвейна, побрели, напрямик, сквозь заросли, сквозь аллеи и тропы, в сторону моего, передышку сулящего и пристанище нужное, дома.

Там, в тиши, на седьмом этаже, в однокомнатном скромном раю квартиры моей, спасительной для меня и моих друзей, предстояло нам скоротать этот летний, просторный, благостный, с летящим по всей округе, сплошным, воздушным, сквозным, белеющим в темноте, залетающим в окна открытые, уносящимся в гулкую даль, тополиным вселенским пухом, вечер – после дневных, непредвиденных, непростых, спортивных, отчасти, в основном же почти мистических, но зато и славных, трудов.

И, уже ближе к ночи, сидя у меня в квартире, на кухне, и задумчиво попивая портвейн, богатырь Ворошилов порою грустнел и вздыхал – об одном лишь вздыхал, об одном – эх, ну надо же, не удалось ему дотянуть всего-то пяти каких-то секунд несчастных – до пяти минут, ровно пяти полноценных, желанных минут сидения под водой!

Вот когда был бы полный порядок!

Вот когда был бы точно – рекорд!

И его неуёмная сила клокотала и пела в нём.

И, поглядывая на него, понимал я: и это он – может.

Не сейчас, поднабравшись портвейна, он способен на подвиг, на взрыв, на решительный, мощный выход всех его потаённых энергий в мир, наружу, на белый свет, а потом, как-нибудь потом, в нужный час, и пожалуй – вскоре, вдруг начнётся, само по себе, как-то исподволь, из ничего появившись вроде бы, став – сразу всем, тем, в чём явь и правь заодно, просияв над землёй и восстав сквозь сумрак и бред, словно луч, долгожданное чудо, и проявится эта сила – не в нырянии, нет, но – в творчестве.

Что в дальнейшем и подтверждалось – и не изредка вовсе, а многажды.

Доказательств чему – смотрите же – более чем достаточно.

То есть – работ ворошиловских.

И дыхания в них. И света.

И движения – вглубь и ввысь.

А однажды сидели мы с ним, как это слишком уж часто в прежние времена с нами бывало, в печали, а может быть, и в тоске, с нищетою накоротке, совершенно без средств, столь нужных людям для существования, – говоря простым языком, всем на свете сразу понятным, чётким, жёстким, суровым и внятным, – без единой копейки денег.

Было это, пожалуй, вскоре после истории с ныряниеем ворошиловским в сокольническом пруду.

Ну конечно, всё тем же летом, в шестьдесят девятом году.

И пора была, разумеется, тёплой. Пора – в преддверии городской, надолго, жары. Солнечная. Цветущая. С птичьими дружными песнями и зелёной, свежей, приветливой молодой окрестной листвой.

А мы в эту пору – томились. Оба. Просто не знали, куда нам себя девать. Нечего нынче скрывать. Не было в душах покоя. Бывало ведь и такое. И не такое бывало. И проходило помалу. Всякое с нами бывало. Может, облюбовала доля нелёгкая нынешний, звоном трамваев пронизанный, словно красною нитью прошитый, стежками неровными, день? Куда в нём бред заоконный свою отбрасывал тень?

Ворошилов, сумрачный, тихий, осунувшийся, докуривал слежавшиеся остатки своего привычного «Севера».

Если так и дальше пойдёт, если сложится всё потом для него неудачно, – то примется, огорчившись, надувшись, отыскивать свои же окурки в пепельнице – глядишь, и хватит ещё на две или даже на три коротких, на нервах, затяжки.

Для поддержания духа, в горький час, у себя и у друга, включил я старый проигрыватель и поставил пластинку –

цыганские, весь набор, с перебором, песни и романсы, любимые нами, – в исполнении заграничного, удалого, лихого, буйного, а-ля рюс, отчасти, с акцентом, непонятно каким, с оркестром разухабистым, струны рвущим, разрывающим людям сердца во хмелю, в гульбе воспаряющим к небесам, вовсю восхваляющим страстей роковые сплетения и глубины их океанские, на земных просторах широких, в измерениях зазеркальных и в таинственных звёздных высях, певца Теодора Бикеля.

Эту пластинку странную, модную в нашей компании, слушали, под настроение, мы частенько, особенно – выпив.

Заезженная, затёртая, она скрипела, шипела, – и голос певца иностранного с натугой, с трудом немалым, пропадая и возникая, прорывался сквозь скрип и шип.

Но на сей раз нам и цыганщина, понимал я, не помогала.

Уже на третьей, с призывами к неведомым далям, песне выключил я проигрыватель, снял пластинку, ненужной ставшую, молча сунул её в конверт и поставил на полку, к прочим, тем, что были тогда у меня, пусть немногим и тоже заигранным, но зато и хорошим пластинкам, – не до музыки нам, – с глаз долой.

Ворошилов ходил по комнате – и о чём-то сосредоточенно, лоб наморщив и шевеля то и дело губами, думал.

Подошёл он к двери балкона, открытой настежь с седьмого нашего этажа – куда-то туда, в простор, столичный, и подмосковный, а может быть, и вселенский, – и оттуда, из этого радостного, несмотря ни на что, простора, сюда, в эту комнату, к нам, долетал разгонистый, тёплый, но всё-таки хоть слегка освежающий, приносящий с собою некие смутные намёки на что-то хорошее, подбодрить нас, наверно, желающий, приветливый ветерок.

Стоял он в дверном проёме, сутулясь, пристально вглядываясь в одному ему только и видимую сейчас далёкую точку, поверх кварталов жилых и зелёных вершин деревьев.

Потом, в неожиданно плавном развороте, всем корпусом, сразу, повернулся Игорь ко мне.

В глазах его, прояснившихся, загоревшихся жарким пламенем, с нахлынувшим вдохновением, прочитал я тогда – озарение.

– Старик! – сказал Ворошилов и перевёл дыхание с шумом, – Володя! Друг!

– Что случилось? – поднял я взгляд на него. И понял: случилось.

– Я знаю, что делать! Знаю!

– Что ты знаешь?

– Всё!

– А точнее?

– Знаю всё! Сказать?

– Говори!

– Болшево! – произнёс Ворошилов, как заклинание.

– Что – Болшево? Ну и что – Болшево? Почему?

– Болшево! – чётко, торжественно сказал Ворошилов. – Бол-ше-во! И всё тут. И только Болшево.

И тогда я сказал:

– Поясни.

– Поясняю, – кивнул, в знак согласия, головой удалой Ворошилов. – Поясняю. Слушай внимательно. Мы поедем сегодня – в Болшево. Там – ты знаешь об этом – дом творчества кинематографистов. И там-то – наверняка сейчас есть мои знакомые.

Я вначале насторожился, а потом кое-что припомнил.

В своё время Игорь с отличием, всем на радость, друзьям, и родителям, им гордившимся, и сокурсникам, средь которых был он звездою настоящей, окончил ВГИК, получил диплом киноведа, работал по специальности и многих советских киношников, действительно хорошо и довольно давно уже, знал.

И немалое, даже внушительное, так точнее будет, число людей из этой среды относилось, по старой памяти, к Ворошилову с явной симпатией, и многие, по-человечески, даже любили его, а некоторые, их меньше было, но всё-таки были такие энтузиасты, – и ценили его, по-своему, разумеется, как художника.

Ворошилов по-деловому, с каждым словом своим всё более оживляясь и становясь, на глазах, героем, воителем,

всяких недругов победителем, возвышаясь на фоне стен, что увешаны были его многочисленными картинками и работами наших общих с ним друзей, развивал свою мысль:

– Мы с тобой, Володя, поедем в стан киношников наших, в Болшево. И поэтому, друг, давай-ка собираться прямо сейчас. Время ранее. Утро. День – впереди. Целый день, представляешь? Всё успеем, всех повидаем. А пока что – давай отберём, поскорее, мои работы. Вон их сколько вокруг, навалом. И с меня не убудет. Потом нарисую ещё, и получше. Мы поедем к знакомым киношникам. Им, собравшимся в месте одном, я продам, по дешёвке, работы. Купят, я убеждён. А потом – хорошенько выпьем с тобою. Понимаешь? Давай поедем. Прогуляемся. Говорят ведь, что прогулки, особенно загородные, людям очень даже полезны. А у нас, надеюсь, полезное сочетаться будет с приятным.

– Ну что же! – сказал я другу. – Всё ясно. Мы едем в Болшево.

Мы с Игорем принялись просматривать вороха хранящихся у меня чудесных его рисунков.

Из этих залежей он, по чутью, в основном, выбирал кое-какие вещи, иногда – наобум, иногда – попридирчивее, постороже.

В итоге образовалась пачка работ изрядной, и на глаз, и на вес, толщины.

Отыскали старую папку большого формата, наспех сложили в неё рисунки, чёрно-белые и цветные.

Игорь сунул папку под мышку – и уже меня поторапливал:

– Собирайся скорей. Поедем!

– Потерпи, – сказал я ему, – есть тут одна идея.

Моя идея была до смешного простой, но и грустной, – оттого, что решил я расстаться с некоторыми книгами из своей, небольшой, в ту пору, но зато хорошей, подобранной тщательно, библиотеки.

Отобрал я довольно быстро несколько книг, интересных, но не первостепенной важности, и сложил их стопкою в сумку.

И мы с Ворошиловым, выбравшись из дому, двинулись в путь.

Покуда мы с другом Игорем добирались до электрички, я успел по дороге зайти в находящийся неподалёку и давно мне известный книжный магазин – и там, очень быстро, с собою взятые книги сдать, – причём их, при голоде книжном тогдашнем и при наличии великой любви всенародной к чтению, взяли мгновенно, – и выдали незамедлительно мне деньги, некую сумму, небольшую, меньше, чем следовало, но для нас, пока что, достаточную, – и, выходя поспешно из книжного магазина, я видел, что книги, только что принесённые мною сюда, уже покупали какие-то интеллигентного вида, в очках, с портфелями, люди, – но мне, признаюсь вам, было некогда сожалеть об этом, – Бог с ними, с книгами, когда-нибудь их куплю вновь, а жертвы порою нужны, и даже полезны, так что всё к лучшему, как говорится.

Затем я зашёл в другой магазин, уже в продовольственный, и купил там бутылку водки, и в сумку её положил, вместо сданных недавно книг, – и Ворошилов, увидев эту водку, «Московскую», кажется, посмотрел на меня одобрительно и выразительно крякнул.

В киоске табачном купил я курево: для себя – «Приму», и «Север» – для Игоря.

Мы на ходу закурили.

Станция электрички находилась неподалёку, в двадцати минутах, не больше, а то и поменьше, ходьбы.

Принципиально я купил нам обоим билеты, хотя Ворошилов робко и пробовал возражать.

Но с билетами ехать – спокойнее, уж это всем, вроде бы, ясно.

Постояли мы на перроне, двое путников неуёмных.

Подошла – зелёною лентой сквозь шитьё воздушное дня и небес в синеве, расплёснутой вкривь и вкось, – электричка наша.

Распахнулись – вот, мол, входите, люди добрые, – двери вагонов.

Потянулись вовнутрь – торопливо, как бывает всегда, – пассажиры.

Мы зашли в вагон – и устроились на сидениях возле окошка.

Электричка свистнула, дёрнулась – и, со скрежетом, с лязгом, двинулась, набирая скорость в пути, по направлению к Болшеву.

В вагоне, людьми заполненном, Ворошилов частенько поглядывал на головку бутылки, торчащую, ванькой-встанькой, из сумки моей, поглядывал – и выразительно, укоризненно как-то, вздыхал.

Слушая эти шумные, страданий полные вздохи, я делал упрямо вид, что ничего такого странного или особенного вовсе не замечаю.

В Мытищах Игорь не выдержал.

С некоторым смущением, но достаточно твёрдо, так, что металлом каждое слово прогремело и долгим эхом пронеслось по всему вагону, предложил он выйти на станции и незамедлительно выпить.

– Володя! – шаманским тоном произнёс он при этом, – пора!

Я давно уже понимал, что пора. Да просто терпел.

Мы поспешно, я – сумку сжимая с бутылкой, он – папку с рисунками, выбрались из вагона – и вышли вдвоём на перрон.

Выпивать в людской толчее было делом, по всем статьям и по нашим твёрдым понятиям, неразумным, да и опасным: неожиданно, как всегда появиться могла милиция – вот вы пьёте, мол, где! – и тогда...

Многое, слишком уж многое в прежние времена вставало за этим «тогда».

Ворошилов сердился, нервничал:

– Давай рискнём! Завернём за угол. Выпьем по-быстрому. И все дела. Не впервой ведь.

– Подожди! – твердил я ему.

И мы шли с ним, всё дальше и дальше, шли вперёд, отдаляясь от станции электрички, втянувшись в ритм этой вынужденной ходьбы, шли вдоль улицы, вдаль куда-то, в дебри общего безразличия, в подмосковную, летнюю,

тёплую, бесконечную, скучную глушь, – и желание ворошиловское беспокойное – выпить немедленно – незаметно передалось, обжигая горло, и мне.

И тогда я сказал Ворошилову:

– Надо просто зайти в подъезд и там по-быстрому выпить.

– Это дело! – поддакнул мне Игорь.

Сказать-то легко – зайти поскорей в подъезд. Но – в какой?

Мы шли вдоль домов незнакомых, понимая, что здесь, в Мытищах, выбирать нам особо и нечего.

Наконец один из подъездов, этакий чистенький с виду, почему-то мне приглянулся.

Почему? Да как объяснить!

Знать, вела незримая нить.

Поплутала – и привела.

Вот какие, братцы, дела.

Был подъезд как подъезд. И всё ж…

На другие был – непохож.

Я сказал:

– Вот сюда и зайдём!

Ворошилов сказал:

– Здесь и выпьем!

Мы зашли в подъезд приглянувшийся, с немалым трудом открыв тяжёлую неожиданно, массивную, свежевыкрашенную, похожую на крепостную, из романов рыцарских, дверь.

Там, внутри, было тихо, чисто и прохладно. Странно, ей-Богу!

Тишина, чистота и прохлада?

Славен тройственный сей союз!

Мы поднялись по устланной ковровой красной дорожкой, аккуратнейшим образом вымытой, широкой лестнице – вверх.

На площадке просторной лестничной, расположенной меж этажами, увидали мы стол, и на нём – графин с водою и чистые, сразу ясно было, стаканы.

Стол был застелен отглаженной, приятного цвета, скатертью.

Рядом с графином стоял душистый букетик цветов.

Возле стола стоял мягкий, большой диван.

Рядом с диваном стояли в широченных и высоченных, деревянных, надёжных кадках экзотические растения – пальма перистая и фикусы.

Мы с Игорем переглянулись.

Вот это, брат, обстановочка!

Вот это, дружище, комфорт!

Ну прямо как на курорте!

Вот так подъезд! Чудеса!

Это надо же! – вот ведь какие хорошие, нет, прекрасные, из восточных сказок, из фильмов голливудских послевоенных, замечательные подъезды есть, оказывается, в Мытищах!

Мы уселись на мягкий диван, музыкально, со вздохами тихими, с переливами, переборами, то высокими, то басовыми, запевший и заигравший вначале под нашей тяжестью, а потом, привыкнув, наверное, деликатно и незаметно, стушевавшийся, стихнувший, ставший просто местом сидения нашего, уселись мы с Ворошиловым посвободнее, поудобнее, с удовольствием явным откинувшись на упругую спинку такого вот, нам дарованного судьбою, всем устройством своим, всей конструкцией приспособленного для отдыха, и тем более приспособленного – для временной передышки, для привала дневного недолгого двух усталых суровых путников, в отношениях всех чудесного, расчудесного просто, дивана, под вечнозелёными кронами перистой пальцы и фикусов твердолистых, расположились – надёжно вполне, устойчиво, с ощущаемой нами гарантией безопасности и спокойствия, в тишине, чистоте и прохладе, без обрыдлых для нас нервотрёпок, без поспешности, без тревоги, напряжения, суеты.

Взад и вперёд в подъезде сновали какие-то люди, почему-то не обращавшие на нас никакого внимания.

Сновали они отстранённо, призрачно, как в кино.

Мы их воспринимали вовсе не как живых людей, а скорее всего, как движущееся осторонь зыбкое изображение.

Мы их просто никак, и всё тут, что гадать-то, не воспринимали, если на то пошло.

Мы их – в упор не видели.

Мы открыли бутылку водки.

Наполнили доверху чистые, блещущие стаканы.

Чокнулись, как полагается людям серьёзным, воспитанным.

Потом – разумеется, выпили.

Выпили не спеша – с чувством, с толком и с расстановкой.

Условия – позволяли.

Это ведь вам не на улице где-нибудь выпивать.

Вон какой здесь, в подъезде, уют.

Мы плеснули в стаканы чистые водички прохладной из полного, весело, звонко, празднично сверкающего своими широкими, светлыми гранями, устойчивого, массивного, достаточно плотно закрытого тяжёлой, как гирька, пробкой, приспособленного хорошо для хранения влаги живительной, словно по мановению чьей-то волшебной палочки находившегося не где-нибудь вдалеке, но именно здесь, в месте нужном и в нужное время, вместительного графина, – и запили только что выпитую нами обоими водку этой, во всех отношениях приятной, свежей, полезной, целебной, возможно, водичкой.

Мы, решив никуда не спешить хоть немного ещё, закурили.

Синевато-белёсый дымок – от моей сигареты «Прима», вместе с иссиза-синим, от Игоревой папиросы кондовой «Север», – колеблющимися, легчайшими, невесомыми даже, беспечными, беспечальными, тихими струйками потянулся, всё выше и выше, разрастаясь в туман, к потолку.

Нам – почуяли мы – полегчало.

Мне – скажу откровенно – стало веселее как-то и радостней здесь, в Мытищах, дышать и жить, на душе спокойнее стало, разлилось по жилам тепло, не блаженством пусть отзываясь, но уж точно – чем-то подобным.

Ворошилову – после водки – стало жить значительно легче, с очевидного, небольшого, так себе, да всё же – похмелья, как от него ни отбрыкивайся и как его ни замалчивай, – а всё же что было, то было, – и теперь, помучив, прошло.

Мы, сказать можно смело, вдвоём, здесь, в пути своём, – отдыхали.

Пальма слегка шелестела над нашими головами перистыми своими декоративными листьями.

И глянцевитые, плотные, крупные листья фикусов, притягивая случайные и не случайные взгляды, медленно, монотонно и верно, без всяких промашек, воздействуя на людское, от стрессов уставшее, зрение, а с ним, покоя дождавшимся, и на людское, к лучшему изменившееся настроение, завораживая растительной, природной, зелёной и тёмной, живучей своей зеркальностью, отражали в окно проникающий, временами – порывистый, магниевый, большей частью – неспешный, широкий, подмосковный, привольный, летний, с золотистой искоркой, с блеском катящейся где-то за стенами, в пространстве разъятом, ртути, и с отсветами литого, просторного серебра, дневной, несомненный, природный, свободою веющий, свет, – и мягкий, отчасти вкрадчивый, спокойный, благонамеренный, незыблемый – так мне казалось – и тёплый свет электрический, плавно и ровно льющийся из матовых, стильных каких-то, особенных, это уж точно, может быть, и заграничных, приятных для глаз плафонов.

Мы допили водку. Допили.

Теперь нам было – чего там скрывать? – совсем хорошо.

По небритым щекам ворошиловским, бледным совсем недавно, быстрый румянец прошёл. И глаза его вдруг разгорелись. Увеличились, угольно-чёрным каким-то, растаявшим сызнова маслом блеснув из-под век, потеплели, мерцая, светясь, отдаляясь куда-то, зрачки. Нос Ворошиловский, крупный, изогнутый, зашевелился, ожил, – ну прямо довольный жизнью зверок, а не нос. Губы его

расползлись, незаметно как-то, в улыбке. Был Ворошилов – домашним, временно, разумеется. Был Ворошилов – надёжным другом. На все времена. Жизнелюбивым, спокойным, здоровым, уверенным, сильным. Словом – казак лихой, отдыхающий между боями. Раз уж такая возможность хорошая нынче представилась – право, не грех отдохнуть. Мало ли что предстоит впереди! – всё походы, сраженья. Отдых – заслужен вполне. Хорошо иногда – отдыхать!

Эх, поистине благодать!

Ну как мне ещё чудесное состояние наше назвать?

Благодать, да и только. Понятно?

И поди докажи мне, попробуй, коли выйдет, что это не так.

Именно так: благодать. Ну а что же ещё тогда? Пусть небольшая. Но мы-то оба её – ощущали!

И не напрасно, конечно, была она так вот, нежданно, дарована – страждущим нам.

Ну прямо Сочи (Кавказ), или Ялта (солнечный Крым), а не мытищинский, чудный, но всё же случайный подъезд!..

Сновавшие мимо нас по лестнице, взад-вперёд, вверх и вниз, какие-то люди не обращали на нас вообще никакого внимания, ни малейшего, и совершенно нас, пришельцев, не замечали, будто нас здесь и не было вовсе, а были – просто диван, стол, застеленный скатертью, гранёный графин с водой, пальма перистая, и фикусы, и лестница, чисто вымытая, и тихий, уютный подъезд, но только не мы, заглянувшие ненароком сюда – и временно, ненадолго вставшие здесь на постой, на короткий отдых в походе, – и мы с Ворошиловым тоже, так получалось, вовсе не замечали их, этих сновавших мимо, фантомных, условных людей.

Тепло, во всех отношениях приятное, разлилось по всем нашим жилам, по всем суставам нашим и косточкам.

Впору было песню хорошую нам запеть, негромко и слаженно, или, может, беседу, тихую, задушевную, здесь вести.

Но – ждало впереди нас – Болшево.

Нам следовало не рассиживаться в покое, а двигаться дальше.

У нас ведь была – задача.

У нас – была важная цель.

Казак – он всегда в седле.

А мы-то с Игорем были – потомками запорожцев.

Посему – как всегда – вперёд!

С неохотою поднялись мы с дивана – и вышли, отсюда, из подъезда, с его уютом, тишиной и покоем, – на улицу, в мытищинский, городской, неумолчный, настырный гул, подмосковный, провинциальный, но – явственный, очевидный, прямо в запах бензина, солярки, мазута, в облако гари, ну откуда она взялась, только всё же была она, гарь, а потом, вслед за ней, освежающий запах свежих стружек сосновых, а ещё – запах пыли слежавшейся, и за ним – шорох пыли дорожной, неожиданно поднятой ветром, а там, за углом, чуть подальше, – ворох листьев зелёных в лицо, и сигналы машин, и свисток милицейский, и возгласы чьи-то, и смех, голоса – то мужские, то женские, все вперемешку, вслед за ними – высокие, детские, звонкой, шумной гурьбой, голоса, и вокруг – полдень, молодость, лето, – мы вышли на солнечный свет.

Почему-то я оглянулся – и увидел вдруг возле двери в покинутый нами подъезд вовремя не замеченную ни мною, ни Ворошиловым, надпись, весьма выразительную:

«Мытищинский горком партии».

Я толкнул Ворошилова в бок и показал на скромную – и такую солидную – вывеску, доходчиво поясняющую, где мы только что побывали.

Поначалу Игорь никак на это не отреагировал.

Был спокоен, задумчив. И бровью казацкой своей не повёл. Но потом до него – дошло.

Посреди тротуара мытищинского, в беспокойной гуще людской, он широко, с былинным размахом и удальством, будто бы раздвигая воздушное, полное звуков, и запахов, и опасностей, и радостей мимолётных, и всяких чудес,

пространство, а вместе с ним и всю эту, со всех четырёх сторон, вплотную, давно и настырно, с подвохами, с заковырками, с бесчисленными своими загадками и парадоксами, окружающую его, раздражающую, поражающую, умиляющую его, тем не менее, потому что всякого навидался, казалось бы, а вот надо же, что-нибудь поновее непременно преподнесёт, ирреальную, нашу, родимую, реальность, развёл руками, кратко заметив:

– Сподобились!

И сделал весьма неожиданный, но вполне оправданный, всем его грустным жизненным опытом, вывод:

– Ну и что? Подумаешь, важность! И в горкоме партии можно, если очень захочется, выпить. Вот и мы: захотели – и выпили. Всё-таки – не под забором, не в каком-нибудь закутке. И ментов там, это уж точно, ты пойми, просто быть не могло. Да ещё и уютно, тихо. Пальма, фикусы. Мягкий диван. И графин с водой. И, старик, наготове – стаканы чистые! Всё для нас было приготовлено. Будто ждали там именно нас. Ну и горкомы пошли в Подмосковье! Чудо-горкомы! Кавказское побережье, а никакой не горком! Летний отпуск там проводить можно запросто. Партия! Ишь ты! Если бы сфотографироваться нам с тобой там, под пальмой, под фикусами, да показать знакомым фотографию эту, с надписью крупной: «Привет из Сочи!» – то ни за что не поверили бы, что не в Сочи с тобой мы снимались, а в Мытищах, в горкоме партии!..

Потом подумал и буркнул:

– Сами, небось, в этой партии, все поголовно, – пьют!..

Он покрепче к боку прижал старую папку с рисунками, я на плечо закинул опустевшую сумку, которая должна была нам ещё, в скором будущем, пригодиться, – и мы, убыстряя шаг, направились прямиком к станции, к электричке, – и успели мы на неё, без всяческих происшествий, чудом, наверное, вовремя.

С Божьей помощью, это уж точно, добрались мы вдвоём и до Болшева.

Отыскать там киношный дом творчества оказалось делом несложным.

Территория дома творчества была почему-то безлюдной.

Никого, никогошеньки нет.

Почему – непонятно. Загадка.

Что стряслось? Что за странность такая?

Куда они все, киношники эти, вдруг подевались?

Ветром их, что ли, каким сдуло ненастным – всех, разом?

Или ещё что-нибудь необычное, непредвиденное, из ряда вон выходящее, такое, чего, понятно, не только мы с Ворошиловым предположить не могли, но и все вообще никак, похоже, не предполагали, ужасное что-то – случилось?

Оказалось, что все – обедают.

Распорядок дня в доме творчества у киношников наших такой.

Режим. По-советски – привычный.

Всё здесь – по расписанию.

В том числе и питание.

Мы, решив к народу идти напрямую, зашли в столовую.

Из-за прикрытой, высокой, широкой, стеклянной двери доносился до нас, пришельцев, нестройный гул голосов киношных, звяканье ложек и прочие характерные звуки, сопровождающие процесс поглощения пищи.

– Вы кто? – поднялась нам навстречу бдительная дежурная.

Она, разумеется, сразу, моментально сообразила, что мы – не свои, а чужие, незнакомые, так, посторонние.

Но – мало ли кем эти люди, посторонние, незнакомые, чужие, а не свои, вдруг могли оказаться?

– Я Алейников! – очень спокойно, так, для справки, ответил я.

– А я – Ворошилов! – с некоторой аффектацией выкрикнул Игорь.

– А-а! – расплываясь в улыбке, только-то и сказала бдительная дежурная.

И услужливо посторонилась, пропуская нас, незнакомцев, ставших сразу знакомыми, в зал.

Да и как же ей было, дежурной, согласитесь, не посторониться, как же было ей не пропустить нас?

Алейников – батюшки, это ведь, посудите сами, фамилия кинематографическая, уж Алейникова Петра, знаменитость, актёра, все знают.

Ворошилов же – тут фамилия за себя сама говорила, о начальстве напоминала, и не только о нём, но ещё и – ох, повыше бери! – о власти.

Кинематографисты советские в час, предписанный им, – обедали.

Оказалось их, творческих личностей, в столовой одной – многовато.

Все столы, до единого, были творцами прекрасных грёз и видений сказочных – заняты.

Казалось, сама идея эта – обеда вовремя, с явной пользою для здоровья, после праведных, только так, и никак не иначе, трудов, обеда – а после него и отдыха послеобеденного, необходимейшего, целительного, благотворного, идея вполне разумная и всем едокам киношным понятная с полуслова, с полувзгляда, витала в воздухе.

Еда, к столу подаваемая, должна была пережёвываться тщательно, хорошо желудками всеми усваиваться.

Ничто, при любой погоде, при любом настроении, даже неважнецком, или плохом, вопреки настроенью хорошему, то есть – норме, для всех советских, в коммунизм шагающих, граждан, создающих искусство главное, всех важнее на свете – кино, не должно было помешать естественному процессу, – ибо важен он, как и кино, для людей, – поглощения пищи.

Ведь это прямым, прямее некуда просто ведь, образом сказывается на творческом тоже серьёзном, процессе.

А что – повторим, для памяти, чтоб усвоить надолго, – важнее всех искусств остальных, какими бы ни бывали они заманчивыми, для кого-то, как ни пытались бы на передний вылезти план?

Ясное дело, кино.

Вот киношники и питались.

Питались – целенаправленно.

Прилежно. Сосредоточенно.

Жевали пищу – не просто столовскую, общепитовскую, – не манну, конечно, небесную, – но, видимо, пищу особую, для избранных, домотворческую, – такую, какую заслуживали, – такую, которая им дана была – свыше ли? – вряд ли! – как и нынешний, вроде бы творческий, а может и праздный день.

Однако на голоса наши – их головы, каждая – семи пядей во лбу, повернулись – все разом, немедленно, – к нам.

Киношные умные головы повернулись, как на шарнирах, в нашу сторону – и на нас уставилось множество глаз.

Я поначалу – поморщился. Ишь ты! – пялятся. Надо же! Все. Беспардонно. Бесцеремонно.

Потом – нахохлился. Ладно. Пяльтесь. Переживём.

Но вовремя спохватился – и сразу же взял себя в руки.

Зачем же смущаться, нервничать? Хотите – ну что же, смотрите. Пожалуйста. На здоровье.

Да, вот мы стоим, – такие, как есть, – чужаки, пришельцы, – мы здесь, наяву, перед вами.

Занятный был у нас вид, наверное. Право, занятный. А может – и необычный. Для многих – и впрямь непривычный.

Ворошилов, длинный, с взъерошенной шевелюрой, смущённо глядящий на киношников, прижимающий к боку старую папку с рисунками, этакий тип – откуда-то извне, похоже – что с улицы, в одежде своей изношенной, в стоптанных башмаках, непохожий на элитарную, так считалось, киношную братию, залётный, инопланетный, неведомо как и зачем, и ветром каким, попутным иль встречным, сюда занесённый, странный, страннее некуда, пусть и так, всё равно, человек.

И я, тоже, что там скрывать, в далеко не новой одежде, старающийся не смущаться, помнящий твёрдо о том, что следует марку держать, но прекрасно, лучше других, понимающий, что и я в этой чуждой, и для меня, и для Игоря, обстановке – просто случайный гость, непонятно каким же образом вдруг появившийся здесь – да ещё

и впущенный, надо же, нарушитель правил, вовнутрь, в эту столовую, чуть ли не в святилище, для кого-то, положим – для администрации, допустим – для едоков киношных, во всяком случае – человек неизвестный, неясный, да ещё и глядящий вперёд, прямо в стаю творцов прекрасного, с откровенным, пламенным вызовом.

Словом, – как же сказать-то подоходчивее, – загадочная, – надеюсь, дошло до кого-нибудь, проняло наконец-то, – двоица.

На нас не просто смотрели, нас – разглядывали, как в зверинце, с любопытством, бесцеремонно, – до того, до такой, действительно инопланетной степени, до такой высоты звенящей, мы не вписывались вот в эту, мнящуюся, конечно же, обедающим киношникам – элитарной, само собою, для избранных, для посвящённых, интеллигентную, замкнутую, для чужаков, среду.

И вдруг – Ворошилова – надо же, – разглядели, с трудом – но узнали.

Из-за столов, оторвавшись от еды, уже поднимались с радостными восклицаниями – действительно многочисленные, ещё со времён учёбы во ВГИКе, где был он звездой восходящею киноведческой, Игоревы знакомые.

– Игорь! Ты?

– Ворошилов, привет!

– Сколько лет, сколько зим!

– Игорёк!

– Игорёша, иди сюда!

– К нам иди! Вот встреча так встреча!

– Братцы, это же Ворошилов!

Игорь довольно жмурился, слыша крики эти: узнали!

К нам подбежала стройная, приветливо улыбающаяся, миловидная девушка, сразу же быстро затараторила:

– Игорь, здравствуйте, здравствуйте! Я – дочка Адика Агишева. Папа так часто вас вспоминает. Куда ж вы пропали? Я так рада увидеть вас здесь. А это кто? – показала она глазами, сверкнувшими огнём, на меня, – ваш друг?

– Это мой друг Володя Алейников. Он – поэт. Известный. Думаю – лучший, – ответил ей Ворошилов.

– Ой, как интересно с вами! – воскликнула дочка Агишева. – Ну пойдёмте, пойдёмте к нам. Покушайте. Мы сейчас что-нибудь быстро придумаем. Идите же, не стесняйтесь.

Агишев был закадычным ворошиловским другом во ВГИКе.

С годами стал он успешным, известным весьма сценаристом.

Игорь давно с ним не виделся. Но рассказывал мне о нём как о человеке хорошем, просто – очень хорошем, надёжном, верном дружбе и верном искусству, человеке – каких немного на веку своём он встречал.

Раз дочка Адика Агишева зовёт – к ней надо идти.

И мы, друг на друга взглянув, шагнули вперёд – и прошли в глубину столовой – и там присели вдвоём за стол.

Нас киношники чем-то кормили.

Отовсюду съестное тащили.

– Вот суп!

– Вот салат!

– Вот котлеты!

– Вот компот!

– Вот ещё компот!

– Угощайтесь!

– Кушайте!

– Ешьте!

– Наедайтесь впрок!

– Есть добавка!

– Если надо, чай принесём!

Нам что-то, все вместе, они, угощая нас, говорили.

Голоса их – сливались в сплошной, непрерывный, раскатистый гул.

Ворошилову – все его давние знакомые были рады.

Видно было, что бывшие вгиковцы, в люди выбившись, то есть, став постепенно профессионалами, режиссёрами, сценаристами, операторами, киноведами, актёрами, каждый по-своему, как уж вышло, сделав карьеру или только

мечтая об этом до сих пор, хорошо его помнили, даже больше того – любили.

Ворошилов, отведав супа, похвалил его, съел ещё полтарелки, сжевал котлеты, съел добавку, потом намазал хлеб горчицей и съел этот хлеб, съел салат, и ещё салат, запил это компотом, чаем, поразмыслил немного и выпил снова чаю, погорячее, и насытился, вроде, и с некоторым усилием над собой объяснил киношникам, вкратце, но доходчиво, чтобы поняли, почему мы с ним в этот день появились именно здесь.

Цель его – проста и разумна: повидать своих старых знакомых, но не только их повидать, вместе с ними вспомнить о прошлом, рассказать им о настоящем, обо всём, что им интересно, и ему интересно, поведать о таком, что всегда для души и для сердца дорого, нет, цель его – ещё и продать, если это возможно, какое-то, больше, меньше ли, суть не в этом, и не в этом загвоздка, количество, взятых им с собою работ.

– Жить на что-то ведь надо! – подвёл он, головой тряхнув удалою и рукою махнув, черту под запутанными своими, хоть была в них наивная искренность, с прямотою крутой, объяснениями.

Киношники поначалу помедлили – а потом будто бы взорвались.

Они почему-то пришли в небывалое возбуждение.

Они, все разом, рвались тут же что-нибудь сделать, немедленно что-то важное предпринять.

– Да!

– Конечно!

– Само собой!

– Мы поможем!

– А как же!

– Купим!

– Где работы?

И – началось…

Киношники говорили все вместе, громко, взволнованно, друг друга перебивая, размахивая руками.

– Давайте смотреть работы!
– Скорее!
– Пойдёмте смотреть!
Они подхватили нас – и вытащили во двор.
Там, возле зелёной скамейки, на которую, ничего толком понять не успев, присели мы с Ворошиловым, они столпились внушительной гурьбою – и принялись, времени не теряя, рассматривать содержимое взятой нами с собою папки.
Рисунки, один за другим, вынимались из папки, являлись на свет и на суд людской – и тут же передавались из одних рук в другие руки, по эстафете, по кругу.

Раздались, разумеется, вскоре на пространстве двора киношного, поднимаясь к листве подмосковной, к небу синему, характерные, в блёстках дружных эмоций, возгласы.
– Блеск!
– Отлично!
– Вот это да!
– Ничего себе!
– Не ожидал!
– Посмотрите-ка!
– Чудо!
– Шедевр!
– И ещё! И ещё!
– Прекрасно!
– Превосходно!
– Ну, Ворошилов!
– Ну, Игорь!
– Васильич!
– Талант!
– Безусловно!
– Какой художник!
– А я ведь ещё во ВГИКе всем вам говорил, что со временем из него настоящий художник выйдет. И – видите – вышел! А вы его всё когда-то в киноведы идти агитировали.
– А я почему-то сразу поняла: вот это и есть его, Игорёши, призвание!

– А я, что скрывать, просто-напросто поражён. Для меня это – праздник. Нет, минутку, вы посмотрите, повнимательнее посмотрите. Какая певучая линия! Какой удивительный образ! Как это всё современно, между прочим, и оригинально!

– Ворошилыч!

– Игорь!

– Васильич!

– Старик! Ты нас просто потряс!

– Молодец!

И – тому подобное…

Ворошилов рассеянно слушал всеобщие похвалы – и задумчиво как-то помалкивал.

Слушал гул голосов – и всё больше, уходя в себя, да поглубже, отрешаясь от этого дня, от листвы его с синевою поднебесной, от птичьего щебета и от слов похвальных, сутулился.

Слушал возгласы, мнения слушал торопливые – и, почему-то замыкаясь, всё больше и больше, глядя под ноги, в землю, грустнел.

Все хотели помочь Ворошилову.

Все киношники, без исключения.

Незамедлительно. Тут же.

На месте. Прямо сейчас.

Но с деньгами, само собою, у всех, кого ни возьми, было, увы, туговато.

Впрочем, трёшки вначале, а позже и пятёрки, пусть небольшие, что же делать, но тоже деньги, что уж есть, то есть, замелькали мотыльками пёстрыми в болшевском, разогретом, но свежем, воздухе.

Извлекались они из карманов, из бумажников плоских, из дамских, модных, крохотных кошельков.

Они плыли по воздуху, двигались лёгкой стайкою – к Ворошилову.

Их горкой хрустящею складывали охотно в его ладони.

Их порою запросто всовывали с размаху ему в карманы.

И навстречу бумажным деньгам – замелькали роем густым, широким потоком двинулись в киношные руки – бу-

мажные, трепещущие по-птичьи в разогретом болшевском воздухе с голосами людскими, листы с ворошиловскими рисунками.

Киношники наседали:

– А это вот сколько стоит?

– А это сколько?

– А это?

Ворошилов, глядя на них, сутулился и не знал, что ему и отвечать.

Вопрошающе, из глубины смущения своего, иногда смотрел на меня.

А что я прямо сейчас мог ему подсказать?

Его ведь рисунки. Пусть сам решает, как ему быть.

А вокруг зудели, звенели, разливались вовсю голоса:

– Ой, купила бы я вот этот рисунок, но у меня, к сожалению, только пятёрка!

– Поищу-ка. Так, трёшка. Ещё два рубля. И вдобавок – мелочь. А рисунок – хочу купить. Что же делать? Может, отдашь?

– Игорь, слушай меня, дорогой, а за семь рублей мне отдашь?

Ворошилов махнул рукой:

– Да что вы переживаете? Сколько есть у кого, за столько и берите! Рисунки – ваши!..

Но так оно, как-то само собою, уже и было.

Сколько там у кого денег в наличии было, столько ему, художнику, тут же и отдавали.

Содержимое папки изрядно вскорости поредело.

Мы сделали перерыв.

К тому же, как оказалось, киношникам после обеда полагался заслуженный отдых.

А у нас ещё несколько летних полновесных дневных часов, до наступления вечера грядущего, было в запасе.

Киношники, прижимая к сердцам своим, переполненным самыми тёплыми чувствами, ворошиловские рисунки, начали расходиться, не прощаясь, мол, вот поспим, да и свидимся вновь непременно, заверяя нас,

что продолжат свою акцию дружеской помощи Ворошилычу, их Игорёше:

– Здесь кое-кто есть побогаче!

– Посолиднее люди найдутся!

– Юткевичу надо рисунки показать обязательно, вот что!

– Юткевичу! Да! Он купит!

– Галичу показать надо попозже. Он купит.

Мелькнул посреди двора, поодаль от суеты людской, режиссёр Мотыль. Помахал рукой Ворошилову:

– Игорь, ты слышишь? Привет!

– Привет, Володя, привет! – откликнулся Ворошилов. – Как жизнь? Чем ты занят сейчас?

– Да вот, новый фильм снимаю! – залезая в машину, ответил Мотыль. – Приключенческий фильм. С восточным, представь себе, колоритом. Советский вестерн.

Мотор заработал. Машина плавно тронулась с места.

Мотыль, ещё раз помахав рукой своей режиссёрской, уже из окошка машины, и в нашу, отдельно, сторону, и всем, кто был во дворе, всей публике, оптом, уехал.

Этим новым фильмом его, как несколько позже выяснилось, стал всем известный нынче фильм «Белое солнце пустыни».

Киношный народ как нахлынул, так, сам по себе, и схлынул.

Надо нам было чем-то заполнить образовавшуюся в общении с многочисленными киношниками, пожелавшими помочь Ворошилову, паузу.

Да и денег, хотя они, эти деньги, и мелкие были, оказалось, по нашим тогдашним меркам, довольно скромным, в наличии у Ворошилова, как ни крути, немало.

– Ты бы, Игорь, хоть по десятке работы свои продавал! – сказал я ему, заранее, твёрдо и грустно, зная, что втолковывать это ему бесполезно, – тебе действительно на что-то ведь надо жить. А ты такие отменные рисунки не только запросто раздаёшь за гроши, но ещё и, всем на радость, щедро раздариваешь.

– Наплевать на деньги! Подумаешь! Тоже невидаль экая, деньги! – взглянув на рубли, отмахнулся от них, как от мух, Ворошилов. – Посмотри, вон их сколько уже есть у нас. Что, мало? Нам хватит сейчас. А потом – потом видно будет, как быть. А рисунки – да пускай они у людей лучше будут, эти рисунки, раз уж они им так нравятся

– Поступай, как знаешь, – сказал я. – Пожалуй, ты всё-таки прав.

– Надо выпить! – в папку сложив оставшиеся рисунки, сформулировал мысль, давно сидевшую в нём, Ворошилов. – Надо выпить, и поскорее. Ты как? Со мною согласен?

– Можно, пожалуй, и выпить, – согласился с Игорем я.

Мы сходили вдвоём на станцию, купили в пристанционном магазинчике, закутке, для сограждан спасительном, выпивку.

Чтобы выпивки этой побольше получилось, да вышло покрепче, накупил Ворошилов тогда всё того же, всеми в стране потребляемого поголовно, широко, повсеместно, дешёвого, даже самого что ни на есть дешёвого, дальше уж некуда, забористого, потому что – креплёного, на спирту, то есть с приличными градусами, белого, посветлее, и красного, мутноватого, с осадком на дне бутылок, с перебором явным, по части в напитке имевшейся краски, да представьте, обычной краски, с откровенным, большим перебором, но зато достаточно быстро на мозги выпивающих действующего, как нельзя, нам верилось, лучше годящегося для выпивки, и особенно для мужской, кочевой, боевой, суровой, без излишеств, козацкой выпивки, отечественного, советского, неизвестно какого разлива, да не всё ли равно нам, портвейна.

Взяли мы и закуску – плавленые, по привычке тогдашней, сырки, мятые, скользкие, пахнущие чем-то молочно-затхлым, на ощупь ну прямо резиновые, а то и не просто плавленые, а какие-то вроде расплавленные, но зато по цене для всех доступные, просто дешёвые, с натяжкой большой съедобные, согражданам нашим знакомые широко и давно, сырки, двести граммов грудинки – роскошь, а посему

продавщице было сказано, в мягкой форме, со всею возможной вежливостью, порезать её потоньше, на что она, кисло поморщившись, просто грубо её разрезала на четыре неровных куска, – ну и, конечно же, хлеб, две буханки, на всякий случай, одну – бородинского, чёрного, посвежее, другую – белого, почерствее, но тоже мягкого, не похожего на сухари, – после чего Ворошилов, подумав буквально секунду, решительно прикупил ещё и колбаски, так, для баловства, полкило, всего-то навсего, чайной колбасы, розоватой, мягкой, как желе, с запашком, на рубль, – а после, не удержавшись, приобрёл, завидев её остатки в дальнем углу прилавка, и полкило солёной слежавшейся кильки, – с такими, по тем временам, внушительными запасами съестного, разнообразного, с выбором, нам с Ворошиловым не только в своё удовольствие выпивать на родной природе, но и кое-какое время существовать, питаясь умеренно, с экономией продуктов, купленных нынче, можно было вполне.

Обременённые всем закупленным в магазине, вернулись мы на территорию киношного дома творчества.

Где нам выпить? – вновь назревал простой всегдашний вопрос.

Размышлять над этим всерьёз, разумеется, мы не стали.

Приглянулась нам как-то сразу и симпатию вызвала нашу стоявшая чуть в стороне от корпусов домотворческих, в окружении буйной зелени, даже на первый взгляд, это видно было, уютная, совершенно пустая беседка.

Вот и отлично. Лучше, наверное, и не придумаешь.

Тишина. Это важно. Спокойствие.

Никто нам не помешает.

Значит – идём туда.

Устроились мы – в беседке.

Сидели вдвоём, в тиши подмосковной, неторопливо попивая вино, степенно, чин-чинарём, закусывая, чем Бог послал, что купили, недавно совсем, в магазине, разговаривали – о чём-то своём, как всегда – о своём.

Громадные, кровожадные комары донимали нас непрерывно – и приходилось, ничего не попишешь, терпеть.

Но не так-то просто, поверьте, давалось нам это терпение.

И откуда здесь, в Подмосковье, комары такие ужасные?

Всю гармонию, можно сказать, нарушают. Ни на секунду покоя нам не дают.

Они не просто зудели в прогретом слоистом воздухе и не просто повсюду пели, тонко, настырно, пронзительно, зыбко, тревожно, густо, и не просто держали высокую, долгую ноту, стонали, уходя в этом стоне куда-то совсем далеко, в ультразвук, на такие частоты, где пение их прямиком уходило в подкорку, в подсознанье, и там оставалось, глубоко, в мозгу, а не в свете неспешного, тёплого дня, – нет, они гудели, как будто штурмовики, ревели, взвывали, как боевые пронырливые машины летучие, эти злющие созданья природы, и спасу от них, к сожалению, не было.

Поневоле, так получалось не по нашей вине, обстановка начинала напоминать, вот уж бред и кошмар, фронтовую.

Отмахиваясь машинально, с каждой минутой всё чаще, от хищников-комаров, а то и метко пришлёпывая их с размаху широкой ладонью, Ворошилов сердито ворчал:

– Упыри! Кровососы! Вампиры!

И расправлялся тут же с очередным насекомым, отчего то на лбу, то на шее, то на узкой, небритой щеке, то на руке у него возникали потёки кровавые, брызги мелкие, крупные пятна, им стираемые, без особого усердия, то платком замусоленным, то музыкальными, гибкими, длинными пальцами, а то и прямо, – чего, мол, там сейчас мудрить, если надо постоять за себя, – кулаком.

Доставалось и мне от этих летучих чудовищ, жаждущих человеческой свежей крови.

Комары, досаждавшие нам с изуверством, не унимались. Наоборот, их полку, замечали мы, всё прибавлялось.

Может быть, только здесь, в одной из немногих, считанных, недоступных для чужаков, для вторжений извне, цитаделей советского киноискусства, в непрерывном, густом роении сплошь творческих, занятых, деловых, да ещё и с амбициями, чётко знающих цену себе – и другим, кто помельче, личностей, незаменимых работников, творцов,

а то и, подумать ведь, натуральных светил, развелись такие вот комариные, злющие, хищные особи, вампиры, мутанты, гибриды, насосавшись киношной крови, раздобрев на харчах дармовых, расплодившись, заматерев, регулярно, исправно питаясь и давно уж войдя во вкус, но, поскольку киношная кровь им, возможно, приелась уже, тут же, скопом, ордой всей, возжаждавшие вкуса нового, неизведанного, соблазнительного, притягательного, – вкуса крови, богемной, нашей, нищей крови, а всё же – здоровой?

Да кто его знает! Может быть, так оно всё и было.

Их, комаров окрестных, отовсюду, со всех сторон, к нам, скитальцам усталым двум, не куда-нибудь, а сюда, лишь сюда почему-то, к нам, двум друзьям хорошим, в беседку, словно что-то неумолимо притягивало, как магнитом.

Наверное, наше нынешнее присутствие именно здесь вдохновляло их на непрерывные, с жаждой крови нашей, атаки.

А в остальном – всё было, смело можно сказать, нормально.

И вполне уютно, замечу, мы чувствовали себя здесь, вдвоём, в беседке, средь парковой, не совсем ведь киношной, зелени.

Может быть, – кто скажет сейчас, кто подскажет, кто прояснит мысли, чувства, мечты и чаянья? – в задушевном общении нашем было всё-таки нечто особое, полагаю – традиционное, даже, думаю, ритуальное, корнями вглубь уходящее, в древность, где даль и высь в ясном сиянье слились, нечто схожее, хочется верить, с общением удивительным старых китайских поэтов, например, с той только поправкой, что те, неизменно чувствуя средь природы себя как дома, в процессе своей беседы неспешной периодически наливали в чашки свои подогретое, так полагалось когда-то, вино из чайника, – ну а мы наливали себе своё покупное, дешёвое вино в стаканы гранёные из бутылок, так уж привыкли мы, – а вот ритм, и тон, и настроенность, и хорошая простота наших слов, а с нею и подлинная глубина их порой, и взаимное доверие, и само, Игорево, и моё, и общее наше, теперешнее, ощущение, вот

его свет первозданный, себя во времени, которого, так нам казалось, впереди ещё ох как много, и, призвуком неминуемым, ощущенье себя в пространстве, которого тоже было вдосталь, и позади, и впереди, повсюду, куда ни шагни, везде, и понимание нами друг друга всего с полуслова, и надежды наши на то, что всё ещё образуется, всё наладится там, в далёком, или близком уже, грядущем, и вера наша в своё звёздное предназначение, и особая музыка нашей с Ворошиловым дружбы – я именно о ней говорю сейчас, – и весь этот лад, присутствующий в каждой нашей с ним встрече, в речах, в поступках, помыслах, жестах, в различных житейских историях, и весь этот свет нашей творческой, неповторимой дружбы, – всё, совершенно всё, что связано было прочно с пребыванием нашим в мире юдольном, и с воспарением нашим над ним, и с нашей созидательной, сложной работой, во имя добра на земле, для торжества добра над оголтелым злом, – всё было для нас так дорого, и даже, скорее, свято, – и сознаюсь, что выразить это мне, поседевшему, трудно, потому что подобная дружба даётся, конечно же, свыше, даётся, как дар великий, единожды и навсегда.

Симпатичная – век бы ей любовался, такой хорошенькой, век бы помнил её, – синичка прилетела из глубины крон древесных лиственных к нам и уселась – вот, мол, и я – на перилах нашей беседки, вопросительно и лукаво всё поглядывая на нас, не смущаясь присутствием нашим здесь, в её подмосковной вотчине, быстрым, кругленьким, точно бисерным, с огоньком смекалки и смелости, быстрокрылой, летучей, птичьей, развесёлым, но и с грустинкой потаённой, своим глазком.

Я насыпал ей хлебных крошек.

Наша гостья, нас не пугаясь, доброту ощущая нашу, совершенно спокойно, прыгая то туда, то сюда, в беседке, то ко мне поближе, то к Игорю, влево, вправо, кругами плавными, вслед за крошками хлебными, вкусными, для неё, принялась их клевать.

К ней откуда-то прилетела, по сигналу, видать, особому, или просто свою подругу вдруг завидев издалека и решив

пообщаться с нею, да ещё и отведать нашего, для пичуг, угощенья нежданного, здесь, у нас, и другая синичка.

Игорь тут же, да пощедрее, наделил наших гостий пернатых, залетевших в наш временный стан, кочевой, походный, козацкий, стан в беседке, на территории дома творчества всех советских, или, может, не всех, но избранных, только всё ведь равно киношников, пусть приятелей и знакомых среди них у него немало было, слишком большая разница между ним и этим вот племенем, между мною и ними, была, вот и все, на поверку, дела, пусть судьба нас к ним привела, – наделил, от души, едой.

Птички клевали старательно крошки, а мы с Ворошиловым умилённо смотрели на них.

Такая вот получилась, как-то просто, сама собою, домотворческая идиллия.

Синей тенью из лиственной зелени вдруг шатнулся навстречу Галич.

Был человек – это чувствовалось по лицу его, мертвенно-бледному, по выражению глаз, отчаянному, смятенному, по его дыханию, частому, прерывистому, нездоровому, – с глубокого, глубже некуда, занырнуть-то туда несложно, а вот вынырнуть посложнее, это знали мы все, похмелья.

С откровенной надеждой он, очевидно, ещё не решаясь попросить нас о срочной помощи, а тем паче, с ходу, с налёту, этак запросто, вроде по-свойски, по нахалке, присоединиться к нашей тесной компании, где, много выпивки было стандартной, с расстояния в три-четыре, да, всего-то, коротких шага, страшноватых, и всё же возможных, если чудо произойдёт, если здесь-то его поймут, и помогут ему немедленно, и поддержат его непременно, потому что нельзя иначе, потому что иначе кранты, но будто бы из другого, неведомого измерения, посмотрел, набычась, на нас.

И страшная, безысходная, отчаянная тоска, откуда-то из-под кожи, из нутра, из-под мутных, расширенных, выкаченных наружу, малоподвижных зрачков, нежданно, обезоружено, доверительно, откровенно проявилась в его тяжёлом, обвисающем вниз лице.

Такая тоска – ну словно невысказанный, немой, крюками записанный древними для неслышных ещё песнопений, в укор настоящему смутному, в поддержку грядущему светлому, где всё ещё, может, поправится, наладится, слюбится, сдвинется, вполне вероятно, к лучшему, а может быть, и к трагическому, кто знает, кто скажет, гадать бессмысленно, видимо, – крик.

Нет, сильнее, ужаснее, – видимый, но, пока что, без голоса, – вопль.

На столике перед нами, кочевыми друзьями, рядышком с разложенной на газете скромною нашей закуской, стояли бутылки с портвейном.

И в сумке походной, там, на дощатом полу беседки, под столиком с нашим питьём, какое уж было куплено, другого в наличии не было, и едой магазинной советской, лежало несколько полных, запечатанных крепко бутылок.

Питья, почему-то названного торговлей союзной портвейном, хотя богемные люди называли его жопомоем, и право имели на это, было у нас предостаточно.

Не просто, как говорится, в самый раз и не только вдосталь, но даже, можно, пожалуй, похвастаться этим, с избытком.

Так что, ежели что, вполне можно было и налить хорошему человеку.

С нас не убыло бы, уж точно.

Да это ведь и когда-то, – ну, вспомните, ветераны, могикане, герои прошлых героических лет, уцелевшие в неравной борьбе с алкоголем и ненавидимым строем, сулившим сплошные беды и бесчисленные невзгоды богемной отчаянной братии столичной, – подразумевалось, всегда и везде, у нас – не только самим, да и только, с эгоизмом противным, с жадностью, неприемлемой, скучной, выпить, но и людей угостить, а особо страждущих – выручить.

В те годы, с кошмарами их похмельными, с магазинными очередями длинными, нервичными, за бутылкой желанной, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, чтобы стать человеком снова, понимать, где находишься ты, где стоишь, или, может, сидишь, или, может, шагаешь куда-то,

а куда – поди догадайся, не гадай, не надо, и так всё, похоже, ясно для всех, да, конечно, яснее некуда, всё во мраке и всё во мгле, всё в бреду на этой земле, только звёзды есть в небесах, только стрелки на всех часах то стоят, то снова идут, и кого-то, вроде бы, ждут, ну а где, и когда, и зачем, это стёрлось у всех, насовсем, стёрлось в памяти, нет, живёт, чем-то странным теперь слывёт, – была в выпивонном деле у всех мужиков советских, на всех возможных широтах, по всему пространству громадному Союза, державы прежней, Империи, – круговая, – коло древнее вспомним – порука.

Спасали тогда человека – не сочувствием, не участием вялым, так, может зачтётся, а может, и обойдётся, и лучше уж проявить, хотя бы разок, участие, но – деятельно, совершая, от души, бескорыстно, поступки.

Себя обделяли, бывало, но других всегда – выручали.

Чудеса настоящие храбрости совершали, случалось, и часто, чтобы срочно где-то добыть, где угодно, добыть, и всё тут, принести, как можно скорее, загибающемуся от муки человеку необходимое для скорейшего поправления драгоценнейшего, в условиях нелюдских, жестоких, здоровья, а то и для продолжения жизни земной, питьё.

Вообще, читатель мой, выпивка в родном, для меня, для моих друзей давнишних, отечестве, при советской, канувшей в прошлое, как считают в газетах, власти, – это, твёрдо я знаю, единственный в своём роде, неповторимый, грандиозный, – и по масштабам, и по мощной полифонии судеб, жизней, историй, свершений, расставаний, надежд, утрат, обретений возможных, – эпос.

И когда-нибудь, верю, даст Бог, кто-нибудь из наших сограждан, испытавших всё это на собственной, только так, разумеется, шкуре, воплотит его, зов ощутив, горний, или юдольный, в слове.

– Надо нам похмелить человека! – предложил я немедленно Игорю.

Он взглянул, сощурясь, на Галича – и мгновенно понял его плачевное и печальнейшее, дальше некуда, состояние.

– Саша! – позвал Ворошилов, – и ди поскорее к нам. Сейчас мы тебе нальём портвейна. Это поможет.

Галич, помедлив секунду, качнулся вперёд, тяжело вздохнул, шагнул, из тоски своей, из отчаянья, – к нам, ждущим его с питьём, предлагающим помощь свою, просто так, чтоб спасти человека, поддержать его, жизнь ему, в этот день, и час, и минуту, продлить, – с превеликим трудом, шаг за шагом, передвигаясь, шатаясь, зашёл, наконец, в беседку.

Он с натугой, с хрипом дышал.

Он молчал – и смотрел, из прорвы, из пустыни своей тоски, из другого, полуреального, неизвестного измерения, – на вполне реальное, зримое, похоже – материальное, в немалом, вроде, количестве имеющееся у нас и вполне доступное, кажется, для него, страдальца, вино.

Ворошилов налил ему полный до самых краёв крепким красным портвейном щербатый гранёный стакан:

– Пей! Прямо залпом. Быстрее!

Галич трясущейся, слабой, от мучений своих, рукой взял стакан, сжал влажными пальцами, очень медленно, с явным усилием, поднёс его всё же ко рту – и так же медленно выпил.

Сжал сухие, в трещинах, губы.

Сел напротив. Скорбно молчал.

Ждал – когда же вино подействует.

– Ну как? – спросил Ворошилов.

Галич пожал плечами: ничего, мол, ещё не чувствую.

Надо было ускорить его – здесь, у нас, – возвращение к жизни.

Я налил ему второй – с портвейном белым – стакан.

Галич, уже быстрее, выпил покорно вино.

Посидел, надувшись, набычившись, сжав кулаки, крепясь, безмолвно, словно во сне, шевеля сухими губами.

Лицо его, мертвенно-бледное вначале, стало уже серым, землистым, потом – немного порозовело.

Движение к лучшему, что ли?

Он, кажется, оживился.

– Ну что, отошёл? – сочувственно, проявляя заботу о ближнем, спросил его Ворошилов.

– Да вроде бы помогает! – стараясь поверить в эту винную скорую помощь, а больше веря, конечно, в нашу,

людскую, помощь, в наше с Игорем, в этом деле, сложном деле его спасения, восставанья из мук, участие, печально и глухо не вымолвил, а нутром всем выдохнул Галич.

– Поможет, поможет! Я знаю! – заверил его Ворошилов. И налил ему решительно полный третий стакан. – Бог Троицу любит. Давай, пей, и всё тут. Сейчас полегчает.

Галич как-то послушно, покорно, механически, но и осмысленно, заверениям Игоря веря, сразу выпил третий стакан.

Тогда ведь мы с Ворошиловым понятия не имели, что у Галича было это не просто похмелье, привычное, для многих, почти для всех, вовсе не традиционное, не рядовое похмелье, которое все лечили спиртным, а, скорее всего, ломка так называемая, потому что уже давно, по причинам достаточно сложным, в коих трудно теперь разобраться, и не надо в ней разбираться, в этой гуще страстей, и сомнений, и страданий, кололся он морфием.

Как тогда выражались, и нынче говорят, – сидел на игле.

Но спиртное-то – как без этого? – Галич тоже употреблял.

И мы, и знакомые наши это воочию видели.

В те годы пел Галич, бывало, в компаниях авангардных, богемных московских художников.

Пел, струны терзая гитарные, вдохновенно глазами сверкая, повышая и понижая, артистично, свободно, голос, в мастерской у Ильи Кабакова, на чердаке громадного, многокорпусного, странноватого, дореволюционной постройки, всем знакомого дома, на Сретенском, в самом центре столицы, бульваре, пел, в ореоле своей тогдашней, неофициальной, подпольной, но прочной, славы, находясь в кругу благодарных, внимательных, чутких слушателей, своих, надёжных вполне, единомышленников, пел – и всегда перед ним стоял стакан со спиртным.

Наивные люди, мы с Игорем твёрдо верили в силу привычного для всех нас вина, всегда улучшающего любые, даже тяжёлые самые, похмельные состояния.

А Галич не то чтобы как-то, выпив, повеселел, но стало в нём больше жизни.

По крайней мере, мы видели, задышал он теперь поспокойнее.

А лицо – лицо его всё же оставалось малоподвижным, отяжелевшим, набрякшим, нависающим отрешённо над столиком с нашей выпивкой и закусью слишком скромной, такой уж, какая была у нас, – посреди беседки.

И только глаза его – словно выглянули наружу откуда-то изнутри, из глубины тоски, тягостное присутствие которой здесь, рядом с нами, ощущал я болезненно-остро.

– Тяжело! – почти шёпотом, тихо, произнёс неожиданно Галич, – тяжело мне совсем, ребята!

Потом на минуту задумался.

Тень смущения, резкая тень, прошла по его лицу.

Но всё же решился он сказать нам то, что хотел.

– А что если... – начал он и умолкнул вдруг. Но потом пересилил себя и продолжил: – А что, если мне махануть всю бутылку, разом? Клин клином вышибают – ведь так говорят. А что, если это, хотя бы, пускай ненадолго, поможет?

Он уже не вопросительно, а моляще взглянул на нас.

– Да ради Бога! – сказал я. – Ежели надо – пейте.

– О чём тут речь! – Ворошилов поддержал меня. – Пей на здоровье.

Он открыл зубами пластмассовую крышечку новой бутылки – и протянул её, эту бутылку, полную почему-то до самых краёв зелёного узкого горлышка, семисотграммовую, пыльную, с этикеткой полуотклеенной, – протянул, нет, заботливо, бережно, вложил прямо в руки Галичу.

Галич вначале растерянно повертел бутылку, и так, и этак, ну а потом тряхнул головой, взболтнул булькнувшее вино, вскинул бутылку наискось, над губами полуоткрытыми, – и осушил её, до самого дна, буквально в три молодецких глотка.

Перевёл, как водится, дух.

Занюхал вино горбушкой бородинского вкусного хлеба.

И, что уж точно мы видели, может быть и на время, но – возвратился к жизни.

Хотя и срывались ещё иногда с его губ невнятные слова – о тоске, его гложущей, об отсутствии минимального,

много ведь и не надо, покоя, но было нам ясно уже, что ему получше сейчас, что ему, в таком состоянии, куда спокойнее с нами, нежели где-то там, у себя, в домотворческой комнате, как в застенке глухом, одному, – и если это, пока ещё, был вовсе не тот знаменитый Галич, не светский лев, не душа столичных компаний, не гуляка, натура широкая, хотя, безусловно, и труженик, в недавнем прошлом – советский, модный, преуспевающий, драматург, а в нынешней яви – прославленный в тесных кругах нашей интеллигенции и среди богемы поэт, бард, исполнитель своих, полных печали, надежды, драматургии трагической и любви неразменной к людям, в своём, так всё сходится, роде единственных, неповторимых, смелых, рискованных песен, то, во всяком случае, некое обаяние, шарм особый, да ещё и такой притягательный, колдовской почти, магнетизм, которые у него были для всех несомненными, просто-напросто общепризнанными, – с усилием как-то, но всё же проявились в нём, наконец, – и он, человек благодарный, был уже способен к общению.

Он внимательно посмотрел ворошиловские рисунки.

– Замечательные работы! – сказал он. – Да, настоящие. Надо помочь. Обязательно надо, Игорь, тебе помочь. Вот ведь только: пообещаешь, обнадёжишь, с похмелья, – и вдруг…

Он запнулся, смутился, сгорбился.

И совсем уже тихо, глухим полушёпотом, грустно продолжил:

– А ведь надо, надо помочь!..

– Ну, себя-то неволить нечего, – так сказал ему Ворошилов. – Пусть идёт всё само собой. Как уж выйдет. А там – разберёмся. Приходи в себя лучше. Держись. Отдыхай. Набирайся сил. Просто – дыши. Смотри – да попристальнее – на мир.

Так вот мы и сидели втроём, за вином, в беседке дощатой, – и негромко, так, что никто не слыхал нас тогда, – говорили.

О чём? Да о разном. О том, что развеялось в лиственном шелесте, в птичьем щебете, в свете волшебном подмосковного летнего дня.

Вспоминать об этом – непросто, да и душу ранят теперь, в дни иные, в иное время, отголоски былых речей.

Потом, поправив здоровье и наговорившись с нами, Галич встал, с церемонной вежливостью поблагодарил нас за помощь.

Получилось это, мне помнится, у него неловко и трогательно.

Попытался он улыбнуться – и вышло это не просто грустновато, и только, нет, вышло у него это слишком уж грустно.

– Игорь, Володя! Скажите мне – вы ведь ещё побудете здесь до вечера, правда? – спросил он как-то совсем по-детски, но странным образом это сразу соединилось со всем его обликом – крупного, вальяжного, грузного, тёртого, видавшего всякие виды, немолодого уже, но ещё и не старого, зрелого, солидного мужика, с его, таким очевидным, ещё играющим в нём, сквозь боль, сквозь тоску, сквозь смятение, притяжением, блеском, шармом, с артистичностью несомненной, со всеми теми чертами, которые, в совокупности своей, всё время и делали его, человека отважного, в глазах современников – Галичем, запретным и легендарным, выразителем, так получилось, своей, непростой эпохи, чей голос звучал годами с магнитофонных лент по всей огромной стране, чья жизненная позиция вызывала, и это важно, всеобщее уважение, чья трагедия, воплощённая в нём самом, таком, каким был он, приоткрылась тогда перед нами.

– Я вернусь! – заверил он нас и тяжело отодвинулся – в некую странную даль, в сторону, в светлую зелень.

Жить ему оставалось – восемь с половиной, всего-то, лет.

Но никто абсолютно этого – что за доля? – ещё не знал.

(...Давней зимой, в феврале восьмидесятого года, познакомился я, – случайно, или, может быть, не случайно, и, скорее всего, судьба так устроила всё, чтоб встреча наша всё же произошла, – с Алёной, дочерью Галича.

Я читал стихи свои людям, собравшимся зимним вечером, чтобы слушать меня, в квартире близких родственников замечательного художника Роберта Фалька, в одном из кирпичных, невзрачных корпусов, образующих нечто вроде крохотного квартала, находящихся во дворе, за приземистым светлым зданием бывшего ВХУТЕМАСа, на Мясницкой, почти напротив столичного главпочтамта.

В начале двадцатых годов где-то здесь, в корпусах этих, временно, после долгих своих скитаний наконец возвратившись в Москву, обитал председатель Земного, вихрем войн, революций, событий небывалых, объятого шара, человек, сочинявший стихи и поэмы, драмы и прозу, изучавший историю мира, прозревавший грядущее, чуявший там, вдали, вселенский язык, математик великий, мечтатель и создатель «Досок судьбы», одинокий, несчастный, бездомный, вечный странник по землям южным и восточным, звёздный скиталец, птиц знаток, собеседник зорь и растений, тихий, усталый и больной Велимир Хлебников. вхутемасовские студенты, художники-авангардисты, приносили порою в дар молчаливому русскому гению скудную пищу тогдашнюю, понемногу, что Бог послал. Некоторые из них иногда его рисовали. От общения с молодёжью Хлебников оживал. Потом он исчез – навсегда. Остались – его творения. Ещё раз он – для всех – звезда. Миру всему – в дарение.

В обжитой московской квартире, сплошь, вплотную, одна к другой, но зато и с любовью, завешенной работами Фалька, с которым общался в пятидесятых мой друг Толя Зверев, художник, о котором Фальк говорил, что подобные рисовальщики рождаются раз в столетие, читал я людям, пришедшим послушать меня, стихи.

Помогла здесь устроить мой вечер замечательная подруга, и моя, и друзей моих, по богемной нашей среде, в годы прежние, сложные, Лорик, так её называли все мы,

по привычке, Лариса Пятницкая, чья отзывчивость – беспримерна, доброта – всегда велика, понимание жизни, искусства и поэзии – уникально, человечность – светла и чиста.

Я читал – в кругу современников образованных, умных, серьёзных, тех, кому слово дорого русское и поэзия дорога.

Вечер длился – и снег за окнами шёл всё гуще – и с белыми хлопьями совладать не могла темнота, – и невидимая черта пролегла меж семидесятыми и началом восьмидесятых, там, вдали, – и в душах крылатых зазвенела чуткой струной, чтоб остаться навек со мной.

Вечер зимний – из давних лет.

Что за музыка в нём звучала?

В нём – грядущих речей начало.

Ну а с ним – и звучащий свет.

Алёна Галич сама подошла ко мне – познакомиться.

Мы с нею разговорились.

И вдруг я увидел в ней такую же светлую внутреннюю силу, какая была и в отце её, и жила в нём всегда, пробиваясь упрямо ввысь, к небу и звёздам, сквозь боль.

Приезжала позже Алёна в нашу с Людмилой, прежнюю, скромную, однокомнатную квартиру в Новогирееве.

Алёна многое сделала для того, чтобы тексты Галича, разбросанные по разным собраниям, здесь, на родине, были опубликованы, как о том и мечтал – сам поэт.

Вечер зимний. Снега повсюду.

Свеч мерцанье. Преданий груда.

И, сквозь вьюгу, – живое чудо.

Свет звучащий. И – голос вслед…

…Зимой, в декабре, морозном, с ледяными ветрами, семьдесят седьмого, Змеиного, года, измученный предыдущими скитаниями своими и новых скитаний ждущий в грядущем году, я, стараясь держаться, ещё бездомничал.

Приютил меня, только временно, разумеется, ненадолго, мой знакомый, из новых, более молодых, не из нашей компании, но зато для меня интересный, славный парень, Серёжа Берков, острослов, развесёлый гуляка, выпивоха,

рассказчик всяческих удивительных, с парадоксами современными, фантастических, для меня, например, историй, с которым я познакомился прошлым летом, в Крыму, в Коктебеле, где он, в окружении пёстрой, хиппующей, загорелой толпы восторженных слушателей, хрипловатым голосом пел под гитару то песни бардов, то цыганщину, то романсы, то рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда», в зависимости от выпитого перед этим, порой в изобилии, да таком, что запоем попахивало или долгою пьянкой, местного, в основном, сухого вина или напитков покрепче, а также от настроения и состояния духа, но всегда с неизменным успехом. Был я ему благодарен за участие, за ночлег.

Средств столь нужных к существованию у меня и в помине не было.

Своего жилья – да угла, и тому был бы рад я, – не было.

Рукописи, оставленные на хранение в доме случайном, далеко не сразу, с трудом, но вернулись всё же ко мне.

На полу стояла тяжёлая сумка, плотно набитая ими.

За окном стояла холодная, для меня чужая, столичная, с одиночеством, с грустью, привычная, хоть страшащая всё же, зима.

На широком пустом подоконнике лежал, словно знак или символ тревожный, неведомо кем оставленный для кого-то, огромный, с детский кулак величиною, жаркий, как пламя, густо-оранжевый, отливающий вроде бы алым, отсвечивающий багряным, нет, скорее – багрово-кровавым, коктебельский, из бухт кара-дагских, вулканической прорвою пышущий меж снегов декабря, сердолик – и сам собою светился на фоне вначале серого, потом синевато-белёсого, а потом, ближе к вечеру, въедливого, чернильного, сине-лилового, ну а к полночи – тёмного, чёрного, замерзающего, оконного, в ледяных наростах, стекла, почему-то напоминая о какой-то невероятной, неизбежной грядущей жертве.

Я включал иногда приёмник – и в бездонном ночном эфире находил сквозь глушилки пробившиеся к нам, в Империю нашу режимную, с новостями последними, западные, всем известные, «голоса».

И в моё обиталище временное, словно жгучий разряд электрический, ворвалась ужасная весть из Парижа – и гибели Галича.

И – голос его, вопрошающий всех нас:

– А когда я вернусь?..)

Мы опять остались, в беседке домотворческой, с Ворошиловым, в окруженье листвы зелёной с комариным гулом, вдвоём.

Но вскоре, видимо, выспавшись, отдохнув, помаленьку, стали к нам, в беседку, один за другим, наведываться и киношники.

Причём, интересы их распространялись, как сразу же, в считанные секунды, здесь же, на месте, выяснилось, не только на ворошиловские оставшиеся работы.

Они – удержаться от этого трудно им было, наверное, – посягали ещё и на наше оставшееся вино.

– Где Галич? – спросил Ворошилов очередного приятеля, забежавшего к нам, чтобы тоже приложиться скорее к стакану. – Он обещал вернуться, обещал помочь мне с картинками!

Приятель махнул рукой:

– Отлёживается, закрывшись у себя. Томится. Страдает. Тяжело ему. Пусть отдыхает.

– Ну, коли так, то ладно, – пробормотал Ворошилов.

А киношники всяких рангов, те, с которыми не успели мы повидаться после обеда, отдохнувшие, – любопытствуя, уже звали к себе нас, желая поглядеть, в обстановке спокойной, санаторной, отчасти творческой, ворошиловские работы,

Режиссёр Юткевич, прозрачный, как пергамент, призрачно-бледный, элегантный, с манерами барина, удобно сидящий в кресле, в окружении интеллигентных дам различного возраста, преданно, раболепно даже, глядящих на своего повелителя и кумира, каждому слову короля своего внимающих, человек, по всему видать, избалованный, и давно, таким вот, повышенным, пристальным, страстным вниманием к мэтру, перебирая холёными, длинными,

узкими пальцами ворошиловские рисунки, то поближе к ним наклонялся, чтобы цепко вглядеться в каждый на листе светящийся образ, то, пожав плечами, прикрытыми заграничным фирменным джемпером, словно флагом страны таинственной, той, в которой был он властителем, – от простуды, на всякий случай, – вдруг откидывался назад – и тогда, со значением, так, чтобы все вокруг его слышали, но негромко, спокойно, томно, с бархатистою ноткою, тоном знатока записного, матёрого, всех на свете искусств, говорил:

– Да, работы хорошие. Нечто в этом роде я видел в Париже. Только эти – вот он, талант настоящий, – оригинальнее!

И, раскинув узкие кисти утомлённого славой артиста, словно крылья, в знак одобрения своего, – ничего не купил.

Покупали – киношники рангом поскромнее, люди попроще.

Ворошилову надоела затянувшаяся торговля.

И он, взяв папку с рисунками, как сеятель во поле русском широком – лукошко с зерном, принялся раздаривать их всем, кто под руку подвернулся, и налево – берите, дарю, мол, и направо – держите, мол, вам, все берите, всё забирайте, разбирайте всё по частям, вот вам всем – работы, на память.

За бесплатно – все брали охотно.

По всей территории болшевского подмосковного дома творчества, сквозь листву зелёную, свежую, сквозь людское густое роение, прорываясь к летним, просторным, как шатёр для всех пожелавших приобщиться к искусству сегодня настоящему небесам, белели в руках киношников Игоревы работы.

Получилась, как и всегда, по наитью, сама собою, – да и к лучшему ведь, наверное, что сейчас она получилась, – персональная выставка Игорева, – и не где-нибудь в галерее городской, а здесь, на природе.

На пленэре, так ведь сказали бы о подобном явленье французы, – там сказали, в том же Париже, где бывал режиссёр Юткевич, ну а мы-то с Игорем сроду не бывали, и даже об этом здесь, в Империи проживая, как уж выйдет, не помышляли.

Посему – пусть лучше по-русски, по-простому, по-нашему: выставка – на природе, явление чуда, просто так, от щедрот его.

Комары, нежданно утроившие активность свою зловредную, вконец, обнаглев окончательно, просто заели нас.

Вечерело. Солнце давно ушло на запад – и, видимо, собиралось и вовсе скрыться с глаз людских, – на время, конечно.

Киношники, осчастливленные, все разом, сжимая в руках дарёные, всем доставшиеся, ворошиловские рисунки, постепенно, неудержимо, разбредались уже, кто куда.

Пустую папку, в которой ещё недавно лежала целая россыпь сокровищ, Игорь, внезапно почувствовав непривычную лёгкость её, прижимал к себе острым локтем.

Нос его запорожский выдался – сквозь пространство и время – вперёд.

Глаза его – тихо, задумчиво, – светились подспудным огнём.

Он сутулился – больше обычного.

Он молчал – и смотрел на закат.

Мы стояли вдвоём – посреди совершенно пустого двора.

Никого вокруг нас больше не было.

Пора было нам, пожалуй, уходить отсюда, пора.

Уже у самых ворот услышали мы исходящий откуда-то сзади, слабый, едва различимый оклик.

Оглянулись мы оба – на голос.

Голос – рвался издали к нам.

Или – к выси, что с темью боролась.

Или – к новым песням и снам.

Просветлевший слегка, но всё же, пуще прежнего, грустный, Галич к нам тянул огорчённо ладони – мол, куда же вы, братцы, куда?

Ворошилов знак ему подал крепко сцепленными руками: всё, мол, будет в порядке с тобою, не сдавайся, воспрянь, старина!..

И мы, покинув киношный дом творчества, потащились к электричке, навстречу новым – сколько будет их? – приключениям.

Некоторая их часть началась, для нас, ещё в Болшеве.

Мы с ужасом вдруг обнаружили, что вина у нас больше нет.

Деньги – есть. А выпивки – нет.

Но кошмар настоящий – тот факт непреложный, что до закрытия магазина пристанционного остаётся, всего-то навсего, ровно четыре минуты.

Эти вечные, ворошиловские, непростые, четыре минуты, – как с его недавним ныряниеи в Сокольническом пруду.

Опять – четыре минуты. Ну, разве что с крохотным хвостиком.

И мы с Ворошиловым ринулись – вперёд, скорей! – к магазину.

Напрямик, наугад, напролом.

Только бы нам успеть!

Только бы не остаться в незнакомых краях ни с чем!

И мы неистово мчались, наобум, по чутью, вперёд, не разбирая дороги.

Мы по-птичьи легко перемахивали через все, порой возникающие на пути нашем верном, заборы.

Мы срезали все, вероятные и реальные, оптом, углы.

Мы развили такую скорость, что побили наверняка все рекорды – трудно сказать, на какую конкретно дистанцию, – но был это дивный Бег, с большой, а не с маленькой буквы.

И мы в магазин – успели.

За четыре секунды ровно – вот ведь как! – до его закрытия.

Уже продавщица усталая, с ключом и замком в руках, направлялась к двери входной, собираясь её закрывать, уже хотела она гасить, как положено, свет, когда ворвались мы с разгону в тесное помещение продмага пристанционного – и потрясли её до глубины души взмыленным видом своим, да и тем ещё, что Ворошилов на бегу протягивал ей стопку рублей измятых, и была во всём его облике такая просьба глубокая – подожди, родимая, миленькая, дорогая, не закрывай! – и такое было

в глаза его исступлённое, не иначе, и отчаянное желание – эх, успеть бы купить вина! – что усталая продавщица за прилавок вернулась безропотно – и безмолвно, с явным чувствием к нам, свалившимся словно с луны, к ней, сюда, успевшим явиться до закрытия магазина, с нескрываемым изумлением, только молча, слегка, покачивая то и дело, то влево, то вправо, закутанной пёстрой косынкой седеющей головой, улыбаясь задумчиво, нам, незнакомцам таинственным, выдала вожделенные эти бутылки отвратительного портвейна, ровно столько, такое количество, на которое денег хватило, и до двери нас проводила, и потом уже только, дверь на замок закрывая привычно, с одобрением, с укоризною и с приязнью искренней, вымолвила:

– Ну и герои! Надо же! Глазам своим нынче не верю. Бывают орлы такие – в наши-то времена!..

И мы, со своей добычей, дождались на тёмном, безлюдном перроне своей электрички, и долго, но всё-таки ехали в Москву, и пили вино, и смотрели, к походам привычные, в отражавшие наши лица ночные вагонные стёкла, и говорили – о чём?

Господи, да о чём говорить в дороге могли два друга, живущих искусством!

Всё о том же – о том, святом, изумительном, непростом, долгожданном, желанном, возможном, упоительном и тревожном, покоряющем все стихии, исцеляющем души людские.

(Потом, через годы, сквозь время пройдя, вспоминали мы с Игорем Галича.

…Он вышел, сутулясь, глаза опустив, прошёл меж берёзой и елью, усталые, жёсткие руки скрестив, и выдохнул горько: «Похмелье!» Над Болшевом сизая дыбилась высь, киношники жались поодаль. И друг мой привычно сказал: «Похмелись, стряхни с себя тяжесть и одурь». Он выпил бутылку, один, в три глотка, занюхал горбушкой сухою, – и глянул вокруг, и промолвил: «Тоска! Не жду его больше,

покоя. Что ж дальше?..» А дальше – изгнанье, и боль, и песен рыданье глухое, и всё, что означено словом – юдоль, и гибель, и время лихое. И голос, о стольком для нас говоря, сквозь небыль Парижа плеснулся: «На родину, братцы! Пусть хоть в лагеря, но только б домой!..» Он вернулся. И друг мой, когда вспоминали мы дни, сулившие бед возрастанье, сказал: «А лицо его было – в тени, но было над тенью – сиянье».

Или, может быть, так.
Облака.

День ли прожит и осень близка или гаснут небесные дали, но тревожат меня облака – вы таких облаков не видали. Ветер с юга едва ощутим – и, отпущены кем-то бродяжить, ждут и смотрят: не мы ль защитим, приютить их сумев и уважить. Нет ни сил, чтобы их удержать, ни надежды, что снова увидишь, потому и легко провожать – отрешенья ничем не обидишь. Вот, испарины легче на лбу, проплывают они чередою – не лежать им, воздушным, в гробу, не склоняться, как нам, над водою. Не вместить в похоронном челне всё роскошество их очертаний – надышаться бы ими вполне, а потом не искать испытаний. Но трагичней, чем призрачный вес облаков, не затмивших сознанья, эта мнимая бедность небес, поразивших красой мирозданья.)

И вот Ворошилов, мыкавшийся по знакомым, вдруг снял себе комнату.

Снял – за гроши буквально. Можно сказать, что – даром. Или же поточнее скажем – почти что даром.

Он вселился туда со всеми причиндалами – торбой с красками и кистями, бумагой, картонками, перевязанными шпагатом, одежонкой кое-какой небогатой и стопкой книг.

И решил зажить независимой, по возможности вольной, жизнью.

Удалось ему, чудом, возможно, после долгих мытарств, продать иностранцам каким-то, которых притащили к

нему, с трудом отыскав его где-то, знакомые, некоторые работы, живопись, давние темперы, и графику, свежие серии.

Покупатели – были довольны:

– Превосходные вещи!

– Недорого!

– Замечательно!

– Великолепно!

И – покупки скорей упаковывать.

И – бутылку виски на стол:

– Это – вам. Угощайтесь! Презент.

Ворошилов – отведал виски.

– Градус есть. Приличный напиток!

И – добавил. И вновь – добавил.

И – расчувствовался. Размяк.

Пробудилась в нём – доброта.

Захотелось ему – приятное иностранным сделать гостям.

Груду новых темпер достал он – и широким жестом творца показал на них:

– Выбирайте! Что понравится – то подарю.

– О! – воскликнули иностранцы.

И давай поскорей – выбирать.

– Это.

– Это.

– Вот это.

– И это.

– И вот это ещё.

– И ещё… О, какая работа!.. Это.

Ворошилов сказал:

– Всё – дарю!

Изумились тогда иностранцы широте благородной души ворошиловской. Пошушукались. И – вторую бутылку виски из портфеля на стол:

– Презент!

Ворошилов открыл бутылку.

Приложился к ней. Раз, другой.

А потом, после паузы, третий.

Полбутылки – как не бывало.

Закурил свой «Север» привычный.

Бухнул груду рисунков на стол.

Показал на них:

– Выбирайте! Что понравится – подарю.

– О! – воскликнули иностранцы.

Принялись выбирать – рисунки.

– Это.

– Это.

– Вот это.

– И это.

– И вот это ещё.

– И ещё…О, какая сангина!.. Это.

Ворошилов сказал:

– Дарю!

Иностранцы – переглянулись. И – бутылку виски на стол. Третью. Бог ведь Троицу любит.

И сказали они Ворошилову:

– Извините, но больше – нет!

Посмотрел на них Ворошилов. Пить – не стал. Взял пачку рисунков. Протянул иностранцам:

– Дарю!

Иностранцы были растеряны. Даже больше – потрясены. Уж чего-чего, но такого видеть сроду им не приходилось.

Головами все закачали. Загудели, залепетали:

– О, спасибо!

– Спасибо!

– Спасибо!

Ворошилов сказал:

– Да бросьте! Всё окей, как у вас говорят.

Принялись иностранцы покупки и дары упаковывать Игоревы.

Ворошилов помог им. Сказал:

– Там, в своих заграничных странах, окантуйте работы. Все. Пусть висят у вас. Есть не просят. Вспоминайте меня иногда.

Иностранцы сказали:

– Конечно!

Иностранцы сказали:

– Повесим!
Иностранцы сказали:
– Вспомним!
Ворошилов сказал:
– Надеюсь!
И – опять приложился к бутылке.
Иностранцы сказали:
– О!
Ворошилов сказал:
– Годится!
Иностранцы сказали:
– Много!
Ворошилов ответил:
– Нормально.
Иностранцы сказали:
– Крепкое!
Ворошилов ответил:
– Сойдёт.
Собрались уходить иностранцы.
– До свидания!
– До свидания!
– До свидания, добрый русский богатырь! Спасибо! Гуд бай!
Ворошилов – их проводил.
– Приходите ещё. Буду рад.
Ворошиловские знакомые, наблюдавшие процедуру иностранных приобретений и даров ответных, сказали напоследок художнику щедрому, провожать уходя привезённых покупателей:
– Ты чего?
Выразительно покрутили у висков своих пальцами:
– Спятил?
И добавили:
– Ну, ты даёшь!..
Ворошилов от них отмахнулся, как от мух:
– Ничего! Прорастёт!..
Все ушли. Захлопнулась дверь.
Ворошилов – на деньги взглянул заработанные:

– Жить можно!

И – опять приложился к бутылке, сделав только один глоток.

Остальное – оставил на утро.

Заварил себе чаю покрепче. Подождал, пока настоится. Всласть напился. Вот это вещь! Не чета какому-то виски.

Взял бумагу, мелки цветные. Помаленьку стал рисовать.

Впереди были – вечер и ночь.

До утра – было времени много.

Все сомненья и страхи – прочь.

Мир – велик. Жизнь прекрасна, ей-Богу!

Надоело уже – кочевать.

Надо – комнату где-нибудь снять.

Надо – снова работать. Надо.

Труд – спасенье. Выход из ада.

И – нашлась наконец-то комната. В коммуналке. И то хорошо. И на том спасибо судьбе. Да и сдавшим её хозяевам.

Было это – везением. Явным. Несомненным. Но и заслуженным. Вот и с комнатой – повезло, безусловно. Хвала везению!

Вообще, коль на то пошло, если вдуматься, было похоже, что пора испытаний всяческих и весьма тяжёлых периодов остаётся уже позади, там, в былом, – и теперь начинается в невесёлой его, сумбурной и действительно сложной жизни, наконец, полоса везения.

В принципе, это, как водится, следовало бы отметить.

Всё тогда отмечать полагалось.

И тем более – очевидное, вот, смотрите, судите сами, каково оно нынче, – наличие, для художника, для творца, для скитальца, в недавнем прошлом, а теперь – человека с комнатой, пусть и снятой, на время, пусть, но зато ведь в Москве, не где-нибудь, это важно всегда, – везения.

И Ворошилов надумал устроить в снятой им комнате и хорошенько отпраздновать желанное новоселье.

К делу он подошёл обстоятельно, со всей возможной серьёзностью, с той, врождённой, видать, добросовестно-

стью, которая в нём проявлялась, не всегда, иногда, но всё-таки проявлялась – и отдавала всегда, обычно, имеющей негаданное продолжение, последствия, да такие, какие вообразить невозможно было заранее, и очень уж бурное, прямо-таки стремительное развитие, этакое сплошное, непрерывное ускорение, движение по нарастающей, – хозяйственностью, такой, как он её понимал.

Дело было действительно важным.

Закупал Ворошилов – провизию.

Закупал художник – питьё.

Он, имеющий опыт немалый, опыт жизненный, кочевой, многолетний, суровый, богемный, не поскупился на выпивку.

И если уж приобретал водку, то набирал и целую батарею «Жигулёвского», в основном, но отчасти и «Рижского» пива, и некоторое количество минеральной воды, «Боржоми», «Нарзан» и «Ессентуки», и даже, на всякий случай, пригодится, небось, лимонад.

Купил он портвейна, много, белого, красного, розового, купил сухого, дешёвого, по девяносто семь копеек бутылка, белого, на вкус довольно приятного, лёгонького вина.

И всё это сам он тащил, кряхтя, в жильё своё новое, в нескольких, разумеется, авоськах, в один приём, чтоб не метаться с покупками по новой. И – дотащил.

Потом – покупал он еду.

Начал с того, что купил сразу десять, – впрок, чтоб запас был еды, – килограммов картошки.

Взял, подкинув их на ладони, чтобы вес ощутить и плотность овощную, два кочана, свежей, светло-зелёной капусты.

Взял вдобавок два килограмма – пригодится – капусты квашеной.

Купил огурцов солёных.

Купил один килограмм лука репчатого, в шелухе сизовато-коричневатой.

Купил килограмм оранжевой, в кудряшках зелёных, моркови.

Купил макароны, крупные, как патроны, купил вермишель, меленькую, рассыпчатую.

Купил чёрный перец и лист лавровый – для приготовления сытных и вкусных супов.

Поразмыслив, купил в мясном отделе свиные ножки с копытцами – для холодца, им любимого с детства, для студня, как он его называл.

Купил две банки студенческой еды – баклажанной икры.

Купил майонеза баночку.

Потом – измятый, слежавшийся пучок зелёного лука.

Вслед за луком – пучок петрушки.

Потом – две банки зелёного, крепкого с виду, горошка.

За горошком – две банки хрена.

И потом – две банки горчицы.

Купил килограмм колбасы чайной и килограмм ливерной колбасы.

Купил сразу три килограмма дешёвой мороженой рыбы – и, когда эта рыба оттаяла, засолил её тут же, причём делал он это умеючи.

Купил он груду селёдки – её он любил, и ел помногу, и называл уважительно – лабарданом.

Хлеба купил побольше – чёрного бородинского, чёрного круглого, чёрного кирпичиком, несколько белых, по двадцать копеек, батонов.

Купил он четыре пачки индийского, со слоном на жёлтеньком фоне, чаю, – подвезло, случайно увидел и немедленно приобрёл, правда, с нагрузкой, в виде четырёх подозрительных банок маринованной свёклы, но, впрочем, и она для еды сойдёт.

Купил килограмм соли.

Купил килограмм сахара.

Столько всего накупил, что запросто можно было пир для друзей закатить.

И всю эту гору провизии следовало на пиру всенепременно съесть – так задумывалось изначально, так планировалось, ну а замыслы вместе с планами, столь масштабными, надо было в жизнь воплощать.

Ворошилов убрался в комнате.

Он вымыть не поленился затоптанный, грязный пол.

Он влажной тряпкой протёр стол, стулья и подоконник, все в комнате находящиеся предметы хозяйской, скудной, обстановки – благо таких здесь было наперечёт.

Он даже оконные стёкла протёр – так светлее, праздничнее.

Он варил картошку, разделывал селёдку, лук нарезал, готовил на кухне суп.

Он расставлял на столе, по возможности – покрасивее, тарелки, чайные блюдца, раскладывал аккуратно ложки, вилки, ножи.

Он украсил стол пирамидами разнообразных бутылок.

Для каждого им ожидаемого на новоселье гостя он поставил отдельный, вымытый добросовестно, чистый стакан.

Гостей назвал он немало. Даже, может быть, многовато. Пригласил он всех, до кого удалось ему дозвониться.

Он волновался – так хотелось ему перед ними выглядеть хлебосольным, щедрым, добрейшим хозяином.

Он побрился. Надел заранее выстиранную и выглаженную, чистую, тесноватую, светленькую рубашку.

Поглядывая на себя, изредка, бегло, в зеркало, висящее на стене, он одобрительно крякал: ишь ты, а всё-таки он парень ещё хоть куда!

Близилось время визита целой орды гостей.

Игорь успел приготовить.

Оставалось ещё немножко потерпеть, чуть-чуть подождать.

Он сидел в тишине за столом, не притрагиваясь к спиртному, – успеется, наверстаем, всё ведь ещё впереди.

Он просто курил – и ждал.

В назначенный час раздался с площадки лестничной громкий, долгожданный, долгий звонок.

Ну, вот оно, вот! Начинается!

Идут. Что ж, вперёд! Пора!

Ворошилов ринулся к двери входной, широко распахнул её – и, сделав широкий, плавный, торжественный жест рукою, с подобающим случаю пафосом в голосе, возвестил:

– Дорогие гости, входите!

В коридор коммунальный, громко, так, что пол прогибался, топая сапогами казёнными крепкими, деловито, целенаправленно, с быстротою, непостижимой для советских граждан простых, не вошёл, а вихрем ворвался жутковатым – наряд милиции.

– Стой!

– Ты кто?

– Документы!

– Взять его!

– Разберёмся! У нас – разберёмся!

Ворошилова, потрясённого милицейским диким вторжением в мир, которого жаждал он, в эту комнату, где мечтал он, погуляв с друзьями вначале, новоселье отметив с ними, здесь, в покое, сосредоточиться и работать всё время, – схватили, как преступника, – и увезли, в неизвестность куда-то, в чём был, в тесноватой чистой рубашке и в домашних разношенных тапочках.

Оказалось, что комната, снятая незадорого и надолго, у ментов была на учёте, что хозяева, люди тёмные, что-то вроде бы натворили и куда-то быстро исчезли.

Чем запретным они занимались, в чём конкретно они провинились, что за люди были такие, – совершенно сейчас не помню.

Был куда страшней и существенней тот нелепейший факт, что именно из-за них, ни за что ни про что, пострадал мой хороший друг.

В милиции на Ворошилова – навешали чьё-то дело.

Так случалось в прежние годы.

Легче лёгкого для милицейских, при чинах, при погонах, властей было в чем-нибудь очень серьёзном обвинить ни в чём не повинного, да ещё и, к тому же, творческого, беззащитного человека.

Опять-таки и разыскивать действительного преступника, поскольку был заменитель найден ему, не требовалось.

Галочку там, у себя, в канцелярских своих бумагах, поставили – вот и всё.

Видимость проведённой с успехом, большой работы.

Привычка типично советская – в типично советской, с подменой одного другим, ситуации.

Имитация. Подтасовка.

В случае с Ворошиловым это произошло потому ещё, что художник, не удержавшись, высказал провязавшим его ментам всё, что о них он думал, всё, что считал для себя необходимым сказать.

Их реакция на слова, прозвучавшие, как набат или гром среди ясного неба, оказалась незамедлительной.

В русле мраком покрытой, подлинной, – а не липовой, показной, для отчётов, для планов, – жизни учреждения, в нашем народе, понимавшем всё, нелюбимого, учреждения – порождения всей советской тогдашней системы.

И менты – случай выдался – просто отыгрались на Ворошилове.

Ага, мол, художник? Ишь ты, поди ж ты! Абстракционист? Или кто там? Нигде не работаешь. Тунеядец, значит? Бродяга?

Так ты ещё и возникаешь?

Ну, тогда получай сполна!

Его из ментовки отправили прямо в тюрьму. В Бутырки.

Распрекрасное выбрали место для воздействия – в лоб – на психику – что там чикаться с ним, церемониться? – задавить! – и на душу художника.

Традиции – были. И – навыки. И – методы. Вон их сколько!

Такое местечко, где, хочешь не хочешь, а призадумаешься о справедливости в жизни.

Особенно в той, что во мгле затянувшегося бесчасья проходила в нашем отечестве.

За что? – вопрос этот глохнул в пространстве тюремной камеры.

Вины отсутствие полное – доказывать было некому.

Ворошилов, однако, упорствовал.

Его Козерожье упрямство взыграло с невиданной силой и сказалось по-новому в этой трагической ситуации.

Пробудилась в нём воля – и крепость необычную обрела.

Ни за что не сдаваться! Держаться!

Справедливости добиваться!

Должна ведь быть в мире, сложном, жестоком порой, справедливость!

Он твёрдо стоял на своём.

Неужели его мучителям непонятно, что он ни в чём совершенно не виноват?

Пребыванье в тюрьме – его, ворошиловское, – ошибка.

Неразумное что-то. Бессмысленное.

Бред, и только. Нонсенс. Абсурд.

Уж чего только не довелось навидаться ему, человеку горемычному, но тюрьма – это ясно, как Божий день, всем на свете должно быть, – не место для художника. Неужели не желает никто понять, что художнику здесь нельзя находиться категорически?

Почему он должен сейчас отвечать – неизвестно за что, за кого? Почему он вынужден – за кого-то, вместо кого-то, виноватого в чём-то, – страдать?

Наваждение, да и только.

Всё, что нынче с ним происходит, иначе и не назовёшь.

Прирождённый воитель, он не хотел быть безвинной жертвой, не желал становиться безвольной, бессловесной, покорной игрушкой в чьих-то грязных руках, восставал против лжи, противился всячески тому, чтобы так вот, по чьим-то указаниям, или приказам, или прихоти, или блажи, или мести, или зловредности, по случайности, по нелепости, по причине идиотического, в корне, прежде всего, по сути, вот куда посмотрите, стечения разных жизненных обстоятельств быть разменной картой в каких-то изощрённых, иезуитских, политических, может быть, играх милицейских московских властей.

Тогда его из тюрьмы отправили на принудительное лечение – в нехорошую, как Булгаков сказал бы, психушку, похуже тюрьмы, в Столбовую.

Кошмарное было – в годы минувшие – заведение.

Известность была у него широкая и дурная – такая, что, при одном только упоминании о нём, бывалые люди, кое в чём хорошо разбиравшиеся, кое-что получше других понимавшие, тут же вздрагивали, замолкали и напрягались.

Там попытался Игорь по-хорошему, по-человечески, по-честному объясниться, с глазу на глаз, с главным врачом.

Ведь это вполне нормально и даже очень ведь правильно – взять да и поговорить с человеком, дававшим клятву Гиппократа, серьёзным, толковым, напрямую, начистоту, откровенно, как на духу, ничего от него не скрывая, искренне, доверительно, в надежде на человеческое и врачебное понимание.

Тот, как это ни странно, вдруг снизошёл до художника.

Почему? Да кто его знает!

Может быть, проявилось в нём обычное любопытство.

А может, имели место интересы профессиональные.

После того, как Игорь рассказал ему о нелепой истории, произошедшей с ним и приведшей его, по чьему-то распоряжению, таинственному, покрытому пеленою туманных домыслов и догадок, сюда, в психушку, а потом откровенно поведал, вкратце, о жизни своей и непростой судьбе, ну а потом, незаметно увлёкшись, подробно, доходчиво, хотя, как всегда, с основой философской и метафизической, с привлечением, для наглядности, цитат из Святого Писания, из Корана, из мифологии, из Гёте, из Бёме, из Экхарда, из Хлебникова, рассказал о своём понимании живописи и тут же ему прочитал интересную и поучительную лекцию о Ван Гоге, – «лечение» принудительное сразу же, в тот же день, после беседы, усилили.

После второй, вдохновенной, разумеется, и обстоятельной, лекции о Сезанне, прочитанной, неожиданно для самого себя, Ворошиловым, почему-то, – в полном составе появившемуся перед ним, навестившему вдруг

его как-то утром, – по чьей команде и с какою целью – неясно, заинтересовавшемуся его, ворошиловской, творческой, художнической, не такой, как у членов МОСХа, не очень-то доступной для понимания, вовсе не реалистической, формалистской какой-то, сложной, деятельностью, с которой разобраться бы надо как следует, и его сокровенными, личными пристрастиями в искусстве, – коварному, как оказалось, но всё-таки поражённому эрудицией небывалой и редкостным красноречием пациента, видавшему виды, но с подобным случаем сроду не встречавшемуся, озадаченному, – тем не менее, выполнявшему исправно свою работу, разрушительную, жестокую, медицинскому персоналу, – после некоторой заминки, после кратких переговоров меж собою, за дверью, надёжно закрытой для посторонних, словно поспешно слишком навёрстывая упущенное, да и так, для порядка больничного, а вернее, чтобы скорее проучить и вконец запугать вот этого, странноватого, если мягко сказать, художника, ему назначили, кажется, тридцать, пусть, мол, помучится, может и станет попроще потом, инсулиновых шоков.

Словом, чем дальше, тем хлеще.

«Лечение» шло – исправно, регулярно, по нарастающей.

С компонентами всеми возможными процесса этого долгого – жестокостью, издевательством, откровенным садизмом, – и прочими, помельче и покрупнее, – и не было им числа.

Испытывали на нём непонятные препараты, от которых, раньше ли, позже ли, ежели не загнуться, то свихнуться уж точно можно было всем подопытным людям.

У советской психиатрии средств подобных было с избытком.

Почему же их лишний раз не опробовать на отдельном, да таком ещё, как Ворошилов, то есть мыслящем, человеке?

Вот и пользовались удобным, подходящим для этого, случаем.

Вот, войдя, вероятно, в роль, или в раж войдя, и старались.

Человек-то был – беззащитным.

Был – беспомощным. В их руках.

Выбивали здесь из него – всеми способами, какие подходили более-менее и какие годились, так, на авось, на глазок, «художническую дурь». Но что скрывалось тогда под этим определением, что конкретно имелось в виду, спрашивать было не у кого.

Непохожесть, всегдашняя, давняя, ворошиловская, на других, сама по себе уже должна была раздражать и ставить в тупик врачей.

А тут ещё и спихнули-то его, им в руки, – мол, вот вам экземпляр, поработайте с ним хорошенько, вы это умеете, – не какие-нибудь московские, при погонах, шестёрки, пешки, а милицейские власти.

Значит, был у них, у властей милицейских, для этого повод.

Значит, были причины для этого.

Так зачем же тогда теряться?

Вот он, подопытный кролик.

Ну и, следует помнить, конечно, что сказано было сверху: помучить его как следует здесь, да так, чтоб со временем он и родных своих не узнал.

Посему – за работу, товарищи!

Что с ним только ни вытворяли, как над ним только ни издевались!

Доселе понять невозможно, как Игорь всё это выдержал.

Продержали его в психушке – полтора долгих, горьких года.

Вы вдумайтесь в эту цифру.

Полтора бесконечных года настоящих пыток, жестоких издевательств, сплошных истязаний.

Полтора беспредельных года ни на час, ни на миг, хотя бы, днём ли, ночью ли, не прекращающегося, нескончаемого кошмара.

Полтора безнадёжных года постоянного, на измор человека берущего, ада.

И если бы не богатырский ворошиловский организм, то вышел бы из психушки великий русский художник законченным инвалидом.

Если бы вообще в таких условиях – выжил.

Из писем. На смятых листках, в основном – из тетрадок школьных, или вырванных из блокнотов, торопливо и густо исписанных ворошиловским крупным почерком, разрозненных, сложенных вчетверо, чтобы спрятать их и потом передать украдкой, при случае, навестившим его друзьям, – чтобы те поскорей их отправили, из Москвы, далеко, на Урал, драгоценной, любимой Мире.

Из неволи. Из заточения в аду подмосковном. Игорь Ворошилов – Мире Папковой.

– Милая! Что с тобой случилось? Я написал уже три письма, от тебя же никаких вестей. Отзовись. Я на инсулине. Неволя доконала меня. Теперь я понимаю зверей, которые в неволе не размножаются. Я – из их породы. Жизнь здесь проходит скучно и безобразно – но ничего не поделаешь – хотя временами и не могу сдержать своего бешенства. А это мне вредит.

– С утра просмотрел я пустые сны и коловращенье миров в калейдоскопе Вселенной, о движении Духа в самом центре ядра атома; о распаде Бога, который неожиданно перестал быть единственным, о сумасшедших домах, в которых я ещё не бывал. но обязательно побываю – не в этом времени, так в другом; о предательстве любимых, желания которых менялись молниеносно – и горько мне было и страшно в этом инсулиновом бреду: пустые сны, пустое сердце, пустая жизнь – и никакой надежды.

72 – 26-1

– Голубушка моя, от тебя ни слова, ни проклятий. Боюсь говорить – неужели в болезнь ввергнутая? Столько врагов, столько сук! О, не дай тебе Боже заболеть. Милая, я умру. Я всегда притворялся. Я люблю тебя безумно. И больше чем ты – меня. Я это знаю, но я скрывал, потому что ты

глупа, а я боюсь твоей глупости. Ты баба, тебе позволено мучать. Как ты меня мучала. Я всё прощаю. Я говорю – люблю. Я говорю – Мирочка, милая моя деточка, выздоравливай, похорони меня – тогда всё будет в порядке. Не затоскуй, когда это будет. Всё – можно найти. Только – не меня.

– Как отдалённый гул весенней ночи, когда рассвет чуть брезжит, а свиданье ещё в зените страстного моленья, горячих поцелуев и упрёков, и горьких слёз и жалобного счастья, – я, воспалённый, в гневе ожиданья прозрений неожиданных, пророчеств, брожу по тёмной комнате, как леший, и грежу наяву – и вижу небо других, неведомых и страшных сказок, где только нарождается мгновенье – и всё в чаду тропического жара, в котором млеют души и туманы, и мы в любви смертельной жаждем боли, чтоб через путь и мету слёз кровавых познать другое, скрытое, благое, – неуловимое, как суть миров высоких, которым мы в болезни отвечаем горячим словом, воспареньем, светом, не зная ни покоя, ни отрады, ни лёгких снов, ни призрачного счастья, всегда в пути, в ревнивом напряженьи, всегда в пути – до самой, самой смерти.

– Приглашая вас на танец, что мне делать, Маргарита? Поцелуем ли отметить вашей смуглой шеи выгиб иль ревниво упадая до колен – колонн высоких, овном радостно заблеять или горестно заплакать. Нет в душе моей решенья, разум страстно помутился, и уходят в синий вечер грёзы странные мои. Может, завтра, может, в полночь встречу вас с весёлым мужем, содрогнусь и бедным сердцем запылаю и умру. Но сегодня я не в силах оторвать шального взгляда от лукавейших вопросов ваших влажных быстрых глаз. Страхи – прочь, не зацелую, я ведь рыцарь чистой веры, только плачу и вздыхаю, только мучаюсь во сне.

Почему не пишешь? Здесь ужасная скука. Инсулин ничего не даёт, кроме того, что в шоках открываются довольно пугающие потусторонние вещи. Целую тебя нежно, – всю, много-много раз. Игорь.

6/П – 72

– Милая! От тебя никаких вестей. Я уж отчаялся дождаться. Что-нибудь опять случилось? Пиши мне почаще. Я здесь задыхаюсь от скуки и тоски. А ещё сидеть и сидеть. Всё опротивело, видеть никого не могу, угнетённое состояние, депрессия. Очень тяжело. Представь себе вокзал – с его шумом, гамом, переполненностью – вот в таком отделении я живу. Нет минуты, чтобы побыть одному. Оттого-то я смертельно устал. Единственное спасенье – сон. Я буквально спасаюсь сновиденьями. По крайней мере хоть во сне побудешь сам с собой. И за какие только грехи выпал мне этот ад? Соскучился по живописи. О тебе и не говорю. Пиши. Игорь.

– Мира! Теряюсь в догадках, пытаясь понять, почему ты молчишь. Как-то не верится, что тому причиной какое-нибудь глупое или горькое событие. Во всяком случае, от тебя нет писем уже 1,5 месяца (!!). За это время можно было бы написать и о несчастье, если оно случилось, и о ещё какой-нибудь задержке. Ты не представляешь, как мне здесь тяжело приходится. С прошлогоднего мая я не могу найти ни места, ни времени, чтобы порисовать. А желание было так велико. Сейчас нет ни желания, ни мыслей. Во мне тупо ворочается тоска и какая-то особенная глухая боль. Жаль золотого времени, что уходит безвозвратно, жаль себя за неустройство и призрачность будущего, жаль, что всё, что наработал, распылилось, разошлось по рукам – и теперь я как сирота или как отец, потерявший в старости опору – своих сыновей, и задыхающийся в одиночестве, да чего только ещё не жаль. Того и изобразить невозможно. Времени здесь много, жизнь трезвая – и вот всё думаешь и думаешь – и потихоньку седеешь. В таком состоянии каждое слово друга и любимой на вес золота – неужели ты этого не поймёшь. Не пиши только лишнего, потому что письма читают – и все. Уж как мне совершенно нечего писать родителям, я, зная, как там тоскует мать – пишу же и нахожу, о чём. Хоть два слова, но уже письмо, уже весть. Обязательно напиши. Я прошу тебя перенести отпуск на август – раньше я вряд ли выйду. Это тебе ничего не стоит, а я в неволе и от меня ничего не зависит. Пиши. Целую крепко. Игорь.

4/V – 72

– Милая! Я получил от тебя письмо. Был очень обрадован, но должен снова тебе заметить, что здесь письма читают внимательно. Ради Бога, о моих делах в больнице – ни слова. Все или почти все письма, которые ты от меня получаешь, переданы тайно, минуя врача. Так что не обо всём, что я тебе пишу, можно говорить открыто. Я могу ещё раз сказать тебе – хватит мучаться, хватит жить врозь. Это до хорошего не довело. А если будет так продолжаться, то может быть ещё хуже. Я не скрою от тебя, что мой срыв – следствие болезненного состояния. Нельзя жить человеку в таком напряжении. Я тебе говорил, когда мы шли в «Большой Урал», что я нахожусь под страшной силы прессом. Ты, однако, не обратила на это внимания – или обратила в том смысле, что такой уж у меня тяжёлый характер. Характер характером, а он у меня, как не совсем неправильно заметил Лёва Пасеков, отличен тем, что большей своей частью объясним и зависит от моей внутренней работы, которую я ревниво оберегаю, что дало повод Стесину назвать меня хитрым и скрытным другом, который редко говорит то, о чём думает (не знаю, насколько он прав) – характер, говорю я, характером – но обстоятельства, которыми я был окружён последнее время, были столь зловещими и ненормальными и всё это, к несчастью, было так глубоко внутри меня запрятано, что рано или поздно нарыв должен был прорваться. Честно говоря, я за 1,5 месяца предчувствовал надвигающуюся беду, но ничего не мог с собой поделать. Милиционеров я не мог видеть без злобы и содрогания. И постепенно заболевал элементарной манией преследования. Когда же пришлось с ними столкнуться – меня прорвало, и я им кое-чего сказал, за что и сижу сейчас в больнице. Живи я другой жизнью, я уверен, что этого не произошло бы. Целую тебя нежно. Игорь.

– Милая! Я получил два твоих письма. Слава Богу, что у тебя всё в порядке. Конечно, молчание твоё в это время – преступление, но я помолчу... У меня 24 мая была комиссия и принудку врачи мне сняли. Сейчас дело уже направлено в суд, который тоже должен снять с меня

принудку. К августу я выйду. Я не совсем тебя понял в последнем письме. Ты пишешь, что я должен предупредить тебя письмо о своём приезде в Свердловск. Это по меньшей мере странно. Ты же собиралась в отпуск в Москву – и это было бы удобнее. Я жду разъяснений. Отпуск бери в августе. Я по выходе снял бы в Москве комнату. У меня здесь скопилось много дел – и честно говоря, я так истосковался по живописи, что мне не терпится скорее приняться за неё. В Свердловске я не смогу заниматься ею. Вдобавок же – с места в карьер бродяжить, обивать пороги Аркаши или Валеры для меня сейчас было бы очень тяжело. Я утратил интерес к людям и мечтаю о затворничестве и покое. Нелепые претензии людей меня крепко раздражают. Никто на меня не имеет права, никому я ничего не должен, а между тем меня содержат как скотину совершенно мне посторонние люди, да ещё вдобавок всячески ущемляют в правах. Это безнравственно – и в высшей степени абсурдно. Человеческое общество с его порядкамии мне активно враждебно. Когда начинаешь смотреть на человека со стороны социальной, трудно, как говорил Ницше, скрыть «вздох презрения». В общем, я за Москву. Деньги мне нужны, да потом не исключена возможность, что к половине июля я выйду. Крепко целую. Игорь.

1/V1– 72

– Милая! Я очень сочувствую тебе за маму. Утешать я не умею, да и сама смерть, размышление о ней – постоянно производят в моей душе опустошение – я бываю временами совершенно раздавлен очевидным абсурдом – тем не менее скажу, что плач о покойной никак не успокаивает её душу, которая пока носится над землёй; наоборот огорчает её, предаёт её мучению. Как бы велика ни была скорбь, надо всегда помнить, что самое худшее у почившей – позади. Я исхожу в этом из своей твёрдой, детской веры в бессмертие души – и тебе желаю этой же самой веры. Я также твёрдо уверовал в то, что этот мир – юдоль страданий, что противоречит конечной цели человеческого существования, что в свою очередь говорит в пользу

других миров и другого бытия, где нет похищения, нет дисгармонии, нет абсурда. Впрочем, я только рассуждаю – и поэтому прошу простить меня, если что-нибудь не так выразил. Добавлю только, что ты напрасно считаешь себя сволочью за то, что два года ей не писала. Конечно, это не очень хорошо. Но, в конечном счёте, важна твоя любовь к ней, а не что-нибудь другое. В этом смысле, – у тебя нет причин для терзаний. Я не получил пока от тебя письма с разъяснениями. Почему ты ждёшь меня в Свердловске? Ты знаешь, как там трудно, почти невозможно устроиться с жильём – не говоря уж о том, что там будет совершенно невозможно заниматься живописью. Пощади меня. Конечно, вам трудно представить, какое мучение и какая пытка для художника невозможность работать в то время, когда он полон замыслов и желания. 10 месяцев я нахожусь в условиях, которые могут порождать только истерию и скрежет зубовный. Я не чаю дождаться того часа, когда освобожусь и измажусь в свои любимые краски. У меня тут есть кое-какие деньги. В июле я, по всей вероятности, выйду. Бумаги уже в суде. Сниму комнату. Бери на август отпуск и приезжай сюда. Это будет по-человечески. А в Свердловске опять будет чёрт знает как. Напиши мне быстрее. Неужели не наберёшь денег на поездку? Целую тебя крепко. Игорь.

14/V1– 72

– Мира! Я знал, что беда обрушится – и сочувствую тебе в меру всех своих возможных и даже невозможных сил. Я разделяю твою скорбь и твоё горе – поверь, мне это всё так понятно, что слова, пожалуй, и излишни. Я очень любил твою маму. Она была прекрасной и, к сожалению, редкой женщиной. Я думаю – ей было нелегко с её мягкосердечием и врождённой деликатностью. Возможно, раньше было иначе – но сейчас, когда вампиризм стал повальным явлением, таким людям жить просто невыносимо. Не думаю, что раньше было намного меньше кровососов. Отсюда и заключаю, как ей было нелегко, поражаясь её выдержке, умению держать себя в руках. Для этого нужны душевные силы – и немалые. Милая,

я не знаю, как тебя утешить. Могу сказать, что есть только один выход – смириться с неумолимостью хода событий. Другого выхода – нет.

– Милая! Будет хорошо, если ты возьмёшь отпуск в августе и приедешь с Верой к Яше. Я должен выйти к августу. Домой я хочу уехать в октябре – и буду там долго. По выходе же у меня будут здесь дела и я всё равно сразу не смогу приехать. Потом – мне хочется немного отдохнуть. А дома отдых вряд ли возможен (я имею в виду отдых психический). Дома меня начнут ежедневно пилить за то, что не женюсь – и они правы. Что им возразить? Уроды и те имеют семьи и детей, стараются их иметь. Как-то я тебя спросил в сердцах (вопрос глупый) – почему ты так рано вышла замуж? Ты ответила, что боялась слышать от людей насмешки и пересуды относительно девичества. Это тебе сколько было! А у меня уже вышли все сроки. Можешь представить, как изводят меня отец и особенно мать по этому делу, не говоря уж о всяких встречных-поперечных. Из-за этого мне домой хоть не езди. Поэтому-то я и хочу месяц-полтора побыть здесь в тишине и уединении. Я не могу поверить, что ты не можешь сюда приехать. Много ли надо? В общем, я надеюсь, что ты откликнешься на мою просьбу и приедешь. У нас жара, в палате невыносимо душно, я изнемогаю. Отвечай сразу же. Целую крепко. Игорь.

Мира Папкова, тихая, задумчивая, печальная, прошлое вспоминавшая, когда её навестил я несколько лет назад зимнею снежной порой, ворошиловская Лаура, или, может быть, Беатриче, любовь его встарь великая, вручила мне эти письма.

И они говорят о минувшем времени, о тяжёлом Игоревом периоде, о начале, ещё только самом начале его психушек, страданий, мытарств и бед в семидесятых годах – его, Ворошиловским, голосом.

Боролся Игорь с постигшей его бедою, как мог.

Сумел он собрать воедино для этого – всю свою волю.

В который уж раз Ворошилов собирал её, вновь собирал, – и не просто в комок, а в светящийся энергетический сгусток.

Так было надо. И он, как никогда, отчётливо, это здесь понимал.

Воля – это ведь жизнь, для него.

Воля – это победа грядущая.

Надо было и здесь, в аду, выжить, надо было – держаться.

Он писал стихи здесь – пронзительные, полные философских обобщений, и взлётов мистических, и неизбывной горечи.

Если когда-нибудь их удастся опубликовать, то окажутся перед читателем свидетельства духа, который пытались когда-то сгубить, но который, среди испытаний, оказался не просто живучим, и не просто высоким, нет, проявился он в этих стихах во всей своей редкостной мощи.

Дух – сквозь мрак. Да, именно так.

Дух – сквозь боль. Что было, то было.

Он пытался здесь – рисовать. Иногда. Хотя бы – урывками.

Но какое могло рисование быть в больничном его заточении?

Разумеется, это его огорчало и угнетало.

Но куда же было деваться?

Оставалось только мечтать, что когда-нибудь всё равно он дорвётся до карандашей и до красок, – и уж тогда отведёт наконец-то душу, с упоением, власть поработает.

А пока что, в стенах психушки, – сам себе задавал он уроки, ежедневные, неустанные, сплошные уроки терпения.

Бесконечные дни и месяцы всё тянулись, всё шли, в ожидании просвета, хотя бы крохотного, – всё равно ведь за ними придёт настоящий свет, – впереди.

Дал он знать «на волю», где именно и в каком, увы, положении, – и отчаянном, и опасном, и критическом, – нынче находится.

И друзья, богемные люди, потрясённые этим известием, далеко не все ведь их тех, кого, по своей наивности, по привычке давнишней, искренней, видеть в них всегда только лучшее, Ворошилов считал друзьями, а считанные, но зато проверенные в беде, иногда его навещали.

Приезжал я к нему в Столбовую, привозил ему курево, чай, фрукты, кое-какую еду.

Покупал я то, что, в ту пору, на свои крайне скудные средства, мог, для друга, приобрести.

Но гостинцы скромные эти привезти – считал своим долгом.

Ведь всё-таки витамины, для поддержания сил.

Их получить их там, в условиях тяжелейших психушки, бывшей, во многом, ещё и похуже тюрьмы, Игорю было приятно.

Какая там никакая, пусть и маленькая, да радость.

Кто и сам побывал в подобных, лучше, хуже ли, всё равно ведь непростых всегда, ситуациях, тот меня прекрасно поймёт.

А немало перебывало ведь – в психбольницах – знакомых, здравых и талантами разнообразными наделённых щедро, людей.

Важно было – увидеться с другом.

Поддержать его. Подбодрить, по возможности, как уж выйдет.

Сказать ему – важные, нужные, сегодня, теперь, – слова.

Помочь ему непременно надежду свою укрепить.

По-дружески, по-человечески, пусть и недолго, столько, сколько нынче врачами дозволено, здесь, в психушке, с ним рядом побыть.

Ворошилов ко мне выходил – исхудавший, жёлтый, небритый, но зато с волевым, сечевым, гордым блеском в усталых глазах.

Был он, друг мой, потомок славных запорожцев, казак лихой и орёл, – измождённым, измотанным, был – закормленным всякими странными для него, совсем непонят-

ными, и похоже, что просто убойными современными препаратами.

Но он – противился гибели.

Он, созидатель, творец, – противостоял разрушению.

И это видел я сразу – по взглядам его, в которых читалась решимость внутренняя – все препятствия на пути к желанной грядущей победе обязательно преодолеть.

Мы с Игорем потихоньку, так, чтобы нас не слышали шныряющие вокруг санитары, а то и врачи, уединившись где-нибудь подальше от этих монстров, беседовали, – и я с ужасом осознавал, что это за развесёлое заведение, эта психушка, где находится, ни за что, ни про что, мой хороший друг.

Все голливудские, без исключения, фильмы ужасов, увиденные в дальнейшем, после развала Союза, когда хлынул к нам бурный поток западной кинопродукции, все книги подобного рода, прочитанные потом, просто меркнут, сходят на нет, при сравнении с нашей, советской, отечественной психушкой.

Всё в ней, рядом, на каждом шагу, с каждым взглядом, с каждой минутой, проведённой здесь, обнаруживалось – Босх и Гойя, Данте и Гёте, и Дали, и наш дорогой Николай Васильевич Гоголь, и Булгаков, – да и чего там только не было, что там только в дни приездов моих к Ворошилову то и дело не узнавалось!

Лучше, мой вероятный читатель, мне сейчас помолчать да вздохнуть.

Вытащить Ворошилова из психушки было, в те годы, нам, друзьям его, невозможно.

Что мы сделать могли тогда, как могли мы тогда это сделать – при полнейшем отсутствии должного, с непременной закалкой, опыта, и не только его, но ещё и нужных, крепких, надёжных связей, без которых в былые, мглою днесь покрытые, времена, да и нынче, в период нашего затянувшегося междувременья, коль на то уж пошло, и шагу было всем нам не сделать, чтобы не наткнуться вдруг на преграды, а спокойно весь путь пройти?

Оставалось только поддерживать Ворошилова, хоть по-дружески.

Оставалось лишь верить – в его избавленье – в грядущем – от бед.

Он сам себе цель поставил: всенепременно выбраться отсюда, пусть и не сразу, тут уж всё и ежу понятно, и придётся ещё потерпеть, и помучиться здесь немало, но потом, через время какое-то, когда все эти адовы муки, круг за кругом, будут им пройдены, и победа будет за ним.

И – сумел из психушки выбраться.

Через полные всяческих ужасов полтора – жизнь убавивших – года.

Дали, на всякий случай, «группу» ему, как психически больному, долго лечившемуся в соответствующей больнице, нуждающемуся в помощи медицинской, необходимой наперёд, на долгие годы, если выживет, человеку.

От пресловутой «группы» этой, читай – от надзора властей и врачей незримого, некуда было деваться.

Этакое специальное клеймо, для вольнолюбивых, независимых от заведённых в Империи, столь давно, что казалось уже – навсегда, порядков тоталитарных, от рабского повиновения кремлёвским властям, трагических в своей фантастической стойкости, людей, современников наших, соратников, собеседников, мучеников, героев.

Клеймо, дающее право людям – на жалкую пенсию.

Дело с милицией – как-то само по себе затихло, забылось. Никто о нём почему-то и не вспоминал.

Ворошилов вернулся к нам из психушки слегка постаревшим, но с каким-то особенным, новым, ему открывшимся знанием тайным – о мире и людях.

И – с подорванным основательно – медициной советской – здоровьем.

Всем понятно было тогда, почему оно оказалось подорванным основательно – и кто именно так расстарался, чтобы его подорвать.

О болячках думать всерьёз не желал он сейчас, и всё тут.

Не желал. Не хотел и слышать. Принципиально. Сознательно.

У него-то – какие годы? Вполне ещё молодые.

Некогда, просто некогда чувствовать всюду себя угнетённым, разбитым, больным.

Да мало ли что там болит?

Лучше – этого не замечать.

Стараться – не замечать.

Приучить себя – не замечать.

Здоровье – дело, похоже, поправимое. Так он считал.

Панацея от бед – работа.

Вот что сейчас для него в жизни самое важное.

Вот в чём сейчас для него – спасение настоящее.

И он принялся – работать.

Так мечтал он в психушке проклятой о возможности заниматься искусством – и наконец-то получил, – нет, радостней надо сказать об этом, пожалуй, – обрёл он эту возможность.

Наконец-то дорвался он до живописи своей.

Наконец он сможет «измазаться в свои любимые краски»!

Ворошилов ринулся к творчеству – в свой мир, в свой лад, в свои ритмы, в животворный свой, рукотворный свет, – словно ринулся в бой.

Только это сражение нынешнее – было радостным для него.

На подъёме сплошном, на одном невероятно долгом, свободном, широком дыхании, на взлёте, великолепный в своей одержимости новой работой, в своей вдохновенности, в своей неистовой страсти к художническому труду, создавал он за серией серию, одна сильнее другой, свои дивные темперы, с магией обобщений и всех деталей, и цветные, с празднеством линий, рисунки в смешанной технике, и сангины очаровательные, и рисунки углём стремительные, и рисунки тонкие тушью, и ещё, и ещё работы,

в самой разной технике, сызнова, так и надо всегда, на любом подвернувшемся материале, на картоне, и на холсте, на бумаге, и оргалите, на каких-нибудь там деревяшках, всё равно, и работа кипела, непрерывно, в его руках, – и это, следует знать потомкам нашим в грядущем, не фантазия и не сказка, но свидетельство достоверное, и моё, и не только моё, но и многих других очевидцев, – и, скажу вам сейчас нечто важное, из всего вот этого, сказочного, да и только, потока работ, возникающих, чудом, казалось бы, ниоткуда, как по мановению, взмах – и чудо, волшебной палочки, в наикратчайшие сроки, из всего вот этого света, изумительного сияния, из этих образов светлых души, из образов мира, из добытой кровью гармонии – звучала тогда для меня новая, мощная, близкая к музыке, полифония ворошиловская, звучали сразу несколько тем, которые переплетались, аукались, приглушались и возникали сызнова, – и образовывали единое целое, синтез, уникальный, сложный, не всеми постижимый, но и прекрасный в душевной своей чистоте, в сердечном порыве, в движении к сути, – и это был совершенно особенный, редкостный, ворошиловский контрапункт, в этом было нечто вселенское, по структуре своей, по размаху, по развитию связей духовных, по срастанию нитей незримых на путях земных и небесных, нечто баховское, грандиозное, – то, что им сейчас разрабатывалось, на глазах у нас, то, что потом получило, в восьмидесятых, не в Москве уже, а на Урале, в долгий, зрелый его период, озарённый любовью, такое – поражающее людское, на столетья, воображение, – удивительное развитие, то, чего словами не высказать никакому искусствоведу, и поэту даже не высказать, то, что, братцы, и называется искони на земле – Искусством, – и вот этим-то словом, кратким и довольно простым, всё и сказано.

Семидесятые, трудные и уже легендарные, годы – сердцевинный большой период в небывалом, и по масштабу, и по силе духовной, разбросанном, в наши дни, по странам различным и по многим собраниям, выжившем, состоявшемся и оставшимся навсегда, ворошиловском творчест-

ве, – и на светлой палитре его появились новые, скорбные, иногда и суровые краски.

Но природное жизнелюбие, ворошиловское извечное, вопреки скорбям, изумление перед радостью бытия, – не позволили им затемнить остальные, на редкость чистые, для души крылатой целительные и для сердца людского, тона.

И кто нам скажет, что за век нас ожидает, неуклюжих, вот здесь, где тополиный снег, слетев с висков, зовёт в ковчег, бегущий праздных и досужих? Целованные каждым днём, испытанные каждой ночью, играем, гордые, с огнём, доверчивые, гибнем в нём, чтоб с Богом встретиться воочью. Я пью за то, чтоб вся листва, в глазах усталых отразившись, услышав скорбные слова, нашла высокие права, юдоли нашей поразившись. Вот так в зрачке сопряжены и вдохновенье и виденье с движеньем странницы-весны, где притяжение луны подобно древнему раденью. Так открывается тетрадь, поверив только посвящённым, чтоб ран извечных не считать, но, только Ангелам под стать, хотя б грядущим быть прощённым. А в небе плачет и поёт душа, расправившая крылья, затем, что радость сознаёт меж озарений и невзгод, хранящих Света изобилье.

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА

ЛИГИЯ

90 лет. Редкая птица долетит. Она долетела только до 71 года…

22 декабря 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения известной нижегородской поэтессы, заслуженного работника культуры России Лигии Лопуховой (1930–2001).

Не хочу, чтобы думали, будто я как дочь монополизировала право писать о ней. Я не претендую на литературоведческое исследование творчества Лигии Лопуховой, просто перескажу кратко ее биографию. Главное ведь, чтобы помнили – был такой поэт – и читали. Помнили, что был такой журналист, главный редактор Волго-Вятского книжного издательства. Кому-то она помогла опубликоваться, кому-то нет, кому-то дала доброе напутствие в литературу, кого-то огорчила… Но большинство помнит только хорошее – оно дольше греет. В пору ее творческой активности литературная критика не обходила вниманием ее стихи. О ней писали литературоведы Ариадна Алексеева и Галина Егоренкова, есть пара абзацев о ней в «Истории русской советской поэзии» (Л.: Наука, 1984), на каждую новую книгу по тогдашней традиции откликались в прессе братья-писатели. Позднее одна из студенток Ивана Кирилловича Кузьмичева даже защитила дипломную работу на тему творчества Лигии Лопуховой. Словом, всё было как и у других, не особенно знаменитых писателей. Вопрос же об актуальности и современности творчества поэтов-шестидесятников пока еще остается открытым. Сегодня пишут по-другому и о другом, а завтра – как знать? – жизнь повернет к прежним ценностям. И об этих поэтах вспомнят. Всему свое время.

Для меня настало время напомнить читателям о Лигии Лопуховой. Дата такая – редкая птица долетит...

...Меня не оставляет чувство, что Лигия глядит на меня издали, и я боюсь сделать что-то такое, что могло бы ее огорчить и задеть.

Генрик Сенкевич. «Quo vadis» («Камо грядеши»)

Наше время почти вытеснило из жизни «книжных» девочек и мальчиков… А жаль. Это были настоящие люди, настоящие граждане, настоящие положительные герои... Воспитанные на лучших образцах литературы, они по примеру любимых персонажей готовы были жизнь отдать за Родину, за свои убеждения...

Моя мама – Лигия Лопухова – принадлежит к поколению «детей войны». И – да, мы с ней очень разные по характеру и подходу к творчеству. Но именно мама создала для меня те стартовые условия, каких не было у нее. А своей заботой и любовью родители и бабушка обеспечили мне такую крепкую платформу для жизни, которая держит меня до сих пор. И я до сих пор чувствую себя «под присмотром» и боюсь их чем-то огорчить. Прямо по Сенкевичу...

А помимо родства нас с матерью всегда связывала общая любовь к книге, которую передала нам бабушка.

В середине 1920-х годов медицинская сестра Надежда Кудрявцева приехала в Балахну на комсомольскую стройку, чтобы помочь молодым семьям строителей бумкомбината вырастить своих детишек здоровенькими. А впервые белую косынку и фартук с красным крестом моя бабушка надела еще в 1913 году, когда начала работать в сормовском Доме малютки. В 1918-м юной сестре милосердия не пришлось попасть на фронт: эшелон с добровольцами разбомбили, а ее, раненую, отправили на излечение в Нижний... Там она окончила курсы медработников системы ОММ (Охраны материнства и младенчества) у доктора Пальмова и поехала в Балахну организовывать первые женские консультации и молочные кухни...

В Балахне она встретила и своего будущего мужа – помощника прораба на строительстве ГоГРЭС Петра Лопухова. Как складывалась их жизнь – осталось тайной, куда он исчез – тоже неизвестно, в то время многие люди пропадали бесследно, и об их судьбе предпочитали не спрашивать...

Говорят, он так и не увидел дочь, родившуюся на исходе 1930 года. И уж наверняка не он выбирал для нее имя.

«Старорежимные» имена не пользовались тогда успехом у продвинутых родителей. Детей называли по-новому: расцветали Розы и Октябрины, готовились к труду и обороне Спартаки, Кимы и Рэмы, высокий идейный уровень поддерживали Нинели и Владлены...

Имени «Лигия» в этом списке нет. Но нет его и в православных святцах!

Странным образом в сознании молодой медсестры из рабочего поселка Правдинск Балахнинского бумкомбината соединились времена императора Нерона, гонителя христиан, с ее собственным временем – эпохой поголовного атеизма... А может, и не думала она вовсе об исторических параллелях. Надежда Лопухова верила в Бога и любила читать... Именем любимой литературной героини (христианки Лигии из романа Генрика Сенкевича «Камо грядеши») она и назвала свою дочь.

Таким вот причудливым цветком проросла ее тайная вера, доставив впоследствии немало хлопот паспортисткам и прочим канцелярским работникам...

Как и ее мама, Лигия (а тогда ее звали просто Лилькой) была страстной книгочеей. А еще – любительницей приключений и признанным капитаном команды ребятишек с улицы Медиков, что упорно готовились на Волге к кругосветным морским путешествиям: учились грести, плавать, нырять. У них был свой вахтенный журнал, открывавшийся стихами Лилькиного сочинения: «Быть моряком желаю я. И это будет точно. Хоть жизнь морская и трудна, швартуюсь к морю прочно!»

Подписывалась она именем своего любимого литературного героя – «капитан Немо», а всем нарядным платьям предпочитала матроску.

Я росла угловатой, ершистой девчонкой
И грозою мальчишек, на суд очень скорой.
Время было такое, когда утонченность
И изнеженность смертным считались позором.
Мы убежища рыли. И в сохи впрягались.
В деревнях на картошку платьишки меняли.

Мы кололи дрова. Над бельем надрывались.
И коней госпитальных в ночное гоняли...

В 1941 году массовым тиражом была опубликована повесть Гайдара «Тимур и его команда». Друзья читали ее вместе, обсуждали и очень хотели немедленно начать делать что-то важное и полезное для людей, как и герои книжки. Такая возможность им представилась очень скоро. Первой в Правдинске «тимуровской команде» было доверено помогать при организации эвакогоспиталя. Дети собирали по окрестным деревням постельное белье, посуду, книги. Помогали обрабатывать госпитальные огороды, собирали лекарственные травы, писали под диктовку раненых письма их родным, читали книги, устраивали концерты.

«Пионерская правда» писала тогда: «Тысячи и тысячи пионеров и школьников взяли пример с Тимура и его товарищей и благородными делами помогают старшим в суровой борьбе с фашистскими разбойниками».

Но еще тысячи подростков из тыловых городов, читая о подвигах героев-бойцов и своих сверстников, мечтали в те годы попасть на фронт. «Каждый настоящий патриот должен быть сегодня на передовой» – так думали эти «книжные» мальчики и девочки. И они стали строить буер – деревянную конструкцию, поставленную на новые Лилькины коньки, которая под парусом должна была домчать их по ледяной Волге до самого Сталинграда...

Только там наша армия победила и без их поддержки. А вот раненые в госпитале и одинокие старики в помощи нуждались больше. И когда комиссар госпиталя со сцены Дома культуры, где этот госпиталь размещался, произнес: «Спасибо вам, тимуровцы!», они поняли, что уже чуть-чуть повзрослели.

...Помню я лица, внезапно ставшие
Такой удивительный свет излучать!
И слово,
к жизни людей возрождавшее.
...В тот день я стихи начала писать.

«Жизнь была так наполнена, что трудно представить сейчас, как успевали мы готовить уроки, справляться с домашними делами, дежурить во время ночных воздушных

тревог вместе со взрослыми на крышах и жить при этом пусть и не очень легкой, но все же детской жизнью, где были и игры, и дружба, и книги» (из автобиографии Лигии Лопуховой). А еще были голод, малярия, воспаления легких и прочие страшные спутники войны, которые отрывали вроде бы незаметные крохи от ее детства и убавляли отпущенное время жизни…

Трудны те дни...
Но как клинок, родившийся в огне,
Огонь высокий помнит неизменно,
Так этим дням я тоже знаю цену.
Они для жизни дали силы мне.

И все же «капитан Немо» не был бы капитаном, если бы не отправился поступать в речное училище в 1945 году. Но... в этом же году вышел приказ: женщин на учебу больше не принимать. Это был крах детской мечты. Разочарование могло подкосить кого угодно, но не ее. Она окончила школу, работала пионервожатой, лаборанткой на бумкомбинате, воспитателем молодежного общежития...

А потом поступила учиться на зубного врача – было тогда в Горьком такое специальное учебное заведение. По распределению поехала в Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области. Понятно, что в послевоенной деревне (с громким названием «рабочий поселок») зубному врачу пришлось не только зубы лечить. Именно тогда ей довелось осуществлять то, что сейчас подразумевается под деятельностью врача общей практики – лечить общие болезни, резать «аппендиксы», принимать роды... А что было делать, если больше некому? «Капитан» не должен бояться брать ответственность на себя. Так за пять лет она заработала авторитет, приобрела новых друзей. Встретила и свою любовь. А когда лейтенанта Геннадия Дементьева направили служить в Горьковскую область, поехала вместе с ним – к маме, рожать.

А еще именно во владимирской областной газете были опубликованы ее первые стихи и заметки. После участия в совещании молодых писателей Лигия Лопухова была при-

нята в члены Владимирского областного литературного объединения. В 1957 году литобъединение дало ей рекомендацию в Литературный институт им. М. Горького.

«Уважаемая Лигия Петровна! Срочно авиапочтой высылайте документы! Вы прошли творческий конкурс и допущены к вступительным экзаменам!» Это письмо из приемной комиссии литинститута застало ее уже в родильном отделении. А там все складывалось не так уж и гладко: сказались последствия голода и болезней военных лет. Но она снова сумела отогнать смерть. И с двухнедельной дочкой на руках в сопровождении мамы отправилась поступать в институт. Остановились у маминой сестры, в тесной московской коммуналке. С утра Лигия читала учебники и кормила ребенка, потом сцеживала грудное молоко для следующего кормления и уходила сдавать экзамены. Так что любовь к литературе мне довелось впитать с материнским молоком. Буквально.

Литинститут, семинары, встречи, друзья, жадное – взахлеб! – творческое общение: наконец она попала в свой океан! А еще учеба у мастеров, обретение духовного наставничества Ольги Берггольц... К ее трагической женской судьбе, к нравственной стойкости, возвысившей Берггольц до вершин поэтического подвига, у Лигии было особое отношение. Именно к этой поэтессе обращалась она потом в стихах: «Благослови на мужество меня, как старшая в воюющем отряде...»

Скоро семья, следуя служебному назначению мужа-офицера, переехала в Горький. Работу журналиста Лопухова начала в газетах «Клич пионера» и «Ленинская смена».

Из юбилейной (1980 г.) справки бюро писательской организации: «Здесь она становится признанным капитаном молодой поэтической команды... Она, по сути дела, открыла для читателей таких поэтов, как Ю. Адрианов, В. Кумакшев, В. Шамшурин, Ю Уваров. Молодежная пресса, студия телевидения, газета “Горьковский рабочий” – всюду, где бы ни работала, Лигия Петровна была инициатором интересных и значительных дел, получивших широкий общественный резонанс». Поэтические турниры, «Клуб рыцарей книги», «Дни поэзии» на страницах

газет... Литературная работа и журналистика взаимно дополняли и подпитывали друг друга, принося огорчения и радости...

Шесть поэтических сборников вышло у Лигии Лопуховой с 1966 по 1990 год. И во всех книгах определяющей была тема войны, лучшие стихи, казалось, были «родом из детства». Великая народная трагедия сформировала поколение «детей войны» – людей стойких, но с обожженной душой. И лучшие из них всегда поверяли свою жизнь мерой высокой нравственности военного времени...

Вот почему, когда в окно стучится
Какая-то неясная беда,
Я чувствую в себе решимость птицы,
Крылом готовой сбить огонь с гнезда.

И беда постучалась. В жизни каждого человека неизбежно наступает «возраст потерь», когда «друзей редеет щедрое наследство». А уж ей доставалось всегда, как она говорила, по полной программе... В 1977 году погиб муж, не дожив и до 46 лет.

Как в крике чайка – стыну над водою
Горючей неутешною вдовою.
Беда взяла тебя, а не война,
Но спишь ты под такою же звездою...

Говорят, смерть не за горами, а за плечами. И с этих пор она постоянно напоминала о себе...

И, может, я чего-нибудь и стою,
Коли жива еще до этих пор.

В этом же году она пришла в Волго-Вятское книжное издательство главным редактором. И это опять обернулось заботой о собратьях по перу. Сколько мудрости, терпения, взвешенной требовательности нужно было иметь! А еще – умения разглядеть талант, вовремя поддержать его.

Не обходилось и без «начальственных окриков». Когда Союз писателей рекомендовал к изданию первые книги

участников областного молодежного творческого совещания, среди рукописей была и моя. А несколько раньше в ВВКИ была издана первая книга моего будущего мужа Сергея Карасева. Семейственность тогда в творческих профессиях не поощрялась. О чем Лигию Петровну и предупредили в одном из высоких кремлевских кабинетов (что тоже не прибавило ей здоровья...).

Но уже наступали новые времена. И с легкой руки (и путем нелегкого труда) главного редактора ВВКИ к читателям пришли книги Михаила Булгакова, Ивана Ефремова и других замечательных писателей в полном, не искаженном цензурой объеме, целые серии русской и зарубежной классики, приключенческой литературы и фантастики... И много еще интересного она могла бы сделать, если бы не государственный кризис и не развал издательства... Жизнь повернула в сторону «рынка», в котором не находила себе места неподкупная душа поэта. Да и поздно начинать новую жизнь, имея за плечами 40 лет трудового стажа...

Не раз уже было замечено – стоит человеку уйти на пенсию, тут же на него набрасываются все дремавшие прежде недуги и невзгоды. Но закалка всей трудной трудовой жизни не давала ей опустить руки. Она по-прежнему была капитаном и отвечала за свою команду... К тому же у нее был внук, был сад и было творчество! «Капитан Немо» не покинул своего корабля. И мужество, на которое она просила благословения у Ольги Берггольц, не оставляло ее до последнего дня. А мужество состояло в том, чтобы продолжать жить и выполнять свое предназначение. Делай что должно, и пусть будет что будет...

О своих ушедших друзьях-поэтах Лигия Лопухова когда-то писала:

К тайной и неведомой планете
Вам дорога дальняя легла...
Сохранили б только строки эти
Хоть немного света и тепла.

Теперь эти строки хранят светлую память и о ней тоже...

А я «примеряю на себя» другие ее стихи:

Никому ничего не отдам
из всего пережитого мною.
Как скупец над своею мошною
я склоняюсь, а там – беда...
Я болею. И боль лелею.
Угольком из ладони в ладонь.
Греет? Нет. Обжигает, не греет.
Забывать не дает. Не тронь!

Лигия ЛОПУХОВА

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Истоки

И новый день.
И новые заботы.
И новые тревоги впереди.
И вот уже несказанное что-то
томит, волнует, рвется из груди…
И все-таки – за что б я ни бралась –
прислушаюсь к тому,
что помнит сердце:
спешу к тем дням, откуда началась
дорога,
в жизнь шагнувшая из детства.
Я им верна, хоть нелегки они.
Прогоркнул воздух их войной и горем.
Еще не создан лот – измерить море
слез вдов и матерей.
Трудны те дни…
Но как клинок, родившийся в огне,
огонь высокий помнит неизменно,
так этим дням я тоже знаю цену.
Они для жизни дали силы мне.

1973

Война

...Она пришла в завьюженный поселок
с нежданным санитарным эшелоном.
С хватающей за душу, невеселою
полночной песней тормозов вагонных.
...Пришла с щемящим скрежетом усталым
суставов искореженных состава
за долгий путь страданий и потерь.
Она была так далеко от дома:
по письмам и по сводкам лишь знакома.
...Но вот пришла с полночным эшелоном
и горю – настежь – распахнула дверь.
И санитары прятали глаза,
безмолвные носилки опуская...
И закипала горькая слеза,
твердел комок какой-то жгучий в горле,
когда внезапно кто-то шапку сдернет,
ее уже всю ночь не надевая...
На станции, буксуя, завывали
машины, наледь серую дробя.
Мы вместе с матерями их толкали,
ругая за бессилие себя.
Жег руки борт.
Внезапно стон протяжный
пронзил сердца.
И будто бы стена
закрыла все ненужное, неважное...
В тот миг мы поняли – пришла Война.

1963

* * *

Мне так порой мучительно не спится,
страна моя любимая,
когда
внезапно полыхнет ночной зарницей
какая-то неясная беда.
От мыслей станет зябко, беспокойно.
Их поведет событий череда.

Опять пылают на планете войны,
в руины превращая города…
Тревожно вскрикнув, замолкают птицы.
Осатаневший ветер ветви гнет.
И мне не спится.
Мне опять не спится
от всех моих немыслимых забот.
За окнами слышны грозы стенанья.
Гвоздит листву дождище проливной.
Сжимает сердце боль воспоминанья
о детских снах, расстрелянных войной.
И молнии неумолимый росчерк –
разряд свинцовый
той войны былой…
Как ждем,
чтобы ненастье мглистой ночи
сменил рассвет бездымно голубой!
Вот почему,
когда в окно стучится
какая-то неясная беда,
я чувствую в себе решимость птицы,
крылом готовой сбить огонь с гнезда.

1985

* * *

Пахнет бриз арбузами и тиной.
Чернь по серебру качает Волга.
Нарисуй, художник, мне картину,
Чтоб запомнить этот миг надолго.
Чтоб запомнить, как тревожит душу
Хрипловатый говорок уключин.
Как стремительно следы на суше
Заполняются песком колючим.
…Я тебе завидую слегка:
Ты способен сохранить мгновенье!
Если бы перо в моих руках
Обрело такое же уменье…

Нарисуй, как вскрикивают чайки,
С гребня волн кидаясь за добычей.
Жалко, краски все ж не различают
Шума волн и этих криков птичьих…
И слова, слова, что мне даны, –
Не оригиналы, переводы…
Как же мы беспомощно бедны
Пред великим мастером – природой!

1973

* * *

Ошалев от подъездов
И собачьих площадок,
Мы пришли на вокзал
По веленью любви.
Первый наш поцелуй
Был отчаянно сладок
Оттого, что впервые
Не скрываться могли…
Люди едут на юг,
На восток и на север.
И прощаются здесь.
Налегке. Навсегда.
Верно, кто-то и нам
Ненадолго поверил.
И пришли поезда.
И ушли поезда…

1956

* * *

Это первая весна без тебя.
Хмуры дни. Полны, как осень, дождя.
На луга взгляну – не вижу травы.
К солнцу даже не поднять головы.
Двадцать две весны от той, от другой,
Что нас встретила за снежной пургой…

Снова встану у колонки, как тогда.
Тяжела в ведре вода, что беда…
Глубоки, как омута, ручейки,
Что бегут из-под застывшей руки.
Позабыла рукоятку опустить…
Или жду, что ты попросишь испить?
На ветру стою. Озноб. Нету сил…
Словно жду, чтоб ты ведро подхватил.

1978

* * *

Останься там,
где ночь тебя настигла.
В той медленно струящейся тиши,
когда звезда, уже мерцая иглами,
в небесный свод пролиться не спешит.
Когда туманы заползают в рощи,
стадами, кучно полонят овраги.
Останься там,
где белизна бумаги
терзать не будет.
И живи попроще.
И душу ощути, что словно ввысь летит,
Забыв про суету и тьму забот.
И память из пережитого высветлит
тот солнечный, пленительный восход,
который мы увидели однажды
в такой невыразимой красоте,
что если даже смерть
забыть прикажет, –
он проблеснет на роковой черте.
…И путь перу уставшему укажет.

1979

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

ИСПОВЕДЬ АКАДЕМИКА НЕГИНА

В 2020 году исполнилось 75 лет Атомному проекту в нашей стране, три четверти века истории которого неразрывно связаны со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове, бывшем закрытом городе Арзамасе-16. Я первый раз побывал там в мае 1991 года со съемочной группой программы «Время»…

Недавно в лицее № 8 открылся музей академика Евгения Аркадьевича Негина. В старших классах он учился в школе № 8 имени В.И. Ленина. Жил на Бору, где родился в 1921 году, окончил начальную школу, а потом каждый день добирался в Горький и обратно – зимой пешком по волжскому льду, весной и осенью по воде на легких рейсовых катерах и рыбацких лодках. На своих двоих поднимался в гору на Советскую площадь у кремля, которая сейчас называется площадью Минина и Пожарского, а школа помещалась тогда на площади в здании, где сейчас находится Выставочный центр. В начале 1970-х годов для нее построили большой дом на улице Пискунова. Евгений Аркадьевич, наезжая из секретного Арзамаса-16 в областной центр, изредка навещал свою школу…

Если бы было такое звание, то Евгения Аркадьевича можно было бы называть генерал-академиком, потому что он был генерал-лейтенантом и действительным членом

Академии наук СССР, а потом Российской академии наук. Первый раз я увидел Негина на Горьковской областной партийной конференции в начале 70-х. Военных на ней было много и генералов тоже, но у этого на мундире над орденскими планками золотилась звезда Героя Социалистического Труда. Я какое-то время приглядывался к этому невысокому плотному человеку с крупной головой и внимательным взглядом из-под очков, а потом подошёл к нему с микрофоном и просьбой дать интервью для передачи о делегатах конференции. Он мягко улыбнулся и категорически ответил: «Это не по моей части. Я не умею давать интервью!»

Потом мне объяснили, что это «закрытый учёный из Арзамаса-16».

Когда Негин стал директором ВНИИЭФа, то был избран депутатом областного Совета и приезжал в Горький на сессии. Рядовые депутаты, а в их числе были руководители крупнейших предприятий, учёные, деятели культуры, в холодное время года раздевались в гардеробе, что в вестибюле Дома Советов. Руководители области и города проходили одетыми на второй этаж, в комнату за Большим залом, где были стенные шкафы. Ими пользовались и все, кто обслуживал заседание: секретари, стенографистки, машинистки. По сути, там мог оставить свою одежду и любой другой депутат и гость сессии. Часто я и другие журналисты, когда надо было спешить, вешал там свое пальто или плащ. Депутат Негин тоже поднимался на второй этаж и отдавал свою шинель молодому человеку в штатском, который куда-то её уносил. Говорили, что в отдельный запирающийся шкаф в другой комнате. Сами понимаете, что это была вовсе не прихоть генерала-академика. Просто те, кому положено, опасались, как бы в карман столь важного охраняемого лица кто-то что-то не подложил… Садился Негин всегда в средние ряды партера, на которые, как правило, съёмочные камеры не обращали внимания. Они панорамировали и останавливались для средних и крупных планов на окружавших пятачок партера секторах-амфитеатрах, уходивших круто вверх под потолок.

С Евгением Аркадьевичем при встрече мы всегда здоровались, но никаких приглашений на съёмки я ему больше не делал.

Евгений Аркадьевич был делегатом XXV съезда КПСС. Я с оператором Глебом Бабушкиным был в числе тележурналистов, освещавших работу съезда. Мы очень мало снимали в зале, но много в фойе, во время перерывов, когда делегаты общались между собой, знакомились с национальными героями, выдающимися деятелями литературы, культуры, искусства… Евгений Аркадьевич все время ухитрялся оказываться на дальних планах, а чаще – вообще отсутствовать на пленке. Он все время был вместе с ректором Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского профессором Андреем Григорьевичем Угодчиковым. Я знал, что оба замечательных ученых и организатора науки дружат со школьной скамьи, были одноклассниками в Горьком и выпускной вечер у них начался 21 июня, а закончился утром 22 июня 1941 года… Училась в это же классе и Ирина Блохина, ставшая женой Андрея Григорьевича и выдающимся отечественным микробиологом и эпидемиологом, академиком Академии медицинских наук СССР. Когда после возвращения с XXV съезда мы показали по Горьковскому ТВ наш киноочерк об участии земляков в работе главного партийного собрания страны, Ирина Николаевна, с которой мы были в очень добрых отношениях, позвонила мне домой и с плохо скрываемой обидной в голосе спросила:

– Саша, а почему в вашем киноочерке почти совсем нет Андрея?

– А потому что он все время был рядом с Негиным!

– Все понятно! Дальше можете не объяснять. Вопрос снимаю…

Когда в мае 1991 года мы первыми из телевизионщиков «открыли» Арзамас-16, то Юлий Борисович Харитон пригласил нас для интервью в свой обширный кабинет. За столом в числе других великих физиков-атомщиков находился и Евгений Аркадьевич Негин, единственный, с кем я был уже знаком до этой встречи. Здесь присутствовали

Герои Социалистического Труда академики Трутнев и Павловский и дважды Герой Социалистического Труда Кочарянц. Были тут и организаторы производства и научных исследований – директор института Белугин и его первый заместитель и главный инженер Туманов.

Всех собравшихся представил Владимир Александрович Белугин. Когда подошла очередь обменяться рукопожатием с Евгением Аркадьевичем, мы встретились глазами, и у него во взгляде чуть-чуть высветилась легкая улыбка, которая промелькнула и в уголках губ: мол, дождался ты своего часа, аж сюда добрался за интервью…

Правда, весь разговор взял на себя Юлий Борисович Харитон, который обстоятельно поведал историю отечественного Атомного проекта и современное его состояние. Так что другим участникам беседы выпало сказать только несколько фраз на одну и ту же тему, которая всех их волновала. Тогда в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Андрей Дмитриевич Сахаров в последние годы жизни сожалел о своём участии в создании водородной бомбы и раскаивался в этом. Мои собеседники категорически отрицали такие моменты в мировоззрении и поведении Андрея Дмитриевича. Утверждали, что Сахаров прекрасно понимал необходимость своей работы и работы своих коллег для сохранения мира во всём мире. Сахарова заботила ситуация, когда оружия массового поражения стало выше всякой меры и оно своим присутствием на Земле превратилось в угрозу для всего человечества из-за возможности несанкционированных чрезвычайных событий. И, конечно, Сахаров был против ядерных испытаний, нарушающих природную среду. Никакой другой позиции, отвергающей всё дело его жизни, у академика Сахарова не было! Это было единодушное мнение, высказанное каждым из участников беседы. В чем они не были согласны с Андреем Дмитриевичем, так это с тем, что пока у нас нет высокоточной и сверхоперативной компьютерной техники, позволяющей моделировать ядерные испытания в лаборатории, нашей стране нельзя соглашаться с абсолютным мораторием на испытания во всех средах. Это может привести к тому, что мы не будем

иметь информации о состоянии ядерного оружия, которое у нас есть, и не будем иметь практических данных о возможностях новых разработок. А это повлияет на эффективность нашего ядерного щита и сохранение паритета между СССР и США. Дело в том, что у наших оппонентов такие скоростные вычислительные машины тогда уже имелись…

Мы тепло попрощались с участниками видеосъёмки. Мне показалось, что Евгений Аркадьевич остался доволен собственным минимальным участием в этом процессе.

Потом мы стали довольно часто наведываться в Арзамас-16. Не раз встречались и записывали интервью с Анатолием Ивановичем Павловским, Юрием Алексеевичем Трутневым, Радием Ивановичем Илькаевым, Юрием Александровичем Тумановым, Юрием Александровичем Романовым. Никогда не отказывался от сотрудничества с нами Юлий Борисович Харитон. А вот с Евгением Аркадьевичем Негиным рабочего контакта не было. Я бы мог объяснить это какой-то его природной замкнутостью, но на нелюдима он не походил. Я помню, как он был общителен и обаятелен во время Дня города, по-моему, в мае 1995 года. А в 1996-м отмечалось 50-летие Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФа. В Сарове проводилась серия научных конференций с участием учёных из разных стран мира. На одной из них шла речь об истории испытаний ядерного оружия. И основным докладчиком был Евгений Аркадьевич Негин. Долгое время он был главным конструктором ядерных зарядов. Именно он и занимался их проверкой и апробированием на экспериментальных площадках внутри Арзамаса-16 и крупномасштабными испытаниями на дальних внешних полигонах. А в условиях соревнования с США, которое в полном смысле слова представляло собой гонку, работы проводились в больших объёмах и с нарастающим темпом. Доклад Негина иллюстрировался впечатляющими киносъёмками, которые до недавнего времени относились к совершенно секретным материалам.

В процессе доклада было разрешено делать видеозаписи, и мы этим пользовались. Потом у меня возникла

необходимость какие-то детали уточнить. И я подошёл к Евгению Аркадьевичу с диктофоном. Он посмотрел на него, скосив взгляд через очки, улыбнулся уголками губ и спросил: «А вы что, перешли работать на радио?» – «Нет! Вот моя видеокамера и оператор». Он сделал паузу. А я ею воспользовался и предложил побеседовать перед объективом. «Ну что ж, давайте!» – согласился Негин. Мы пошли в дальний угол фойе, где были мягкие кресла. Сюда почти не доносились звуки заседания, и нам ничто не мешало и никто не мешал.

И сейчас, через много лет, я вижу на экране монитора крупноголового красивого человека с короткими лучиками морщинок возле глаз и с мимолётной улыбкой в уголках рта. У него спокойная медленная речь с легкой одышкой. Он говорит, не задумываясь о том, что его снимают для телевидения. Во всяком случае, так это воспринимается при просмотре. Вот этот разговор.

– Евгений Аркадьевич, нам с вами приходилось не раз встречаться, но вы всегда избегали телекамеры, старались вообще не попадаться в кадр. Это было и на научных конференциях, и на сессиях областного Совета в Горьком, на XXV съезде КПСС. Что сейчас изменилось в жизни, если академик Негин даёт интервью телевидению?

– Ну, видите ли, проще, конечно, стало в некотором смысле. Можно не так строго за собой следить. Вообще-то это упрощает общение – с вами. Поэтому вам сегодня, по-моему, без особых затруднений удалось заловить меня для этих целей.

– Из тех 50 лет истории ВНИИЭФа для вас лично какой период самый памятный? Может быть, самый трудный, а может быть, самый интересный?

– Самый памятный?.. Это период крупных испытаний! Я в них почти во всех участвовал. Активно, конечно. Картина самого взрыва – просто ошеломляющая. Человек если видит её в первый раз, то на какое-то время теряет голову. Ну, а, скажем, взрыв в мегатонну, мы смотрели его с приличного расстояния – с километров 20-30, – это что-то ужасное… Вообще я могу чётко сказать, что я против атомной войны… Я насмотрелся на все эти страхи, начи-

тался американских книжек, как всё это выглядит… Не надо!.. А нас всех надо связать и поместить в одной комнате – до кончины!..

– Ну а работать в этом плане нужно было всё-таки?

– Вопроса нет! Если бы не нужно было, я бы ни за что не работал… Конечно, надо было. У потенциального противника оружие было. Паритет надо было создать, а потом сохранять как-то, поэтому, естественно совершенно, работать нужно было! И надо было научиться тому, что умели делать американцы… И, по-моему, мы этого достигли.

– А как вам видятся дальнейшие работы в области ядерной теории, ядерной практики?

– Ну, видите ли, я всегда стараюсь найти примеры попроще, давайте возьмём винтовку. Её сделали в 1894 году, усовершенствовали в 1930-м, а сейчас делают автомат Калашникова. Им весь мир воюет. Но не всякий, кто держит его в руках, из него стреляет! Это к чему я говорю – к тому, что совершенствование сделанного оружия продолжается непрерывно. И поэтому и атомное оружие надо совершенствовать, независимо от того, применяется оно или не применяется. Просто с физической точки зрения, я бы сказал, что это интересно. Большая вероятность, если что-нибудь новое найдёшь, то тебе денег отпустят… Наверное, что-нибудь получится… Поэтому, как любая область техники, единожды появившись на свет, ядерная история будет продолжать развиваться, что бы там кто ни говорил… Я вот так думаю сам про себя… А атомная энергетика в мирных целях – обязательно! Ведь в природе естественные пределы существуют: нефти уже практически нет, угля хватит на десять лет, а воды, скажем для добычи водорода, неограниченное количество, по существу. И поэтому как один из видов энергии – атомная – обязательно будет развиваться…

– Здесь у вас в зале собрались люди, о которых когда-то писал Роберт Рождественский, помните, у него были знаменитые стихи «Людям, чьих фамилий я не знаю»…

– А, да-да… Теперь эти фамилии уже знают все.

– Это хорошо?

– Я думаю, что с точки зрения дела это, по сути, неважно, всё равно, а с точки зрения престижа, скажем, удовлетворения честолюбия, хотя бы мелкого, то там в зале – это тоже люди, поэтому им слабости человеческие тоже присущи. А то, что они стали открытыми, – полезно, в общем. Я бы сказал так – от того, что сейчас стало, хуже не будет!

– А как вы сами чувствовали – трудно было жить в «закрытом» городе, в «закрытом» состоянии?

– Я, наверное, по свойствам характера не очень чувствовал «закрытость» – работать, читать книги, заниматься всякими пустяками проволока не мешала, а что касалось выезда за пределы, то у меня был пропуск-«вездеход». Для меня этой проволоки практически не существовало. Через любой КП в любое время суток я мог проехать. Хотя это и не являлось чем-то таким определяющим. Скажем, на рыбалку захочется сегодня поехать, можешь поехать, и не надо сутки тратить на получение пропуска… Так что лично я не чувствовал «закрытости»…

Камера выключилась, но мы ещё продолжали сидеть в тех же позах – Негин, слегка откинувшись назад к мягкой спинке кресла, а я – напротив собеседника, подавшись вперед с микрофоном в руке. Потом передав его оператору, я спросил скорее для того, чтобы наша беседа не была оборвана как сугубо рабочее занятие:

– А были у вас на испытаниях чрезвычайные ситуации, от которых до сих озноб продирает?

– Конечно, были. И на полигоне, и вне его. Я вам расскажу один случай. У Чехова, помните, одну чайку застрелили, так он пьесу про несправедливости жизни написал. А мы погубили целую стаю чаек, не нарочно, конечно, но погубили ни в чём не повинных птиц. И до сих пор я себя чувствую убийцей, хотя им не был… 11 июля 1978 года мы вылетели из нашего города на Новую Землю на испытания – я, три моих товарища по работе и тут же с нами ядерные боеприпасы. На одном попутном военном аэродроме сделали плановую посадку, подзаправились топливом, снова взлетели. И вдруг по нашему самолёту что-то заколотило снаружи, как будто кто-то в нас булыжники швыряет, целую гору каменей. Двигатели как-то странно работа-

ют, с подрывами. Лётчики засуетились, бегают по салону, что-то осматривают, выглядывают в иллюминаторы. Что произошло? Минут 8-10 так поволновались и пошли на вынужденную посадку на тот же аэродром в Лахте, откуда взлетели. И что вы думаете? Оказалось, самолёт врезался в косяк чаек. Зрелище было ужасающим: вмятины на крыльях, весь фюзеляж в перьях и крови, месиво внутри двигателей. Естественно, прибыло всё местное воинское начальство. Самолет с ядерными боеприпасами, и – вынужденная посадка. Хорошо ещё, что сели! Можно сказать, чудом ушли от катастрофы… А катастрофы из-за птиц тут – нередкое дело. Нам сказали, что только в двух случаях такие встречи с чайками в воздухе закончились удачно: однажды до нас и у нас. Но у меня до сих перед глазами тот аэродром, на поле которого десятки разорванных на части израненных чаек, слышу их предсмертные крики. Подумалось, сама природа, логика естественной жизни против того, что мы с ней делаем, когда превращаем в кромешный ад и землю, и воду, и лёд, и воздух, и всё живое, обрушивая сверху апокалипсис ядерного взрыва… Настроение у нас у всех было ужасное. Переночевали в здешней гостинице. А вылетели на Новую Землю на следующий день, когда лётчики привели самолёт в порядок…

Евгений Аркадьевич Негин был одним из ближайших сотрудников и коллег Юлия Борисовича Харитона и самым близким его соседом, потому что семьи Харитона и Негина жили в одном коттедже, в двух разных его половинах. Сейчас на этом доме две мемориальные доски – академику Ю. Б. Харитону и академику Е. А. Негину.

Ирина ДРУЖАЕВА
Городец, Нижегородская область

ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ

Бежит, петляет по лесным дебрям шаловливая речка. То склоненным над водой ивам кудри забрызжет, то над камнями в танце закружится, то в глубоком омуте спрячется. И опять струится дальше озорная Вая навстречу сестрице своей Усте. Встречаются две лесные реки, силушку удваивают, спешат на свидание с красавицей Ветлугой.

В тишине заповедных дебрей смотрятся в зеркальную воду Ваи вековые ели да старые дубы, наблюдают, как бежит вода, как утекает год за годом быстротечное время.

Но однажды нарушается спокойствие лесной реки.

Тревога растекается по округе, как весенние воды по заливным лугам.

Она в стрёкоте напуганных сорок, в криках поднятых на крыло уток и гусей, в топоте бегущих подальше в чащу от пугающего шума зверей.

Всё ближе к Вае стучат топоры, падают с шумом и стонами вековые деревья.

А люди чужие, пришлые, к лесу безжалостные, ели да дубы валят широкой просекой, низины и болота на пути брёвнами устилают да кустарниками заплетают – гать за гатью, мостят топкие луговины.

Сменяют друг друга рубщики. Двигается вперёд, к далёкой Казани отряд ратников Грозного царя Ивана, пробирается через глухие заволжские леса.

И не преграда на этом пути лесная речка. Стоит на берегу Ваи седой воевода, торопит воинов, мост наводящих.

Проводники-марийцы на другом берегу реки место для привала большого отряда отыскали. Пока пройдёт по мосту войско – совсем стемнеет вокруг. Идут по мосту люди, катятся тяжёлые пушки, едут гружёные обозы.

Всхрапнули кони, соскочило колесо одной из подвод, покатились по мосту тяжёлые бочонки, с всплеском упали в темную воду.

Кричит воевода, провинившихся ратников бочонки добывать отправляет.

Не мёд и не квас в бочках утопленных, а золото червонное. Крестятся воины, ныряют в ледяную воду. Вытащили с трудом бочки. А одного бочонка не досчитались.

А солнце уж за лес прячется.

Нет у воеводы времени на поиски.

Казна у отряда ещё полным-полна. Бочонком больше, бочонком меньше – не поскупился Грозный царь, богато снарядил боевой отряд в лесное заволжское бездорожье, чтоб вышел он в тыл защитникам Казани, помог войску царскому победу одержать. Важен для царя и государства этот тайный поход.

Строго-настрого наказано воеводе племена лесные не обижать, деньгами да шубами бархатными князьков местных одаривать, провиант для войска за золото дорого покупать.

Приказ приказом, а как объяснить государю, что не все племена подарки предложенные принимают, не все встрече с воинами рады.

Многие деревни на пути пустыми оказываются – уходят мари в леса глухие вместе со скарбом и скотиной, прячутся.

А кое-кто из князьков, отчаянных голов, и воевать с войском царским решается.

Приходится воеводе охотников в лес снаряжать. Но и они не часто добычей радуют – уходят осторожные лоси

вслед за другим зверьём в чащобы непролазные, убегают от звуков пугающих.

Вот и идёт отряд по лесам с полными бочками золота, да с пустыми животами. Нашлись и такие воины, кто трудностей не вынес да в леса подался.

Торопит воевода отряд, чтоб из дебрей выбраться и задачу трудную выполнить.

Ушло войско, оставив за собой прямую, как стрела, дорогу с гатями, мостами, спрятанными по оврагам кладовыми со всяким добром: на случай, не дай бог, внезапного отступления.

Многие видели, что с подводы в реку упало. Но упало – и пропало.

Несколько ратников беглых к наведенному мосту возвращались в надежде оброненное золото отыскать. Не далось оно им, чуть не утонули в реке среди топляков и коряг. Кладовушку в овраге отыскали, тем и утешились.

А слух о бочке с золотом остался.

И у русских, и у марийцев год за годом рассказывали былину о походе войска Ивана Грозного и тайне золота Ваи.

Лес от перенесённого потрясения оправился, раны нетяжкие затянул, а дорогу, войском проложенную, спрятать не смог. На века пролегла по заволжским лесам тропа ратная, дорога широкая. Вдоль дороги этой удобной много новых селений возникло.

И возле переправы через Ваю изба за избой деревушка Пристань выросла. Жители её историю о ратной тропе да царском золоте помнили. Многие тот клад искали, да никому он в руки не дался.

Жили в той деревне два друга – Иван и Семён.

Когда были ещё совсем малолетками, пошли они с ватагой ребятишек на речку купаться. Да сетку мелкую на отмели закинули. И попалась в сеть кроме рыбьей мелюзги змейка махонькая – не ужик – пёстренькая, а с рожками жёлтенькими. На берегу костёр горел. Семён начал подговаривать друзей змейку в огонь вытряхнуть: ядовитая, мол, тварь – вырастет, укусит. А Иван пожалел:

– Брось, Семён! Под ноги гляди – зазря и змейка не кусает!

И вытряхнул пёструю змейку из сетки в воду – мелькнула – как и не было её. Только шум по прибрежным камышам пронёсся: то ли ветром их закачало, то ли шипение со всех сторон послышалось. Страшно вдруг стало ватаге ребячьей, с визгом убежали в деревню.

Про случай этот быстро забыли – мало ли чего в малолетстве пугающим кажется.

Историю про царское золото Иван да Семён с детства слышали. Да с годами решили, что люди всё это придумали.

Иван рано осиротел, один в отцовской избе горе мыкал.

Семёну полегче жилось при родной матушке.

С малолетства дружили, охотой, рыбалкой и всем, что лес щедро дарит, промышляли.

Так бы и жили дальше в согласии, да на беду в одну и ту же девушку влюбились.

А девице-насмешнице любо двух друзей лбами сталкивать.

Смеётся, кокетничает да лукавит: то одному, то другому внимание оказывает, надежду подаёт красавица Агаша. А выбрать одного не торопится.

Иван да Семён драться не дерутся, но дружбы прежней как не бывало. Маются оба от ревности.

На охоту теперь порознь ходят. А вот с бреднем одному несподручно вдоль реки ходить.

Пошли они однажды на Ваю, бредень раскинули, до омута добрели по ледяной воде. Стали бредень вытаскивать, а он не идёт.

– Видать за корягу зацепился. Тут топляков много! – расстроился Семён. Бредень-то ему от отца достался. Подлатают – и опять с рыбой. А тут и так и сяк тянут – крепко засел, зацепился за дно.

Семён взглянул на воду да на берегу уселся. Раз бредень его, нырять в холодную ключевую воду – Ивану.

Принялся Иван искать, где бредень за дно зацепился. Долго плавал да нырял. Наконец нашёл место нужное.

Нырнул, достал до дна, а под рукой обруч нащупал. Понял сразу, что не коряга на дне лежит. Вынырнул Иван из воды, Семёна зовёт:

– Не коряга там. Может, бочка?

Вздрогнул Семён, в ушах зашумело – так его это слово взволновало. А сам рот скривил:

– Показалось тебе, поди-ко!

Но одежонку скинул и – в реку.

Попытались вместе сдвинуть бочку с места – да не тут-то было: вросла она в песок донный, илом скользким покрылась.

Долго маялись: ныряли, песок и ил вокруг находки откапывали, сетью её опутывали. Наконец с трудом на берег выволокли старый дубовый бочонок, от тины отчистили.

Глядит на клад Иван:

– Да он это – глянь, как почернел да закаменел от времени, что в реке пролежал.

А Семён нож свой охотничий взял:

– А это мы сейчас и проверим, благословясь!

Он перекрестился и ударил ножом по крышке бочки.

Из пробитого отверстия монеты посыпались, на закатном солнце заблестели.

Забурлила вода у берега, камыши закачались и зашуршали. И шипение донеслось от реки. Но потрясённые приятели этого не заметили.

Смотрит Иван на монеты, радуется:

– Повезло нам, а я думал – сказки это, про золото царское! А тут – целый бочонок!

Солнце послало на берег последний луч и скрылось за лесом.

Полыхнула в этот миг куча монет багровым отсветом, ослепив Семёна.

Зажмурился он, и пронеслось в его голове и про Агашу, и про богатство неслыханное. Зачем делить, когда можно всё забрать?

А в руке нож, которым бочонок вскрывал.

Развернулся Семён и ударил ножом Ивана. Тот и испугаться не успел, взглянул удивлённо и упал в тёмную воду Ваи.

Вздулась рубаха окровавленным пузырём. Уплыло тело по течению, исчезая в полутьме.

В этот миг громкий хохот донёсся от реки, такой страшный и нечеловеческий, что кровь в жилах у Семёна застыла. А потом шипение послышалось со всех сторон:

– Моё… Моё! И ты мой…

И два огромных глаза на тёмной воде светятся…

Замер Семён от страха, пошевелиться не может. Сам не знает, сколько времени так просидел. Очнулся, опомнился, за голову схватился:

– Что же я натворил! Душегубом стал из-за этого золота! И что это было-то? Господи, помилуй!

Заплакал парень, слёзы по лицу растирает. Рад бы вернуть друга, да время вспять не повернёшь. И покой душевный потерян навек. Близок локоть, да не укусишь…

Но руку в бочку сунул Семён, зазвенело меж пальцами золото, совесть и усыпил. Некогда раскаяньем мучиться – надо монеты в избу перетаскивать.

Ночка тёмная – злых дел пособница. Схоронил убийца клад богатый в подполе своей избы и затаился, как паук, в своём жилище.

Ивана в деревне не сразу хватились.

Да и то сказать – сирота, один-одинёшенек жил. А как вспомнили о нём соседи – к Семёну пошли:

– Где Иван? Давно не видать парня. Вы же с ним не разлей вода!

А Семён руками разводит, в глаза людям не глядит:

– Знать не знаю, ведать не ведаю. Давно не видались. Вроде собирался он в город податься. Вот, видно, и ушёл!

Дивятся люди, головами качают:

– Странно это.

Никто про такие намеренья Ивана не слыхивал.

Поискали по округе, да своих забот полон рот. Решили, что сгинул, бедолага, где-нибудь в лесу.

Через месяц-другой успокоился Семён, из угла паучьего вылез.

Принялся монету за монетой из подпола вытаскивать да хозяйством обзаводиться.

Матери его жить бы да радоваться, что жизнь к лучшему меняется. А только сердце материнское не обманешь. Видит она, как сын переменился: грубый стал и жестокий, а по ночам зубами скрипит, кричит, страшно слушать.

И исчезновение Ивана, и богатство внезапное Семёна – странно ей это.

От мыслей пугающих слегла женщина и угасла за месяц.

Остался Семён один.

Агаша после исчезновения Ивана насмешничать перестала. Первый парень на деревне теперь Семён. Так что когда со сватами пришёл – обрадовалась девица. Справили свадьбу богатую на Покров.

Через пару лет перебрался Семён из деревушки своей в село большое на Ветлуге, лавку завёл. И вскоре в первые богатеи в округе вышел.

Гладок стал, брюхо отрастил да бороду, величать стали люди Семён Петровичем.

Вот только, чем богаче он становился, тем больше в мужике появлялось зла, жадности да зависти!

Больше всего боялся теперь Семён ночей. По ночам пугал он жену свою Агафью громкими криками. Страшно душе ночами: это во снах своих беспокойных видел Семён то багровый отблеск на куче монет, то тёмную воду Ваи. И просыпался в холодном поту то ли от шипения, то ли от хохота.

А как день придёт, Семён страх свой на других вымещает да зеленым вином запивает. И больше других достаётся от мужа Агафье.

Рано радовалась она удачному замужеству да богатству, нет ей в этом браке ни счастья, ни покоя, ни днём ни ночью. Мужем Семён оказался злобным, жестоким да жадным. В подпитии и руку на жену поднимал не раз.

Став купцом, обзавёлся Семён лодьей кокорной с гребцами. На Ветлуге товар скупал, на ярмарке торговал. Оттуда товары в лавку свою привозил.

Только год от году всё скучнее ему. Лень даже делом привычным заниматься. Монеты, в новое подполье пере-

прятанные, всё не кончаются. В лавке – приказчик командует. Одна радость – чарка крепкого вина.

Деток Бог не дал Агафье с Семёном. А дом без детей – как плод без семян. Худо, когда двор без ушей, а изба без очей. Живут муж с женой рядом, как чужие, только маются.

Что посеял, то и жнёшь. На том бы и сказу конец, да в жизни порой такое случается, что нарочно не придумаешь.

Нанялся к Семёну гребцом на лодью молодой парень по имени Николай.

Как-то плыла лодка купецкая по Ветлуге, на носу хозяин скучал, на знакомые берега поглядывал.

Мимо малой деревушки проплывали, девушку увидели: хоть и не близко к берегу плыли, а статность да красоту девицы все разглядели. А Николай вскочил, кричит, машет рукой красавице. И она ему с берега отвечает.

Гребцы улыбаются, над Николаем посмеиваются, а он смущается.

И Семён на девицу во все глаза уставился – пока из виду не пропала. Спрашивает Николая:

– Кто такая будет?

Улыбается парень, ещё не отошёл от радости, что любимую увидел:

– То невеста моя, Катюша! Свадьбу хотим справить по осени.

Надулся Семён, пробурчал сквозь зубы:

– Ну, ну! Дело молодое.

А у самого глаза забегали, руки влажные потирает, думу думает:

«Этакому увальню-голытьбе – и такая красота. Не по Сеньке шапка».

Не сами поговорки сочиняются – жизнь их складывает. Седина в бороду – бес в ребро! С того дня не ест, не спит купец Семён, всё о Кате думает:

– Кто я, и кто этот нищий лодочник! Хороша девка! Эх, кабы не Агафья!

Да жена – не рукавица, с белой ручки не стряхнёшь!

Словно почуяла Агаша, что неладное с мужем творится. И раньше ей от него доставалось. А тут и вовсе зверем

глядит. Собрала она вещички да и подалась на богомолье – в дальний монастырь. Упредила мужа, что надолго едет. Решила: бережёного Бог бережёт!

Как в воду глядела: у Семёна мысли недобрые одна за другой в голове теснятся. Уехала Агафья, беду от себя отвела.

А Семёну – невтерпёж, хочет желания свои исполнить. Думал, думал и надумал: «Не впервой мне народ дурить. Кого куплю, кто так промолчит. А будет всё по-моему! Обману, а там – будь, что будет!»

Купил Семён дом в маленькой деревушке на берегу Ветлуги, на самой окраине, возле леса глухого, нанял двух лихих людей на службу. Эти лиходеи и выкрали Катю, как в лес за ягодами пошла. В лодке привезли, в купленной избе спрятали, охраняют денно и нощно.

Явился к ней Семён, в любви клянётся, золотые горы сулит:

– Золотом осыплю, в парчу да бархат одену, избу украшу, как у царицы.

А девица гордо и свысока глядит на толстого купца. Съёживается под этим взглядом седовласый Семён. А Катерина спокойно на все посулы отвечает:

– Есть у меня жених. Другого не надобно. Да без венца ни за кого не пойду.

Унижается перед ней Семён, плачет. О горькой доле вдовца врёт-рассказывает. Совсем в плен взяла его чёрное сердце красавица.

Поняв, что девушке он противен, взбесился Семён:

– Если не за мной, то ни за кем тебе не бывать!

Чувствует Катюша, что на всё способен жестокий купец, что не выбраться ей из этой избы живой, коли не придумает она способ обмануть похитителя.

Решила – лучше нет возможности сбежать, как при венчании. Говорит Семёну:

– Ладно, пойду за вас. Только венчаться будем в храме.

У наивной девицы и мысли нет, что Семён женат, что врёт – как дышит!

Кивает купец радостно, всё сделать обещает:

– Ладно, будет тебе венец!

Вернулся в село, попался ему на глаза монах незнакомый. Ему и предложил Семён обряд неправедный совершить. Денег предложил – уж и вовсе несусветную сумму обезумевший от любви купчина. Думает – за такие деньжищи не откажет ему монах. Всяк по себе судит…

Долго думал священник, поглядывая на Семёна. Да и согласился. Обрадовался обманщик, о встрече договорившись. Побежал подарки невесте собирать.

А монах долго вслед Семёну глядел, потом людей встречных расспрашивал, кто таков. До леса дошёл и из виду пропал.

А в глубине леса возле землянки встретился монах с древним седовласым старцем, отшельником и молитвенником. Рассказал ему о предложении купца-богатея:

– Чую, недоброе задумал, – люди говорят, женат он, и жена его жива и здорова. А он о венчании говорит. Откажись я – найдёт другой способ злодейство совершить. Что делать, отец Даниил?

Пока рассказывал монах свою историю, к землянке ещё два человека подошли. Встретил их старец как людей близких:

– Что невесел, Иван? Аль случилось что?

Поклонился священнику Иван:

– Знаешь сам, отец Даниил, – как жена померла, одна радость у меня в жизни – дочка. Беда, батюшка! Пропала Катерина. Несколько дней ищем. Как в воду канула… Это Николай, жених её.

Склонился парень перед старцем:

– Благослови, отец Даниил, на поиски невесты пропавшей!

Вздохнул старик:

– На всё воля Божья!

Потом позвал молодого монаха:

– Расскажи-ка им про купецкое предложение…

Присели все на брёвна у землянки, рассказал монах о предложении Семёна.

Слушает Иван и в лице меняется:

– Не может быть… Неужто – Семён? Думал, никогда дороги наши вновь не пересекутся. А оно вон как…

Вспомнилось Ивану всё, что случилось когда-то на реке Вае: и тёмный бочонок на песчаном берегу, и отблеск закатного солнца над кучей монет, и пустые глаза Семёна, и нож в его руке.

Как плыл по реке и смотрел в звёздное небо, как волновалась и колыхалась под его спиной речная вода упругими жгутами, и кто-то неведомый, плывущий рядом, произнёс:

– Держись, Иван! Клад не всякому в руки даётся. Избранному. А коль не тому достался – впрок не пойдёт.

Удивился Иван, голову повернул. Вокруг – буруны и, словно ленты, в воде вьются гибкие тела. А рядом – голова змея огромного: глаза огнём горят, и рожки золотые в лунном свете блестят.

Охнул Иван:

– Спаси, Господи! – и сознание потерял.

Очнулся он, глаза открыл – над ним человек с длинной седой бородой склонился, повязку на груди поправляет.

Иван огляделся:

– Где я? Шалаш, что ли?

– А если и шалаш – что с того? Чай не зима, не замёрзнешь!

Голос у старца был тихий и ласковый.

– Сон я видел чудной: огромный змей со мной в реке разговаривал.

Улыбнулся старик:

– Сны мало кто помнит поутру. А вот быль – она у тебя в груди кровоточит. Да не вертись, лежи тихохонько. Рану не разбереди.

– Кто вы, и как я тут очутился? – застонал Иван.

Старец дал раненому отпить воды и присел рядом:

– Отцом Даниилом зови. А как тут оказался – это, мил человек, тебе виднее. Да только те, что тебя сюда доставили, знали, что делают. Вовремя успели. А теперь, даст Бог, травами да молитвами поставлю тебя на ноги. Токмо не вставай пока. Рано ещё. Рана глубокая – чудом жив остал-

ся. А до реки отсюда километра два будет. Здесь только ключик да ручеёк махонький.

Старик оглянулся, выходя из шалаша:

– Не каждому второй раз родиться суждено. Зла не держи ни на кого. Душа чище будет. С этим и на поправку пойдёшь.

Старец вышел, а Иван прошептал:

– Нет, не сон я видел – были змеи… Про Царя Змеиного сказки бают – а тут быль… Спас меня? Но почему?

Иван закрыл глаза и забылся в спасительном сне.

Семён, найдя сговорчивого монаха, пошёл в лавку, подарки для Кати выбирать: и наряды, и украшения, и угощение. В лодку всё принёс, в условленном месте священника ждёт. Монах пришёл вовремя со всякой церковной утварью.

Радуется Семён, руки потирает:

– Прямо в избе обвенчаешь?

Монах плечами пожимает:

– Почему нельзя? Можно и в избе. За такую цену можно и в лодке.

Засмеялся Семён, а как к деревушке подплыли – засуетился.

А того не заметил мужик, что позади лодка плыла, но не приближалась.

Приплыли, выгрузили лодочники тюки купецкие в сенях избы и ушли. Гонит их Семён прочь:

– Уплывайте, завтра вернётесь.

Шепчется Семён с лиходеями, охранниками Катиными:

– Как выйдет монах, упокоить его надо. Мало ли чего. Река глубокая – укроет.

А этим двоим всё едино – на всё готовы, только деньги плати.

Вошли Семён со священником в горницу.

Вздрогнула Катюша, на монаха глядит, удивляется:

– Вы правда священник? И прямо в избе нас венчать будете? Что ж чудно-то как? А ну как вы расстрига?

Молчит монах, на столе утварь, венцы раскладывает, свечи зажигает.

Закусила губу девушка – того и гляди разрыдается.

Тут в сенях шум послышался. Дверь распахнулась, и вошли в комнату Иван да Николай.

Бросилась к ним Катерина: и плачет, и смеётся от радости.

– Слава Богу! Нашли меня!

А Семён оглянулся, Ивана увидал и остолбенел, побелел весь от страха, дрожащей рукой крестится:

– Чур, меня! Чур, меня! Не подходи, нечистая сила!

А Иван на друга юности глядит: так противен и жалок трясущийся от страха Семён, что даже гнев у разъярённого отца девушки остыл:

– Да нет, Семён. Нечистая сила – это по твоей части. Ты давно с ней сроднился, видать и дальше с ней останешься.

Семён открыл рот от удивления:

– Иван, ты ли? Но ведь…

Заикнулся душегуб и замолчал.

А Иван к столу подошёл:

– Я это, Семён, не сомневайся! Как тебе живётся, хорошо ли по ночам спится?

Упал Семён на колени, трясётся весь:

– Значит, жив ты. А я думал… Что ж ты в деревню не вернулся? Я ведь себя наказал – всю жизнь мучился. Всего-то и было в жизни – матушка да ты, друг… Лукавый попутал, прости, Иван! Жизнь не в радость.

Иван вздохнул, на Катю поглядел:

– Оно и видно: то-то ты дочку мою украл – радости захотел?

Стоит Семён на коленях, руки к Кате протягивает:

– Катерина, прости! Иван, не держи зла. Кто же знал, что это дочка твоя. Я же думал, что тебя и в живых-то нет!

Грустно Ивану на Семёна униженного и трусливого глядеть:

– Золото тебе прощаю – на чужом добре счастье редко селится. Пришло ниоткуда, ушло – не жаль. И боль свою прощаю – выжил, и слава Богу! А вот то, что ты дочь мою чуть не погубил – не прощу никогда! Чёрная у тебя душа, гнилая насквозь, как пень трухлявый.

Взял Иван со стола нож.

Увидел это Семён, завопил:

– Убивают! Помогите!

И к двери бросился. А никто и не держит. Иван поглядел на нож в своей руке:

– Ишь ты, что подумал! По себе судит, злодей!

Вышли из душной избы Иван, Николай с Катей и монах. В сенях связанные подельники Семёна лежат. Развязал их Иван:

– Идите, да больше не грешите – всё вам сторицей воротится!

Помчались оба вслед за купцом, только пятки засверкали.

Решил Семён путь до реки сократить, побежал через луговину болотистую. И подельники за ним.

А там – змеиная свадьба в разгаре. Как поняли злодеи, куда попали – уж поздно было возвращаться.

У Семёна волосы дыбом встали, когда облепили его змеи со всех сторон, ноги опутали. Даже закричать не может от ужаса.

А над луговиной шипение, страшный хохот и голос нечеловеческий:

– Мой! Отдай моё!

Вскрикнул тут Семён:

– Царь, Царь Змеиный, пощади!

Упали все трое злодеев в траву и исчезли.

Всё это видели с крыльца Иван с дочкой и Николай, и священник. Вскрикнула и перекрестилась Катя, как хохот раздался над луговиной:

– Что это, батюшка?

А Иван стоит сам не свой – слышал он уже звуки такие.

Сошёл с крыльца и пошёл к реке – потянула его на луговину сила неведомая. За ним и Николай.

Испугалась Катя, кричит им вслед:

– Батюшка, Николай, вернитесь! Боюсь я!

А Иван уж до края луга дошёл – трава на нём словно утюгом приглажена, но змей не видать. А на краю – холмик да нора большая видна.

Как подходить стали – увидели на миг конец хвоста змеиного в две руки толщиной. Показался и исчез Змеиный Царь. Стоит Иван у норы, задумался:

– Знаю, кто тут суд вершит. Да не знаю, почему мне помогает…

Блеснуло что-то у ног Ивана на солнышке. Наклонился Николай, хотел подобрать блестящие жёлтые кусочки с травы.

Схватил его за руку Иван, остановил. Присели оба над находкой:

– Ты смотри, никак рожки свои оставил нам Царь Змеиный. От бабки своей слыхал я про него. Вот и не верь в сказы старые. Так ли, не так, а поступим, как бабушка учила.

На Иване рубаха белая, а на Николае красная. Оторвал Иван лоскут красный от рубахи парня, осторожно взял в него рожки змеиные, руками не касаясь. И завернул аккуратно:

– Вот так в сказах сказывалось. А старые люди много чего знали, что мы утеряли. Завернём потуже, и в кошель положим. Поглядим, что будет. Говорят, всё, к чему приложишь, – прибавляется. Лишнего нам не надо, а немного помощи в самый раз будет к свадьбе-то.

Поклонился Иван в сторону норы:

– Спасибо тебе, Змеиный Царь, за спасение! И за подарок пока неведомый тоже спасибо!

Глядит на Ивана Николай с удивлением, головой качает, шепчет себе под нос:

– Эк его разобрало, как его расстроили, лиходеи – не пойми что бормочет. Про Царя какого-то…

А откуда-то издалека, как из-под земли – шипение:

– Кого казню, кого жалую – моя воля…

Ну, рожки не рожки змеиные, а только зажили Иван с дочкой и зятем счастливо: в любви, согласии и без нужды. Живут, радуются да деток нянчат.

Со спокойной душой и чистой совестью и живётся легче, и спится крепче.

Агафья, как из монастыря вернулась, узнала, что муж пропал без следа.

Не сильно она по Семёну убивалась – одни страдания всю жизнь терпела. А купецким добром по-своему распо-

рядилась. Всё распродала и – что раздарила, что в монастырь отдала; а сама в монахини постриглась.

А в селе возле дома, где Семён с Агафьей жили, люди стали змей примечать. То в саду, то у стен, а то и в подвале – никто не знает, как они туда попадают. Одна гадюка потолще да подлиннее и две поменьше – извиваются, шипят.

Да такие неуловимые: пока люди за косой или лопатой бегут, исчезнут змеи, как и не было. И никому невдомёк, что эти твари ядовитые возле дома делают. Только изба стала считаться местом нехорошим.

А змеи в подвал забираются, в одном и том же месте в клубки сворачиваются. И большая всё норовит маленьких оттеснить подальше, шипит:

– Мой клад! Мой, мой…

Захороненное золото охраняют. А кому, как не Семёну, знать, где монеты царские зарыты?

Да только зачем змеям золото? Вот и шипят, оборотни ядовитые, от злобы и бессилия, всех ненавидящие и всеми ненавидимые.

Павел ЛАПТЕВ
Выкса

СОСУЛЬКА

Как-то в начале зимы на одном из карнизов на свет появилась сосулька. Оглядевшись по сторонам, она сразу же начала размышлять. Несправедливо, подумала сосулька, что одним своим концом она приклеена к карнизу. И главным её желанием стало освободиться от него.

– Освободи же меня скорее, – сказала сосулька карнизу.

На что старый карниз пробурчал:

– Я вообще не знаю, кто ты такая и откуда взялась. И до тебя были такие же, ещё и потяжелей, и все они исчезли. И вообще я тебя не держу, не в моей это власти.

– А в чьей же власти? – поинтересовалась сосулька.

– Вон его, – ответил карниз и показал на солнце.

Сосулька тогда подумала, что надо солнцу приказать освободить её.

– Эй, как тебя там, ну-ка отпусти меня! – прозвенела она.

Но солнце только мигнуло, проходя сквозь тучу.

С тем сосулька и уснула.

На следующее утро она увидела возле себя такую же сосульку и предложила ей вместе приказать солнцу её отпустить.

Но та оказалась ленивой и ответила:

– Не хочу я ничего, мне и так хорошо. Висишь себе спокойно, растёшь и ничего не делаешь.

Так наша сосулька, обиженная на всех, провисела несколько дней, размышляя, что же предпринять для своей свободы. И она придумала просто попросить солнце.

– Освободи меня, пожалуйста! – обратилась сосулька к нему.

Внизу как раз проходили мальчишки, и один снежком сбил сосульку. Она упала и разбилась на мелкие куски. Так без сознания, разбитая на части, она пролежала в снегу до весны. Весной, когда солнце растопило снег, добралось до неё и превратило её в воду. Сосулька очнулась и поплыла в ручье вместе с другими сосульками. И тут она вспомнила, что до того, как стать сосулькой, она была таким ручьём и тучей и дождём. Она всегда была свободной. Где она теперь, можно только гадать, может быть, в моём чае?

МЯЧИК

Лето создано для отпуска у взрослых. И в семье, где папа, мама и маленькая девочка Ксюша, он наступил. Отпуск у папы и мамы. А у Ксюши каникулы! Она перешла в третий класс школы. И главное событие в этот лето, что девочка научилась плавать в пруду. А ещё событие, незначительное, купили мячик. Разноцветный, надувной, размером с солнце. Мячик летал на пляже от одних рук к другим и смотрел на небо, и ему очень хотелось туда, выше. Хотелось полететь к солнцу, яркому, тёплому, такому же, как и он круглому, наверно, родному. Ему нравилась семья, даже было весело парить над водой в игре, но он всё больше думал о солнце. Ведь так устроен мир, мы больше любим похожих на нас. Правда ведь?

Лето было жарким, почти каждый день семья была на пляже. Но в конце июля жара стала немного спадать. Даже прошли дожди с грозами. Появился ветерок и волны на пруду. В один из таких дней семья была на пляже до самого вечера. Огромное красное солнце стало медленно садиться и уже скоро должно было поравняться с поверхностью пруда. И в одно мгновение мячик вырвался из детских рук и поплыл по волнам, поплыл по сверкающим волнам к солнцу. Он доплывёт, обязательно доплывёт до него! Мячик очень был рад, что стал свободным. Папа попытался догнать его вплавь, но тщетно. Ксюша заплакала, когда мячик стал уже маленьким. Но её успокоили родители, сказав, что купят другой. А ещё и маску с трубкой.

Мячик же доплыл до противоположного берега и застрял в камышах. Солнце меж тем скрылось за горизонт.

Стало темно, холодно и страшно. К мячику подплывали рыбы, кусали его, желая съесть. Садились насекомые, щекотали своими лапками. Даже лягушка пыталась залезть, чтобы повыше посмотреть, что творится в мире, но упала и с недовольным кваканьем удалилась.

Так мячик провёл в страхе и тоске ночь. Луна уныло подбадривала его. И звёзды, словно много мячей разбросанных на небе. Он думал, что у них тоже есть свои семьи. Но теперь мячик очень хотел к своей семье.

Утром взошло солнце и сразу скрылось от мячика за облака. В камыши зашёл рыбак и увидел его. А на мячике был написан маркером номер мобильного телефона папы. Рыбак был добрым, он позвонил по номеру и вернул пропажу.

Мячик очень обрадовался своей семье. Он стал ценить её только тогда, когда потерял.

А солнце, оно никогда не пропадает насовсем, только разве что на ночь, оставляя вместо себя ночники, луну и звёзды. А скрывается за горизонт лишь для того, чтобы о нём успели соскучиться.

ОГУРЦЫ

Маленькая девочка Соня, которую первый раз привезли родители на дачу, зашла в теплицу. День был жаркий, и теплицу проветривали. А мама этим временем поливала там из ковша высокие разветвлённые огуречные кусты.

Огурцов родилось много, но все они молча пили воду и на Соню никакого внимания не обращали. Только два огурца в самом углу теплицы, висевшие очень близко друг ко другу, шептались.

Один маленький тонкий с пупырышками радостно раскачивался на ветке и приговаривал:

– Ура! Ура! Наконец-то я созрел.

Другой огромный жёлтый зло пыхтел и упрашивал тонкого:

– Уф! Не могли бы вы не раскачивать ветку? Уф! Мне ещё так долго созревать. В моём положении нельзя так раскачиваться.

– Почему? – удивился тонкий огурец. – Жить нужно в удовольствие! Ведь жизнь так коротка, и надо успеть всё испытать.

– Коротка, – не согласился толстый огурец. – А мне висеть и висеть до глубокой осени. Уф! Тяжело-то как! Ну, зато вас съедят, и на этом ваша жизнь закончится. А я продолжусь в своих детях, дам жизнь семенам, которые из меня извлекут.

– Ах, скукота! – весело подпрыгнул ещё сильнее пупырчатый огурчик. – Дети, дети, зачем дети? – не понимал он. – Нас с вами уже не будет по любому, и своих потомков вы не увидите.

Толстый огурец даже похрустел от обиды.

– В этом вы правы, – согласился он. – Не увижу.

– Ну так и не парьтесь в этой теплице! – весело сказал маленький. – Берите от жизни всё сейчас, живите в своё удовольствие, веселитесь, прыгайте, наслаждайтесь молодостью и летом. Всё равно конец у всех огурцов будет одинаков – и у тонких, и у толстых, и у длинных, и коротких.

И толстый огурец тоже начал подпрыгивать и смеяться вместе с тонким, несмотря на свой вес. Ветка, на которой они висели, раскачалась ещё больше, и толстый огурец вдруг оторвался от неё и упал на землю.

Стук падения услышала мама и подобрала огурец.

– Ну вот, семенной огурец, а сам в салат прыгает. Придётся его съесть, – сказала дочери.

На этом в салате под майонезом история толстого огурца, который не захотел дать жизнь потомству, а выбрал весёлую короткую жизнь, заканчивается. Тонкий же остался висеть на ветке до осени. Он стал серьёзней после падения толстого и много стал размышлять о жизни, пока его вес не стал очень большим и стал мешать думать.

А в сентябре, когда Соня пришла домой из первого класса школы, его сорвали, и мама с дочкой засолили в банку на зиму.

Но какая бы не была жизнь у огурцов – кроткая иль длинная – и какая участь, они не сравнятся с нашей девочкой Соней, подслушавшей их разговор. У неё, имеющей нечто большее, чем эти огурцы, – бессмертную душу, – жизнь на ветке не заканчивается. И от того, как она по ней пройдёт, и будет зависеть её вечность.

МОБИЛЬНИК

– Беда! Беда! – кричала выгуливающая в сквере большую собаку сударыня в розовом.

– Что случилось? – спрашивали некоторые прохожие.

А сударыня охала, ахала и ничего толком рассказать не могла, только тараторила:

– Телефон! Телефон! – и показывала на собаку пальцем.

Но, уже успокоившись, она выдала фразу:

– Буча проглотил мобильник.

Ах, Буча! Чёрные добрые глаза, сопливый нос и длинный язык на большой собачьей морде. Сама радость, виляющая хвостом.

Па-ра-ри-ра-рам! – заиграла глухая мелодия из Бучи в животе. Па-ра-ри-ра-рам!

– Ах! – снова ахнула женщина. – Мне должен позвонить человек. Это моя последняя надежда на счастье.

И стала руками надавливать на живот своей собаке – вверх-вниз, вверх-вниз.

– Ало, – ответил в животе мужской голос.

– Ало! – радостно ответила сударыня.

– Дорогая, вас плохо слышно, – озадаченно послышалось из собачьего нутра.

– А... Это… – металась сударыня. – Это такая плохая сотовая связь.

– Плохая? – спросил собачий живот. – На ужин я жду вас в кафе на… – оборвалась фраза, потому что собака залаяла на пробегающую кошку.

– Фу, Буча! Фу! Тихо! – почти рыдала сударыня. – Ах! Ничего не слышно.

Но Буча, не слушаясь, с лаем понёсся за кошкой, волоча по траве поводок.

Его еле удалось поймать хозяйке. И всё потому, что кошка, наконец, забралась на дерево, а Буча взялся ее облаивать.

Ах, несчастная кошка, несчастная собака, несчастная хозяйка! Беда на беде!

– Да уж, – возмущался чуть погодя врач-ветеринар в лечебнице. – Как же ему удалось съесть телефон?

А уже успокоившаяся сударыня рассказывала:

– Да как? Играл, играл возле меня. А в руке мобильник. Выхватил да и сглотнул.

– Да уж, – соглашался врач, ощупывая Бучу. – Ну, из этой беды есть несколько выходов. Точнее, уже и того меньше. Потому что мобильник поплыл вперёд. Буль-буль.

– Блим, блим! – почти тут же прорвалось из Бучи.

– Ах! – опять забеспокоилась сударыня и часто заморгала. – Это СМС! Он пишет о любви. Он всегда пишет только о любви. Доставайте! Доставайте!

– Вот я и говорю, – сказал спокойно ветеринар. – Надо резать.

– Резать? – испугалась сударыня.

– А как же? – удивился врач её удивлению. – Назад пути нет. До конца, гых, – кашлянул он, – не дойдёт, застрянет. Правда, можно дать очень сильное слабительное. Но тогда ваш любимый телефон уже нельзя будет починить. Ну так что? – спросил он сударыню.

Буча смотрел то на врача, то на хозяйку, высунув язык и часто дыша от жары. Что он чувствовал при этом и понимал ли разговор, мы никогда не узнаем.

– Помилуйте, мадам, – сказал нетерпеливо ветеринар. – Что вы печётесь о собаке? Это тварь бессловесная. Поверьте мне как врачу, что у неё нет даже души.

– Да, – заплакала сударыня. – Но душа есть у меня!

Она погладила собаку, потрепала за морду и сказала:

– Буча, Буча, какое вкусное слабительное тебе даст дядя, мняка!

Так закончилась история сломанным мобильником, в котором навсегда потерялась телефонная книга сударыни.

Но доброта в ущерб себе возвращается стократно. Друг сударыни отыскал вскоре свою подругу. Я видел их гуляющих втроём в парке: сударыня, молодой человек и непутёвый Буча, пытающийся проглотить его телефон.

ВРЕМЯ

– Наша планета Земля до сих пор без движения, – диктор в программе «Вести» плохо сдерживал беспокойство. – На одной половине всё еще ночь, на другой день. В северном полушарии зима, на юге лето. Катастрофа!

Да всё Сашенька и сам видел, наблюдая какую уже ночь или день на мерном небе надоедливый блин луны в обрамлении застывших звёзд.

– Что теперь будет, что будет со всеми нами, с Землёй? – причитала мама.

– Учёные разберутся, – успокаивал отец.

А в телевизоре непонятное:

– Непонятное космическое явление: на фоне отсутствия движения планеты остановились изменения в живых существах. За это время не было ни одной смерти и не одного рождения. Можно сказать, что остановилось время.

Ну да, наблюдал Сашенька за чуть проросшим семечком, которое он посадил уже давно, – оно так и осталось торчать из горшка как спичка. И слепленный с отцом снеговик во дворе всё такой же. Да и он, Сашенька, каждое утро после сна на дверном косяке оставлял карандашом чёрточку по макушке головы всё на одном и том же месте.

– Что это значит? – спрашивал мальчик ничего не понимающих родителей. – Я никогда не стану большим, а вы никогда не будете старыми, и все мы никогда не умрём?

Но родители не знали, что ответить, только разводили руками.

А в телевизоре предлагали временно поменяться местами людям с разных полушарий, семьям расстаться, даже

аттракционы – старость и смерть – временно создать подобие времени. Так люди соскучились по времени. Когда оно было, они его ненавидели и за то, что быстро бежит и они ничего не успевают. И за то, что медленно движется, затягивая неприятности.

И люди стали играть во время. Дети играли во взрослых, молодые наряжались в стариков, устраивали рождение детей и похороны. Но продолжались эти игры недолго.

Люди устали, на Земле наступила тоска. Тоска по времени. Люди не ходили на работу да и вообще меньше старались что-либо делать. Даже ели всё меньше, не хотелось.

Почему – задавали люди вопросы – за что нам такое наказание? И наказание ли?

Все политики и учёные стали решать эту проблему, созывались съезды, симпозиумы и семинары. Так прошло бы несколько лет, если бы были они, эти года. Но время не возвращалось. И люди поняли, что это они, загрязняющие океаны, вырубающие леса, выкачивающие нефть и газ, мусорящие на орбите Земли, виноваты в остановке времени. Люди осознали, что они не всесильны и что на самом-то деле есть другая, неведомая им сила, управляющая временем.

Однажды Сашенька, который за всё это время нисколько не подрос, нашёл на чердаке старые механические часы с кукушкой. Они висели в углу на стене. Он потянул похожую на сосновую шишку чугунную гирю – и часы пошли. А вместе с часами пошло время на Земле. Планета Земля снова начала своё движение вокруг солнца. Сашенька даже упал от толчка.

Он никому не сказал об этом, испугался. Но, когда на следующий день залез на чердак завести часы, не обнаружил их. Только гвоздь на стене остался.

Но планета Земля с тех пор не останавливалась. Сашенька стал взрослым и рассказал эту историю мне. А я вам.

В следующий раз, когда планета остановится, посмотрите, нет ли на вашем чердаке старых часов, которые уже давно пора завести.

ЗЁРНЫШКО И КАМУШЕК

Лежать в тёмном, пыльном, тесном мешке под тяжестью собратьев ой как не хочется! А ещё и побаливает мышиный укус. Хорошо, что ещё только укус. Можно и во рту мышином оказаться, как многие зёрна. Спас этот мешок, в который вовремя насыпали. Вот везение, так везение! Только мышь взяла зубами Зёрнышко, как сразу загремело, застучало, начало трясти. Мышь-то испугалась и выронила изо рта Зёрнышко. А потом – этот мешок. Где ж лучше? Но лежать в тёмном, пыльном, тесном мешке не хочется.

– Придёт Сито, вот тогда всё изменится! – весело потёрся боком Камушек.

– Сито? – переспросило наше Зёрнышко. – А кто это?

– Из тех, кто остаётся в мешке, никто не видел Сито. А те, кто видел, уже прошли сквозь него, – рассмеялся Камушек, – и уже не могут ничего рассказать оттуда.

– Откуда? – не унималось наше зёрнышко.

– Ах! – мечтательно ахнул Камешек. – Там свет и тепло, не то что здесь.

– А как же те, кто остался, узнали, что есть Сито? – спросило Зёрнышко.

– Как-как? – задумался Камешек. – Вот чего не знаю, того не знаю. Тайна!

Внезапно мешок, в котором они находились, начало трясти, отчего соседние зёрна начали больно тереться и давить.

– Как больно! – кричали одни.

– Щекотно! – смеялись другие.

Зёрнышко в потоке подняло и понесло куда-то.

– А что нужно? – сквозь крики спросило Зёрнышко. – Что надо, чтобы попасть туда, где светло?

– Надо думать о свете! Думать и верить, что туда попадёшь! – прокричал что есть силы маленький Камушек.

– Надо просто быть зерном, а не камнем, – сказали соседние зёрна.

В толчее Камушек оттеснили другие зерна, и оно потерялось из виду.

А Зёрнышко в потоке прибило – к Ситу. А в нём – к маленькому отверстию. И Зёрнышко застряло в нём. Тогда оно само начало протискиваться в отверстие, то одним боком, то другим, укушенным. Превозмогая боль, оно очистилось от шелухи. И, уже чистое и лёгкое, Зёрнышко пролезло и вылетело из Сита. Вылетело и увидело Камушек.

– У нас получилось! – радостно крикнул Камушек. – Надо было просто потрудиться, чтобы полезть сквозь отверстие в Сите. Просто поверить и приложить усилие!

Зёрнышко вместе с другими сородичами стало крупой, потом мукой, и в горячей печи превратилось в буханку хлеба. Там оказался и Камушек. Я вовремя заметил его, прежде чем откусить бутерброд. Хорошо, что зуб не сломал. Спросите, где Камушек оказался дальше? В моём мусорном ведре. А дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Вероника ВОРОНИНА
Люберцы

БАБА-ЯГА И ФРЕЙД

– Приснится же такое! – Баба-яга открыла глаза, сладко потягиваясь на печке, разбуженная возвращением Кота-Баюна с ночной охоты. – Интересно, что бы сказал на это Зигмунд? – она потянулась к стоящему на полке «Толкованию сновидений».

Кот недовольно фыркнул, обнаружив пустую миску для молока:

– И сдался тебе этот Фрейд! Ну что он мог написать такого, чего ты сама не знаешь?

– Ну не скажи, Баюн, записки этого старого затейника довольно забавны и поучительны. Вот взять например, идею бессознательного, – Яга начала неспешно сползать с печи.

– Представь себе наш подпол. В нем куча всякого добра и хлама ненужного, который жалко выкинуть. Я про это барахло забыла давно. *Вытеснила*. А оно все равно там – лежит, ждет своего часа. И полезное и бесполезное, – продолжала она, прихорашиваясь перед зеркалом. – И ладно, если это просто барахло. То ли дело, если среди прочего зреет там у меня яйцо василиска, например. Схоронила и забыла, память-то девичья, а ему срок пришел вылупляться. Ай, беда-беда будет!

Баюн терпеливо ждал, пока Яга наведет марафет, нальет воды в самовар. Знал, что торопить ее бесполезно.

– Некормленый, испуганный, он же подпол проковыряет и вылезет, когда того и не ждешь. Ему же, бедняжке, нужен специальный уход, детское питание, присмотр!..

«Это мне нужен присмотр и специальный уход», – ворчливо думал Баюн, но вслух пока помалкивал – мало ли, вдруг молока не достанется. А Баба-яга тем временем продолжала:

– Да и подпол жалко – хорошая вещь, полезная. Обидно, если раскурочит. Кто чинить будет? И опять же гости неправильно поймут, особенно Иваны эти Царевичи. Близко к сердцу примут, мечами размахивать начнут.

А он же всего лишь дитятко неразумное, хоть и василиск. Животинка вполне безобидная при правильном уходе. Опять же в хозяйстве такой помощник лишним не будет. Главное, без присмотра его не оставлять и кормить правильно. Ну так это про любую живность можно сказать.

В общем, *бессознательное* – такая штука, которую не стоит оставлять на самотек, – Яга не на шутку разошлась и вещала, словно с трибуны. – Весь хлам, конечно, не выгребешь, как и в подполе, но лучше по возможности порядок наводить, грязь вычищать, хоть какую-то инвентаризацию делать. А то, знаешь, «сон разума рождает чудовищ».

– Ну и дела! – задумчиво промяукал Кот, поднимая мордочку от молока: хозяйка наконец-то наполнила его миску. – Ты бы это, на всякий случай от греха подальше проверяла свой подпол почаще – мало ли, память-то девичья, вдруг и правда яйцо василиска завалялось или еще что *бессознательное*?

Словно дожидаясь именно этих слов, под половицами что-то зашевелилось, снизу донеслось тихое поскребывание. Хозяйка и Кот переглянулись и одним махом сиганули кто на сундук, а кто на стол. Яга дотянулась до ухвата, осторожно подцепила им крышку подпола, потыкала в темноту. Оба, затаив дыхание, уставились в проем. Раздался писк.

– Фу-у-у! Мыши! – с облегчением выдохнула Яга. И тут же погрозила Коту метлой, слезая с сундука: – И зачем только я тебя кормлю, дармоеда? Лучше б в самом деле это было яйцо василиска!

Кот тяжело вздохнул, с укоризной взглянул на хозяйку и полез в темную глубину:

– Давненько сюда никто не заглядывал. Ну что ж, если подпол – метафора *бессознательного*, – подбадривал он себя, – тогда чем-то и я сродни Фрейду!

ДРУГИЕ ЖИЗНИ БАБЫ-ЯГИ

Жила-была Баба-яга. Все как полагается: избушка на курьих ножках, ступа, метла, гости, просящие то уму-разуму научить, то путь правильный указать. И так год за годом.

Как-то летала она в город по делам. А там очередные выборы. И из колонок у избирательного участка на все окрестности неслось протяжное расторгуевское: «Эх, время-время-времечко жизни пролетело зря...»

Экзистенция повседневной жизни, как всегда, подкралась незаметно и ударила не в бровь, а в глаз. Яга вдруг остро осознала, что слова о пролетевшем зря времени жизни относятся не столько к конкретной *избирательной* кампании, сколько к важным жизненным *выборам* вообще. Как там у классика? «Жизнь прожить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Та, кто многие годы была Бабой-ягой и не знала ничего другого, погрузилась в себя и загрустила. Что если это время ее жизни пролетело зря? Ведь одна и та же колея каждый день. А годы-то проходят. Пока она в избушке сидит, Иванов-царевичей наставляет, Василис Премудрых уму-разуму учит, зелья варит, с лешими да кикиморами водится. Что есть в ее жизни, кроме этой раз и навсегда заданной роли? Где во всем этом она сама? Есть ли у нее что-то помимо этого? Есть ли у нее выбор? И вообще: кто она? Зачем живет? Одним словом, накрыло Ягу экзистенциальным кризисом.

Избушка сразу почуяла, что с хозяйкой, как только та вернулась. И повинуясь невысказанному, в деревянной стене проросла новая дверь – не простая, а путеводная.

«Новодел», появившийся в прежде глухой стене, выглядел так, будто был здесь всегда. С потертостями, царапинами, словно им пользовались многие годы. Ведунья принюхалась: дверь пахла настоящим деревом, поскребла ногтем кое-где облезающую краску, осторожно потрогала ручку, отполированную многими прикосновениями: настоящая!

Женщина, многое повидавшая на своем веку, почуяла: вот оно! Множество раз сама она отправляла других в неведомый дальний путь и знала – ее собственный ответ где-то там, за этой дверью, ведущей в неизвестные *куда* и *когда*. У старушки перехватило дыхание.

Пока она внимательно разглядывала «обновку», в дверь снаружи кто-то постучал. Внезапно охрипшим голосом Яга спросила:

– Кто там?

Вместо ответа дверь медленно приоткрылась. Женщина осторожно выглянула. С той стороны воздух был сырым и жарким. Кожа тут же стала влажной. Впереди расстилался ковер листьев и незнакомых ярких цветов.

Дальше виднелись громадные папоротники, могучие старые деревья. Их стволы покрывал мох, ветви переплетались с лианами. Прямо от двери начиналась тропа, которая вела к неровной прогалине в густой растительности.

Послышался звук, похожий на хлопанье паруса. Яга посмотрела вверх, и по коже побежали мурашки от головы до ступней. В жарком воздухе кружил птеродактиль, похожий на гигантскую летучую мышь. Его кожистые крылья растягивались, ловя восходящие потоки.

Откуда-то донесся рёв. Высоко над зеленым покровом деревьев показалась извивающаяся змеиная голова на длинной шее. Гигантский ящер вышел из джунглей на залитую солнцем прогалину. Приоткрытая пасть обнажала частокол зубов. Несколько секунд Яга ошарашенно переводила взгляд с динозавра, возвышавшегося над лесом,

на летающую рептилию у себя над головой. Потом сделала шаг назад и быстро захлопнула дверь.

– Вперед, – подбадривающе проскрипела изба. – Тебе давно пора сменить обстановку.

Та, кто привыкла быть Бабой-ягой и знала только эту жизнь, вздохнула, решительно взялась за ручку и шагнула в проем.

Ветер нес далекие крики птиц, запах влажной травы и незнакомых цветов. Джунгли были полны щебета и шорохов. Она всмотрелась между листьев папоротника в прогалину. Бронтозавр скрылся из виду. Было слышно, как он ломится сквозь джунгли, удаляясь. Женщина сделала пару шагов – ступни утонули в зеленом мху – и зашагала по поднимающейся вверх по склону заросшей тропе...

* * *

…Когда она вернулась домой, стрелки на уютно тикающих ходиках не успели сдвинуться ни на минуту. Яга перевела дыхание, огляделась. Знакомо поскрипывали половицы, пол слегка покачивался – это избушка разминала затекшие лапы, переступая с одной на другую. На печи умиротворенно мурчал кот, где-то скреблись мыши. За окном шумел дождь, начавшийся перед ее уходом. Капли успокаивающе стучали по стеклам. Надежность, проверенная временем, размеренность и предсказуемость. Все как всегда. Яга вздохнула, развернулась и снова потянула за ручку двери.

…У пиратов Карибского моря она переняла манеру витиевато ругаться, пить ром и курить крепкий табак. (Кстати, первую трубку подарил ей капитан Эдвард Тич, по прозвищу Черная борода.) Тогда же у нее завелся ярко-красный попугай ара.

…Пожив на Диком Западе, Яга научилась прятать оружие в костяной ноге и стрелять с бедра, не целясь.

…В Испании 30-х годов Яга пристрастилась к фламенко и корриде. Открыла для себя шали, подобные широким

мягким крыльям и широкие юбки в пол. Познакомилась с Хемингуэем и Пикассо. А Лорка даже посвятил ей пару стихотворений.

…Во время Гражданской войны в России она завела знакомство с Чапаевым и Буденным, научилась мастерски владеть шашкой и петь: «Мы красные кавалеристы, и про нас…» Шашка потом оказалась неоценимо полезна в хозяйстве: рубить капусту для засолки, сечь бурьян да чертополох в огороде.

..У шаманов Сибири Баба-яга вызнала новый – более забористый, чем ее прежний, – рецепт приготовления мухоморов и хвасталась перед лешим и кикиморой…

* * *

Что было дальше? Когда очередной раз Яга возвратилась домой, как Одиссей, полная пространством и временем*, то поняла, что экзистенциальной грусти больше нет. Она продолжала работать Бабой-ягой, как ни в чем не бывало. Вроде все то же самое, а только жизнь заиграла новыми красками.

Теперь, рассказывая гостям сказки да былины, она нет-нет да и переходила на сказания других земель и эпох. Вспоминала события, свидетельницей которых довелось побывать, и улыбалась чему-то своему. Пожилая женщина молодела на глазах. Глаза ее начинали блестеть, спина гордо выпрямлялась. Теперь это была не скрюченная старушка, а полная сил зрелая женщина, яркая и сочная. И лишь услышав осторожное покашливание очередного визитера и поймав его ошарашенный взгляд, она приходила в себя, досадливо ругнувшись сквозь зубы: «Caramba!»**, и возвращалась к ранее прерванному повествованию.

Попугай ара, ее любимец, активно осваивался на новом месте. Его непривычно яркая расцветка и громкие крики

* Парафраз последней строки из стихотворения О. Мандельштама: «Золотистого меда струя из бутылки текла...»

** Черт возьми! *(исп.)*

приводили в недоумение лесных жителей. Но постепенно они привыкли.

В нерабочее время Ягу можно было увидеть в летящих юбках до пола и испанских шалях, подобных крыльям, с неизменной трубкой в зубах. А высокий пучок, выгодно подчеркивал ее, как оказалось, красивую длинную шею и острые скулы. Кроме привычных гостей, ищущих советов да наставлений, стали захаживать и совсем новые. Спутники по путешествиям и приключениям, знавшие ее совершенно иной, в иных местах и временах. С ними она смеялась низким грудным смехом, задорно сверкала глазами и молодела на глазах.

Другие жизни Бабы-яги, как ручьи в реку, вливались в повседневное течение дней.

Любовь СИДОРОВА
Москва

ЧУДЕСНАЯ ЧАШКА

Сказка

В одном городе – не будем уточнять, в каком, да это и не важно, – был выставочный зал, куда ходили и взрослые и дети. Как-то в нём открылась чудесная выставка. Да, да, именно чудесная. Она была какая-то необычная, сказочная. Все экспонаты необыкновенные, особенно одна чашка: небывалой красоты, такие встречаются только в сказках. Она вся светилась, переливалась цветами радуги, на ней были изображены прекрасные цветы, а в центре красовалась невиданная птица с разноцветным оперением. Чашка притягивала посетителей. Она была просто чудом, её даже прозвали «чудесная чашка».

Но в особенности эта чашка притягивала трёх девочек, незнакомых между собой и вообще, совершенно разных, непохожих друг на друга. Одна из них была, судя по всему, богатой, на выставку приходила с гувернанткой. Каждый раз подводила гувернантку к чашке. Чем её так привлекала чашка? Может быть, тем, что у неё дома было много красивых дорогих чайных сервизов, но подобной чашки не имелось.

Другая девочка – наверно, не такая богатая, гувернантки у неё не было – ходила на выставку одна. Вернее, не совсем одна. Девочка была очень красивая и пользовалась

большим успехом у мальчиков. Она всегда приходила на выставку с разными кавалерами. И с каким бы кавалером ни пришла, всегда подводила его к чашке. Чем же её привлекала эта чашка? Может быть, девочка мечтала, что, когда вырастет, будет ходить в кафе со взрослыми кавалерами и пить чай именно из такой чашки.

А третья, бедно одетая девочка, ходила на выставку совсем одна. Никакой гувернантки у неё не могло быть. Она не была такой красивой, как та девочка, о которой мы только что говорили. У неё не было кавалеров и даже друзей. Когда девочка приходила на выставку, сразу шла к чашке. Чем же её привлекала чашка? Девочка была фантазёркой, мечтала о сказочных мирах, и ей казалось, что эта чудесная чашка из какой-то сказки. А как звали девочек? Об этом потом. Они сами скажут, когда познакомятся.

Познакомились они в один прекрасный солнечный день, когда все одновременно пришли на выставку. Богатая девочка, конечно, пришла с гувернанткой. Как только они переступили порог, девочка заявила:

– Пойдём к чашке.

– Опять к чашке? – разочарованно протянула гувернантка. – Давайте лучше посмотрим портреты принцесс. Только гляньте, какие на них красивые платья!

Гувернантка была пожилой женщиной, но любила нарядную одежду. Пока она любовалась платьями принцесс, девочка подбежала к чашке.

Другая девочка, красивая, впервые пришла на выставку одна. Ей наскучили кавалеры и захотелось побыть в одиночестве.

Третья девочка пришла одна как всегда. В этот солнечный день ей было особенно грустно. Она сразу подошла к чашке, как будто искала в ней утешение.

И вот три непохожие девочки стоят у чудесной чашки. Они не были знакомы, но приметили друг друга, так как не раз бывали на выставке. Им захотелось познакомиться. Первой заговорила богатая девочка.

– Вижу, у нас совпадают вкусы: нам нравится один и тот же экспонат.

– Это точно, – улыбнулась красивая девочка. – Я тебя уже здесь видела. Ты всё время с какой-то тётенькой приходишь. А сегодня тебя одну отпустили?

– Я и сейчас с тётенькой, с гувернанткой. Просто ей надоело смотреть на чашку, и она рассматривает портреты принцесс, вернее, их платья, – ответила богатая девочка. – А ты всё время приходишь с разными кавалерами, – не без зависти заметила она.

– Как они мне надоели! – с плохо скрытой гордостью воскликнула красивая девочка.

– А почему сейчас одна? У тебя на данном этапе нет кавалера?

– У меня не бывает таких этапов. Кавалеры есть всегда. Просто моему теперешнему кавалеру уже не хочется смотреть на чашку, и вот я решила сходить одна.

Она бросила взгляд на третью девочку, которая всё молчала, и обратилась к ней:

– А ты всегда на выставку ходишь одна?

– Да, – вздохнула девочка. – У меня нет ни гувернантки, ни кавалеров. Знаете, раз уж мы разговорились, давайте познакомимся.

– Ах да, конечно! – спохватилась богатая девочка. – Меня зовут Алиса.

Красивая девочка инстинктивно поправила платье, причёску и церемонно произнесла:

– Очень приятно. Меня – Алина.

– А меня – Аня, – сказала третья девочка. – Хорошо, что мы познакомились. У нас совпадают вкусы: всем нравится одна и та же чашка. Она чудесная, как будто перенеслась из сказки, правда? Кстати, нас ещё кое-что объединяет. Наши имена начинаются с буквы «а»: Алиса, Алина, Аня.

И вдруг послышался таинственный голос, нежный и звонкий:

– Алиса, Алина, Аня.

Девочки так и застыли на месте.

– Не бойтесь, девочки, – продолжал голос. – Это говорю я, ваша знакомая Чашка. Ты, Аня, права, я из сказки, не простая чашка, а волшебная. Могу исполнить любое желание, кроме одного: меня нельзя купить. Все остальные

желания охотно исполню. Алиса, начнём с тебя. Чего ты хочешь?

– Я хочу стать богатой.

– Но ты и так богата.

– Хочу стать ещё богаче. Хочу стать такой богатой, чтобы могла купить всё-всё на свете.

– Хорошо, Алиса, – сказала Чашка, – ты будешь ещё богаче, чем ты есть. Алина, чего хочешь ты?

– Я хочу стать красивой, – ответила Алина.

– Но ты и так красива.

– Хочу стать ещё красивее. Хочу стать такой красавицей, чтобы все мальчики в меня влюблялись.

– Но в тебя и так мальчики влюбляются.

– У меня было много кавалеров, но пока нет достойного. Кстати, я читала в газете, что скоро к нам из другого государства приедет королевская семья: принц, принцесса и их сын, юный принц. Я видела его фотографию, он мне сразу понравился. Хочу, чтобы юный принц обратил на меня внимание.

– Хорошо, Алина, – сказала Чашка, – будь по-твоему. Ты станешь ещё красивее, чем ты есть, и юный принц обратит на тебя внимание. Аня, чего ты хочешь?

– Ах, Чашка, чудесная Чашка, – вздохнула девочка, – если бы ты только знала, как мне тяжело! Моя мама очень больна. Никто не может её вылечить. Живём мы бедно, но отдаём последние деньги на лечение. Чудесная Чашка, я так и думала, что ты из сказки, и надеялась на чудо. Если б ты только могла вылечить мою маму!

– Я могу, Аня, – сказала Чашка. – Твоя мама будет здорова.

И тут послышался женский голос:

– Алиса, вот вы где!

Перед девочками стояла гувернантка.

– Я уже начала беспокоиться. Рассматривала платья принцесс, оглядываюсь – вас нет. А вы опять у своей чашки. Нам пора домой.

– Ну, пойдём, – вздохнула Алиса, и они с гувернанткой ушли.

Затем послышался мальчишеский голос:

– Алина, вот ты где!

Девочки оглянулись и увидели мальчика, который с восхищением смотрел на Алину.

– Я по тебе соскучился, – сказал он. – Так и знал, что ты здесь, разглядываешь свою чашку. Пойдём погуляем. Погода хорошая.

– Ну, пойдём, – вздохнула Алина, и они с кавалером ушли.

Аня с надеждой взглянула на Чашку и поспешила домой.

И вот последний день выставки. Конечно, народу собралось больше, чем обычно. Пришли Алиса с гувернанткой. На Алисе было очень нарядное платье, сразу видно, что дорогое.

– Опять чашка, – проворчала гувернантка. – Далась она вам!

– Чашка волшебная, – заспорила Алиса. – Она умеет говорить и даже исполняет желания. Сейчас сама убедишься.

Девочка подошла к Чашке и обратилась к ней:

– Ну, привет, чудесная Чашка! Ты меня помнишь?

– Конечно, Алиса, я тебя помню, – ответила Чашка.

– Подумать только! – удивилась гувернантка. – Действительно, говорящая.

– Так вот, дорогая Чашка, – продолжала Алиса, – ты в курсе, какой богатой я стала, и я хочу тебя купить.

– Нет, Алиса, ты не можешь меня купить.

– Что?! – возмутилась Алиса. – Я теперь могу купить всё на свете.

– Всё на свете, кроме меня. Я особая Чашка. Никакие деньги не могут меня купить.

– Нет, я добьюсь своего! – закричала Алиса. – У моего папы теперь столько денег! Я куплю тебя, хочешь ты этого или нет!

К ним подошла работница выставки в очках со строгим видом.

– Тише, – сказала она. – Сюда идёт королевская семья.

В зал вошла та самая королевская семья, о которой говорила Алина: принц, принцесса и мальчик в богатой одежде, даже богаче, чем платье Алисы, – юный принц.

Их сопровождала большая свита, а рядом с юным принцем шла Алина. Девочку было не узнать – так она преобразилась. И раньше была красивой, а стала просто юной красавицей. Все взгляды были устремлены на королевскую семью.

– Итак, – заговорила женщина в очках, – нас удостоила своим посещением королевская семья из соседнего государства. Но они знают наш язык, а юный принц специально его выучил с репетитором. Дадим ему слово.

Юный принц заговорил почти без акцента:

– Дорогие друзья, мне очень понравилось в вашем городе. Недавно посетил одну из ваших школ и познакомился с девочкой. Я распорядился, чтобы она сопровождала меня на все мероприятия. Она здесь, рядом со мной. Хочу представить: Алина. Поприветствуйте её, пожалуйста.

Посетители захлопали в ладоши. Алина горделиво поклонилась.

– Алина, – продолжал юный принц, – желаю сделать тебе подарок. Решил купить для тебя какой-либо экспонат данной выставки. Выбирай любой.

– Ваше высочество, – с поклоном сказала Алина, – помните, я вам рассказывала о говорящей Чашке?

– Да, помню. Неужели чашка правда умеет говорить?

– Умеет. Чашка, я к тебе обращаюсь: ты меня помнишь?

– Конечно, Алина, я тебя помню, – ответила Чашка.

– О! – воскликнул принц. – Действительно, говорящая Чашка. У нас таких нет.

– Чашка не только разговаривает, но и желания исполняет, – улыбнулась Алина. – Хочу, чтобы она стала моей. Ваше высочество, буду вам очень признательна, если вы мне её подарите.

– Конечно, – кивнул принц. – Я её куплю специально для тебя, Алина.

– Но меня нельзя купить, – сказала Чашка.

– Что?! – возмущённо воскликнул мальчик. – Я принц и могу купить всё на свете.

– Всё, кроме меня. Никакие деньги не могут меня купить.

– Так не полагается, – впервые заговорила принцесса-мама. – Желания нашего мальчика – закон.

– Совершенно верно, – присоединился принц-отец. – Не исполнять желаний королевской семьи – нарушение закона. Мы это обжалуем.

Королевская семья направилась в сторону работницы в очках, все посетители, включая Алису и гувернантку, последовали за ними: любопытно ведь посмотреть, что будет дальше. И никто не заметил, как в зал вошла скромная девочка Аня. Она впервые пришла не одна, а с мамой. У её мамы был цветущий вид. Никак не подумаешь, что она недавно болела.

– Неужели на выставке есть говорящая Чашка? – недоумевала мама.

– Есть, – убеждала её Аня. – Это она тебя вылечила.

Девочка с мамой подошли к Чашке.

– Чашка, чудесная Чашка, ты меня помнишь? – спросила Аня.

– Конечно, Аня, я тебя помню, – ответила Чашка.

– Действительно, говорящая Чашка, – улыбнулась мама.

– Чашка, чудесная Чашка, – сказала Аня, – познакомься с моей мамой. Мы пришли, чтобы тебя поблагодарить. Мама теперь совершенно здорова. Дорогая Чашка, ты сделала меня счастливой!

И вдруг послышался строгий голос:

– Слушайте все! Я директор выставочного зала.

Все оглянулись и увидели мужчину с суровым выражением лица.

– Желание представителя королевской семьи необходимо исполнить! – продолжал директор. – Мы предоставим его высочеству возможность купить экспонат выставки, а именно: так называемую «чудесную чашку».

– Но как же я? – воскликнула Алиса.

– Тише, – прошептала гувернантка. – Не позорьтесь перед королевской семьёй.

Все взоры устремились туда, где должна стоять Чашка. Но её там не было!

– Чашка исчезла! – закричали посетители в один голос.

– Да, странно, – пожал плечами директор. – Похитить её не могли, у нас всё предусмотрено. Разберёмся потом. Ваше высочество, нам очень неловко, но придётся вам выбрать другой экспонат.

– Выбирай, Алина, – сказал принц.

Девочка стала недовольно рассматривать экспонаты.

– И я что-нибудь выберу, – вздохнула Алиса.

Ане показалось, девочки её даже не узнали, и они с мамой пошли домой. Всю дорогу говорили о чудесной Чашке.

– Да, Чашка действительно чудесная, – согласилась мама.

– Жаль, что она исчезла, – печально произнесла Аня.

– Но, дочка, ты сама говорила: Чашка пришла из сказки. Наверно, теперь туда вернулась.

– Да, наверно. Главное, что Чашка сотворила чудо: вылечила тебя.

Вот мама с дочкой уже дома.

– Попьём чайку, – предложила мама.

Она открыла буфет, достала две первые попавшиеся чашки и поставила на стол. И что же? Одной из них оказалась та самая Чашка, чудесная Чашка, которая светилась, переливалась всеми цветами радуги. На ней были изображены прекрасные цветы, а в центре красовалась необыкновенная птица с разноцветным оперением. На этом чудеса не кончились. Птица запела, а Чашка снова заговорила:

– Дорогая Анечка! Я могла бы вернуться в сказку, но решила поселиться у тебя. Ты единственная девочка, у которой было доброе, благородное желание: чтобы твоя мама выздоровела. Ты не знаешь, что произошло на выставке, вы с мамой пришли позже.

Алиса стала очень богатой и хотела купить меня. Алина попросила своего нового кавалера, юного принца, чтобы он купил меня и подарил ей. И только ты пришла, чтобы меня поблагодарить.

За твою доброту я останусь у тебя навсегда и буду исполнять твои желания.

Анфиса ТРЕТЬЯКОВА
Симферополь

НА МАТЕРИКЕ ФАНТАЗИЯ, В ГОСУДАРСТВЕ ВООБРАЖЕНИЕ…

На сказочной планете Идея, на материке Фантазия, в государстве Воображение, в городе Кофе жили сказочные сладкие жители: карамельки, ириски, помадки, грильяжи, пастилки, мармеладки, щербеты и прочие вкусняшки.

Все они верили в своего создателя – автора Детской книги, чье имя они не называли вслух, поскольку Он скрывался за различными псевдонимами, и имен у него было много.

Жители ароматного города Кофе считали семейство Шоколада самым знатным, поскольку Шоколад появился первым в Воображении Автора, а следовательно, он был коренным жителем города.

Все жители Фантазии были щедро наделены Автором творческими способностями: карамельки занимались хореографией, щербеты – архитектурой, помадки – театром, грильяжи – фотографией, пастилки – живописью и т. д.

Однажды на банкете, устроенном по поводу выхода в свет новой книги писателя Шоколада Горького (известного фантаста, пишущего о том, что в далеком будущем возможно будет переселение жителей планеты Идея на планету Реальность) одна вольнодумная поэтесса Зефирка

выдвинула теорию о том, что их Автор – женщина, чем привлекла внимание писателя.

Зефирка очень уважала Горького и давно мечтала с ним познакомиться лично. Она с детской непосредственностью сказала: «Шоколад, вы известны в нашем государстве как самый умный, а я – как самая красивая. Представляете, какими будут наши дети, если они будут так же умны, как вы, и красивы, как я?»

На что Шоколад ответил: «А что вы скажите, если они будут так же умны, как вы, и красивы, как я?»

Они рассмеялись, ведь у обоих было хорошее чувство юмора, а это залог добрых отношений...

А я, улыбаясь, смотрела на своего спящего сынишку, которому только что выдумала эту сказку, глядя на коробку из-под зефира в шоколаде...

Русский смех

Евгений ОБУХОВ
Москва

ДУРИЛКА КАРТОННАЯ

Однажды Мургачёв совершил большую глупость – он начал думать. А это, как известно, чревато. Задумался Мургачёв о самом простом и очевидном: что же было до того и что есть за тем? А именно, что было до того, как создатель сказал своё Логос-Слово и прогремел тот самый воспетый астрофизиками Большой взрыв и фактически начались время, пространство и сама материя?

«Что здесь было, – думал он, – до того момента, как ничего не было: ни материи, ни пространства, ни времени?! И если Вселенная бесконечна, то это как? Вот она бесконечна-бесконечна, потом от её края ещё дальше и дальше, потом ещё немножко дальше, и совсем много дальше – и получается какая-то граница? А за этой границей что? Опять дальше и дальше?.. Куда и сколько?» Мургачёв представлял себе эту бесконечность, и у него по-детски беззащитно трепетало сердце: что ж это творится, это как же безгранично дальше-то? Что ж это там, и как?!

У него появлялось ощущение, будто свербит в мозгу и кожу на обгорелой от солнца переносице словно корчит сухими складками… Он тёр лоб и нос ладонью, прогоняя наваждение. Но спустя час-два вновь принимался думать.

Он так часто и много делал это, настолько свыкся со всеми этими понятиями, что давно уж и Вселенная, и Большой Взрыв, и сам Создатель сделались для него привычными, почти обыденными и существовали в сознании, как в тетрадке нерадивого школьника – с маленьких букв, а не с заглавных.

Последствия процесса бывали непредсказуемы. В состоянии раздумья он мог выйти на улицу в разных носках. Ну, не совсем в разных, а, например, в одном сером с чуть заметным плетёным узором на лодыжке, а в другом светло-сером с частыми рубчиками. Надевая туфли, он подсознательно чувствовал, что с носками что-то не так, но не мог отвлечься от своих больших раздумий, дабы разобраться с этакими мелочами. Он мог на работе написать обстоятельный ответ в федеральное агентство, отправить конкретное и своевременное письмо и тут же машинально удалить всю переписку из электронной почты. Затем дня через три звонить начальству и виноватым тоном объяснять, что совсем упустил из виду данный участок проекта и без всякой причины завалил все сроки. А потом до вечера ходить и удивляться, отчего это начальство не гневается, а только хмыкает в трубку: «Все бы так заваливали!» Он мог, отправляясь на корпоратив, перепутать флаконы с парфюмом и вместо любимой туалетной воды «Прелый ковбой» опрыскать себя с подбородка до макушки духами жены «Ласковая фиалочка». А потом недоумевать, отчего это сослуживцы как-то смущённо принюхиваются, оказавшись с ним рядом, и деликатно исключают из своего репертуара анекдоты о взаимоотношениях одинаковых полов. Да и разных – тоже.

Итак, задумавшись в очередной раз, Мургачёв бесцельно брёл по улице, где его и отловила мелированная шатенка лет двадцати–пятидесяти, точнее он не разглядел, погружённый в думы. Не сильно сопротивляясь, он воспринял лишь настойчиво произнесённую фразу «Не желаете ли сфотографироваться, будет классно и очень смешно!», и дал завести себя за ширму, услужливо всунул физиономию в прорезь щита и дождался фотовспышки. Через минуту раздумчивого ожидания он покорно рас-

стался с пятьюстами рублями – бешеной неоправданной суммой за один снимок – и получил в руки фотографию.

На фото он стоял во фраке цвета топлёного молока, обнимая правой рукой Аллу Пугачёву, а левой – саму Анну Семенович. Всё выглядело настолько натурально и правдоподобно, что Мургачёв не смог определить место на фотке, где его лицо в прорези граничит с изображением фанерного щита. Он вдруг вспомнил, как называются эти щиты с прорезями для лица – тантамарески. И неожиданно покраснел от удовольствия, потому что понял, что теперь может разоблачить велеречивого Севу Прокофьева, который вечно хвалится перед сотрудниками своими амурными похождениями, а недавно предъявил в курилке собственное фото в обнимку с Пугачёвой и Семенович. «Прокололся! – хохотнул Мургачёв, который до сего момента, конечно же, завидовал удачливому на женском фронте нахальному Севке. – Попался, болтун!» И ещё раз хихикнул, сообразив, как быстро теперь прилипнет к псевдо-донжуану новое прозвище: «Тантамареска!»

С такими вот радужными мыслями он возвратился домой, осторожно, на пол-локтя, чтобы кот опять не выбежал в подъезд, приоткрыл дверь и пару раз дрыгнул ногой вперёд в полумрак, отгоняя устремившееся с кухни животное. В квартире пахло жареной рыбой. Мургачёв протиснулся в прихожую, оставил обувь у порога и заспешил к столу, где уже стояла для него тёплая сковорода с золотистой треской, потела холодная бутылка минералки, льняной салфеткой были накрыты хлеб, нарезанные дольками мясистые помидоры и кусочек сыра с роскошной зелёной плесенью.

Он старательно ел и думал. И удивился вдруг, что давно не видел жену. Он на всякий случай окликнул её – кот подбежал и выразил приязнь, привалившись к ноге. «Она в парикмахерскую, что ли снова?.. – рассудил Мургачёв, поглаживая скотинку липкими ладонями. – Интересно, а в этом году мы разговаривали? А в прошлом?.. Ну, сериалы про ментов и футболы она со мной в последние месяцы точно не смотрела… Это как же?..»

Он озадачился, преступно вытер жирные рыбные пальцы об край скатерти и достал из шкафа альбом. Да, точно, –

вот они, свадебные фотографии. Мургачёв с новобрачной стоит у фонтана… На мосту, где вместе вешают на решётку амбарный замок на счастье, а ключ бросают в речку, чтобы никто замок не разомкнул… У обелиска – он держит её на руках… В ресторане – целуются на «двадцать… двадцать один… двадцать два…» под «Горько!»…

Фотоснимки – да, вполне настоящие. Но Мургачёв совершенно не помнил, как обнимал, как целовал, как поднимал на руки. Он завертел головой, фиксируя взглядом такие обязательные и такие непоколебимо находящиеся на своих местах предметы мебели и прочую домашнюю дребедень:

– Лида?! Ли-идка?! – он перешёл на фальцет. Никто, конечно, не отозвался. А кот прижал уши и стреканул под диван.

Ему сделалось нехорошо, обидно, оскорблённо на душе. «Нет, ну не могла же она молча уйти к этому?!. И харчи на столе откуда-то…» Он вспомнил, как в позапрошлом году после её командировки на ялтинский симпозиум нашёл в Лидкином блокноте вычурную фотку на фоне пальм – жена стояла рядом с коренастым мужичком, одетым в оранжевые шорты с верблюдами и полупрозрачную майку, не скрывавшую пышную курчавую волосатость на его груди. Она держала руку у него на плече, а он осторожно приобнимал её за талию. У того гадского мужичка были гнусные усы кончиками книзу, противные маленькие поросячьи глазки и общее выражение наглого ухажёра на морде. «А-а, – безразличным тоном прокомментировала тогда жена. – Это по работе… Серёжка из межведомственной комиссии…» И тихо добавила, нарочито деловито наклоняясь над выдвинутым ящиком с цветными тряпками: «Сергей, ну, Вениаминович. Ты ж помнишь, я тебе говорила».

Но она раньше ему никогда об этом не говорила.

– Дурак слепой! Тормоз! – Мургачёв взъерошил себе волосы на висках. – Что ж я сразу-то: любовника нам только не хватало! Тот блокнот у неё…

Он резко распахнул гардероб, там на полке над вешалками обычно лежали самые важные бумажки, запис-

ные книжки и всякие документы. И вдруг увидел, как на паркет медленно вываливаются два больших – в рост – картонных силуэта. Его жена Лида стоит с этим наглым типом, деликатно положив руку ему на плечо, а он самоуверенно обнимает её за талию. Ну, точь-в-точь та самая фотография…

Мургачёв подхватил твёрдые силуэты на лету, поставил на пол.

– Блин! Это что ещё откуда? Это как же?!.

Он закружил по комнате, цапнул с подоконника пыльный стакан, дунул в него, зажмурившись, и потянулся в сервант за образцово-показательной бутылкой «Камю» – это был неприкосновенный подарок тестя. Года два назад тот приехал к ним с Лидкой учить их жить. Привёз эту бутылку и своё фото в золотой рамке – тесть стоял рядом с Путиным в Кремле, и на груди его была медаль ордена «За службу Родине» четвёртой степени. «Одиннадцать штук снимков размножил, не пожалел копеечку, – пояснил тесть. – Чтобы у всех вас, и на работе тоже, висело!»

Потом, воздевая указательный палец и выделяя голосом особенно важные слова, тесть долго говорил – о своей значимости для страны и для судеб мировой цивилизации, о никчемности и бесперспективности тех некоторых иждивенцев, за кого иные неразумные дочери выскакивают замуж, о собственном надёжном примере строительства семейного гнезда и о неспособности некоторых молодых да ранних хоть как-то прилично обеспечить семью… Мургачёв терпеливо слушал, а когда стало совсем тошно, кивнул на фотографию и перебил оратора:

– Игнат Семёныч, медаль ордена четвёртой степени… А хотя б на третью с вашими-то связями не наслужили?..

Тот взвился со стула, покраснел от злости, и уже в дверях, брызгая слюной, крикнул Лидке:

– Вот, теперь ты всё видишь?! Дурища и есть дурища, приползёшь ещё к мамке с папкой! Выскочила за чудо такое!..

Заветное фото тесть к тому мгновению уже успел приспособить на стену вместо беспрекословно снятого и брошенного на диванчик пейзажа «Остров Кижи», а дорогой

коньяк просто забыл в суматохе. Собственно, с того момента Лида с Мургачёвым толком и не разговаривала, а отцовский «Камю» демонстративно убрала и, притворив дверцу серванта, твёрдо распорядилась:

– И не раскатывай губу!

Теперь Мургачёв схватил стоящую в полумраке бутылку и вдруг вместо прохладного стекла ощутил в ладони два ребра шершавого картона.

– Ага! – сказал он сам себе и уже уверенно шагнул к стене, чтобы рассмотреть фотографию. Ну, конечно – вся фигура стоявшего рядом с геройским тестем президента немного, чуть заметно бликовала, а в одном месте изображение Путина – не на самой этой фотографии, а там, на натуре – оторвалось с подкладки и было подклеено скотчем. Да и силуэт кремлёвской стены на заднем плане выглядел как-то уж очень ярко, рельефно и сильно не в масштабе…

– Рассчитывал, не замечу! – произнёс Мургачёв. И подумал о том, что на самом-то деле больше двух лет и в самом деле не замечал подмену.

Распахнув дверь в святая святых – комнату супруги, куда она регулярно скрывалась плакать, наводить марафет либо часами трепаться по телефону, и категорически не хотела, чтобы Мургачёв следовал за ней – он увидел одну большую заставку, изображавшую кресло, столик, зеркало с россыпью косметики… Он откинул занавеску и выглянул в окно. Весь город – теперь он это ясно различил – был плоским и нарисованным. Как и группа старушек на лавке у песочницы, и собака, дремавшая на обочине, и два алкаша, направляющиеся в гастроном – их силуэты ненадёжно стояли на выбоинах и неровностях старого тротуара и потому слегка покачивались от лёгкого ветерка…

– Помогите! Люди! – возопил Мургачёв и побежал. Он проскочил квартиру, задев ногой загремевший фанерный силуэт прихожей, вывалился из подъезда, побежал по улице на близкую окраину. Щиты, изображающие деревья с прорезями для птиц, тёрлись друг об друга и по-осеннему шуршали.

Было пасмурно, потому что у тантамарески, изображавшей небо, в прорези для солнца не было солнца.

Он в отчаянии разбежался и, вжав голову в плечи, врезался в щит, изображавший туманную даль светлую. Картон проломился, Мургачёв застрял, раскинув по картону руки внутри, со стороны как бы города. Открыл глаза и попытался что-то увидеть там, снаружи.

Но там ничего не было – ни света, ни пространства, ни времени, о которых он столь много и часто размышлял в последние свои годы.

Там была одна настоящая высокопробная бесконечность.

* * *

Вечером Лида пришла с работы. Усталая, но в очень хорошем настроении. Озорно сама себе подмигнула в зеркало, картинно махнула рукой: «Эх, была не была!» Достала из серванта бутылку отцовского «Камю» и, сморщив от усилия носик, помогая себе и движением бровей, и нервным шевелением пальчиков на ногах, отклонившись будто стрелок из лука перед выстрелом, с трудом свернула тугую металлическую крышку, подковырнула и вынула за шляпочку пробковую затычку, налила лафитник всклянь и выпила.

Сделалось совсем весело. Она оглядела картонный силуэт мужа Мургачёва, который привалился к столу и как бы доедал рыбу и допивал будто бы минералку. И погрозила ему пальчиком. Потом, помогая себе коленкой, запихнула большую картонку за гардероб. А вместо этого притащила из своей комнаты ростовое изображение красавца Серёжки, поставила его в углу комнаты, где на Новый год обычно стоит ёлка.

Поставила просто так, без особой какой-то цели. Для разнообразия.

ЛУЧЕЗАРНОСТЬ

– Лёвушка, ты чаёк изволишь откушать?

– Атанде, Софья Андреевна! Занят я, дверь прикрой, милая...

Лев Николаевич Толстой с самого рассвета работал у себя в кабинете. Стоя за конторкой, нервно шевелил озябшими пальцами босых ног – как всегда в период бурной работы с издательствами ему даже обуться было некогда. В этот раз требования господина Посытина оказались ещё более высокими и сварливыми.

Писатель вздохнул и, умакнув перо в хрустальную, чуть оббитую сбоку чернильницу, продолжил оттачивать свою «Войну и миръ», устало перебирая полученные от издателя листы с предложениями правок. Очередную написанную Посытиным страницу Лев Николаевич прочитал вслух:

– Какие глаза были у Марии Болконской: а) волглые б) лучистые в) выпученные г) как у коровы?

Классик напряг свой творческий потенциал и, пробормотав «я выбираю вариант г», вписал в вёрстку романа: «как у коровы». Потом продолжил работу с рекомендациями издателя.

– Петя Ростов упал, потому что: а) самогон был несвежий б) его убило наповал в) столкнулся с бабой, бегущей в горящую избу г) увидел глаза Марии Болконской…

– Андрей Болконский был похож: а) на дуб б) на кактус в) на папу г) на чмо…

– Наташа Ростова хотела: а) полететь б) залететь в) запотеть г) пива…

– Старый князь Болконский точил на токарном станке: а) коленвал б) деревяшки в) Буратино г) табуретки…

«Да, – подумал Лев Николаевич. – Даже такому классику, как я, всегда необходим вдумчивый редактор!»

Роман явно удавался. Закончив выбирать ответы на несколько сотен подсказок и вписав их в «Войну и миръ», Толстой огляделся.

В Ясной Поляне всё уже было не так ясно – вечерело. Куржавился туманом овраг, вдалеке шелебонькали колёса случайной кибитки, мыкало и бренькало стадо, устало шеломались истомлённые жарой листья на липах и хлюпатились политые цветы на клумбе за окном…

Лев Николаевич позвонил жене в колокольчик, чтобы накрывала наконец-то покушать, а сам пошёл прогуляться. Вышагивая босиком по свежей стерне, он увидал у овина пёструю корову, которая тянула вверх скуластую башку и выдёргивала из-под стрехи старую солому. Писатель пригляделся и подумал: «Ан, нет! У моей княжны Марьи Болконской не коровьи глаза, отнюдь! Как вернусь с прогулки, не забыть поправить… На лучистые, разве что… Да, пусть и на лучистые! Школьникам потом на ЕГЭ легче будет!..»

ПЕСНЯ О ВСТРЕЧНОМ

Прадедушка Евлентьева Олега Герасимовича когда-то был молод и служил на почте ямщиком. Работа это, как известно, суетная, опасная и трудоёмкая. То волки за кибиткой увяжутся, то проверяющий от почтового департамента. Да и цари-кровопийцы что ведь удумали аккурат после отмены крепостного права: народец-то на прадедушкину и на свои головы стали грамоте учить. Вот и полетели по Рассеюшке письма не пачками, а мешками – успевай проворачиваться, успевай только службу справлять. Потому видел супругу наречённую прадед Евлентьева в год по чайной ложке – встречались разве что на почтовых станциях, жили вместях в нумерах недели по три, ну, по четыре. А там опять приносила эстафета пакет какой-нето важный, и собирался прадедушка Евлентьев, подпоясывался, и ну – по империи, куда адреса позовут.

Дед евлентьевский однажды по малолетству выпал из кибитки на паромной переправе, но в рёв вопреки ожиданиям не вдарился – лежал себе, улыбался и гугукал, слушая, как протяжно гудят пароходы, как галдит у близкой пристани старушечья толпа: «носки – варежки, носки – варежки». И понял прадед, что не почтовый тракт, а река для деда – призвание. Вырос дед, выучился в Касимове, стал по рекам ходить. А супруга его молодая дома ждала, детишек растила. А нет-нет да и сорвётся в какой-либо город, повидаться-повстречаться. Жили дед евлентьевский с супругой на пристанях, по дню, а то и по три, пока приставший пароход не загрузят ароматными селёдочными бочками да тугими шуршащими воблой мешками.

Отец Евлентьева с детства не боялся паровозов. Да и кто их тогда боялся, в героическую эпоху дирижаблей да первых пятилеток. С женой своей, будущей матерью Евлентьева Олега Герасимовича, случалось отцу встречаться на узловых станциях, пока паровоз водой да углём заправляли. Это выходило порой часа и по четыре даже… Ну хотя как по четыре? Настропалились черти-комсомольцы быстро паровозы снаряжать – иной раз и за двадцать пять минут управлялись. Хотя отец тоже не промах – и он за столько же успевал.

И вот сам Евлентьев. С детства как увидел в окно локомотивного депо пролетавший самолёт, так небо его и позвало. Сделался после школы и института штурманом на серебристом лайнере. И бывало, в ином рейсе их борт 3876 нет-нет да и сходился почти что высотой и коридорами с рейсом 8701, где супруга его Евлентьевская стюардессой трудилась. Вот тогда, вооружившись биноклями, глядели они в иллюминаторы и аж секунд по двадцать, а то и по целых тридцать, пока сближались-расходились, могли наблюдать родные любимые лица дружка у дружки и взглядами встречаться.

А сын у Евлентьева космосом занимается, быстрыми, как молния, ракетами. И тоже вот жениться собрался. С мгновения на мгновение.

Петр РОДИН

ДЕД МИРОН И КРИЗИС

Мирон Егорович Кочетков, ветеран бывшего леспромхоза «Ударник пятилетки», твёрдо решил неукоснительно исполнять все предписания по борьбе с коронавирусом.

По телевизору про это мировое поветрие каждый день с утра до ночи талдычили.

– Шутки шутками, а в некоторых странах крутовато эта зараза разгулялась, а с ней и кризис всех обуял. Кажись, недолго ему и до нашей залесной Сосновки долететь, – так рассуждал старик наедине сам с собой, сидя в избе, у окошка. Главным и единственным его контролёром была бабка Марья Кононкова, которая частенько его проведывала.

– Хоть мы и пожили на вольном свете, – говаривала она, – хоть и пожили, но и то правда, что и не надоел он нам вовсе.

И строго-настрого наказывала соседка деду Мирону соблюдать все правила изменившейся в одночасье жизни. Да приказным тоном, так напористо всё разъясняла, как Ольга Скабеева по телевизору.

– Так что ты, старый, руки свои-хваталки культяпистые завсегда с мылом мой. Да за что не попадя ими не цепляйся, – разъясняла бабка Марья озадаченному Егорычу, попивая чаёк у старинного самовара. – Вирус-то, он, паршивец, только этого и ждёт.

Её подопечный нечаянно подсчитал, что за два присеста выпивала она шесть чашек чаю с конфетками «Коровка». А цены на них да и на песок сахарный в связи с кризисом поднялись немилосердно. Но ведь на какие расходы ради собственного здоровья не пойдёшь?

Исправно исполнял дед Мирон соседкины наставления. Руки свои стал он мыть и до еды, и после. Обмылок в бане отыскал чёрного цвета, из старых запасов ещё. Очень уж запашок от него исходил здоровый, так тележным дёгтем и намахивало. Два дня им попользовался. Глянул потом на руки свои мозолистые: Батюшки-святы! Две больших родинки с левой да прошлогодний ещё загар с правой смылись!

Но про это он бабке Марье, конечно, ни гугу.

А третьего дни пошёл по нужде до «скворечника» за баней. Вертушок локтем открыл, задвижку только одним большим пальцем правой пятерни. Всё как соседушка наказывала. Руки под умывальником дегтярным мылом по методу Жириновского помыл. И только тут обнаружил Егорыч, что штаны свои галифешные так на коленках и донес от самого туалета.

Даже кот его, Васяга, глянул на хозяина с укоризною. А может, только и почудилось это старому.

А ночесь, опять же, про гречку раздумался. Уж больно напористо начальники по телевизору поясняют, что хватит её с избытком на весь кризис и дальше. И Марья тоже в одну дуду с министрами:

– Не паникуй, – увещевает, – не паникуй, круп-то у тебя на пятилетку, знаю, запасено!

Ну, дед Мирон и не стал паниковать. Рассудил он так: «Ежели уговаривают, значит, что-то не так. Опять ведь обманут. Сколько уж раз за жизнь такое бывало, и не сосчитать. Раз заговорили с надрывом, значит не зря».

И наказал ветеран продавщице с автолавки пару пакетов крупы дефицитной ему доставить. Даже шоколадку маленькую ей в счёт этого выкупил.

Ещё беспокоили Мирона Егорыча заграничные деньги. «Евро» называются. Сказывали по телевизору, что эти самые еврики взлетели в цене, чуть не по сто рублей стоить стали.

«И как же эти иностранцы их укупят? – размышлял он. – Ведь рубли-то все у нас!»

Отложил эту проблему дед Мирон на потом. До прихода соседки.

Валерий РУМЯНЦЕВ
Сочи

БАСНИ

Солнце и Сосулька

Себя Сосулька сильно уважала,
Поскольку лихо Солнце отражала.
Она сияла россыпью огней,
И все в округе любовались ей.
– Что Солнце без меня? Желток яичный, –
Она любила часто говорить. –
Кто красоту способен оценить,
Тем сравнивать нас даже неприлично.
Оно сияет мне благодаря.
Вот ночью сплю – и что с его лучами?
– Позволь, – вмешался Лист Календаря, –
Но ведь его и нет ночами!
– Конечно, нет. Как без меня светить?
Вот и спешит оно стыдливо скрыться.
А впрочем, в этом грех его винить:
Не всем с огнём в груди дано родиться.

Тут Лист Календаря на снег упал:
Быть может, обморок, а может, вышло время.
Сильнее воздух нагреваться стал.
Сосулька вдруг почувствовала бремя
Прожитых дней и неустанных дел.
Температура вверх пошла помалу,
И кончик носа всё сильней потел.
Потом без сил Сосулька с крыши пала.

А что же Солнце? Странно, но оно
И без Сосульки светит всё равно.

Хоть критики поэтов вечно поправляют,
Стихи живут, а все поправки тают.

Змея и Попугай

Красавица Змея влюбилась в Попугая,
Ей нравилось, как он зверей ругает.
Бесстрашно дураками всех зовёт,
На когти невзирая и на зубы,
И, хоть порой бывает слишком грубым,
Ему идёт.
Змея, от страсти изнывая,
На пне лежала, чуть живая,
Следила за предметом грёз,
Который ахинею нёс
И, лихо прыгая по веткам,
Змею провозгласил кокеткой,
Чем и довёл её до слёз.
Любовь и ненависть способны
Легко переходить друг в друга,
И это, в принципе, удобно,
Поскольку всё идёт по кругу.
Змея внезапно ощутила
Такую злость на Попугая,
Что вмиг его бы проглотила,
Будь он в то время досягаем.
Решив зов сердца превозмочь,
Отныне жить лишь головой,
Змея отправилась домой
От бессердечной птицы прочь
И уползла, хвостом играя,
Но в зубе затаила яд.
Теперь кусает всех подряд,
Хоть держит зло на Попугая.

Мораль здесь, к сожалению, не нова:
Мы часто платим за деяния другого.

Старая история

Сюжет известен всем: Лиса, Ворона, сыр,
Но диалог другой – ведь изменился мир.
– Когда б читала ты творения Крылова,
То хоть одно произнесла бы слово.
«Жди, – думает Ворона, – я не дура...»
– Но у Ворон столь низкая культура,
Что ты и букв знакомых не найдёшь.
Куда тебе читать!
«Какая ложь!»
И не стерпев последней лисьей фразы,
От возмущенья потерявши разум,
Ворона каркнула, лишив себя обеда...

Без выдержки не может быть победы.

Ишак и Муха

Ишак и Муха спорили о том,
Жить лучше с крыльями или с хвостом.
У каждого был веский аргумент,
Казалось, спор вовек не завершится.
И вдруг всё кончилось в один момент.
Пришли к консенсусу, как говорится.
Удар хвостом поставил точку в споре –
И Муха стала точкой на заборе.

Мы на мораль не станем брать патент:
Хвост – в споре самый веский аргумент.

Гнёт

Работал Гнёт в номенклатуре
И сам себя превозносил,
Бюрократические бури
Спокойненько переносил.
Давил он профессионально
На всех, над кем поставлен был,

И в результате гениально
Всё лишнее давно забыл.
Одно он знал: его работа
Следить, чтоб вверх никто не лез,
И, если всё же вылез кто-то,
Знать, нужно увеличить вес.
Но вот однажды забродили
По Гнётом в бочке огурцы,
Они на митинги ходили,
Кричали: «Довели, отцы!
На совесть раньше нас солили,
А нынче экономят соль!..»
Короче, непорядки всплыли,
И Гнёт был брошен на фасоль.
Навряд ли это – пониженье,
Фасоль ведь – царская еда.
Когда ж и там пошло броженье,
Гнёт вспомнил про свои года.
И был на пенсию с почётом
Отправлен, чтоб дожить своё век.

Бывает очень схожим с Гнётом
Иной известный человек.

Прыщ

Прыщ был упитан, краснощёк
И прямо излучал здоровье.
Хоть он был родом из трущоб,
Но вылез в высшее сословье.
Теперь он сверху вниз глядел
На родинки и на веснушки.
Он лез всё выше и хотел
Добраться до самой макушки.
Его амбициям заслон
Явила жизненная сила.
Вдруг сам собою лопнул он.

Жизнь не таких Прыщей давила.

Картина

Картина как-то говорила,
На море глядя сквозь окно:
«Да, ничего не скажешь, мило
И на меня похоже, но
Огрехи есть здесь, как и всюду,
Их, к сожаленью, не отнять.
Я всё перечислять не буду,
Но всё же рамки надо знать».
О мире очень часто люди
Сквозь рамки собственные судят.

Шнурок

Шнурок развязным стал. За всё цепляться мог.
И потому его прогнал Ботинок старый.
Но этот изворотливый Шнурок,
В который раз избегши кары,
Устроился завязкой у Мешка,
Куда Ботинок бросила Хозяйская Рука.
Мешок теперь валяется на печке.

Шнурки пролезут в тёплые местечки.

Гвоздь

Гвоздь в дачной лавке обожал людей.
Знакомство было шляпочным, но все же
Гвоздь твёрдо был уверен, что нигде
Существ прекрасней просто быть не может.
Он грелся человеческим теплом,
А значит, человеческим участьем –
И было на душе стальной светло,
И разливалось ожиданье счастья.
Но тяга к большему всем в этом мире движет.
Страстями пылкими как пламенем объят,
Гвоздь из доски полез, чтоб к людям стать поближе,

Но был забит безжалостно назад.
Не раз, не два Гвоздь повторял попытки.
И чем теснее был с людьми контакт,
Тем большею оказывалось пыткой,
Что люди понимали всё не так.

Да, путь любви порой настолько труден,
Что к горлу просто подступает ком.
Гвоздь всей своей душой стремился к людям,
А получал удары молотком.

Бесплатный сыр

Мышь как-то утром рыскала в лесу,
Чтоб к завтраку найти себе съестного.
Вдруг видит сыр, Ворону и Лису –
Совсем как в басне дедушки Крылова.
Ворона держит сыр. Лиса слюной исходит,
С куска заветного горящих глаз не сводит
И пудрит хитрой речью птице мозг.
Ворона слушает и тает словно воск.
В конце концов глупышка клюв раскрыла
И потеряла бдительность и сыр.
Мышь этот сыр, естественно, схватила,
Подумав радостно: «Устрою нынче пир».

Лиса с Вороной – старые плутовки –
Вновь получили завтрак в мышеловке.

Машинка и Бумага

Машинка, гордая собой,
Но недовольная судьбой,
Бумаге плакалась однажды:
– Я, ты прекрасно это знаешь,
Тружусь, не покладая клавиш,
Но не меня – Поэта хвалит каждый.
Как будто это он всё сочинил.

Нет больше сил
Безропотно терпеть несправедливость.
И долго продолжаться это будет?
И почему так слепы люди,
Скажи на милость?
– Ты не права, – Бумага отвечала. –
Не будь меня, и ты б всю жизнь молчала,
Ни строчки не смогла бы сочинить
И, если уж по правде говорить,
Не ты, а я – начало всех начал...
Они чуть не подрались сгоряча,
Но друг до друга не могли добраться
И только продолжали препираться.

Редакторско-издательский отряд,
Творцов литературы разбраня,
Себя Творцом, естественно, считает.
О, простота святая!

Слава

Явилась Слава к Мудрецу,
Решив, что он её достоин.
Но тот был холодно спокоен,
Сказав: «Мне слава не к лицу».
«А мне лицо твоё подходит...»
С тех пор, ограбив Мудреца,
В чужом обличье Слава ходит,
А Мудрость ходит без лица.

Александр ВОЛОВИК
Москва

МОЖНО ДУМАТЬ НИ О ЧЁМ

* * *

Мудрость плюс мастеровитость
это алгебра для всех.
Результат сложенья выдаст
оглушительный успех.
Надо жить не понарошку,
не мышом со склада дней –
поверяй свою гармошку,
пусть пиликает складней!
Чтобы жизнь предстала сказкой,
да прекрасной, а не злой –
на прозаиков – не кафкай,
с поэтесской – небосклонь!
Мир обыденности тусклый
повода порвёт и пасть.
То нажмёт на кнопку пуска,
то за денежками – шасть!
Тот же, кто мудёр и мастер
(догадались? – Это я!) –
выше страсти, выше сласти,
секса, бакса, бытия.
Он, смеясь, по небу реет,
он касается травы.
Он и светит, он и греет,
он и радует. А вы?

* * *

Тихо сеть плетёт паук.
Слон топочет, возмущён.
Выговаривая звук,
можно думать ни о чём.
Можно ласточкой лететь –
делать крылышком вжик-вжик...
Со Вселенной тет-а-тет
можно тихо-тихо жить.
Но когда, как говорится,
грубо вдруг грохочет гром,
очень хочется укрыться
за каким-нибудь бугром.

Сигнал

Изучаю словарь букв.
Постигаю букварь слов.
В океан НЛО – плюх!
По Евразии прёт слон.
В продуктовом гниёт лук.
От отца и совет свят.
Среди ночи поэт Блок
у аптеки зажёг свет.
Злая истина жжот мозг.
Вор обрёл в портмоне цент.
Жаба – с возу, но сам воз
ныне там – не сменив цен.
По клеёнке бредёт мух.
На тарелке лежит суп.
Напрягаю тугой слух.
Различаю сигнал: СТОП.

Чайник

Век живи. Научиться молчать на вопросы.
Бездыханность мобилы... – Могилы? – Ну да.

Розы – стихотвореньям, а прочее – в прозу.
Та̀к прозаик распишет – шарман (лепота)!
В храм науки войду ли, в любви ли обитель,
бьюсь ли над теоремой (без то́лку – увы),
развлекаюсь ли контаминацией литер
или с френдами *чачусь* журналов живых –
всё едино: зависнет премудрый компьютер.
Дыба быта добьёт меня, пищи ища.
Ёкнет мышца и щёлкнет компостер кондуктор:
скок! – неловко головка от туловища…
Погляди, не боись, корифей, на Горгону,
не моргая, и гонор глумливый умерь...
Я дурацкий шансон волоку по вагону –
прочь от проводниковых драконовых мер.
Да, о розах! Я рос и не нюхивал чайных.
То же самое – чёрных. В бокалах аи.
Я – о прочем. Я, впрочем, в прозаиках чайник.
И в поэтах. И в жизни. Привет. Ваш А.И.

Эдуард КУЗНЕЦОВ

УРЕЗАТЬ ТАК УРЕЗАТЬ

Аббревиатуры в пародиях

Аббревиатуры на первый взгляд не очень-то и заметны, но если обратить на них особое внимание, окажется, что они занимают в жизни немалое место. Появляются на свет и существуют они для упрощения коммуникации: быстроты написания и сообщения. И, действительно, МХАТ или ДОСААФ гораздо проще и произнести и написать, чем полностью воспроизвести каждую буквенную составляющую.

Аббревиатуры существовали с незапамятных времён. Но особый их расцвет в нашей стране произошёл после Октябрьской революции. Вплоть до 40-х годов появлялись многочисленные, порой малооправданные сокращения, способные вызвать непонимание и усмешку. Использование их было повальным, сродни эпидемии. Вот характерная примета времени. В книге Л. Пантелеева и Г. Белых «Республика ШКИД» действие происходило в ШКИДе – школе имени Достоевского, а главным героем произведения был шкраб – школьный работник – директор Викнисор – Виктор Николаевич Сорокин. Можно привести и более забавные примеры. Трио артистов театра Мейерхольда Ильинский, Бабанова и Зайчиков после запоминающейся игры в «Великодушном рогоносце» стали называть Иль-Ба-Зай. Именно так была названа статья о них в журнале «Жизнь искусст-

ва». Может быть, по аналогии с этим сокращением, а, может, из-за общей тенденции театральных критиков определённой направленности Бескина, Блюма и Загорецкого стали называть Бе-Блю-За. То есть подобные сокращения стали повседневными, они просто врастали в жизнь.

Однако находились люди и в стране и за границей, для которых малообъяснимые сокращения воспринимались как разрушение русского языка. Корней Чуковский приводил анекдотические примеры, трудно расшифровываемые нормальным человеком: Заместитель Комиссара по Морским делам – Замком по морде, Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты – просто ХЛАМ.

В 1929 году Пётр Пильский из-за границы писал: «Теперь там не язык, а какой-то шифр, загадочный код: “гау”, “гвиу”, “обмоку”, “псу”…Что такое “персимфанс*” ? Какой свежий человек может объяснить, что значит “опояз**”? Мыслимо ли сразу перевести и понять ”мюд***” или например какую-то “олю”? Что это за “Оля”? Оказывается – Отделение литературы и языка на “фоне”. Тут возникает уже новый вопрос: что такое “фон”? А “фон” это – факультет общественных наук и т. д. и т. п. Какие-то ребусы».

Да и как было не возмутиться, услышав «Пампушкин на Твербуле», что должно было означать памятник Пушкину на Тверском бульваре. Неудивительно, что периодически ревнители чистоты и благозвучности русского языка начинали кампании по очистке его от сократительной тарабарщины. Но она оказывалась живее всех живых.

Рано или поздно аббревиатуры начали проникать в поэзию – иногда походя как второстепенное, но необходимое понятие (например, СП – Союз писателей или ЦДЛ – Центральный дом литераторов), а иногда как явление центральное и основополагающее. В конечном итоге дошло до того, что в перечислениях многочисленных аббревиатурных терминов начали выстраивать историю СССР от ВКП(б) и ВЧК до БТР и ГКЧП… В наиболее концентрированном

---

* *Персимфанс* – Первый симфонический ансамбль без дирижёра. Существовал в Москве в 1922–1932 годах.

** *ОПОЯЗ* – Общество изучения поэтического языка.

*** *МЮД* – Международный юношеский день.

виде это можно наблюдать в стихотворении Роберта Рождественского «Аббревиатуры»:

«Наша доля прекрасна, а воля – крепка!..»
РВС, ГОЭЛРО, ВЧК...
Наши марши взлетают до самых небес!
ЧТЗ, ГТО, МТС...
Кровь течёт на бетон из разорванных вен.
КПЗ, ЧСШ, ВМН...
Обожжённой, обугленной станет душа.
ПВО, РГК, ППШ...
Снова музыка в небе. Пора перемен.
АПК, ЭВМ, КВН...
«Наша доля прекрасна, а воля – крепка!»
SOS.
Тчк

Поэты по-разному использовали аббревиатуры в стихах: иногда иронично, иногда – объективно и по-деловому. Но в любом случае сокращения в структуре стиха занимали несколько вызывающее положение, что нередко притягивало внимание пародистов. У самого известного пересмешника Александра Иванова аббревиатуры встречаются нечасто и как бы мимоходом. Например, в пародии на О. Чухонцева рифмуется «ОРЗ» и «КПЗ», а в пародии на Б. Слуцкого – «СП» и «и т. п.». В пародии на Ю. Ряшенцева появляется ЦПШ – церковно-приходская школа, в пародии на В. Урина – «РЖУ, и СМУ, и АТС». Иванов готов был ради смеха придумать и самостоятельные сложно сокращённые слова: в пародии на С. Васильева это завод «Тяпкопляпкишмишмонтаж» и фабрика «Эхситецоторвизашейшвея». И у классика советской пародии Александра Архангельского аббревиатуры тоже попадались. Но их он использовал не для смеха, а исключительно по делу. В пародии на А. Безыменского он справедливо упрекнул поэта в злоупотреблении перечислениями, смешивая в одну кучу разнородные понятия:

Сеялки, веялки, загсы, косилки.
ГИХЛ, МТП, МКХ, МТС…

Можно по-разному оценивать как причины появления «аббревиатурных» пародий, так и саму их суть, но интервал во мнениях не будет велик. Основными поводами обращения пародистов к этой теме будут неоправданное и самоцельное перечисление аббревиатур в пародируемых стихах, канцеляризмы и чрезмерное стремление к разговорному, бытовому слову и выражению. Отношение самих пародистов к описываемому явлению далеко неоднозначно. Некоторые весьма язвительно и издевательски высказываются против буквенных и словесных сокращений, некоторые склонны над ними подсмеиваться и потешаться, других не устраивает и возмущает диссонанс между лирическим строем стихов и чрезмерной прозой жизни, заключённой в кургузых сокращениях. Иногда пародисты видят в аббревиатурах всего лишь корявые конструкции, загромождающие поэтические строки, затрудняющие чтение и затемняющие смысл, но для большинства это повод для тематической придирки, для возможного комедийного построения пародии.

Несколько конкретных примеров вполне объективно смогут охарактеризовать эти ситуации. Стоило А. Плитченко написать

У МТФ стучит движок,
У РТМ – ДТ гудели…
А мы с тобою на снежок
С небес слетающий глядели

– как пародисты тут же «засучили рукава».

Алексей ПЬЯНОВ. «ОРЗ и ЧТЗ»

Ревел надсадно ЧТЗ,
У РТМ ДТ гудели,
А я, страдая ОРЗ,
Как будто бы из КПЗ
Смотрел в окошко из постели.
На МТФ вели быка…
Из РДК неслись куплеты…
В сельпо везли КВВК…

Куда смотрели в ОТК,
Когда подписывали это?!

Евгений НОВИЧИХИН. «ДТ, ДДТ и т. д.»

У РТМ – ДТ запел,
На МТФ – телят мычанье.
Ты держишь томик ЖЗЛ,
Я БСЭ раскрыл изданье.

Широк поэта интерес.
Мне всё вокруг заметить надо.
Вот мчится поезд МТС.
Вот запах ДДТ из сада.

Работник МВД идёт –
Надёжный, верный страж порядка.
Вот карандаш ТМ. А вот –
По ГОСТу сделана! – тетрадка.

А вот уже готов стишок.
Но слышу: – Милый, сядь поближе.
Когда ты думаешь, дружок,
Про МТФ да про движок,
Твой КПД намного ниже…

Автомобильно-колхозную тематику подхватывает пародия Семёна Ванетика «Два УАЗа»:

Два УАЗа в ПМК
Кирпичи возили.
Шлакоблоки для ДК
Привезли на ЗИЛе.

Эх, КРАЗ, ещё КРАЗ,
Ещё много-много раз!..

Не менее популярна оказалась военно-армейская тема пародий.

Михаил ГЛАЗКОВ. «ЧП в ССП»

И мы берём в НЗ – не на парад! –
Свой личный счёт ранений и наград…

На выжженном взгорье минуту назад
Был твой геройский НП.

В. Рымашевский

Взял НЗ я в каптёрке,
А ДП на КП
И в ХБ гимнастёрке
Прибежал на НП.

Рад по самые уши –
Трудный час подоспел:
«Треугольные груши»
Угрожают СП.

Рымашевского солнце
Затмить норовят.
(Правда, это не стронций,
Но порядочный яд.)

Эх, на эти бы «груши» навести ППШ!..
(Что? Приличье нарушил?
Закругляюся. Ша!)

Бронислав КЕЖУН. «Лирическое ЧП»

…где ваш муж служил компульроты,
А отец мой – помкомполка…

К. Симонов

На юге, где жара плывёт, как лава,
И под сияньем северных небес
Я шёл как представитель начсостава
И письма слал вам через ППС!

Я славил ПНШ, «ПО-2» и ДОТы!
И многих знаю не издалека –

Зампомкомвзвода и замкомпульроты,
Зампомкомбата и замкомполка!

Я на КП ходил насквозь военный,
Бывал и на НП и на ОП
И лирику, как пропуск неизменный,
Повсюду предъявлял на КПП!

Ах, лирика! В походные тетрадки,
С армейской дисциплиною знаком,
Тебя я переписываю кратким
Военно-телеграфным языком!

Да здравствуют такие обороты,
В которых не сломают языка
Зампомкомвзвода и замкомпульроты,
Замкомкомбата и замкомполка!

Попробуйте за мною повторите:
КП, ОП, НП и КПП!
И пусть меня не уверяет критик,
Что это называется ЧП!

Иногда пародийные перехлёсты оборачиваются и нелепицей и абсурдом, как это случилось в пародии «Кошмсон» Н. Парилина на С. Мнацаканяна:

А что потом? Потом смотри, включая телик,
Как многоцветна жизнь – от мировых истерик
До арт- и спорт-лото, от мастеров худслова
До Микеланджело и Саши Иванова!..

...по ночным закоулкам земшара...
...пишмашинка в тёмном помещенье
втихаря работать начала.

С. Мнацаканян

Предусмотрительно запасшись жеврезинкой,
Я горбился весь день за старой пишмашинкой.
Трамваи за окном гремели, как в тяжроке,
И мне с большим трудом давались стихостроки.

Тут из-за писстола я встал – ломило спину –
И всё, что настучал, забросил в мускорзину.
Я о поступке том жалел потом едва ли,
Не думал о былом – футматч передавали.
Команду Блохина показывал цветтелик
(А Запад представлял профклуб шотландский «Селтик»).
…Поздравив киевлян с заслуженным успехом,
Телеканал сменил: вот хохма – «Вокруг смеха»!
Сан Саныч Иванов, он так любим в народе
За двести тыщ своих зубастых литпародий.
И я его ценил за этот дар особый,
Но вдруг смеяться стал он над… моей особой.
Се – выше сил моих, я вырубил свой телик
И через пять минут уже лежал в постели…
И наконец уснул, хоть злость в душе кипела.
Мне снился Ватикан, вернее – Сикстапелла.
Вверх с ужасом гляжу – ах, до чего сон страшен! –
Расписан потолок… пародиями Саши.

Как писал уже упомянутый Пётр Пильский, «сокращения без нужды знаменуют неоправдываемую общую нервность, ненужный спех, бег в колесе, праздную изнуряющую суету».

Не всегда, впрочем, аббревиатуры упоминаются со знаком минус; бывает, что их создание является не только плодом работы бюрократов, но иногда и точным народным творчеством. О неоднозначном к ним отношении писал в своё время К. Чуковский: «Пусть они уроды и выкидыши, но и уроды сохраняются в спирте. Их нужно не ругать, но изучать».

Думается, что «аббревиатурные» пародии, обращая внимание на это своеобразное явление русского языка, в какой-то степени помогают разобраться в их плюсах и минусах. Значит, в них, как говаривал кот Матроскин, есть какая-то польза. Одно это уже хорошо.

ЗЕМЛЯКИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск двадцать девятый

Главный редактор *О. А. Рябов*
Составители *Андрей Иудин, Олег Рябов*

Шеф-редактор *Андрей Иудин*
Макет *Арсения Костромина*
Дизайн обложки *Геннадия Щеглова*
Корректор *Лев Зелексон*

В оформлении обложки использована
работа *Татьяны Быковой* «Протопоп Аввакум»

Подписано к печати 07.12.2020. Выпущено в свет 30.12.2020.
Бумага 60x84 1/16.
Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл.-печ. л. 27,9. Тираж 1000 экз.
Свободная цена.

Учредитель и издатель ООО «Книги»
Адрес редакции: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2,
ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Отпечатано в типографии АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13